

В. ЛАКШИН
ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ
В. ЛАКШИН
ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

В. ЛАКШИН





МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1989

ББК 83.3Р
Л19

Лакшин В. Я.

Л19 Открытая дверь: Воспоминания и портреты.— М.: Моск. рабочий, 1989.— 448 с.

Владимир Лакшин — известный журнальный деятель, критик, доктор филологии — блистательный рассказчик, чему свидетельством литературные циклы о Блоке, Чехове, Толстом, Островском, которые хорошо помнят телезрители. Его книга — попытка автобиографии писателя, 30 лет работающего в советской литературе. Но автобиографии необычной — автор рассказывает не столько о себе, сколько о людях, во многом определивших его судьбу. Цепочку живых рассказов объединяют портреты А. Твардовского, С. Маршака, О. Берггольц, Н. Гудзия, А. Солженицына, генерала А. Горбатова и многих других. Автор вводит в атмосферу редакции «Нового мира», воспроизводит рассказы о М. Булгакове и А. Платонове.

Л $\frac{4702010201-183}{М172(03)-89}$ **Без объявл.** **ББК 83.3Р**

ISBN 5—239—00579—6

ПРОФЕССОР ГУДЗИЙ

Особняком стоящий в памяти, не способный ни с кем смешаться, потеряться в толпе лиц, он как-то разом возникает перед глазами — горячий, вспыльчивый, добросердечный, насмешливый, справедливый...

Наверное, мне лучше было бы умолчать о первом моем знакомстве с Гудзием, поскольку оно не принадлежит к числу тех эпизодов, какими можно украсить свою биографию. Дело в том, что, едва переступив порог филологического факультета, я был позорно изгнан им с лекции по древнерусской литературе за болтовню с соседом по скамейке — легкомыслие тем более непростительное, что, как я сейчас вспоминаю, слушать Гудзия и даже смотреть на него во время лекций было одно удовольствие.

Подвижный, быстрый, в безупречно сидевшем на нем костюме и при топорщащемся в вырезе жилета галстуке, почтенный профессор легко двигался по подмосткам Коммунистической аудитории. Едва начав говорить, он нетерпеливо покидал кафедру и, обращаясь к слушателям, расхаживал по авансцене. Временами он останавливался, заложив руки в карманы черного жилета, и непринужденно покачивался на носках ботинок. Откинув назад лысую, с профессорским венчиком серебристых волос голову, он словно вглядывался в ряды уходившей вверх полукружьями аудитории.

Интерес его лекций заключался не столько в том, что он рассказывал, ибо об этом можно было прочесть в его же учебнике, сколько *как* он это делал. Сюжеты житийной литературы, сказаний и апокрифов Гудзий передавал с редким изяществом, артистизмом,

сам получая очевидное удовольствие от наивной мудрости древнего автора и прелести старинного слога. В наиболее забавных местах он уже заранее начинал хмыкать и как-то особенно форсисто покачивал своей выразительной, необычной, чуть сплюснутой головой, подыскивая подходящие слова для изложения чересчур откровенного сюжета. Припоминая историю бесноватой Соломонии, повествуя о Петре и Февронии, о пустынниках, старцах и бедных вдовицах, он сохранял в своем пересказе аромат древности, но временами привносил и едва заметную тень иронии, современного житейского восприятия легендарной старины. Для любимых же своих авторов — митрополита Иллариона, протопопа Аввакума — находил подлинно высокие слова и задушевные интонации, и я еще сейчас слышу, как он повторяет, любуясь мужественной кротостью Аввакумовой протопопицы, знаменитую ее фразу: «Ино, Петрович, побредем...»

Обидно вспомнить, что на одной из таких вот лекций двое зеленых первокурсников — П. В. Палиевский и я, заболтавшись, навлекли на себя справедливую грозу. «Я больше не желаю вас видеть на своих лекциях. Мальчишки! Немедленно оставьте аудиторию!» — горячо возмущался Николай Каллиникович. Он поднял нас со своих мест, и мы уже предчувствовали тяжкое объяснение в деканате и длинный хвост неприятностей. Гнев Гудзия был страшен, но, мгновенно вскипев, он так же быстро остывал, и, к нашему удивлению, эпизод этот не имел ровно никаких административных последствий. А через три года, начав заниматься в толстовском семинаре, я имел дерзость напомнить об этом случае нашему профессору, и он весело посмеялся вместе со мной. «Так это вы были? С Петей Палиевским? Какой срам!»

Сколько ни в чем не сходных между собою и пошедших разными дорогами людей считали толстовский семинар Гудзия «вратами своей учености»! В первой половине 50-х годов семинар этот, как я потом не раз слышал от Николая Каллиниковича, более всего удовлетворял его по составу и переживал, так сказать, пору своего расцвета. Именно в эти годы было написано и оглашено в виде докладов большинство работ, составивших впоследствии два солидных университетских сборника о Толстом под редакцией Гуд-

зия. Некоторые работы были напечатаны в литературных журналах или вышли отдельными книгами в издательстве МГУ.

Надо ли говорить, с какой робостью, сбившись тесной кучкой у дверей квартиры на улице Грановского, нажимали мы впервые кнопку звонка рядом с начищенной медной табличкой «Н. К. Гудзий». Необычно было уже то, что профессор принимал студентов на дому. Окна его квартиры выходили в университетский двор, и нам хватало пяти минут, чтобы из аудиторного корпуса, где только что кончилась лекция по политэкономии или диамату, поспеть к началу занятий у Николая Каллиниковича. В его огромном темном кабинете сначала помалкивали, переглядывались робко, потом начинали чувствовать себя свободнее, проще, будто не на занятиях по расписанию, а в гостях. Сама обстановка кабинета Гудзия исключала школярство: тут не было принудительной дисциплины, здесь жили строгие музы наук и искусств, расположение которых еще надо было заслужить.

Мой старший товарищ по семинару Марк Щеглов в «Студенческих тетрадях» набросал с натуры привычную картину наших занятий:

«У профессора в кабинете пепельно-сизый отсвет на всем.

Синева из окон, синеватый дымок сигареты в мундштучке, сумрачные и синие дальние углы и подуголья большой комнаты, в которой стены не стены, а шведские стенки из тусклых книжных корешков. Перед профессором две высоких свечи в подсвечниках.

Сам в синем, домашнем.

Черные, низкие, потертые кресла, в зеркальных местах еще отражающие эту присущую всему синеву. В простенках и поверх книг картины в рамах и акварели. Сидим, вежливо поджав ноги. Говорим об ученом и дипломном».

Когда я думаю о том, что составляло тайну успеха Гудзия как учителя и наставника, так легко завоевывавшего авторитет, признание и нежную любовь у своих бесчисленных учеников, я не сразу нахожу объяснение этому. Обширнейшие познания? Тонкий литературный вкус? Педагогический опыт? Огромная филологическая культура? Да, да, но не только это.

Гудзий не поучал, не пестовал, еще менее натаски-

вал, и, наблюдая за нашими занятиями, можно было иной раз подумать, что он слишком вольно держит поводья. Стремился ли он к созданию своей научной школы? Вербовал ли себе единомышленников и последователей? Не думаю. Во всяком случае, казалось, что в его занятиях не было строгой системы, а его ученики не подводились силой к принятию научной доктрины, выдвинутой учителем.

Вначале, помнится, это даже обескураживало. Ведь уже на третьем курсе мы бредили доморощенными концепциями литературы в ее соотношениях с базисом и надстройкой, и почти у каждого были про запас две-три теории литературного процесса. Гудзий же обращал наше внимание на то, что казалось куда менее значительным — на текстологию, библиографию, творческую историю произведения, и делал замечания, поражавшие своей точной конкретностью, но, понятно, не удовлетворявшие наш молодой теоретический пыл.

Недавно я перечитывал письма Чехова той поры, когда он собирался ехать на Сахалин. Он изучил тогда кучу книг и статей по географии, экономике, статистике и в письме к Суворину выражал опасение, что скоро станет таким «ученым сукиным сыном, что Вы только руками разведете». Суворин рекомендовал ему тогда какую-то статью М. К. Цебриковой, и Чехов отвечал ему:

«Если найдется у Вас статья Цебриковой, то не присылайте. Такие статьи знаний не дают и отнимают только время: нужны факты. Вообще говоря, на Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений — в чем я теперь сильно убеждаюсь, усердно прочитывая свою сахалинскую литературу».

В 20—30-е годы, казалось, пришел конец старой «крохоборской», фактографической, ложноакадемической науке о литературе, и этому поначалу обрадовались; открывался простор, суливший надежды на новую методологию. Родились десятки привлекательнейших теорий, от ОПОЯЗа до социологии, получившей вскоре нелестный эпитет «вульгарная», которые подкупающе стройно и просто объясняли явления искусства. «Объяснить» исчерпывающе и всесторонне, то есть затиснуть в схему жесткой концепции, еще на

моей памяти считалось привилегией учености. Поэтому такие книги, как «История древнерусской литературы» Гудзия, казались простодушными. Никакой всеохватывающей концепции. Одни имена, сюжеты, факты. Но в этом простодушии была своя сила: отсутствие фанфаронства, надежность твердого знания.

Такое же неоспоримое, твердое знание — привлекательная черта большинства других работ Гудзия. Это его научный стиль — скромный, не пыжащийся и безупречно авторитетный. Характерны сами заглавия его научных статей: «К какой социальной среде принадлежал Даниил Заточник?» Или: «Где и когда протекала литературная деятельность Серапиона Владимирского?» Или: «Что считать каноническим текстом «Войны и мира»?» В заглавии конкретный вопрос, и ответ должен быть так же точен, достоверен и конкретен.

Но вернусь к первым впечатлениям от толстовского семинара. Мы не вдруг оценили главное — превосходный моральный климат наших собраний. Начать с того, что здесь было начисто забыто, где младшие, где старшие, кто с какого курса. Рядом с моими однокашниками — Олегом Михайловым, Петром Палиевским, Павлом Пичугиным — в кабинете Гудзия по средам собирались его дипломники и аспиранты — Марк Щеглов, Зоя Безрукова, Елена Гашкене, Владимир Самойлов, Лия Кузина. Неизменным участником наших дискуссий был преподаватель факультета журналистики Владислав Антонович Ковалев. Да и сам Николай Каллиникович, казалось, тоже был записан в качестве рядового участника этих собраний. Младшие тянулись за старшими, и уровень споров и обсуждений был заметно выше привычного.

Своими вопросами по ходу дела и заключительной речью Гудзий лишь отбрасывал крайности, умерял страсти и не пропускал случая похвалить и ободрить студента, когда обсуждавшие его доклад в запале молодого энтузиазма «переругивали» работу, или, напротив, вносил отрезвляющую скептическую ноту в дружный хор похвал. Я не помню при этом у Гудзия тона назидания или превосходства. Он никому не давал почувствовать себя школяром, и оттого каждый из нас, не подлаживаясь под учителя, стремился дать действительно то, на что был способен.

Несомненно, такая метода преподавания была у Гудзия вполне сознательной. Недаром он так любил рассказывать о своем учителе Владимире Николаевиче Перетце и о тех коротких отношениях, какие соединяли этого профессора с его студентами. «Бывало, я только проснусь, а кто-то стучит тростью в окно — комната, где я жил в Киеве, была на первом этаже. Это Перетц вышел на утреннюю прогулку и кричит мне с улицы: «Николай Каллиникович, не хотите ли пройтись со мной? Побеседуем о Максиме Греке». Я был весьма скромный молодой человек,— продолжал Гудзий,— и мечтал, как о высшем счастье, закончив Киевский университет, получить место в гимназии. Конечно, мне и в голову не приходило тогда, что я сам могу стать профессором... Но отношения в семинарии Перетца были простые, уважительные».

Однако не только в традиции дело. Гудзия вообще отличали благожелательность и терпимость, уважение к чужой точке зрения, будь то докторская диссертация или студенческий доклад, лишь бы не вызывала сомнений серьезность и добросовестность автора. Его пометки на полях рукописи (а сколько таких пометок он оставил и на моих работах — сначала курсовых, потом дипломной, потом на полях диссертации, книг и статей), как правило, не нарушали твоего хода мысли, не навязывали иное понимание, но деликатно отмечали всякую фактическую неточность, произвольную натяжку в рассуждении, оплошность слога.

Гудзий был чуток к собственно «человеческой» стороне литературы и, что далеко не всегда бывает, десятки лет профессионально занимаясь ее анализом и изучением, не потерял непосредственного, читательского отношения к ней. Помню, когда я, разбирая на одном из занятий толстовский «Живой труп», обосновывал «уход» из дома Феди Протасова исключительно мотивами социальными, он смутил меня вопросом: «А не допускаете ли вы, что какое-то значение могло иметь для Феди и то, что жена его Лиза — бесцветная женщина, «без изюминки», как говорит Толстой?»

Для него вообще не существовало гипноза великого имени, в своих пристрастиях к литературным героям он был своенравен и далеко не всегда следовал сложившейся традиции. Как горячо негодовал он, например, когда речь заходила о пушкинской Татьяне!

«И вам она нравится?! Какая же это героиня — не умна, бесстрастна, анемична, скучная уездная барышня... Брр... Бог знает что такое! Как Пушкин с его гением мог так ошибиться?!»

Мы слушали эти горячие тирады Николая Каллиниковича, слегка посмеивались над ними как над безвинным чудачеством — ведь мы слишком хорошо знали, что писала о Татьяне критика от Белинского до Благого,— но незаметно для себя и учились у него, впитывали свободное, непредвзятое отношение к искусству. И когда я спрашиваю себя, чему научил нас Гудзий, я прежде всего хочу сказать о том, от чего он нас отучил. Он отучил от школьной схоластики, вернул непосредственное ощущение литературы. Книжный, казалось бы, человек, окруженный в собственном доме и взятый в плен книгами («Плохо, когда книг мало, но хуже, когда их слишком много. Я уже не всегда могу отыскать на своих полках, что нужно, и хожу в университетскую библиотеку, благо она напротив»,— жаловался Гудзий), он вернул нам ощущение непосредственной подлинности жизни в книге.

Гудзий мог неожиданно возмутиться неудачной фразой у самого Толстого, негодовать по поводу «мелочности» его детализации в «Утре помещика» или других рассказах, но он же как никто горячо и искренно умел восхищаться гением нашей классики.

Однажды на заседании кафедры русской литературы обсуждался вопрос о создании общего курса литературы XIX века. Выступавший доказывал, что историю литературы нужно строить, учитывая общий поток литературного процесса со всеми второстепенными и третьестепенными его участниками, повинуясь строгой исторической хронологии. Он предлагал не выделять творчество писателей, которых мы зовем «великими», в отдельные монографические главы, аргументируя это тем, что ведь гражданскую историю мы тоже строим не «по царям». Надо было видеть, как это растревожило, задело Гудзия! «А я настаиваю, что о Пушкине надо говорить особо, потому что он царь, царь русской поэзии! И Гоголь — царь! И Толстой — царь!.. Я думаю, никто не упрекнет меня за это в монархизме»,— закончил он насмешливо свою темпераментную речь.

Всем знавшим Гудзия бросалась в глаза и еще од-

на его черта, вначале показавшаяся мне забавной, но которой потом я мог лишь позавидовать,— это его умение ставить вопросы. Своими вопросами он иной раз мог вконец замучить собеседника. «Вы читали книгу Н.?» — спрашивал он. «Ну, и что вы о ней думаете?» — «Какова репутация автора?» — «Хм-хм...» Он не возражал и не соглашался с вами, а вызнавал, выспрашивал. Говорят, половина таланта состоит в умении ставить вопросы. Вопросы Гудзия были неистощимы и следовали один за другим с неутомимой изобретательностью. Это не было, я думаю, привычкой вежливости или сложившейся манерой общения, а отражало живость его ума, феноменальное любопытство к людям и книгам.

Он знал цену шутке, веселью, и его выступления на семинарах, речи на заседаниях кафедры никогда не страдали сухой чопорностью, внешним академизмом. Он подходил обычно к делу во всеоружии здравого смысла и с неожиданной стороны. Его юмор, всегда необидный и старомодно благодушный, заставлял аудиторию слушать его с особой симпатией. Он любил подшутить и над собой, над своей внешностью, над своими летами. «Я, кажется, достиг зрелого возраста,— говорил он на своем юбилее.— Зрелый возраст у мужчины начинается с семидесяти лет, но что вы, молодые люди, можете пока знать об этом...»

Эти милые шутки памятны всем встречавшимся с Николаем Каллиниковичем, как памятна и его исключительная отзывчивость. Помогать, рекомендовать, «пристраивать», «продвигать в печать» было, казалось, любимым его занятием. Он тяжело вздыхал от обилия просителей и жалобщиков, но никому не мог отказать.

Правда, и возмущался так же бурно, горячо, если сталкивался с тем, что считал нечестностью, бестактностью, непорядочностью. По своему доброжелательству он, случалось, пригревал людей сомнительных достоинств, но, если убеждался в их недобросовестности, взрывался в какой-то личной, кровной обиде. Однажды кто-то взял у него редкую книгу и, несмотря на тысячи предупреждений хозяина, «посеял» или зачитал ее. Надо было видеть возмущение Гудзия!

Другой запомнившийся мне случай был вовсе экстраординарным. Студентка оглашала в семинаре свой

доклад, написанный подозрительно гладко и напоминавший что-то давно знакомое. В середине монотонного чтения Гудзий стал ерзать в кресле и постукивать о край стола мундштуком, потом вдруг побагровел до самой лысины. «Девочка,— закричал он посреди фразы,— мало того, что вы списали свою работу из разных источников. Но вы списали у меня! Неужели вы могли подумать, что я так дряхл, что уже не помню, что сам написал?»

Как симпатична была эта его детская вспыльчивость, черта кипучей порядочности. Взрывался он легко, но никогда не застревал в предубеждении.

А скольким своим ученикам он помог встать на ноги, найти себя! Чего стоит одна судьба Марка Щеглова.

После блистательной дипломной защиты комиссия, распределявшая выпускников, по настоянию неумного чиновника направила Щеглова корректором в газету — работа, которую он по болезни не мог выполнять. Гудзий добился, чтобы его взяли в заочную аспирантуру и, что, может быть, не менее важно, рекомендовал статью Марка Щеглова о сатире Толстого в журнал «Новый мир». Она была напечатана в сентябре 1953 года и принесла автору первый большой успех. Редактор журнала А. Т. Твардовский обратился к Гудзию, которого и сам глубоко почитал как своего учителя по ИФЛИ, с благодарственным письмом. Письмо это доставило тогда Николаю Каллиниковичу немалое удовольствие, и я считаю не лишним его привести.

«Уважаемый Николай Каллиникович! Я прочел рекомендованную Вами статью М. Щеглова о сатире Толстого. По-моему, как, впрочем, находят и мои товарищи по редакции, это статья талантливого человека, умного и тонкого наблюдателя особенностей художественного письма, в данном случае под специальным углом зрения. Мы хотим напечатать эту статью, несколько подредактировав ее: молодой автор еще очень хочет казаться профессором («в нашем исследовании», «мы» и т. п.).

Вам, Николай Каллиникович, большое спасибо. Будем рады и впредь получать от Вас работы молодых товарищей с Вашими «путевками». Ваш А. Твардовский».

Этим было положено начало краткой по срокам, но столь заметной в литературе 50-х годов критической работе Марка Щеглова. Николай Каллиникович внимательно следил за судьбой своего ученика, гордился его успехами, а когда некоторые его статьи начали бранить в литературной печати, трогательно утешал его репликой из «Горя от ума»: «Ничего, Марк Александрович. Пожар способствовал вам много к украшенью...»

Тогда же по рекомендации Гудзия напечатали в журнале «Октябрь» первую свою совместную статью П. Палиевский и О. Михайлов. Меня Николай Каллиникович вслед за Марком Щегловым рекомендовал в «Новый мир», и с его легкой руки я напечатал в 1954 году в этом журнале свою первую рецензию, что, как теперь вижу, во многом определило и мою дальнейшую литературную судьбу.

Последние годы я встречался с Гудзием реже и случайнее, чем хотелось бы. Но, зайдя к нему на улицу Грановского, заставал его энергичным, озабоченным, занятым тысячами дел, занятий и просьб, от которых он не умел да, видимо, и не хотел оборониться. «Я работаю как большое советское учреждение»,— пыхтя и отдуваясь, говорил Николай Каллиникович. И перечислял мне десять или двенадцать своих постов, должностей и нагрузок — в Союзе писателей, Академии наук, Университете, ВАКе и множестве других комиссий, организаций и учреждений, где он состоял председателем, заместителем председателя или, на худой конец, почетным членом. И это не считая «частной благотворительности», как он называл разнообразную помощь своим близким и дальним друзьям и знакомым. «Ничего не успеваю делать,— жаловался он.— Козьма Прутков был прав: камергер не может наслаждаться природой. Я только теперь начал понимать, как надо жить. Приходите ко мне как-нибудь посидеть вечерком, и я вас этому научу. Вы не должны повторить моих ошибок». Но так и не научил...

О разном в литературе ему еще хотелось написать, до многого не доходили руки. Он увлеченно говорил о поэзии, в особенности о Тютчеве, и когда приходилось к слову, читал на память с искренним жаром, темпераментно его стихи:

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье —
И... поединок роковой...

О Тютчеве он писал в молодости, а в поздние годы рассчитывал всерьез вернуться к нему, да все времени не хватало. Не хватило времени и на Брюсова, которого он великолепно знал и ценил. Многого не разрешал он себе как непозволительной роскоши.

Впрочем, он еще успел написать и предложить в «Новый мир» задиристую, острополемическую статью о «Войне и мире». «Представьте,— говорил он со смехом в голосе,— я решил произвести в толстовской текстологии некую революцию... Ну, не такую большую, как Октябрьская или Февральская, но хотя бы пугачевский бунт...»

Мысль его — принять в качестве канонического текста «Войны и мира» издание 1873 года и печатать роман с русским текстом в диалогах вместо французского и без выделения в особую часть «Эпилога» философских рассуждений Толстого — была оспорена большинством ученых-толстоведов, а некоторыми воспринята как своего рода литературоведческий эпатаж. Планировавшаяся Гудзием текстологическая «революция» не состоялась.

Но как дорого в увенчанном академическими лаврами ученом это его молодое увлечение, задор пересмотра сложившейся традиции, свободное, непредвзятое отношение к авторитетам! И это на самом пороге смерти...

Последний раз я позвонил ему, когда он был уже тяжело болен, чтобы порадовать известием о выходе второго издания сборника Марка Щеглова с его предисловием. Голос Гудзия был слаб, он жаловался на недомогание, говорил, что ложится в больницу. Но вдруг, посреди обычного телефонного разговора с расспросами о здоровье, приветами домашним, спросил с неожиданной энергией: «Скажите, как вы считаете, был ли у Толстого в «Войне и мире» самостоятельный взгляд на историю?» Я услышал один из знаменитых, способных застать врасплох вопросов Гудзия. И понял, что он не доспорил на эту тему с кем-то и теперь хочет проверить себя, узнать другие мнения... Больше я никогда не услышал его голоса.

МАРК ЩЕГЛОВ — «ВЕЧНЫЙ ЮНОША»

Есть такие люди в каждом поколении: поприще их может казаться скромным, труды, оставленные ими, малочисленными и незавершенными, но захват их нравственного влияния необычайно широк. Кажется, одно уже их присутствие на земле, вне зависимости от того, что дано было им осуществить, делает жизнь теплее, разумнее, ободряюще действует на душу. И сама смерть не кладет предела их влиянию, но как будто еще закрепляет его. Незримо продолжается цепная реакция добрых слов и дел, начатых этими людьми.

Много воды утекло со дня смерти Марка Щеглова, и мне нужно делать уже некоторое усилие, чтобы представить себе, каким он был — его походку, слова, жесты. Но стоит раскрыть его книгу, как я начинаю различать знакомый голос. Нет, это не условный литературный образ: я слышу самый натуральный, со всеми запинками и покашливаниями голос Марка Щеглова.

Вот он размечтался:

«...белой точкой на горизонте, в исчезающей отдаленности моря появляется корабль, за ним еще один и еще. Ветер и волны дружно влекут их, они летят, слегка накренясь, у них почти живые, стройные формы: ветер воет в тонких снастях, плещет вдоль борта тугая, отлетающая волна, загорелые, веселые матросы глядят за горизонт — что там? И наше сердце стремится лететь за ними, к тучам, полным зарева далеких, удивительных городов, к цветам и скалам таинственных стран воображения... Это корабли Александра Грина».

Так пишет Щеглов о книге писателя-романтика.

А вот он разгневан, саркастичен:

«...Грацианский, неспособный выдержать в чистом поле настоящего боя, говорит уже от имени целого коллектива и судит, кто «наш», а кто «не наш». Это он-то судит, несчастный душевный карла, самгинское семя!»

Это из статьи о «Русском лесе» Леонида Леонова.

И еще — горячее, требующее немедленного сочувствия обращение:

«Мы — оптимисты, но не будем же становиться ханжами! Еще в окружении «равнодушной природы» умирают дорогие нам люди, рушатся семьи, есть еще одиночество, и необеспеченность, и лишенные света жилища, еще бывает — приходит к человеку нежданное-негаданное горе, и он не знает, как с ним справиться, еще счастье в жизни идет в очередь с несчастьем...»

Это из статьи о рассказах Ильи Лаврова.

Лучшая проверка подлинности, искренности написанного — слышен ли за ровными типографскими строчками голос автора или он заглушен неким «средним», олитературенным и оказененным слогом штампов. Марка Щеглова расслышишь всегда.

После него остались статьи, рассеянные по журналам и альманахам и частично собранные в книге, вышедшей уже четырьмя изданиями. Осталась добрая, благодарная память о нем у всех, кто знал его, да еще записки студенческих лет, извлеченные из груды потрепанных тетрадок. В этих обрывочных записях «для себя» Марк предстает таким, каким помнили его всегда товарищи и однокашники,— мужественным, честным, с обостренной чувствительностью ко всему доброму и злому и с изумительным запасом жизнестойкости.

Я вспоминаю его то дома, в Электрическом переулке близ Белорусского вокзала, в маленькой, узкой, как келья, полутемной комнате, служившей некогда ванной, сидящим, подвернув ноги, на диване, с книжкой в руке; то в кабинете профессора Гудзия, где идет толстовский семинар, и Марк, слегка опоздавший и пристроившийся в укромном углу за этажеркой у самой двери, что-то пишет в зелененький измятый блокнотик; то на скромной студенческой пирушке, где он

сразу становится центром дружеского кружка, и гитара ходит ходуном в руках его, и все молча признают его первенство и в песне, и в шутке, и в завязавшемся серьезном разговоре; то в редакции журнала, куда он с трудом, громыхая костылями, поднимается по широкой лестнице с рукописью, свернутой в трубочку и болтающейся сбоку на бечевке, чтобы не занимать рук...

Но чаще и отчетливее всего я вспоминаю почему-то, как в пору весенних экзаменов он сидит на камнях старой ограды в университетском садике, сняв шляпу, положив сбоку костыли, покуривает, слегка задрав голову, с наслаждением щурится на солнце и с каким-то добрым любопытством вглядывается в лица тех, кто входит и выходит, хлопая дверью, из здания факультета. Он никого не ждет, не ищет, ему просто радостно смотреть на суетливую, шумную студенческую жизнь и чувствовать себя причастным к ней.

Один старый литератор, попросивший познакомить его с Щегловым, сказал, отойдя от него, в недоумении и растерянности: «Не может быть, что этот изуродованный болезнью, с трудом двигающийся инвалид — Марк Щеглов! Когда я читал его статьи, мне казалось, что их пишет очень удачливый, уверенный в себе, счастливый человек...» Кто-то передал последние слова Марку. «Хорошо, что так думают...» — сказал он, улыбнувшись.

Сейчас лучше можно оценить, чего стоила ему борьба с тяжелейшим недугом, борьба за жизнь, за возможность учиться, за право работать в литературе.

Он напечатал первую свою заметную статью в сентябре 1953 года. В сентябре 1956 года он умер. Три года — слишком малый срок в литературной судьбе. Но к этому Щеглов готовился всю жизнь, и оттого след его ярок, заметен и сегодня.

Весной 1953 года он записал в синей общей тетради: «В моем отношении к делу сейчас, к книгам и разговорам есть такое: вот, пока не наступило «то» (а что), пока не призван на царство, что ли, нужно сколько можно «нахвататься», помудреть, разузнать, не пропуская никакого случая на этот счет. Похоже, как человек, которому нужно перейти улицу и на *той*

стороне пройти вперед, пока ему мешает движение, использует время, чтобы продвинуться дальше по *этой* стороне».

Это говорилось в предчувствии новой полосы жизни, как раз накануне поворота в его судьбе, приведшего его в литературу. В ту пору мы с ним и познакомились.

Конечно, я и прежде встречал его в факультетских коридорах и раздевалке между звонками, в водовороте перемен. Не зная его по имени, я уже знал его в лицо и давно приметил в пестрой и шумной толпе студентов его широкую фигуру, грузно повисшую на костылях.

Но впервые оказался с ним рядом и разговорился в один из «вторников» у Гудзия. В кабинете Николая Каллиниковича, сплошь заставленном книжными шкафами и полками, взбегавшими до потолка, царил таинственный сумрак. В короткие зимние дни приходилось рано зажигать свет, и тогда становились видны все уголки этого книжного царства: книги, захватив стены, расположились еще и на этажерках, вертушках, столах, столиках, на диване и на полу. Сам хозяин кабинета в мягкой домашней куртке, сердито отдуваясь и оглядывая взором полководца непокорное ему воинство, разыскивал какую-то запропавшую книгу, пока «семинаристы» рассаживались по местам. В дни семинара в кабинет сносили все стулья, какие были в доме, но места все-таки не хватало, и опоздавшие должны были пристраиваться у самой двери, за этажеркой или на кожаном диване, защищенном от глаз профессора журнальным столиком с горою книг на нем. Мы довольно быстро оценили удобства этого местоположения, где во время скучного доклада под мерное жужжание кого-нибудь из начинающих толстоведов можно было разглядывать картины на стенах, тишком перелистывать лежавшие тут же книги или даже перемолвиться с приятелем о чем-то своем. Вот там-то, за этажеркой, у двери, судьба нас и свела однажды.

Когда мы познакомились, Марк был восьмью годами старше меня — разница немалая в студенческие годы. Но он не дал мне ее заметить. После доклада о

«Живом трупе» мы заспорили с ним о Феде Протасове. Потом только, публикуя одно старое его письмо к общему нашему товарищу, я узнал, что это всегда был его «любимый, нет, не любимый — милый сердцу литературный герой». Но и мне Федя Протасов был небезразличен. Вышли вместе на улицу, пошли к метро, слово за слово, и тут оказалось, что мы знакомы уже давно, только не подозревали этого прежде.

В 1946 году его привезли на обследование в одну из московских клиник, где лежал тогда и я. «Помню, я спорил там с ребятишками, лежавшими в четвертом отделении, на нижней террасе, об одной книге».— «О новеллах Вашингтона Ирвинга»,— сказал я. «Так это был ты?» Оказалось, мы знакомимся второй раз.

Это странное совпадение и общность больничного прошлого, с которым я, впрочем, развязался раньше и успешнее, чем он, неожиданно сблизили нас.

Марк нравился мне, притягивал к себе, и, как теперь понимаю, я пережил по отношению к нему молодое чувство увлечения старшим товарищем, больше других знавшим, понимавшим и успевшим. На своих костылях, широко расставленных в стороны, квадратный и плотный, с короткой шеей и вздернутым вверх подбородком, он лишь при взгляде издали мог показаться несчастным, изувеченным болезнью человеком. Стоило узнать его чуть ближе, перемолвиться с ним двумя словами — и вы будто мгновенно забывали о его беде. Не было ни костылей, ни горбика. Было — прекрасное лицо, живые, умные глаза, выражение прямоты, достоинства и необыкновенно благожелательного интереса к собеседнику, способность легко откликаться на смешное, оставаясь серьезным в глубоком смысле слова. Во всяком случае, мне он казался незаурядно привлекательным и красивым, да он и был красив благородной и мужественной красотой, и я ловил себя на том, что безотчетно подражаю ему, его привычкам, манере говорить, слегка запинаясь и мыча...

Как ни странно это сказать про человека тяжко больного, Марк был непоседлив, легок на подъем, любил компанию, новые лица, неожиданные затеи. Его ничего не стоило сманить из дому в гости, даже если для этого предстояло ехать на другой конец города. Лишь изредка он отвечал на такие предложения

отказом. «Я не очень мобилен сегодня»,— неохотно и будто стесняясь говорил он тогда. Это значило, что ноги совсем не слушаются его.

Случалось, встретившись в университете, мы уже не прощались до позднего вечера: он приходил ко мне домой, я бывал у него, или мы вместе отправлялись на какое-то обсуждение в толстовский музей или университетское НСО [1], ходили в театр, в консерваторию, а то и просто после стипендии — в кафе «Националь», благо оно в двух шагах от факультета. Посидеть за столиком с крахмальной скатертью, вертя в руках меню и долго выбирая, что бы отведать на скудные студенческие доходы, и не торопясь, всласть потолковать о том о сем было для него большой радостью. Я не знаю человека, с которым было бы так весело есть и пить, как с Марком Щегловым. Он так умел радоваться всякому пустяку, что невольно заражал своим детски-счастливым ожиданием удовольствия. Но все это в конце концов было лишь поводом к серьезному и сосредоточенному разговору.

«Русские мальчики», как заметил Достоевский, сведя Алешу и Ивана Карамазовых за перегородкой в трактире, вечно тянутся к тому, чтобы решить самые коренные, самые главные в жизни вопросы: как жить, во что веровать, что ненавидеть, чему молиться.

Шел 1954 год. Какие-то двери распахнулись, в воздухе запахло новизной, все ждали чего-то и спорили, говорили друг с другом подолгу и охотно. Я не думал не только записывать, но и запоминать те бесконечные разговоры обо всем на свете, какие мы тогда вели. Зачем? К чему? Могло ли мне прийти в голову, что я буду об этом вспоминать на бумаге?

Как раз в ту пору, что мы познакомились, Марк напечатал в «Новом мире» первые свои статьи. Удивительное впечатление произвели они тогда на нас, студентов-филологов 1953 года. Еще недавно бушевали схоластические споры о том, как соотносится литература с базисом и надстройкой, обязателен ли в драме конфликт «хорошего с лучшим»,— и вдруг неподдельно живые слова, открытое издевательство над рутиной и штампом, молодая увлеченность и молодая ирония, а за всем этим непредвзятое, честное, свежее восприятие искусства.

---

[1] Научное студенческое общество.

Помню, как, выйдя в перерыве между лекциями из Комаудитории и захватив рядом в библиотеке только что полученный там номер журнала, я развернул его на ходу на статье «Без музыкального сопровождения...». Да так и остался стоять с открытым журналом, опершись локтями о широкий барьер знаменитой балюстрады аудиторного корпуса. Дребезжали звонки, приглашая на лекцию, а я стоял с журналом в руках и самозабвенно читал не детективную повесть, не роман, а критическую статью в ординарном разделе «Книжное обозрение», читал, захлебываясь от восторга, удивляясь, соглашаясь, порою громко смеясь, потом спешил поделиться своим открытием с товарищами, и мы перечитывали статью уже вдвоем, втроем, смакуя особенно острые и смешные места. Да, это была критика! И что поразительнее всего — ведь статью-то написал наш же студент, сидящий с нами рядом на семинарах, сдававший историческую грамматику и старославянский по тем же учебникам, что и мы, и, как все, дрожавший перед экзаменами у Г. Н. Поспелова. Каким чудом все это вышло из-под его пера?

Даже когда я ближе сошелся с Марком Щегловым и стал часто бывать у него дома, я не нашел этому разгадки. Его трудно было застать за работой. Он много писал и печатался, но статьи его большей частью появлялись внезапно для его друзей. Было ли то скромностью или родом авторского суеверия, но Марк, как правило, почти не объявлял заранее, что он теперь пишет или готовится писать, и не любил, чтобы его об этом расспрашивали. Стоило только, позвонив пять раз у двери в многолюдную коммунальную квартиру на Электрическом, войти в сопровождении матери Марка, Неонилы Васильевны, в их узенькую комнатенку, как он с видимым удовольствием и без тени раздражения, что его прервали, откладывал в сторону листочки, исписанные его характерной «клинописью».

«Вот и хорошо, что надумал зайти. Посидим, посудачим. Что там нового в университете? Как наш старик?» — уже расспрашивал он о Гудзии.

Но хотя Марку и не нравилось попусту болтать о начатой работе, было бы неверно думать, что он окружал свои литературные занятия атмосферой таинственности. Напротив, как в свой дом, охотно пригла-

шал к совместному обсуждению и сотрудничеству. «Как ты находишь, не пора ли написать статью против Ермилова? А может быть, не статью, а книгу: «Анти-Ермилов»? Давай вместе сочиним». Или: «Мне заказали тут небольшую статейку о Достоевском, да не знаю, с какого конца взяться. Что, если нам вдвоем засесть?»

От предложений соавторства я уклонялся: не умел писать вдвоем. Но Марка Щеглова привлекала совместная работа — остались его статьи, написанные в соавторстве с молодыми тогда литераторами: Суровцевым, Турбиным.

Он с охотой помогал мне в первых моих литературных опытах, терпеливо выслушивал то, что я написал, поправлял, советовал, как сделать лучше. Помню, в университетском садике я читал ему по блокноту свою первую рецензию. Наверное, она была из рук вон плоха, но Марк по обычной своей благожелательности не стал меня бранить, заметив только: «Знаешь, никогда не надо перемигиваться с читателем, вести себя с ним запанибрата». (У меня были там обороты вроде: «Читатель имел случай убедиться...», «Как читатель уже догадался» — я вычеркнул их и испытал облегчение.)

С другой моей статейкой он сам ходил в газету «Советское искусство», свернув ее трубочкой и прикрепив бинтиком к костылю. Я не решился поставить под статьей подписи. В редакции, естественно, решили, что это статья самого Щеглова, но он почему-то не хочет в этом признаться. Через несколько дней ему сообщили по телефону: «Товарищ Щеглов! Ваша статья понравилась, но есть ряд существенных замечаний. Почему, например, вы пишете...» Марк не решился возразить и испил за меня до дна эту чашу. Слава богу, статью так и не напечатали.

В памяти, как нарочно, легче всего задерживаются пустяки, житейский сор, но и по этим осколкам виден человек.

Вот Марка остановила в коридоре на факультете преподавательница фольклора, видно спутав его с профессором, тоже ходившим на костылях: «Не смо-

жете ли вы отпустить с занятий двух студентов на час раньше?» — «Я, конечно, отпустил»,— радовался Марк.

Он любил рассказывать истории, в которых не выглядел героем. Вот его рассказ о том, как он первый раз появился в семинаре Гудзия. «Было скользко, я шел медленно и опоздал минут на двадцать. Звоню. Мне открывают. «Вам кого?» Я вежливо приподымаю свою знаменитую фетровую шляпу: «А мне, собственно, Николая Каллиниковича Гудзия».— «Заходите, раздевайтесь, пожалуйста. Но Николай Каллиникович сейчас занят».— «Ничего, я подожду»,— скромно отвечаю я. Меня проводят в отдельную комнату и усаживают за круглый стол: «Вот свежие журналы. Не хотите ли кофе?» Я удивлен, но не имею сил отказаться. Пью кофе, смотрю картинки и думаю про себя: неужели здесь так принято встречать студентов? Время от времени меня спрашивают, не нужно ли мне чего, и заверяют, что Николай Каллиникович скоро освободится. Я не тороплю. Наконец в коридоре слышен шум ног, голоса, слова прощанья, дверь распахивается — и стремительно входит Гудзий. «Простите, я, кажется, заставил вас ждать. У меня только что кончились занятия со студентами. С кем имею честь? Вы из какого издательства?» Я отвечаю: «Я... ммм... не из издательства, я, собственно, ваш студент, вчера на кафедре записался к вам в семинар...» Минута жуткого молчания. Гудзий бледнеет, отступает к двери, некоторое время трет ладонью лысину и потом кричит какими-то синкопами, задыхаясь от гнева: «Так какого же черта — два часа подряд — вы здесь всем — морочили голову?!»

«Так счастливо началось мое знакомство с Гудзием»,— вздыхал Марк. Но человек отходчивый и незлопамятный, Николай Каллиникович полюбил Марка.

Отношение Гудзия к новому своему ученику было добрым, предупредительным, и все было бы хорошо, если бы не одна особенность нашего профессора: он любил расспрашивать студентов об их личном житье-бытье, ставил бесконечное количество вопросов и тут же забывал, что ему уже отвечали на них.

Едва ли не каждый вторник, восхищенный очеред-

ным выступлением Марка на семинаре, он говорил ему: «Да, Марк Александрович, все забываю вас спросить, сколько же вам лет? Кстати, а чем вы болели? Костным туберкулезом? И как это лечат?» — «Да я ведь уже рассказывал в прошлый раз, Николай Каллиникович»,— мялся Марк. «Ах, да, да»,— спохватывался Гудзий, понимая, что Марку не очень-то хотелось лишний раз говорить на эту тему. Но через неделю все повторялось сызнова: «Да, Марк Александрович, все забываю у вас спросить: а кто ваши родители? Сколько вам лет? И когда вы заболели?..»

Вот теперь, быть может, самое время немного сказать об этом.

Марк Щеглов родился 27 октября 1925 года в Чернигове, и на всю жизнь остался у него воспоминанием раннего детства тихий зеленый городок, деревянные дома с садиками на окраине города — Мочеретовщине. Отец и мать Марка были в ту пору артистами провинциального драматического театра и по роду профессии часто кочевали с места на место, забирая с собой и маленького сына. Двух лет от роду Марк заболел туберкулезом позвоночника, и вся жизнь его с той поры — бесконечное скитание по больницам, санаториям, клиникам, лежание в гипсовой кроватке, корсет, костыли, короткие счастливые периоды нормальной жизни дома, надежд на полное выздоровление и новые обострения болезни, бросавшие его в постель.

Надо прибавить к этому, что и в семье не все было благополучно. Отец Марка, Александр Сергеевич Щеглов, был, по-видимому, человек одаренный, но не нашедший себя. В 30-е годы он работал в Реалистическом театре в Москве, потом занимался литературной работой, писал стихи под псевдонимом А н, печатался в детских журналах, кажется в «Чиже» и «Еже». Но он рано оставил семью, и мать Марка, Неонила Васильевна, одна растила и воспитывала сына.

По больничной привычке Марк с детства много, очень много читал, учился страстно, с удовольствием, как о счастье мечтал о том, чтобы, как все ребята, ходить в обычную школу. А между тем, по скупому свидетельству «Автобиографии», годы его учения складывались так:

«...С 1927 по 1935 г. лежал в различных лечебных учреждениях, где и окончил первые два класса начальной школы. Вернувшись домой (уже в Москву) в конце 1935 г., самостоятельно прошел курс 3-го и 4-го классов и в 1936 г. поступил в 5-й класс 127 средней школы Советского р-на в Москве. В 1938 г. у меня внезапно наступило обострение туберкулезного процесса; я вынужден был прекратить посещение школы, а поэтому 6-й и 7-й классы окончил опять же самостоятельно, занимаясь дома. Летом 1940 г. был помещен во II Загородную Моск. туб. больницу в гор. Мытищи и там окончил 8-й класс. Осенью 1941 года больница, в коей находился я, была эвакуирована на Урал, и поэтому курс 9-го класса я проходил заочно в Челябинской заочной средней школе. По возвращении из эвакуации осенью 1943 г. был положен в Звенигородскую туб. больницу, откуда выписался лишь в 1945 году. Осенью того же года поступил в Московскую школу рабочей молодежи при вагоноремонтном заводе «Памяти революции 1905 г.» и там прошел курс 10-го класса».

Но это сухой слог формальной бумаги. А о том, что происходило у этого мальчика, потом подростка, потом юноши внутри, мы можем судить по одному его письму матери из больницы, написанному 28 октября 1944 года, как видно, после какой-то горькой размолвки с самым близким ему человеком:

«Моя милая, родная, несчастная мама! Я неискупимо виноват перед тобою... Мне и стыдно и горько возобновлять разговор о моих глупостях, но мне кажется, и ты, как мать, просто как человек, можешь и должна найти для меня оправдания! Видишь ли, прожить многие годы меж четырех больничных стен, среди вечных словопрений о геморроях, спондилитах, стрептоцидах и прочих гнусных вещах — это значит, кроме всего прочего, вконец расшатать свои нервы. И если у нормальных людей случаются минуты безумств, когда всякий глас разума немеет, то как же избегнуть их мне? И потом ты знаешь, как порою тоскливо мне бывает. Мне, бледнеющему при звуках симфоний, любящему «Сентиментальный вальс» и лирические стихи, мне — поэту до мозга костей, и вдруг получить в дар от провидения такую бестолковую и вонючую жизнь. Подумай, какую тоску, какое злое

чувство может вызвать эта несправедливость. Ты требуешь от меня силы воли, настойчивости, а где мне взять их? Какую закалку я получил от жизни? Подумай над всем этим, и ты найдешь в себе силы простить меня совершенно.

Прощай. Целую. *Марк*».

Есть люди, охотно рассуждающие о силе воли, настойчивости, жизненной закалке и пасующие перед первым же серьезным препятствием. Марк Щеглов сурово, очень сурово судит себя, но мы-то можем понять, какую волю к жизни, энергию, силу сопротивления обстоятельствам надо было иметь, чтобы, изо дня в день переживая то, что выпало на его долю, достигнуть того, чего он достиг.

Тут один случай скажет о многом. Вступительные экзамены на филологический факультет совпали у него с новым обострением болезни. «Я чуть ли не на карачках полз в университет на экзамены, так хотелось мне учиться,— вспоминал он позднее в дневнике,— и когда свалился, упросил отсрочить экзамены до осени и сдал их, несмотря на то что каждая поездка в университет стоила мне мучений и стыда незабываемого...» В день, когда надо было писать сочинение, Марк чувствовал себя особенно плохо, сидеть он не мог и потому, забравшись в самый дальний конец аудитории, лег на стульях и писал лежа. За партами его не было видно, и женщина-экзаменатор, собрав работы абитуриентов, все удивлялась, почему не хватает одного сочинения, пока не обнаружила Марка лежащим за партами: он увлекся своей темой и не расслышал, что пора сдавать написанное.

Эту историю Марк рассказывал со смехом, и только годы спустя я узнал из его дневника, как дорого стоили ему эти экзамены: после сочинения он совсем слег.

Двумя годами позже, когда Марк хлопотал о переводе на очное отделение, одна неумная особа из университетской канцелярии попрекнула его тем, что еще при поступлении ему было сделано исключение и экзамены отсрочены на осень. «Как будто я виноват был в том, что меня в самое неудобное время схватил паралич,— отвечал ей Марк в своем дневнике,— как будто я виноват был, что мог тогда только ползать.

И будто нужно было бы это снисхождение, если бы не мое горькое, упрямое желание учиться, попасть в университет, желание, заставлявшее меня преодолевать черт знает что».

Он все-таки добился тогда своего, поступил, хоть и заочником, на филологический факультет. И с настоящим жаром увлечения, будто назло невзгодам болезни и тяготам быта, принялся осваивать филологическую премудрость: вместе со всеми потел над переводом с латыни знаменитой главы «О происхождении тирейцев» из «De bello gallico» Цезаря, учился фонетически транскрибировать «Старуху Изергиль» и, наконец, под руководством прекрасного педагога Николая Ивановича Либана написал первую свою большую самостоятельную работу «Оды Ломоносова и Державина».

Университет ознаменовал особую эпоху в жизни Марка: новые товарищи, друзья, лекции, встречи, споры, книги, та казавшаяся ему необыкновенно яркой и полной обычная студенческая жизнь, о которой он мечтал на больничной койке и которой издали завидовал.

Марк с детских лет писал стихи, у него уже исписана ими не одна тетрадка. Но филологические занятия в университете потеснили это увлечение. Лишь время от времени, и все реже, на полях конспектов и случайных листках он набрасывает рифмованные строчки. И среди них такие:

Манежная площадь... Университет...
Влюблен. Как к человеку привык...
Писать бы стихи
не на бумажном листе,
А на снежном листе
развернутых мостовых.

Эти наивные, полудетские стихи имели одно достоинство, которое потом будет отличать все написанное Щегловым-критиком: искренность чувства.

Отныне университет для Марка — все. Но студенческая его жизнь тогда только еще начиналась. Впереди были новые печали и радости, тяжелое обострение и больница в Поливанове, сдача экзаменов в постели, опять надежда на выздоровление и радость встречи с Москвой, счастливые часы в семинаре Гуд-

зия и его беспокойные вопросы: «А сколько вам лет?», «А кто ваши родители?».

Когда Гудзий впервые спросил его об этом, ему было двадцать пять лет.

Мать Марка рассказывала мне, как он ликовал, когда вскоре после войны вышел из Звенигородской больницы и смог будто заново познакомиться с манившим его городом, ездил из дома в центр — «смотреть Москву». Костюма сносного у него не было — он убегал из дому прямо в пижаме, надетой на кожаный корсет, в отцовской старой кепке, обмотав шею красным шарфом. Так он ходил до самых заморозков, и я хорошо представляю себе, как в яркий осенний день он идет на костылях по улице Горького, спускаясь от Моссовета к телеграфу, вертит головой по сторонам, всему удивляясь, улыбаясь прохожим, которые с сожалением оглядываются на эту нелепо одетую фигуру инвалида в пижаме и не подозревают, какой праздник празднует сегодня его душа.

Он любил Москву как-то особенно, напряженной и нежной любовью. С нею соединялось в сознании чувство дома, выздоровления, возвращения к жизни. И еще чувство родины, свежая в те годы память о героизме древнего города, только что пережившего смертельную опасность в войне с врагом и отстоявшего себя.

Вот страница из его студенческого дневника:

«После вчерашних университетских хлопот и треволнений долго сидел в Александровском саду, недалеко от арки белых ворот. В саду бело, пустынно. Шелестит вьюга, мириады снежинок танцуют и мчатся в воздухе. Вдали, под Кремлевской стеной, мальчишки катаются на салазках, изредка медленно прошествует белый с головы до ног милиционер, и больше никого. С Моховой доносится шум движения, автомобильные гудки, где-то продолжается, кипит жизнь, а здесь ветер, снег, поседевшие от времени камни Кремля, пустые, со снежными подушками, скамьи, редкие прохожие, тишина, и крепостная башня с медленно по ветру поворачивающейся звездой, в которой уже заметно алеет свет. Я сидел целый час один, снег заносил меня, и было так хорошо мне и грустно-покойно. Я думал о многом, что никакого касательства к только что случившемуся со мной не имело, думал о своей

родине, о древней красоте Кремля, о том, как я люблю нашу зиму, о том, что Москва самый лирический и в то же время самый торжественный город на свете, о том, как хорошо было бы сидеть не одному, а с любимой, думал, что у меня нет ее и не будет, и что поэтому я самый несчастный на свете, думал, как прекрасен этот снежный бульвар и какая хорошая, суматошная метелица сегодня, и что я обязательно буду писать стихи обо всем этом,— и еще о многом думал — о значительном и пустяковом, о печальном и радостном, и совершенно забыл, что только что потерпел такую хлесткую и горькую неудачу в деле, которое еще вчера решало для меня вопрос о счастье».

Когда мне в руки впервые попал дневник Марка Щеглова, ныне известный под названием «Студенческие тетради», я еще раз убедился, как необыкновенно богато был одарен от природы этот человек. На страницах его дневника мы видим юношу сороковых годов, романтически, идеально настроенного, пылко верующего в справедливость. Это человек редкой чистоты души, ощущающий чужую боль и беду до забвения своей.

Может быть, еще и из боязни одиночества, вызванного болезнью, у Щеглова такая открытость и интенсивность чувства, порой он поддается романтическим порывам почти до экзальтации. И хотя юношеские рассуждения его часто наивны — в них неизменно щемящая искренность, впечатлительность человека, во сто раз ярче, чем окружающие, впитывающего слова, краски и звуки, одаренного поразительной восприимчивостью и оттого легко увлекающегося и лишь задним числом начинающего сверять с требованиями трезвого рассудка захватившие его чувства.

В первые послевоенные годы семье Марка Щеглова жилось скудно и трудно, трудно в самом житейском, материальном смысле. Мать почти не работала, много болела. Марк тщетно рассылал в редакции свои стихи, в поисках заработка обивал пороги различных учреждений. В 1948 году ему повезло, и он совсем было устроился в артель, где делали пуговицы и тюбетейки. Но как раз в это время из-за нерасторопности технорука, не сумевшего сбыть продукцию, артель затоварилась — 1,5 миллиона пуговиц лежали без движения. Марк так и не попал туда. Зато он стал при-

носить домой кипы фотографий из фотоателье на Большой Грузинской и вечерами ретушировал их. Потом ему удалось пристроиться рисовальщиком в артель «Художник» имени Доватора и в мастерские художественной игрушки. Все это давало возможность кое-как свести концы с концами, не бросая учиться.

На первый литературный гонорар он купил кровать с железной сеткой — до той поры спал на сундуке. И все удивлялся, как щедро платят в журнале.

— Такая куча денег,— говорил он, растерянно пожимая плечами.— Мне кажется, что я кого-то ограбил...

Когда Марк Щеглов стал уже известным критиком, ему приходилось порой выслушивать упреки в том, что он «не знает жизни». Говоря это, люди, знавшие и понимавшие жизнь в тысячу раз меньше, чем он, с фальшивым сочувствием пожимали плечами: ничего не поделаешь, такая болезнь...

Он не знал жизни? Он, перевидавший сотни разных людей в своих скитаниях по больницам и санаториям, он, переживший то, что в его годы мало кому пришлось пережить, он, испытавший нужду, холод и одиночество и изведавший силу товарищества и человеческой поддержки,— он не знал жизни?

Нет, жизненный опыт Марка Щеглова был не так уж мал, а в особенности для человека, умевшего так видеть, чувствовать и впитывать в себя увиденное, как умел он. Ведь можно прожить необыкновенно насыщенную впечатлениями жизнь, быть участником крупнейших событий и не накопить опыта: можно смотреть на предмет в упор — и не увидеть его.

А бывает наоборот. Критик должен знать жизнь? Да знал ли жизнь Добролюбов, получивший домашнее воспитание в семье нижегородского священника, пять лет проучившийся в духовной семинарии, четыре года — в Петербургском педагогическом институте и потом четыре года, до самой смерти, проведший почти безвылазно в стенах редакции «Современника»? Знал ли жизнь Писарев, если вся его судьба — это детство в дворянской семье, петербургская гимназия, историко-филологический факультет, пять лет сотрудничества в «Русском слове», четыре года заключения в крепости и нелепая смерть на морских купаниях в двадцать восемь лет? Для человека, плоско понимающе-

го жизненный опыт писателя, связь литературы с жизнью, сомнения здесь неизбежны: «жизни они не знали», и классиков критического слова предохранит от упреков разве что их посмертная слава. А между тем кто оспорит, что человеческая зоркость, талант понимания жизни и острое чувство современности сделали их людьми, далекими от мертвой книжности.

Так и Марк Щеглов: в своей короткой жизни он успел многое испытать и перенести, любил жизнь страстно, до какой-то даже исступленности, учился вглядываться в нее, понимать людей — и оттого в его первых же критических статьях нашлись слова, поразившие своей правдой читателей.

«Для меня, в сущности, вся жизнь, любая жизнь — в новинку,— писал он в 1951 году в письме из Поливанова.— Я рад без конца и без устали смотреть, смотреть на все, что выделывает вокруг меня жизнь. Это ведь дьявольски заинтересовывает. Столько судеб, событий, преображений, столько красок, звуков, картин, столько организмов, в конце концов!.. Вот как-то так я воспринимаю жизнь, и никакая чудовищная механика и тонкотканая философия не способны это первичное во мне уничтожить. И как всякая протоплазма, как каждая клетка, я до ужаса страшусь одного — смерти. Для меня жизнь вообще имеет одно лишь дурное свойство — ограниченность во времени. Мне в высшей степени наплевать на атомную бомбу и на все подобное, как на фетиш,— но оно убивает, вот что страшно. И даже если б я расщепился, погиб, то я все равно не был бы побежден, потому что до последнего мига был переполнен жизнью и жаждой жизни, дыхания, зрения! И это, понимаешь, наперекор всему, наперекор любому аду, временно восцарствовавшему на планете. И хотя я понимаю, что все это — и чувства и фразы — достаточно примитивно и по-телячьи, может быть, но так это во мне сильно и идет изнутри, что я готов, вероятно, ломясь в открытые двери, сумасшедше, пьяно доказывать и прививать это каждому встречному и поперечному, как что-то сугубо мое, неповторимое и особенное!»

Надо много раз быть на краю смерти, чтобы так полюбить жизнь, так дорожить каждым мигом ее, каждым ее прикосновением. Открытость Марка, его жадное тяготение к людям, естественно, рождали от-

ветные чувства. Он не был обделен помощью, товариществом и поддержкой.

В Поливановскую больницу под Подольском приезжали к нему принимать экзамены университетские профессора. Из новых товарищей по курсу образовался мало-помалу широкий дружеский круг. Его навещали, о нем помнили.

Марк всегда говорил об этом времени с нежной благодарностью. Ведь он готов был отчаяться, когда снова слег посреди университетского курса, не окончив едва начатого, и ему казалось, что это конец: паралич подступал почти что к горлу. «Может быть, я был бы морально скручен,— писал он в эту пору в дневнике,— может быть, я возненавидел бы такую жизнь и себя, но в этом мире «чуть что не так — весна». Обо мне узнали в университете. Почувствовалось мое долгое отсутствие. Ко мне пришли — сначала как вежливость, из сочувствия обычного. Потом что-то случилось — други, сокурсницы стали бывать у меня с радостью для себя — чаще, чаще, ближе, теплее, подробнее, лиричнее, проще,— я сделался предметом самых самоотверженных и веселых забот и треволнений. Снова впрягся в занятия. Помогли. Сдал три экзамена. Заболел благодарностью и любовью. Понял мир, лето, молодость... смысл всего».

В 1952—1953 году черные дни обострения были позади. Марк стал ходить, вернулся к обычному ритму студенческой жизни. Он с блеском защитил дипломную работу о повести Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Почему он выбрал эту тему? Был тут, наверное, какой-то неосознанный вызов своему страху перед безнадежной болезнью, желание убедиться, что он уже встал над нею и победил ее.

Марк Щеглов любил веселье, шутку, товарищеское застолье, дружеские споры, песни за полночь и поздние возвращения домой, когда мы шли под легким снежком, взявшись за руки вчетвером-впятером и перегородив шеренгой тротуар, а он старался не отстать сбоку со своими костылями.

В те последние три года, что я близко знал его, он производил впечатление человека, вырвавшегося на простор после неволи и желающего поспеть захватить все радости жизни не в пошлом понимании жуира, но в человеческом смысле — радости любимой работы, признания, дружества, веселья, любви. Он стремился к полноте жизни — чувствовал, переживал все ярко, как в ранней юности.

Ему бы путешествовать на край света, исходить землю своими ногами, все изведать и всем успеть насладиться. А вместо этого перед ним постоянно маячил призрак возвращения к четырем стенам палаты, к больничной койке.

В своих стихах он хотел высказать это чувство жадности к жизни, одержимости ею:

Только слишком я привык к дыханию.
Только слишком — до смешной тоски —
Я влюблен в высокую механику
Звезд надмирных и стихов мирских...
И, должно быть, потому неистово
Я молю, когда насядет хворь:
Не покинь меня, о ненавистная
Жизнь моя...
Томи меня!
Неволь!

Такое жизнелюбие не было оптимизмом искусственно подогретым, оптимизмом по заказу. Марк знал и минуты горького отчаянья, холодной безнадежности и тоски. Но он не позволял себе раскиснуть и, помня, как сладко иногда бывает похандрить и пожаловаться на судьбу, не давал в этом воли ни себе, ни другим.

Его душевная деликатность располагала к искренности, открытости. И иной раз товарищи разрешали себе «разоткровенничаться» с ним. Однажды добрый знакомый Марка, придя к нему в дурном настроении, горько жаловался на жизнь. Марк взял с постели, на которой сидел, оказавшийся под рукой томик Блока — он очень его любил — и прочел:

«Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта.
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута...

Ты ведь так не напишешь? Нет? Так что же ты ноешь?» — И Марк захлопнул книжку.

«Мне стало стыдно,— рассказывал этот товарищ Марка,— и хандра моя вдруг исчезла».

Может быть, из-за болезни он жил как-то особенно близко с природой — с природой скудной, городской. Остро, почти мучительно резко воспринимал смену времен года — зимние метели, гололедицу, оттепели, весеннее солнце, летние грозы.

Когда он шел по улице, то, чтобы не поскользнуться, смотрел себе под ноги, но временами останавливался и, счастливо щурясь, задирал голову к небу.

Дождь прошел, и стало слышно
Все, что было в отдаленье,
За оградами, за крышами,
За домоуправленьем.
Из своей квартиры вышел
И стою, дохнуть не смея,
Потому что стало слышно
Поднебесье с подземельем.

Необыкновенно чутко схвачен тут этот краткий миг тишины и свежести после летней грозы над городскими крышами.

Он был человеком, свято верившим в справедливость. Криводушие, ложь, грубость встречали у него немедленный протест. Если на его глазах совершалась несправедливость, он ввязывался, не успевая подумать, какие последствия сулит это ему лично. Житейская мудрость и холодный расчет были в этом отношении чужды ему. Все знают его таким по литературной работе. Но это была и жизненная его черта.

Мы засиделись однажды на товарищеской пирушке где-то у Кировских ворот и вышли из гостей на улицу во втором часу ночи. У подъезда стояли трое: два подвыпивших парня и молодая женщина. Она что-то сказала одному из них, и тот с размаху ударил ее по щеке. Я не успел опомниться, как Марк, растопырив костыли, раскрылетившись, как щегол, и подняв подбородок вверх, что придало ему особенно боевое выражение, налетел на обидчика, что-то крича и яростно наступая, получил толчок в грудь и упал на панель, ломая костыли. Я кинулся на парня, и тот почел за лучшее ретироваться, тем более что к нам уже подбегали шедшие следом товарищи. Мы помогли Марку подняться и увезли его в такси.

На другой день я пришел в Электрический переулок и застал Марка в отчаянно скверном настроении. Сломанные костыли валялись в углу, а сам он лежал на кушетке и разглядывал географические карты в старом атласе. Покосившись на мать, он смущенно сказал мне: «Знаешь, я совсем пал духом... Скверно жить без моих подпорок. И как я ухитрился сломать их об эту проклятую решетку?»

Было ясно, что он уже успел изложить дома свою версию событий.

Я сбегал в ближайшую аптеку, купил Марку новые костыли и тут же подогнал ему ручку по росту. Он ожил, возликовал, сделал несколько прыжков по комнате и, когда Неонила Васильевна вышла на кухню, сказал, понизив голос: «А ведь мы их все-таки побили, а?»

В последний год в качестве аспиранта Гудзия Марк Щеглов выступал на защитах дипломных работ официальным оппонентом. Не знаю, сохранились ли те подробные, обстоятельные отзывы, какие он писал на эти работы. Выступал он умно, темпераментно, только слишком ему все нравилось. Он не умел язвительно полемизировать с дипломниками, на что по младости лет так падки были другие аспиранты, и, напротив, щепетильно отмечал всякий проблеск самостоятельной мысли, малейшую находку.

Потом Гудзий пристроил его принимать зачеты, и Марк, хотя был горд этим, застеснялся, будто надел мантию не по чину. Студенты повалили к нему толпой: спрашивал он внимательно, но зачет выставлял и за самый жалкий ответ. Видно, слишком свежо было воспоминание, как сдавал сам.

Тем, кто мало его знал, он мог показаться человеком слишком мягким, созерцательным, уступчивым. Но это было следствием его душевной деликатности: боязнью причинить неудобство или огорчение, показаться навязчивым и т. п. В этом было высокое уважение к личности собеседника.

Его темперамент полыхал в его статьях, и он же вырывался наружу в застольном дружеском веселье, в песне, в споре.

Марк Щеглов любил и хорошо знал музыку. Бетховен, Шопен, Моцарт — и не только в самых изве-

стных вещах — были ему своими. На стене его комнаты висел портрет Скрябина, которому он поклонялся. Но в его отношении к музыке, в выборе жанров ее не было никакого снобизма. «Что поделать,— говорил он со вздохом,— если мне нравятся и Бетховен, и хороший джаз. Я обожаю «Токкату» Баха, но мне нужны и песенки французского шансонье». И Марк напевал тихонько: «C'est à l'aube, c'est à l'aube...» Эта песня «На рассвете», в которой говорится о раннем, предутреннем часе, когда расстаются влюбленные и преступника ведут на казнь, особенно нравилась ему.

Трудно рассказать о том, как пел он сам, но и забыть этого нельзя. Он не обладал большим голосом, а привораживать умел. Пел он русские народные песни, пел романсы «Не искушай...» и «Ночи безумные», любя разводить их на два голоса, пел и студенческие, самодельные, шуточные — «Зеленые глаза», «Ночь беззвездна, думать поздно»... Гитара ходила в его руках, голос, глуховатый вначале, становился звонким и сильным, пальцы выделывали лихие аккорды, и он кончал песню на какой-нибудь особенно звенящей теноровой ноте.

Музыкальность его была безупречной. Как-то лопнули струны на гитаре, что висела у него за шкафом. Он снял со стены балалайку — гриф ее треснул и был связан какой-то тряпочкой — и еле слышно завел: «Светит месяц, светит ясный...» А потом звонче, быстрее, звонче, быстрее, и вдруг пошли такие коленца, что я ахнул. Никогда не знал, что он и это может.

Мы были с ним на вечере сонат Скрябина в Малом зале Консерватории. Концерт был удачный. Марк плавал от удовольствия в своем кресле. А когда спускались по лестнице к выходу, он упал, выронил костыли, и они поехали вниз, дребезжа по ступеням. Я помог ему подняться, подобрал и подал ему костыли.

Всю обратную дорогу Марк был мрачен, неразговорчив, и, когда я спросил его, не ушибся ли он, не повредил ли ногу, он досадливо ответил: «Разве в этом дело? Я же знаю, что испортил тебе все впечатление от музыки».

Верный защитник реализма, Марк Щеглов не любил «простецкость», заурядное жизнеподобие в ис-

кусстве. В семинаре Гудзия много толковали о разрушении старой театральной условности в чеховской и поздней толстовской драме, о ее приближении к житейской реальности, полнейшему правдоподобию всех реплик и обстоятельств. И вот, встретив однажды Марка на улице в пору летних каникул и остановившись поболтать с ним, я по второму слову услышал: «А знаешь, все-таки самое главное в «Вишневом саде» не правдоподобие реплик и не утонченный психологизм».— «А что же?» — «Да сам вишневый сад». И он стал говорить мне то, что я не хочу пересказывать неточными своими словами, потому что потом мы все могли это прочесть в его статье о драматургии:

«Для того, чтобы передать в пьесе, скажем, историческую «смену», подобную той, которая изображена в «Вишневом саде», можно заставить персонажей «рассказывать» о прелести уходящих «дворянских гнезд», изобразить одно из них, но вот Чехов насадил за окнами усадьбы Раневских сияющий вишневый сад, «прекраснее которого нет ничего на свете», заставил его присутствовать в каждой сцене — трепетать лепестками и звенеть птицами в начале пьесы и глухо падать под топором в последней; он поселил в доме душу этого сада и сделал ее «телесной», смеющейся, плачущей, декламирующей — в образе Ани, и вот уже «сад» — не просто «сад», а вся неисходная весенняя прелесть и грусть жизни, сияние и пение любви, заря будущего. Так взятый из жизни точный факт содержания пьесы (за долги продается вишневый сад) стал пленительным иносказанием и тем самым «правдой искусства».

Марк Щеглов готов был принять будничность как предмет изображения, но не как черту творчества. Красота формы, нарядность, оригинальность, даже эксцентричность подкупали его. Побывав на спектакле «Клоп» в постановке Плучека, он восхищался смелым гротеском мещанской свадьбы и сам, вспоминая эту сцену, пытался изобразить танцующего буденовца с дамой.

Последняя запись в зеленом блокнотике, который он взял с собой на юг,— цитата из О. Генри: «Фантазия — почти единственный данный искусству способ говорить правду». Это, может быть, последние слова, написанные его рукой.

Его терпимость, мягкость были хорошо известны, и в характеристике, которую дал ему при выпуске университет, как на единственный недостаток было указано: «В оценке людей и ошибок товарищей проявляет либерализм и мягкотелость, которые приводят его к принципиально неверным выводам. С этим недостатком ему надо активно бороться».

Странный упрек! Это правда, что Марк Щеглов был мягким, доверчивым, рассчитывающим на встречное добро человеком. Но он становился тверд и несговорчив, если дело касалось его принципов, литературной и личной чести. Никакие силы не заставили бы его поступиться своими задушевными понятиями или признать то, в чем он не был по совести убежден.

Он был нетерпим к литературной накипи, к приспособленчеству и неискренности в критике. Среди критиков, которых он не жаловал, было несколько особ женского пола — он называл их «парками» в память об известном мифологическом сюжете. Говорил, что они напоминают ему старух из «Жизни человека» Леонида Андреева: склонились над еще теплым телом литературы и зловеще шепчут над ним: «Умирает... умирает...»

Когда кто-нибудь жаловался при нем, что трудно победить рутину, противостоять закосневшим мнениям, часто весьма агрессивным в самозащите, Марк говорил: «Так надо делать хотя бы несомненности. Будем делать несомненности!»

Его «несомненностями» были — говорить правду, не кривить душой ни при каких обстоятельствах, помогать всякому, кому можешь помочь.

Если он узнавал о дурном поступке — личном или литературном, о тех способах и приемах, какими защищали себя порой ничтожные люди, прибившиеся к литературе, демагоги и рутинеры, он говорил: «Ничего. Мы их переживем. Мы их переживем».

Он рассчитывал жить долго и счастливо.

В его рукописях я нашел строчку неоконченного стихотворения:

Мне нужно от жизни
Самое малое —
Не умереть ни разу...

Вот это ему не удалось.

У каждого серьезного критика, о чем бы он ни писал, есть своя основная идея, которую он то более, то менее явственно, но с удивительным постоянством несет в своих статьях, которая неразделима с его личностью и составляет, говоря словами Белинского, «пафос» его деятельности. Для Марка Щеглова этим пафосом была художественность как проявление человечности. Не борьба за «мастерство» — тогда многие, точно обрадовавшись находке, стали повторять это слово,— а борьба за искусство, внимательное к человеку. Он как будто вернул критике способность любить литературу, восхищаться ею до дрожи в голосе. Отражение искусством жизни, социальные и нравственные проблемы — все это входило элементами в его критику, но по своей силе уступало одному — непосредственному эмоциональному впечатлению от искусства, ощущению искусства как праздника жизни.

Могут сказать, что в таком случае в этой критике есть своя неполнота, односторонность. Быть может. Но разве нет в ней и своих великих достоинств?

Перечитываю его статьи, думаю о нем.

То, что по специальности и начальным склонностям Марк Щеглов был историком русской литературы XIX века, оставило заметный след на всей его работе. Он заново сблизил в своих статьях критику и литературоведение, ломал перегородки, разделявшие изучение классики и современности. Отбросив обидную снисходительность по отношению к творчеству нынешних писателей, Щеглов мерил их теми же мерами, какими во все времена мерилось настоящее искусство. Он уничтожил в своей критике соблазн двух разных счетов в литературе: одного — признанно высокого — по отношению к литературе прошлого, другого — нетребовательного и сниженного — по отношению к нашим дням. Серьезная филологическая культура, тонкое понимание творчества Толстого, Тютчева, Глеба Успенского, Чехова сообщали как бы иной масштаб и вес его суждениям о литературной современности.

А с другой стороны, его статьи о классическом наследстве, споря с духом школярского сухоядения, академического самодовольства, ложной мудрости, приб-

лизились к живому, для читателей, «для народа читателей», как говорил Щеглов, роду критической литературы.

Последние слова взяты мною из набросков к его несостоявшемуся выступлению на дискуссии о Маяковском весной 1953 года. «Я выступаю здесь,— хотел сказать тогда Марк Щеглов,— не как критик-маяковед и не как поэт-маяковист, не только потому, что не могу считать себя профессионалом в одной или другой области и никогда специально не работал над творчеством Маяковского, но и потому, в основном, что резко настроен против всякой монополизации имени великого поэта в такой наивной форме, как это порою у нас бывает. Я выступаю здесь тем не менее вполне ответственно, как читатель стихов, как один из целого *народа читателей,* беззаветно полюбивших поэта Маяковского с тех самых пор, когда впервые был выучен наизусть какой-нибудь его смешной детский стишок и — на всю жизнь».

Надо ли говорить, что Щеглов глубоко уважал настоящее специальное знание, как полное владение предметом, но с иронией относился к «узким специалистам» в области литературы, маскировавшим свою бездарность претензиями на академизм и «птичьим», по выражению Герцена, языком.

Сам Щеглов писал увлеченно, отдаваясь волне непосредственного порыва, заражая читателей не только мыслью, но эмоциональным своим настроением. Если книга действительно нравилась ему, то он так самозабвенно уходил в созданный художником мир, что в его собственной речи безотчетно начинали звучать интонации разбираемого автора, будь то Лев Толстой, Есенин или Леонов. Особенность чужого слога, мировосприятия писателя он умел передать с почти физической ощутимостью.

Но не прав был бы тот, кто решил, что его критика оставалась вследствие этого лишь критикой эстетической. Его оценками книг, стихов, пьес правил в конечном счете общественный темперамент, чутье правды.

Щеглов не прощал в искусстве приукрашивающей лжи, иллюстративности и того, что он называл «недостаточной воспитанностью идеала». Многие его литературные характеристики остались в памяти как

примеры острой публицистики. Стоит вспомнить хотя бы его блестящий очерк характера Грацианского в статье о «Русском лесе», несущий заряд ненависти ко всем новейшим формам социальной мимикрии.

Шагнувший в критику прямо с университетской скамьи, Марк Щеглов принес с собой прямоту и горячность студенческих обсуждений в общежитиях, на семинарах, в научных кружках. Он будто знать не хотел никаких чинов и рангов в литературе, стоял вне внутренних литературных отношений, пристрастий и «соображений», и это придало авторитет независимости его слову.

Никакие самые громкие литературные имена, созданные прошлыми заслугами, не должны спасать авторов бедных содержанием книг от беспристрастного критического суда над ними, говорил когда-то Чернышевский в своей незаслуженно забытой статье «Об искренности в критике». Верный этому завету, Марк Щеглов не робел сказать по справедливости суровые слова и обеспеченному до конца дней славой беллетристу, и драматургу, ставившему свои пьесы во всех театрах страны и привычно неуязвимому для рецензентов. Естественно, это мало нравилось критикуемым авторам, но критику помогло завоевать добрую репутацию у читателей.

Конечно, Щеглову приходилось порой высказываться и по поводам не слишком крупным, иметь дело с книгами преходящего значения и даже вовсе не достойными его суда. Он терпеливо занимался тем, что называл «литературной поденщиной». Но зато какую свежую силу, энергию увлечения получало его перо, когда он сталкивался с книгами, действительно стоившими серьезного разбора!

Щеглов выискивал такие книги, и если не находил их в текущей литературе, обращался к нестареющему литературному наследию, в том числе и совсем недавнему. Сейчас уже почти забыто, что статьи Щеглова «Есенин в наши дни», «Корабли Александра Грина», «Спор об А. Блоке» были актом нового утверждения в сознании читателей этих имен, после долгого замалчивания вернувшихся в советскую литературу. «Наша социалистическая культура, крепко став на ноги, не может пренебречь ни единым правдивым человече-

ским свидетельством эпохи революционной ломки, тем более таким чутким и бескорыстным, как поэзия С. Есенина»,— писал Марк Щеглов. Стоит вспомнить, что эти слова, мнящиеся ныне такими бесспорными, несли в себе в пору их написания острый полемический смысл.

Марк Щеглов умер слишком рано, и трудно предсказать, в каком направлении развился бы дальше его талант. Но думаю, он навсегда сохранил бы в себе ту любовь к литературе, горячность и прямоту, какие отличают все лучшее, что им написано.

Последнее, что он читал в поезде по дороге на юг, был роман «Не хлебом единым», только что появившийся тогда в журнале. Он не успел дочитать книгу Дудинцева и не успел написать о ней. Подумать только, так недавно это было, а какой далекой историей уже кажется!

Без Марка Щеглова взошли в прозе и поэзии новые имена, появились замечательные книги. Без него узнали читатели Айтматова и Быкова, Залыгина и Белова, Семина и Домбровского, Астафьева и Бакланова,— не говоря уж о Солженицыне или И. Бродском. Без него вернулись к нам книги Бабеля и Платонова, Заболоцкого и Цветаевой. Без него мы впервые прочли прозу Булгакова. Без него спорили о «деревенской» теме и «четвертом поколении», о мемуарах Эренбурга и молодых поэтах, о неделимой правде и высоком гуманизме.

Обо всем этом он мог написать, наверное написал бы, и написал бы лучше нас.

В начале мая 1956 года Марк был у меня на домашнем празднике. Он казался весел, как обычно пел, шутил, рассказывал. Было уже за полночь. Гости разошлись мало-помалу, а он сказал мне вдруг: «Можно я еще посижу?» — и, оставшись один, долго, с удовольствием пил чай у открытого окна, пока со стола убирали посуду. Но поднялся со стула и заковылял как-то с трудом, а потом признался, что не хотел уходить вместе со всеми, чтобы не стеснять своей малоподвижностью веселой молодой компании. Я вышел его проводить, и тут на лестничной площадке он вдруг сказал мне: «Это, может быть, последнее мое лето».

В середине августа в душный летний день мы случайно столкнулись с ним под липами у университетской ограды на Моховой. Я только что вернулся из Прибалтики и был уверен, что он на даче. Оказалось, все лето он просидел безвыездно в раскаленной солнцем Москве, много работал и теперь мечтал уехать к Черному морю. Мы условились встретиться сразу же по его возвращении из Анапы.

Хочу привести теперь отрывки из двух писем, оставшихся в его бумагах. Одно он получил перед отъездом на юг из Москвы, другое написал сам, но не успел переписать набело и, видно, раздумал отправлять.

«Дорогой Марк Александрович! — писал ему Эм. Казакевич.— Ваша статья о драматургии кажется мне произведением зрелого ума и нешуточного таланта... При чтении я испытывал восхищение, давно уже не сопутствовавшее чтению критических статей. Что говорить! Думаю, что в Вашем лице советская литература — может быть, впервые — приобретает критика выдающегося. Я не боюсь сказать Вам это: глубокий ум, который Вы так блестяще обнаруживаете, легко оградит Вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похвал — моих или людей более значительных, чем я».

Второе письмо — ответ Марка Щеглова своей читательнице, школьнице из Тбилиси Джульетте Чавганидзе:

«Дорогая Джульетта, Ваше письмо я прочитал давно, потом куда-то его засунул и только теперь извлек и перечитал со вздохом...

Вы, вероятно, и не помните того, что наговорили мне? Будто все мы — критики какой-то «группы Померанцева» — в прошлом хорошие люди — сейчас отступили; что для меня лично это отступление началось с не полюбившейся Вам чем-то рецензии на Бианки и закончилось позорной статейкой «Приговор народа»; будто бы я выдумал себе какую-то «отвратительную» позу «отверженного рыцаря»; что вообще я ничтожный трус и ренегат...

Вы думаете, что все это было мне приятно читать? Первое Ваше письмо было куда приятнее... Единст-

венное, что все-таки составляет для меня бочку меда на ложку дегтя в Вашем письме — это сознание того, что ты здесь что-то царапаешь, изредка печатаешь, порою даже не придавая тому значения, а где-то далеко требовательная и суровая девочка все читает и ничего не прощает...

Не надо унывать, Джульетта, и не надо ничего оплакивать. Мы живем в необыкновенное, суровое, полное нежданного-негаданного время. Думайте о серьезном, ничего не бойтесь, будьте всегда честной и любите людей.

Когда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, дорогих слов, картин, музыки, когда я знаю, что стоит только позвать и — сколько всех нас откликнется! — то можно ли из-за того, что в литературе сейчас, скажем, невесело и приниженно, можно ли из-за этого терять голову! Все будет хорошо!

Не бойтесь, Джульетта, я напишу когда-нибудь, может быть скоро, статью, которая и Вам понравится. Вы не станете меня так жучить, как в своем последнем письме.

А статья о Бианки все-таки одна из моих любимых, и Вы здесь не правы, я думаю. Всего доброго Вам. Пишите, если захотите. Зовут меня Марк».

Джульетта хотела встретиться и поговорить с Марком, но она приехала в Москву и отыскала его квартиру в Электрическом переулке, когда его уже не было в живых...

Представляю и не могу представить ее лицо, когда она прочла это адресованное ей и неотправленное письмо.

После смерти Щеглова вдруг стали одна за другой появляться его статьи, рецензии, исследования. И долго еще не иссякал этот поток посмертных публикаций. Среди них были статьи о Грине и Вс. Иванове, предисловия к книгам польского классика Крашевского и переписке Толстого с Чертковым, рецензии в «Новом мире» и «Дружбе народов», статья «Поэзия обыкновенного» в «Молодой гвардии», большие исследования «Верность деталей», «Реализм современной драмы», «Очерк и его особенности». Всего этого Марк не увидел напечатанным. Его давно уже не было в

живых, но оставалось впечатление, что он еще продолжает писать и откликаться на события литературной жизни, как один из ее участников.

Я точно помню тот вечерний час и тот перекресток улиц у Библиотеки Ленина, где, перейдя мостовую до средней белой черты и пережидая транспорт, я поздоровался со своим знакомым, который, подойдя ко мне, будто невзначай сказал: «Ты ведь слышал, конечно, что Марк Щеглов умер?» Я не сразу понял смысл его слов. «Как? Когда?» Я слушал его и не понимал и поверить не мог в то, что слышу. Мы долго стояли посреди улицы, мимо мчался поток машин, он что-то втолковывал мне, что-то объяснял, говорил о какой-то телеграмме из Новороссийска, строил свои предположения, а я едва слышал его, и у меня в висках било: Марк умер... Марк умер...

А умирал он так. Неонила Васильевна рассказывала о его последних днях, заново переживая час за часом его гибель. Анапа сначала не понравилась ему — скучный, пыльный, жаркий город. Но он взобрался на высокий берег, откуда открывалась панорама моря, и как-то вдруг утешился, повеселел. Желтые и коричневые краски береговой полосы и бесконечная морская синева напомнили ему что-то свое. «Настоящий гриновский городок, мама»,— сказал Марк.

Накануне болезни под вечер они ездили на катере на морскую прогулку. Марк стоял на носу, соленые брызги долетали до него, и он долго, до головокружения вглядывался в морскую пучину, свесив голову и следя за разводами пены под бортом маленького корабля. Домой он вернулся довольный, но вечером долго не мог заснуть. Немного побаливала голова, быть может оттого, что на катерке крутили пластинки через радиорубку. Пришли домой — и там до поздней ночи из городского сада доносилась прилипчивая мелодия входившей в моду песенки «Джони ит з бой фор ми... и...».

На другое утро Марк рано ходил купаться, позавтракал и сел за статью о рассказах Лаврова и за письмо в отдел критики «Молодой гвардии». Письмо это опубликовано. В нем Марк писал:

«Сделав усилие между утренним и вечерним пляжем (умирайте от зависти!), я перечитал наипоследний раз свою статью. Из-за солнца, должно быть, я с большим трудом припоминаю, что же, собственно, мне нужно было в ней еще изменить. Мне легче держить на расстоянии, но, честное слово, я не могу согласиться (...), что на деле, а не на словах в статье существует противоречие между первой и второй ее половинами. Это только одна видимость, ибо если я заставляю Лаврова взглянуть глубже на причины житейского страдания и сделать попытку опровергнуть устои того, на чем держится в его рассказах все счастье и несчастье (см. стр. 15—17), то это не значит, что я солидарен с теми, которым претит самый мир рассказов И. Лаврова, которые брезгают коркой хлеба и коммунальной квартирой...

И еще одно скажу, мне, удивительное дело, статья эта начала нравиться. Тут есть что-то особенно дорогое — не Лавров, а общие слова, которые касаются, как кажется, самого важного сейчас и в литературе и в жизни. Плохо ли, хорошо ли, но это написано, и неужели же вы, орган вольной русской прессы, выставите меня вон!

В моем письме зазвучали рыдания, и поэтому надо кончить.

Как-то вы живете там, в этом Вавилоне? Слушаем по радио метеосводки: дождь, дождь. Жалкие и несчастные маленькие люди, знайте, что здесь на этом берегу каждый день 30° с гаком и море синее (как очи Зои К-ой, сказал бы я, но боюсь ошибиться в цвете). Всего хорошего. В Москве буду 20 числа. М. Щеглов».

Марк заблуждался. Видимо, ему трудно было перечитывать статью и припоминать замечания редакторов не из-за солнца. Когда мать вернулась с пляжа, вокруг Марка хлопотали соседи. Ему вдруг стало не по себе. Он лежал на кушетке и просил пить. К вечеру температура подскочила до 40° и начались ужасные три дня.

В больнице не сразу поставили диагноз. Думали, что он чем-то отравился, давали желудочные лекарства. А мать бегала под палящим солнцем по городу и искала для него минеральную воду — так велел врач. Потом появились подозрения на менингит. Сде-

лали один укол стрептомицина. На второй день к вечеру ему стало лучше, и он думал даже, что скоро выйдет из больницы, просил принести домашнюю одежду. Но наутро, когда мать пришла в больницу, то еще в коридоре услышала отчаянный крик: «Няня!..» Это кричал Марк, кричал громко, надрывно, как было непривычно для него. Ему опять стало хуже. Голова разламывалась от боли. В Анапе не оказалось больше стрептомицина, или его не решались вводить прямо в позвоночный столб, как нужно было, не знаю. Но только единственный выход оставался — ехать в Новороссийск: там был туберкулезный диспансер, стрептомицин, врачи-специалисты.

С трудом договорились с шофером больничной машины и долго торговались с санитаркой из-за одеяла, на которое хотели уложить Марка: никак не желала она отдавать неведомо куда казенное имущество. Была уже половина десятого, ранние южные сумерки сгустились. А мать с Марком все еще не могли уехать, не было разрешения врача. Дежурный врач заседал в это время на одном собрании, которое никак не мог покинуть. Когда он вошел к себе в кабинет, мать Марка бросилась к нему с какими-то упреками, но он оборвал ее: «Что же вы думаете, что мы бюрократы или просто так время проводим?» — «Читайте «Ухабы» Тендрякова»,— закричала ему Неонила Васильевна,— не зря она была матерью Марка Щеглова.

Потом, по дороге в Новороссийск, на тряской машине, придерживая обеими руками голову сына, она рассказала ему об этом разговоре. «Так их, мама, бей их литературой»,— отозвался Марк.

Наверное, каждое слово стоило ему в тот час больших усилий, и в этой фразе для меня — весь Марк: и горький юмор его, и сознание надвигающегося конца, и желание успокоить, подбодрить мать.

Еще в дороге он начал бредить. Ночью в палате новороссийского диспансера потерял сознание. На другой день утром 2 сентября 1956 года Марк Щеглов умер.

В Москве была получена телеграмма. Она лежит передо мной сейчас, когда я пишу эти строки: «Щеглов Марк скончался, 3 сентября хороним Новороссийске». Телеграмма была без подписи, и это дало повод некоторое время думать, не ошибка ли это теле-

графа, не мистификация ли. В смерть его поверили не сразу.

На другой день, оправившись после первых часов растерянности и горя, товарищи Марка, все, кто близко знал его и любил, решили собраться, чтобы обдумать, как точнее узнать о похоронах, что сделать для матери, как быть с литературным его наследством. Звонили по телефонам, передавали по цепочке: все, кто хочет сделать что-нибудь для памяти Марка Щеглова, все соберутся сегодня у памятника Ломоносову во дворе аудиторного корпуса на Моховой в 7 часов вечера.

Мне казалось, я буду раньше всех. Но, придя к подножию вечно линявшего от непогоды и посезонно обновляемого Ломоносова, я увидел там собравшихся людей, которые стояли поодиночке и маленькими группами, тихо переговариваясь. Утраты всегда тяжелы, но тут было другое: без Марка пустее стало в душе у каждого, пустее стало на земле. Плохо различимые в холодных сентябрьских сумерках, все подходили и подходили люди в осенних пальто, с поднятыми воротниками. Мне казалось, я знал всех близких знакомых Марка. Но сколько же оказалось у него неизвестных мне друзей!

Прошли годы, а этот круг все растет, и сегодня он шире, чем когда-либо прежде. Люди читают и перечитывают его статьи, его посмертно изданную книгу, его «Студенческие тетради» — и хотят знать о нем больше.

«В искусстве есть вечные юноши,— писал Марк Щеглов в статье о Есенине.— Когда-то в Италии певца Собинова звали не иначе как «этот юноша». В поэзии Есенина тоже увлекательно и свежо звучит звонкий и нежный юношеский тенор, хватающий за душу, и, как говорится в тургеневских «Певцах», «за самую русскую ее струну»...»

Марк подарил мне однажды журнальный оттиск этой своей статьи с надписью: «Будь и ты вечным юношей».

Великодушный друг! Я, когда-то младший твой товарищ, ныне по годам куда старше тебя и возвращаю тебе эти слова, так полно отвечающие твоей судьбе.

«Вечным юношей» останется Марк Щеглов в нашей памяти.

ИГОРЬ САЦ

Биография его была необычна. В гражданскую он служил в Богунском полку у Щорса. Из-за контузии в голову и спину год пролежал в параличе. Выздоровел. Десять лет был ближайшим литературным помощником Луначарского. Сопровождал его и в последней поездке: Луначарский умер на его руках в Ментоне, на юге Франции. Потом работал в издательствах, редактировал последнюю книгу Андрея Белого, дружил с Андреем Платоновым и Новиковым-Прибоем. На Отечественную ушел добровольцем, воевал в войсковой разведке, кончил войну капитаном 1-й Польской армии, где был вполне своим, так как хорошо знал польский язык и культуру.

К этому надо прибавить, что в 30-е годы Сац был ревностным редактором и сотрудником, задиристым полемистом журнала «Литературный критик»; в 50-е и 60-е помогал Твардовскому редактировать «Новый мир».

В литературном кругу никому не навязывался, всем был знаком, многим оказался необходим. Его блестящий живой ум, огромная память, неожиданные познания в области философии, музыки, военного дела, картографии, истории партии и теории перевода, не говоря уже о литературе зарубежной и отечественной, старой, новой и самоновейшей, изумляли специалистов. Но никакой риторики, чувства превосходства или «вещания» на публику не замечалось в нем: остроумные мысли, редкие сведения, неожиданные и часто глубокие суждения экспромтом, к случаю и всегда как бы между прочим слетали с его уст. Надо было к

тому же привыкнуть к неожиданной быстроте этих замечаний, к его короткому смешку и невнятной дикции — зубы он потерял во время окопной войны, в болотах, на Калининском фронте в 1942-м.

Я часто думал: что за диковинный характер! Он избегал публичности, солистом быть не хотел, даже в оркестре согласился бы играть разве что вторую скрипку и уютнее всего себя чувствовал за кулисами литературной жизни. По банальному счету литературных заслуг, отмечаемых в обзорах и учебниках, ничем заметным не отличился, а для живой литературы и ее людей значил многое.

Литераторы в большинстве своем приглядываются, вслушиваются, узнают и, по мудрости, приписываемой Мольеру, «присваивают» то, что показалось им интересным. Сац охотнее раздавал, чем присваивал. И не было заметно, чтобы он чувствовал от этого какой-либо ущерб душевному равновесию. Напротив, веселел.

Я всегда понимал значение для литературы этого типа людей, но затруднился бы его определить, пока не набрел на его описание в одной старой книге. Критик прошлого века П. В. Анненков, собравший то немногое, что осталось от Н. В. Станкевича, писал в предисловии к тому его переписки:

«На высокой степени нравственного развития личность и характер человека равняются положительному труду и последствиями своими ему нисколько не уступают. Мы имеем тому несколько примеров в нашей литературе, проходимых обыкновенно молчанием в так называемых историях словесности. Это объясняется формализмом вообще нашей истории словесности, в основание которой не было доселе положено изучение общества и кругов, его составляющих. Таким образом мы находим в ней имена людей более или менее прославившихся своими произведениями или (что иногда не все равно) более или менее прославляемых, но жизненного источника их деятельности мы не знаем. Случается, что между ними стоит совершенно незнакомое лицо, мало высказывавшееся или совсем не высказывавшееся перед публикой, но замешанное во все начинания эпохи, определившие воззрения и духовную деятельность целого ряда производителей и образовавшее, наконец, нравственный характер их,

который потом и отражается в литературных, художественных, жизненных и служебных делах их; другими словами, отражается на целом обществе, на разнородных слоях его. Но как подступить к подобному лицу, стоящему совершенно уединенно, без заметок в книжных росписях, без заслуг в формулярном своем списке, без критического или даже без всякого другого аттестата?.. Не всякий способен видеть работу там, где нет материальных признаков ее». Анненков считает долгом дружбы рассказать о подобном лице, «отмеченном только даром упорной мысли, отыскивающей истину без отдыха, и даром любви, которая все открытия мысли спешит уделить близким людям и не успокаивается до тех пор, пока не сообщит им ту веру в познание, ту сладость благих ощущений, какие она сама вкусила» [1].

Чтобы не задеть ханжеской чувствительности к утвердившейся в литературе иерархии заслуг, оговорюсь, что вовсе не хочу приравнять Саца к Станкевичу, репутацию которого утвердили Герцен и Тургенев и именем которого названа улица в Москве. (Та самая, где, к слову сказать, мы не однажды пировали втроем — Сац, Твардовский и я — в славном преданиями доме Энгельгардтов с надписью «Свободенъ от постоя» на столбе у ворот.) Но что Игорь Сац по силе нравственного и интеллектуального влияния, по незаметному своему действию на кровообращение литературы заслуживал бы подобной характеристики, для меня несомненно. Его меду в общем литературном улье — не одна капля. И многие авторы знаменитых ныне книг, которые он читал в рукописи, могли бы благодарно его вспомнить.

Выполняю долг памяти, который лежит на мне. Четверть века назад меня, как немного раньше Марка Щеглова, он дружелюбно, весело взял за руку и ввел в литературу.

* * *

Запомнилось, как в первый раз я его увидел. Это было в доме на углу улицы Чехова и Пушкинской площади. В старом доме, где когда-то устраивала «куртаги» и танцевальные вечера графиня Бобринская, а

[1] Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 5—6.

потом, в 80-е годы прошлого века помещалась редакция журнала «Зритель». Сюда частенько наведывались молодые, вечно с дырой в кармане братья Чеховы — художник Николай и начинающий беллетрист, студент-медик Антон, подписывавший свои рассказы и сценки псевдонимом Антоша Чехонте. Теперь на втором этаже этого дома находилась редакция, в которую, смертельно робея, с рукописью в кармане пальто, направлял свои стопы я.

Можно было подумать, что идешь на бал. Роскошное «антрэ» барского особняка послепожарной Москвы. Стены с пилястрами в крапинку «под мрамор». Широченная деревянная лестница с двумя промежуточными площадками... Где-то наверху, на высоте бельэтажа, лестница упиралась в гигантское, до потолка, обрамленное темной искусной резьбой зеркало. Сначала в нем появлялась твоя шапка, испуганное лицо, потом пальто по пояс, наконец, ноги в калошах. Тут надо было поворачивать налево, к высокой белой двери со старинной медной ручкой, и только тогда глаза натыкались на крохотную табличку, примостившуюся на стене у двери: «Редакция журнала «Новый мир».

Поворот по коридору, снова двустворчатая дверь, и вы оказывались в огромной комнате без окон. Одну из стен ее занимал старинный, обитый потертым атласом диван с овальным столом перед ним. В других же трех стенах были прорублены там и сям низкие белые дверцы, большей частью полуоткрытые: из них выходили и исчезали в других дверях люди со стопками исписанной бумаги в руках или длинными, свешивавшимися, как полотенце с рукава, полосами.

Горело электричество. На улице был ясный зимний день, здесь — сосредоточенный, усталый вечер. Пахло книгами, комнатным теплом, табаком, типографской краской, старым паркетом — мне казалось, литературой. При самом входе справа за столом с лампой под стеклянным колпаком сидела строгая пожилая дама в лиловой кофте, с пучком седеющих волос на затылке, которая непрестанно перекладывала перед собой из стопы в стопу какие-то бумаги. Когда я вошел, она говорила в телефон звучным, поставленным голосом бывшей актрисы:

— Федор Васильч, что же вы нас забыли, родной?

Не показываетесь совсем. А читатели нам пишут, требуют продолжения. Милости просим заходить. Редакция по вас скучает.

«Так ведь это она с Гладковым!» — догадывался я, переминаясь с ноги на ногу.

— Скажите, пожалуйста, где...

Она было обратила на меня взор, но новый звонок не дал мне закончить.

— Константин Алексанч? А мы на вас в обиде,— выпевала дама.

«Неужели с Фединым?» — холодел я.

— Где же вторая часть романа? Читатели заждались...

Наконец, скосив глаза на меня и прикрыв ладонью зев телефонной трубки, она спросила негромко, ледяным канцелярским тоном: «Вам к кому, товарищ?» Я объяснил, она махнула рукой в направлении одной из низких дверей в углу большой комнаты, и голос ее снова любезно, с красивыми модуляциями запел в трубку.

Порог «Нового мира» я переступил в 1953 году студентом четвертого курса. И если не считать секретаря Зинаиды Николаевны, которая показалась мне поначалу главным лицом в редакции и внушила невольный трепет (она и зарегистрировала мою тощую рукопись), первым человеком, встретившим меня, был Игорь Александрович.

Моложавый, подвижный, с совсем седой головой и черными бровями человек поразил меня своей приветливостью. Он расспросил, кто я, как меня зовут, вспомнил о звонке Николая Каллиниковича Гудзия, меня ему рекомендовавшего, сказал что-то приятное о нем, хохотнул и вышел. «Сдаем номер»,— сказал он в дверях извиняющимся тоном, и эти слова, обычные для посвященных, прозвучали для меня волшебно. Я расположился под зеленым фикусом в кадке, стоявшим в углу крохотной комнатки, и стал ждать. Спустя четверть часа Сац появился, поговорил со мной дружески и доверительно минуты две и снова исчез, вновь прося его подождать. Через полуоткрытую дверь я видел, что его беспрестанно останавливали, приветствовали, спрашивали о чем-то, он всем отвечал с учтивым наклоном головы и исчезал то в одних, то в других дверях.

Возвращаясь, он извинялся и продолжал расспросы с того места, где их прервал, с похвалой отозвался о Марке Щеглове и, узнав, что мне 20 лет, оживился необычайно.

— Вот и прекрасно,— сказал он.— Начинать надо как можно раньше. У меня за спиной было шесть классов гимназии и Богунский полк, когда Луначарский, уезжая за границу, оставил мне рукопись и просил ее выправить. Она начиналась: «Шеллинг сказал...» А я и не подозревал тогда, кто такой Шеллинг.

Он первым начал заливисто смеяться, и я рассмеялся вместе с ним.

К тому времени от Марка Щеглова я уже понаслышался, какой небывалый человек Сац, что за изумительный редактор и какую необычную жизнь прожил. «Начать с того, что он — родной брат Ильи Саца».— «Того самого?» — «Ну да, композитора Художественного театра. «Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей...» И потом многие годы правая рука Луначарского...»

В тот раз Игорь Александрович так и не успел заглянуть в рукопись моей рецензии, просил позвонить через день-другой. «Я думаю, мы вас напечатаем,— услышал я в телефон.— Но нужно немного поработать. Как-нибудь выберем время, сядем с вами рядком...»

Намеченная встреча с редактором все откладывалась, я терял молодое терпение,— и вдруг узнал, что Сац отбыл в Киев срочно готовить к набору чью-то повесть. Дело явно затягивалось, я готов был счесть свой дебют неудачным, а обещание Саца несостоявшимся, как вдруг нашел в домашнем почтовом ящике открытку из Киева. В самом почтительном и дружеском тоне Игорь Александрович извещал меня, что его отвлекли неотложные дела, но что он помнит о моей рецензии и, едва вернется, будет готовить ее к печати. Более всего поразило меня то, что мимоходом он упоминал о своей работе над повестью весьма известного автора, сообщая мне литературную новость будто собрату по перу. Сердце мое наполнилось гордостью: не напечатав ни строки, я был уже словно приобщен к журналу, где печатаются Федор Васильевич и Константин Александрович!

Прошло несколько дней, Сац вернулся в Москву и пригласил меня зайти в редакцию в тот день, когда

он дежурит, и лучше с самого утра, чтобы нам не мешали. Ровно в девять я появился в доме с видом на площадь, где, кроме Игоря Александровича и уборщицы, подметавшей пол, никого в тот час не было. Даже величавая Зинаида Николаевна еще не появлялась.

Игорь Александрович повел меня в еще незнакомую мне обширную комнату с длинным ореховым столом и массивными стульями, где я с почтением оглядел стены, на которых висели графические портреты писателей работы Яр-Кравченко,— это был кабинет Твардовского. И, устроившись на уголке огромного стола рядом со мной и сунув в угол рта янтарный мундштук с сигаретой, достал из папки мою рукопись. Она лежала перед ним чистая, тщательно отпечатанная хорошей машинисткой, без малейших помарок, и выглядела, как мне показалось, очень привлекательно.

Игорь Александрович закурил, достал из кармана тупой карандаш, повертел его в руках и, примерившись, быстро зачеркнул заголовок. «Лучше назвать так...» — сказал он и мгновенно написал что-то корявой клинописью над зачеркнутым.

Я был хоть и начинающий, но вовсе не такой покладистый молодой человек, и не могу сказать, чтобы эта операция мне понравилась. В рецензии все было мною не раз обдумано, трижды переписано, отшлифовано, и я был втайне уверен, что редакторскому карандашу в ней нечего делать. Да и Игорь Александрович предупреждал, помнится, что речь пойдет о каких-то соринках, мелочах.

Между тем карандаш Саца уже разгуливал по странице. Он читал очередную фразу и говорил: «А не вернее ли будет так?» — «Да... но...» Я не успевал возразить. Он похохатывал, откинувшись на спинку стула, рассказывал какую-то смешную историю, которая приключилась с Луначарским, Ставским или Фадеевым, заставлял меня смеяться и душил робкие попытки протеста литературными примерами, почерпнутыми из своего опыта, аналогиями с классикой, анекдотами, острыми словечками. Карандаш его тем временем выделывал чудеса. Начало фразы он отправлял в конец, обрубал ей хвост, брал взаймы из зачеркнутого два слова для следующей, вставлял свое неожиданное словечко... Менял местами абзацы, вы-

кручивал длинные предложения, отжимал их, как мокрое белье, сокращал, снимал кавычки, дописывал что-то на полях и между строчками; заключал куски текста в квадратные скобки, призывая меня подумать, нужны ли они,— и они неизменно оказывались лишними. Закусив мундштук, задумывался на минуту и, выпустив изо рта дым, снова бросался в атаку на рукопись.

Я взглянул на отложенную им в сторону страницу, и мне захотелось зажмуриться: это было месиво.

Я был ошеломлен. Самолюбие мое жестоко страдало. Но опрокинутый темпераментом Саца, его ласковой решительностью, я кивал, растерянно отвечая на его шутки, и лишь в самом дальнем уголке сознания что-то вскрикивало смятенно: что же это со мной делают?!..

«А вообще-то, я смотрю, неплохо у вас получилось,— сказал наконец Сац, собирая исчерканные сверху донизу тупым карандашом и еще недавно такие красивые листы.— Теперь на машинку — и в набор!»

Мне казалось, что я побывал на сеансе у гипнотизера. Я вышел от него, как под легким наркозом, голова шла кругом. «Хорошо-то хорошо, да ведь это уж не совсем я»,— думал обратной дорогой.

А две недели спустя я получил первые в своей жизни гранки — пахнущие керосином длинные полосы скверной пористой бумаги с широкими полями, на которых следовало ставить корректурные закорючки. И вдруг понял, что написал недурную рецензию. Каким энергичным стало начало! Вместо угрюмых упреков автору — тонкий налет иронии. И неотразимая логика! И заголовок на месте!

Прошел еще месяц, и с утренней почтой мне был доставлен номер журнала с голубой обложкой, а в нем отпечатанная в типографии карточка, в которой редакция поздравляла «уважаемого автора» с публикацией его материала и извещала, в какие дни и часы он сможет получить свой гонорар в бухгалтерии у неведомого мне Бориса Степановича. То, что он был поименован лишь по имени и отчеству, придавало печатному извещению легкий оттенок доверительности. Боже мой, что же это происходит? Авторский экземпляр! Твоя фамилия в оглавлении! Борис Степанович!

А на дворе апрель 1954 года, последние сугробы дотаивают у крыльца, и сладостно лететь по улице без шапки, в распахнутом пальто, опаздывая на лекцию по истмату, вдыхая сырой и свежий весенний воздух. Да, теперь я всегда хотел бы сотрудничать с Сацем и печататься в голубом журнале!

Однажды ноги привели меня в «Новый мир». Знакомая Зинаида Николаевна направила меня в комнату, на двери которой висела свеженькая табличка: «Редактор по работе с молодыми». Меня встретил на пороге незнакомый угрюмый старик и на вопрос об Игоре Александровиче пробормотал: «Больше здесь не работает... и никогда работать не будет». Последнее сообщение было лишним, оно явно не вынуждалось вопросом, и отчего заведующему молодыми захотелось так сказать, я до сих пор не знаю. Суть же дела состояла в том, что как раз в ту пору Твардовский был отстранен от редактирования «Нового мира» за «ошибки», в частности, в отделе критики. Разумеется, одновременно с ним ушел Сац.

К счастью, старик оказался плохим пророком. Его-то и правда я больше никогда не увидел — смыло временем, как не было. А с Игорем Александровичем мне удалось еще вместе поработать в этом журнале доброе десятилетие.

Раз-другой встретились мы с Игорем Александровичем в ту скучную для него пору на улице, поздоровались и разошлись. Однажды я застал его в гостях у Марка Щеглова. Он сокрушался, что не продолжилось наше сотрудничество, но больше, по обыкновению, шутил. «В какой-то довоенной пьесе был персонаж, который то и дело говорил о себе: «Я — старый москвич... Я — старый марксист...», а к третьему акту язык у него заплетался и получалось: «Я — старый марксич...» Так вот я, старый марксич, обучил вас с Марком Александровичем, кажется, не совсем тому, что следовало...»

Когда в сентябре 1956 года пришло известие о внезапной смерти на юге Марка Щеглова, в первую минуту я растерялся: к кому идти с этим горем, в чьи двери стучаться?

Мать Марка Неонила Васильевна рассказывала потом, что в последние часы жизни, погибая в новороссийской больнице без стрептомицина, он просил

дать телеграмму в Москву: «Напиши... Арбат, Арбат... дом...» — повторял он в жару и беспамятстве, а дальше вспомнить не мог.

Не знал я и того, что Марк не раз называл Саца вторым своим отцом. Но почему-то решил разыскать именно его. Дома у Саца прежде я никогда не был, в «Новом мире» мне дали адрес. Он был мне тогда, в сущности, далекий, малознакомый человек, и я отправился на его арбатскую квартиру в некотором смущении: как объяснить, зачем пришел, чего хочу?

Поднявшись на четвертый этаж, долго шел по широкому, прямому, пропахшему всеми коммунальными запахами коридору и позвонил у двери в квартиру 86-а. В последнюю минуту еще раз мелькнуло: что сказать, как начать разговор?

Быстрые шаги. Дверь распахнулась. Я не успел поздороваться. Сац увидел меня, положил руки на плечи, сказал быстро: «Какое несчастье, какое несчастье... Я все знаю». Наклонил голову и заплакал. Объяснять ничего не нужно было.

* * *

И я стал бывать в доме над «Гастрономом» на углу Смоленской и Арбата.

Архитектурное чудо 20-х годов, дом этот с круговой коридорной системой, быстро ставшей анахронизмом, был ему привычен, как старая одежда. Правда, когда в моде стало восхищаться творениями Корбюзье, Сац любил охладить иронией пыл его почитателей. «Да я тридцать лет живу в доме, спроектированном «в духе Корбюзье», и знаю, что это за прелесть. Мечтали о новом быте, а теперь в ванную и прочие «удобства» в конец коридора по очереди со своим ключом надо бегать».

Друзья называли его комнату — «музей 40-х годов». До войны был такой музей на Собачьей площадке. Квартира же Саца была вся 40-е годы нашего века, законсервированный послевоенный быт. До сих пор не могу понять, как в сравнительно небольшой комнате, где стоял рояль, широченный старый диван с западающими пружинами и валиком, массивный кабинетный стол с двумя тумбами, множество книг и старых журналов в шкафу и на полках, помещалась семья из трех человек, да к тому же вечно гостил кто-

нибудь из приезжих, занимая раскладушку или используя скудное пространство свободного пола. Друзья из других городов, товарищи по фронту, просто знакомые знакомых привыкли находить тут бесплатную гостиницу. Застать Саца одного было не просто: то и дело хлопала входная дверь, пропуская новых гостей...

Шли десятилетия, Сац переменил несколько квартир, стал жить к концу жизни просторнее, но с квартиры на квартиру странствовал за ним и упрямо сохранялся, как в мемориале, угол старой его комнаты: проваленный диван, письменный стол с отодранным на уголке черным дерматином, и даже расположение предметов на столе я мог бы всегда заранее предсказать: лампа с зеленым стеклянным абажуром (патрон надломлен и висит), пивная кружка, служившая чаще для чая, трофейный нож, употреблявшийся для нарезания закуски и очинки карандашей, глыба цветного стекла, игравшая роль пресс-папье, и множество сдвинутых в сторону папок с оборванными тесемками.

У краешка этого стола в разное время сиживали Андрей Платонов и Дёрдь Лукач, Твардовский и генерал Горбатов. Я встречал тут людей прославленных и вовсе не известных — водопроводчик, аптекарша, конькобежец, музыкант оркестра, морской офицер, студентка, геолог, — всех принимал он с хлопотливой учтивостью, величая неизменно на «вы» и по имени-отчеству, проявлял интерес к чужим занятиям и делам с тем нелицемерным дружелюбием, какое, казалось, ничего ему не стоило.

Сидя в уголке дивана, я любил следить, как он разговаривает с каким-нибудь соседом по дому, давним или случайным знакомцем, зашедшим за помощью или советом. В глазах — огромное внимание к собеседнику, доброжелательность в выражении лица, а на губах — полуулыбка, готовность к мгновенной шутке, способной снять напряжение. «Обычное дело. И со мной однажды это было», казалось, говорил его взгляд. Или, если разговор, вопреки ожиданию, принимал неприятный, полемический характер — гордое вздергивание головы, разящая реплика.

Лицо Саца, особенно в профиль, казалось мне значительным, скульптурным. Смолоду седой, он зачесывал назад густые серебристые волосы, а брови были

темные. Большой тонкий нос с горбинкой служил заметным украшением лица. «В приметы личности не верю,— смеялся Сац.— Когда я в первый раз пересекал границу, в паспорт мне вписали рядом с графой «особые приметы»: нос обыкновенный. Я обиделся».

В фигуре его была легкость, пружинистость. Казалось, в любую минуту готов вскочить и идти на призыв о помощи или зов дружбы. По комнате он передвигался, чуть косолапя, но улицей не двигался, а летел. Одежде своей он не придавал значения: просто не замечал ее. Вечно в продувном пальто и кепке — шубу не носил ни в какие морозы, и я даже не могу представить его в ней. На машинах не ездил. Такси считал невозможной роскошью.

По Арбату он ходил, как по деревенской улице. Через каждые два-три шага сдергивал с головы кепку, раскланиваясь со знакомыми, полузнакомыми и едва знакомыми людьми, и летел дальше. В морозную погоду уши и нос его были красные, старенький шарф болтался небрежно, открывая голую шею, но Сац согревался быстрым ходом. Я не видел, чтоб кому-нибудь при встрече он кивнул небрежно или не снял, как требовалось старинной вежливостью, головного убора. «А это кто?» — любопытствовал я, видя, как он галантно приветствует какую-то старушку в сером платке. «А это матушка нашей продавщицы из табачного отдела»,— объяснял Сац. Дружески окликал человека в бобрах («Народный артист. Недурной баритон») и тут же почтительно раскланивался с низкорослым мужичонкой в ватнике и ушанке, с измятым, нездоровым лицом. «Наш трубочист,— объяснял он на ходу,— выдающаяся личность и, кстати, редкая профессия. Представьте, у арбатских трубочистов еще недавно оставались следы цеховой общности... Да-да,— подтверждал он, видя мои округлившиеся глаза.— Дочери трубочистов выходили замуж за трубочистов же. Престиж профессии, работа ежом требует необыкновенной ловкости и аккуратности. Сейчас печей нет, дымоходы не чистят, и трубочисты стали водопроводчиками. А Николай еще перед войной мне печку складывал, он и печник хоть куда...» Вечно от него что-то невероятное услышишь!

Он был товарищ всем возрастам. Самым простым и неожиданным способом умел завоевывать симпатии

детей. Придумывал неожиданные подарки: вместо дорогих заводных игрушек накупал, отправившись в аптеку, на два рубля пипеток, пинцетов и мензурок, незаменимый инструментарий для игры в «доктора». Он знал, что дети не меньше взрослых любят получать адресованные им письма, и в течение многих лет посылал моему сыну — юному филателисту — собранные для него марки, всегда с вложением короткого уважительного письмеца. А когда сын подрос и стал изучать латынь, не проявляя к ней, впрочем, большого рвения, Сац вместо назиданий прислал ему торжественное письмо, составленное из отменных латинских речений и с онегинским «vale» на прощанье.

Однажды его беспечная доброта привела к скандальной сенсации на арбатском дворе. Игорь Александрович дал поиграть трофейные «железные кресты», а заодно и свои ордена и медали мальчику-соседу. Тот наградил ими друзей по школе и двору. Дедушка, член родительского комитета, обмер, увидев на внуке боевую медаль. Начались розыски, злоумышленника уличили. Сац, смущаясь, взял, понятно, вину на себя, и награды пришлось собирать по квартирам большого арбатского дома.

Молодые люди, юноши студенческого возраста, тянулись к нему, потому что к каждому он относился с уважением и надеждой, входил во все подробности его интересов и не скупился дарить свое время. Как-то в первые годы знакомства я пришел пытать его вопросами в вертеровском духе — в чем смысл жизни и что делать? Его ответы не утоляли молодого максимализма. Мне казалось, он отделывается скептическими софизмами, отвечает слишком общо или сводит дело к шутке, а ведь я так в него верил! Время было позднее, а я не уходил и все пытался дознаться от него чего-то главного. Дом давно спал, мы сидели в прихожей, служившей одновременно крохотной кухней, и за отсутствием иного напитка пили крепчайший чай (Сац раз пять обновлял заварку), курили и разговаривали негромко, чтобы не разбудить семью за дверью. Ушел я, когда стало светать, часов в пять утра, так и не разъяснив своего вопроса, но с освобождающим чувством дружеского разговора. Помню, как с легкой и ясной от бессонницы и крепкого чая головой возвращался я пустынными московскими бульварами домой

уже при полном утреннем свете. Еще сутки я будто летал в состоянии невесомости, спать вовсе не хотелось: надолго запомнилась эта ночь.

Ставлю теперь себя на место Саца: любой бы прогнал такого докучного молодого гостя. Любой, но не Сац. Он терпеливо снес уготованное ему испытание, хотя, наверное, знал всю бесплодность самотерзания вечными вопросами, напрасность этой молодой му́ки.

И женщины редко оставались равнодушны к нему. Мы, бывало, подшучивали над диапазоном увлечений Саца: от шестилетней внучки, рисовавшей с ним королевичей и принцесс, до пожилой дамы, в палату к которой он захаживал, оказавшись одновременно с ней в хирургическом отделении городской больницы. Этой старой москвичке, жившей также где-то в районе Арбата, было 103 года. Началось с того, что Игорь Александрович, проходя по больничному коридору, увидел, как она тщетно хочет сесть в постели. Он галантно подставил ей, в виде жердочки, свою здоровую, несломанную руку, и, уцепившись за нее, она немного приподнялась, а потом опять рухнула в подушки.

В случайном разговоре выяснилось, что Сац, который и вообще-то, кажется, знал всех, в начале 20-х годов знавал и единственного брата старушки — известного библиографа начала века. Понятно, что он стал любимым собеседником пожилой дамы. Она не отпускала его от себя, и мы с увлечением следили по его рассказам за всеми перипетиями этого «романа». С ним она могла часами говорить о людях, которых давно никто не помнил. К тому же он один, кажется, разговаривал с ней подолгу и охотно. «А Ивана Ивановича Лазарева помните?» — «Ну, как же, Иван Иванович!»

События, лица и обстоятельства, по-видимому, нередко уже мешались в ее памяти, и однажды вечером, уже после отбоя, она подозвала Саца к своей кровати и потребовала, чтобы он немедленно нанял извозчика и отвез ее домой на Арбат. Он пробовал отговориться тем, что уже поздно и квартира спит (старушка занимала крохотную каморку в большой коммунальной квартире, некогда целиком принадлежавшей ее семье). Но старушка капризно обрезала своего поклонника: «Ничего. Ваше дело — нанять экипаж.

Мой швейцар мне откроет». Сац с трудом уговорил ее отложить этот экстравагантный побег до утреннего врачебного обхода.

Я никогда не слышал, чтобы Сац как-то формулировал законы своего жизненного поведения: он не терпел высоких фраз и просто жил согласно своей природе, поступал так, как это было ему присуще. По существу же следовал завету Толстого: не ждать, пока подвернется случай совершить добрый поступок, а идти в жизнь за добрым делом, как охотник идет в лес за дичью.

Все это верно. Но я написал эти строки и вдруг подумал: не дай бог он предстанет героем рождественской сказки. А ведь рядом с беспредельной добротой в Саце жила несгибаемая человеческая принципиальность: верность убеждениям и верность друзьям.

Когда он угадывал в человеке неискренность, корысть, двойной расчет, то становился резким, желчным, нелюбезным. Его трудно было узнать. Он мог высказать в лицо то, что он об этом лице думает, не беря во внимание минуту, окружение и обстановку — даже в гостях или на чинном торжестве.

Трусости и предательства в дружбе он не прощал. Одному нашему бывшему товарищу, который повел себя беспринципно, он написал письмо с объявлением о разрыве в тоне отменной картели прошлого века. Там были примерно такие выражения: «Я думаю, вы понимаете, что после того, что случилось, никакие наши отношения невозможны, и вам не следует здороваться со мной при встрече, иначе мне придется громко объявить, что мы не знакомы».

Иногда он бывал в особенно боевом, задиристом настроении, и когда начинал спорить, поднимал подбородок в какой-то боевой, петушиной позе. Переубедить его, если он даже бывал не прав, в эти минуты было трудно. Нужно было время, чтобы он остыл и согласился. «Сац — мальчик наоборот»,— случалось, говорил Твардовский, досадуя на него и любуясь им.

Игорь Александрович никогда не боялся заступиться за обиженных, не робел даже вступить в уличную драку, если нельзя было покончить дело миром. Подходил к обидчику грозно и бесстрашно, тем более что, не обладая атлетическим сложением, был пружинист и физически крепок; гордился, что как военный

разведчик имеет опыт рукопашной и знает приемы силовой борьбы.

Как-то он сказал мне: «Я же не отрицаю компромиссов. Галилей не стал худшим пропагандистом своих идей оттого, что от них отказался. Сделанное им для науки и человечества меньше ли эффекта Джордано Бруно, погибшего на костре? Просто глупо бояться компромиссов, если хочешь сделать что-то полезное». И он свирепо сверкал своими добрыми глазами из-под мохнатых бровей.

А ведь сам был — лучший образец воинственной, рыцарской принципиальности, отнюдь к компромиссам не наклонной.

* * *

— Что такое Игорь Сац? Игорь Сац — это эпоха! — восторженно восклицал, вздымая перст, старый художник, друг Есенина — Василий Комарденков.

Он был прав. Чтобы это подтвердить, я приведу некоторые подробности, почерпнутые из автобиографии Саца и памятные по его живым рассказам.

Игорь Сац родился в Чернигове, зеленом городе с золотыми маковками древнейших русских соборов, 15 мая 1903 года. Отец его был известным на Украине адвокатом, видным членом кадетской партии. Еще мальчиком Игорь путешествовал с ним за границу. Война 1914 года застала их в Швейцарии. Добирались до России из Франции Средиземным морем, по пути побывали в Греции. В ожидании парохода восхищались античными руинами.

Начало первой мировой войны — очень сильное и, по-видимому, отложившееся в памяти на всю жизнь у юного Саца впечатление. Он часто говорил потом, что 1914 год — перелом для всей мировой истории, истинное начало века, когда смерть, мучения миллионов людей стали для Европы привычным делом. К концу мировой войны люди озверели от несчастий: грабежи, разруха, нравственный распад, вынужденное кочевье огромных масс, бежавших от линии фронта, концлагеря, впервые изобретенные немцами для военнопленных... Изменилось отношение к ценности одной человеческой жизни.

Он был совсем юным, но присматривался к совершавшемуся по-своему и видел зорко, хотя тоже пере-

жил угар декадентства, перечитав всего Пшибышевского в библиотеке отца.

К 1917 году Игорь Сац успел окончить пять классов черниговской гимназии, потом переехал в Киев и там, завершая гимназическое образование, поступил одновременно в консерваторию по классу фортепьяно и композиции. Ему повезло: музыке он учился у профессора Болеслава Леопольдовича Яворского, поразительного человека и музыканта, открывшего, по свидетельству Прокофьева и Шостаковича, новые горизонты в музыкальной теории.

Музыке, однако, удалось проучиться всего лишь год. Шла революция, и Игорь бросился в нее со всем молодым пылом. Еще в 1916 году в Чернигове он познакомился с гимназистами старших классов, организовавшими кружок политического самообразования: среди них многие стали потом большевиками. Он восхищался старшим мальчиком — Алешей Соколовским. Его сестра — Соня Соколовская — стала впоследствии участницей одесского подполья и была арестована вместе с Жанной Лябурб. Сац любил вспоминать эту диковинную историю времени: Соня была так хороша собой, что конвойный офицер-француз влюбился в нее, снял караул и с нею вместе перешел на сторону красных.

В Чернигове семья Сацев жила неподалеку от Соколовских, и младшеклассник Игорь ходил вместе с Алешей в гимназию. «Если б Алеша был монархистом или анархистом,— смеясь, признавался Сац,— я, наверное, последовал бы за ним, так он мне нравился... Петлюровцем только не мог бы, конечно, стать, я эту публику ненавидел. Но Алеша был эсдеком, и это решило дело».

Гимназисты сварили желатин, устроили самодельный гектограф и стали печатать на нем листовки против войны и оккупантов-немцев. В несколько приемов можно было сделать до 150 листовок. Потом плотами отправляли их вниз по реке, где их забирали в условленном месте и пускали в ход. Так сын кадета примкнул к большевикам.

По поручению большевички-подпольщицы Ксении Листопад в июле 1918 года Сац совершил разведывательную поездку в Ростов и Новочеркасск, занятые белыми. А в ноябре 1918 года вслед за Алешей Соко-

ловским поступил добровольцем в 1-й Богунский полк дивизии, которой командовал Щорс. Алеша вскоре погиб в бою, а Сац успешно воевал красноармейцем, потом служил в конной полковой разведке.

О Щорсе Сац рассказывал всегда с симпатией: говорил, как он зазвал его на заседание комячейки, где сам же и председательствовал, хотя членом партии формально не был. «Щорс был умный, трезвый реалист, хороший военный,— говорил Сац,— и его напрасно рисовали потом романтиком».

Однажды в отбитом городе был захвачен винный склад, и надо было охранять его от грабежей. Щорс вызвал к себе 16-летнего Саца. «Пьешь?» — «Нет».— «Совсем не пьешь?» — «Нет».— «Э-э, тогда тебе нельзя, сразу захмелеешь».

В Богунском полку были изрядно сильны анархические настроения. «Черное знамя» пели как свой гимн наравне с «Интернационалом». Одни заведут:

Под знаменем черным великой борьбы
Мы горе народа потопим в крови...

А другие:

С Интернациона-а-а-лом
Воспрянет род людской!

Время от времени в Богунском полку объявлялись диковинные личности, авантюристы. Однажды бойцы сидели у костра, и из темноты возник вдруг и подсел к ним странный человек, попросивший накормить его и назвавший себя «бог богов, царь царей». Стали посмеиваться над ним, расспрашивать. Он утверждал, что заговоренный, ни одна пуля его не берет, и в доказательство, распахнув драную шинель, показал широкий пояс, на котором было вышито: «Бог богов, царь царей». На другой день в бою он полез в самое пекло и, на удивление всем, вышел без царапины. Так и еще не однажды было, пока в конце концов Щорс не встревожился: в полку, навербованном в большинстве из малограмотных крестьян, и так сильны были суеверия, окрестное население заволновалось — появлялась угроза двоевластия. Между тем «бог богов, царь царей» сам призывал «снять с него пробу» — выстрелить в упор. Никто не решался. В конце концов расклеили листовки по городу, где стоял полк, собрали

жителей на соборной площади и вывели «бога богов»: он шел, улыбаясь. Его скосила пулеметная команда. Об этом написал с чьих-то слов в одном забытом ныне рассказе Всеволод Иванов. Но Сац рассказывал этот красочный и жестокий эпизод гражданской войны как очевидец.

И Игоря Саца Щорсу пришлось наказать однажды. Он был назначен командиром отделения («двенадцать гавриков», замечал в скобках Сац) и, желая по молодости лет отличиться, завел себе трофейную саблю с золотым музейным эфесом и мудреными вензелями. В Богунском полку обыкновением было, что одевались кто во что горазд и оружие было, какое достанется. Но роскошная сабля выглядела на Игоре уж очень вызывающе. К конфузу юного командира, Щорс отругал его, отобрал саблю и велел отдать ее на кухню рубить мясо.

В январе 1918 года Саца отправили в район Фастова в тыл к петлюровцам в составе небольшой группы, куда входили Саша Беленький, Логотовский и Маруся Черная. Выглядел Игорь совсем мальчишкой, к тому же был, как тогда говорилось, «из буржуазной семьи», и это облегчало переход за линию фронта. Задача была поставлена — совершать диверсии в подходящих местах, а заодно пропагандировать среди населения новые советские деньги, расплачиваясь ими, где возможно. Для начала Игорь, чтобы проверить их силу, пригласил младшую сестру в кафе «Самодени» на Крещатике, и они до отвала наелись пирожными. А потом с динамитом и взрывателями отправился со своей группой в тыл к Петлюре и взорвал там две железнодорожные станции.

Сац любил рассказывать, что мимо одной из них он проезжал как-то в поезде в середине 30-х годов. «Вижу — одна водокачка торчит. Так и осталось с гражданской. Подумал: моя работа. Я ведь по натуре подрывник. Люблю, когда подложишь — и пффф...» И Сац начинал смеяться.

Через месяц, выполнив задание, Сац вернулся в полк и прошел в боях с частями Щорса от Киева до Коростеня и Шепетовки. Трижды раненный и легко контуженный, он оставался в строю. В июле 1919 года под Проскуровом получил тяжелую контузию в голову и спину. Лечился, но, по несчастью, заболел вдо-

бавок сыпняком. Последствия контузии, осложненные тифом, дали в результате паралич рук и ног.

В апреле 1921 года, после почти годового лежания в госпитале, он был уволен из армии по негодности к несению военной службы. Что ему оставалось? Винтовку он еще умел носить и поступил в вооруженную охрану складов Губснаба и Губкомгола в Киеве.

Тут вновь случилась с ним не совсем обычная история. Как-то поздно вечером он караулил свой склад, сгоняя с тротуара шедших в опасной близости к нему подозрительных прохожих. Так он согнал спешившего куда-то человека, который вдруг взглянул на него пристально и окликнул: «Это вы, Игорь? Что вы тут делаете?» Сац узнал своего консерваторского профессора Яворского.

Болеслав Леопольдович уговорил его переехать в Москву продолжать учиться музыке. Но из-за последствий контузии, мешавших приобрести виртуозную технику, пианистом Сац уже не смог стать. Тогда Яворский пригласил Саца как музыкального рецензента в журнал «Художественный труд», который редактировал совместно с Луначарским. Своим знакомством с Луначарским Сац, таким образом, был обязан Яворскому.

Луначарский с особым вниманием вглядывался в лица молодых людей комсомольского возраста. Молодой музыкант, которому не было еще 20-ти, прошедший фронты гражданской войны и жадно тянувшийся к культуре, чем-то понравился ему, и он предложил Сацу стать его литературным секретарем. Год спустя у них возникли и родственные отношения: родная сестра Игоря — Наталия Александровна Сац (Розенель), актриса Малого театра, вышла замуж за Луначарского.

В течение десяти лет Игорь Александрович был правой рукою и ближайшим доверенным лицом наркома просвещения. Сам взгляд Саца на людей и вещи, явления искусства складывался под несомненным влиянием Луначарского. Но думаю, что и Луначарскому его молодой и ярко талантливый сотрудник был нужен не просто для технической секретарской помощи.

О Луначарском Сац помнил постоянно, приводил к случаю меткие его слова, острые характеристики. Мне

не приходило в голову специально запоминать их или записывать. Всегда казалось: это он еще сам соберется изложить на бумаге и сделает более последовательно и точно, чем в случайном разговоре. Увы, всё это ушло вместе с ним. Сейчас вспоминаются лишь отдельные штрихи, случайно застрявшие в памяти осколки этого живого предания 20-х годов.

Вспоминаю его рассказ о том, как работал Луначарский. То, что он успевал столько писать, одновременно каждый день появляясь в Наркомпросе, заседая в Совнаркоме и ВЦИКе, выступая на митингах, собраниях, юбилеях и диспутах, всегда составляло загадку для непосвященных. Сац вспоминал, что Анатолий Васильевич создал себе особый режим дня. С 5-ти утра, когда все еще спали, он в своем узком кабинетике в Денежном переулке был занят исключительно собственными литературными работами. За три-четыре часа полной тишины и сосредоточенности он успевал многое. К 10-ти часам, когда дом пробуждался, он ложился на часок подремать, потом завтракал и к 12 часам дня ехал в Наркомпрос: начиналась дневная круговерть. А вечером, часто уже после заседаний или театральных премьер, он собирал у себя дома актеров, музыкантов, с которыми дружил, на вечерний ужин в небольшом зале с антресолями. Звучала музыка, актеры рассказывали анекдоты, читали стихи. Здесь бывали Массалитинова, Рыжова, Климов, Козловский, Блюменталь-Тамарина, Качалов, Нежданова. Луначарский тяготел к актерам: его привлекала их непосредственность, талант импровизации, бо̀льшая, чем у большинства людей, душевная подвижность и простодушие.

Запомнился мне и рассказ Игоря Александровича, как коробила Луначарского ставшая вдруг возникать во второй половине 20-х годов роскошь, окружавшая высокопоставленных советских и партийных чиновников. Вернувшись из поездки на одну загородную дачу, куда его пригласили, Луначарский, едва переступив порог своего дома и войдя в переднюю, как был, в шубе и шапке опустился на стул под вешалкой и долго слова не мог вымолвить от возмущения. Оказалось, он уехал из дома, куда был приглашен, с середины ужина: излишества в быту новых вельмож — вчерашних революционеров болезненно задевали его.

В своем пристрастии к реализму, в убежденности, что жизнь определяет искусство, а не наоборот, Луначарский, по словам Саца, был неуступчив. «С литературой,— говорил он,— часто случается так: возникает иллюзия, что главное фонарь, а не то, что он освещает». Действительность, а не ее отражение была для него первой творящей силой. Но Луначарский болезненно реагировал, когда его взгляды на то или иное явление искусства, высказанные в порядке профессионального критического суда и отмеченные печатью его личного вкуса, воспринимались как директива, ведущая к неприятным для автора практическим выводам. «Не надо делать из Луначарского городового с бляхой или дворника со свистком, приставленного к искусству»,— бывало, говорил Сац.

Запомнились мне со слов Саца и некоторые рассказы об отношениях Луначарского с известными писателями его времени. С Леонидом Андреевым он встречался на Капри у Горького. Луначарского поражало в Л. Андрееве его неравнодушие, даже болезненная ревность к обеспеченности, материальному достатку. «Я ранен нищетой,— говорил Леонид Андреев Луначарскому.— Моя мать едва не умерла от голода, я в молодости два раза покушался на самоубийство. Вот почему я ненавижу бедность и боюсь ее». Надо знать корни психологии писателя, мотивы его судьбы, чтобы верно о нем судить, делал вывод Луначарский.

Сац нередко сопровождал Луначарского в его поездках: в конце 20-х годов они вместе путешествовали по стране, были в Сибири. Он был спутником Луначарского и в его последней заграничной поездке, когда тот, оставив Наркомпрос, был назначен послом в Испанию.

Причиной ухода Луначарского из Наркомпроса были разногласия о фабрично-заводском обучении. Для Луначарского это был вопрос существенный, коренной. Его беспокоило, что за люди пополнят рабочий класс, лучшая часть которого уже выбита в гражданской войне, изрежена отправкой на работу в деревню (100-тысячники, 25-тысячники и т. п.), выдвижением на административные посты. «Рабочий» и «сознательный рабочий» — огромная разница. Луначарский, по словам Саца, думал о необходимости направленного воспитания сознательного рабочего

класса, образованных пролетариев, которые не только бережно относились бы к производству и не ломали фабричные машины, но были политически просвещены, могли контролировать и осуществлять власть. Иначе диктатура пролетариата неизбежно скатилась бы к диктатуре лица или группы лиц.

В школе Луначарский предлагал учить молодых рабочих минимум два года, и не только с профессиональной стороны. Эта «установка Наркомпроса», как тогда говорили, была подтверждена в основном XIII и XIV партийными съездами. Но в конце 20-х годов В. В. Куйбышев, этот «сталинский мюрид», как называл его Сац, вошел в Политбюро с ходатайством от ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства), который возглавлял: готовить молодых рабочих ускоренным способом, в два-три месяца, таковы, мол, требования индустриализации. Куйбышева поддержали Сталин и Молотов, но Луначарский на Политбюро горячо отстаивал точку зрения Наркомпроса и «переголосовал» Сталина с помощью голосов «правых». Вечером — в тот же или на другой день — в Большом театре в комнате для представительных гостей за сценой Сталин завел с Луначарским разговор. «Вы очень хорошо, убедительно говорили на Политбюро. Я знаю, что вы человек независимый от фракций. Но разве вы не видите, кто голосовал за вас? Это проба сил».

Луначарский вернулся домой расстроенный, прошел с Игорем в кабинет, бросил шубу, шапку и палку на диван и сказал: «Черт знает что! Сталин хочет, чтобы я был его оратором. Нет, этого не будет!»

Вскоре была создана правительственная комиссия для решения запутанного вопроса. Работала она полгода, а за это время «правые» были разгромлены, Бухарин и Рыков публично посрамлены. Ворошилова и Калинина, голосовавших поначалу с ними, Сталину удалось отколоть. После этого спор Куйбышева с Наркомпросом решился сам собой. Луначарский, Яковлева и Крупская подали в отставку. Сталин удовлетворил отставку всех, кроме Крупской, поступив в этом смысле как иезуит: он поставил над ней А. С. Бубнова, мучившего ее.

Назначение послом в Испанию было для Луначарского неожиданным. Незадолго до этого он был выведен из состава Президиума ВЦИК. Никто не взял

на себя неприятную обязанность заранее предупредить его об этом. Он пришел, как всегда, на очередное заседание ВЦИК, улыбаясь, разговаривая с кем-то на ходу, бросил на стол толстый портфель и занял привычное место в президиуме, посверкивая стеклами пенсне и наливая себе воду из графина. Вот тут-то Бубнов, сидевший рядом с ним, наклонившись, сказал ему вполголоса, что, может быть, он напрасно приехал — его место в зале, а не на сцене. Луначарский побелел, собрал свои бумаги и молча вышел.

Незадолго до смерти Луначарский задумал написать биографию канцлера Фрэнсиса Бэкона для только что возникшей горьковской серии «Жизнь замечательных людей». Сац помогал ему, делая выписки, собирая редкие книги по букинистическим лавкам и книжным развалам у Сухаревой башни. Судя по всему, Луначарскому хотелось найти разгадку судьбы великого англичанина (одно время ему приписывали драмы Шекспира), философа и просветителя, обвиненного в конце жизни в мошенничестве и корыстном злоупотреблении властью, судимого королевским судом и въявь узревшего призрак Тауэра. Эта работа осталась незаконченной...

Вернувшись из Ментоны в декабре 1933 года с гробом Луначарского, Сац не сразу пришел в себя. Некоторое время он работал в Комакадемии, потом стал заведовать отделом библиографии в только что созданном в 1933 году журнале «Литературный критик».

Журнал привязал его к себе, дал выход полемическому темпераменту и обычной тяге к общей дружной работе. Сац дорожил общением с такими людьми, как Владимир Борисович Александров, Елена Феликсовна Усиевич, Михаил Александрович Лифшиц, Георг Лукач, составлявшими тогда ближайший журнальный круг, и работал увлеченно, весело, с азартом. Здесь печатались и его собственные статьи, рецензии и обзоры. Но несравненно большую часть своего времени и способностей он отдавал другим, переводя с немецкого статьи Лукача, редактируя молодых, задумывая журнальные дискуссии. Незаметно, не выпячиваясь, он во многом формировал направление и тон журнала, боевого и авторитетного в 30-е годы в литературной среде.

Журнал прекратил свое существование в 1940 го-

ду, перед самой войной. На войну Сац пошел добровольцем.

Он считался инвалидом гражданской, и ему долго пришлось обивать пороги военкомата, чтобы его признали годным к строевой службе. Прекрасное знание немецкого языка и старый фронтовой опыт делали его незаменимым для войсковой разведки.

Хочу привести письмо, которое Сац написал с фронта своему старому профессору музыки Болеславу Леопольдовичу Яворскому.

«Прошло 24 года, и вот я Вам пишу, как тогда, с фронта. Тогда Вы были единственным, с кем я простился, уходя из дома. На этот раз я и с Вами проститься не мог: на сборы дано было 2 часа! <...> О себе мне писать нечего: живу, как все на фронте, стараюсь делать то, что мне положено, не хуже других. И чувствую себя лучше, чем в избранном обществе литераторов,— должно быть потому, что мое отношение к народу не «теоретическое», и в серьезный момент национальной истории я чувствую себя естественно и на своем месте, только живя одной жизнью с большинством народа. Этому учили Вы меня, воспитывая много лет назад музыкальное мышление. Поэтому не считайте самозванцем меня за то, что я и теперь называю себя Вашим учеником. <...>

Ваш *Игорь Сац*».

С осени 1941 года Сац служил в разведке 17-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии. А в 1943 году был командирован в числе советских специалистов в создававшуюся тогда 1-ю Польскую армию и надел, как полагалось, конфедератку. Не раз приходилось ему переходить линию фронта и доставлять ценнейшие сведения о противнике. Он получил боевые ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а уже на моей памяти ему вручали через 20 лет затерявшуюся во фронтовых условиях медаль «За отвагу», которой он был награжден на Калининском фронте еще в 1942 году.

Товарищи Саца по дивизии, которых я встречал, с высочайшим уважением отзывались о его хладнокровии, находчивости и спокойном мужестве в самых отчаянных обстоятельствах. Сам же Игорь Александ-

рович любил вспоминать о войне по преимуществу что-то неожиданное, смешное, из окопного или блиндажного быта. Он был на редкость лишен фразистости.

Жена Саца Раиса Исаевна получила похоронку с фронта, когда он в действительности был в глубокой разведке по вражескому тылу. Приехавшая из 1-й Польской армии Е. Ф. Усиевич подтвердила, что «Игорь ушел в разведку, из которой не возвращаются». К счастью, в Москве находился тогда товарищ Саца по фронту, разведчик В. Терских, долечивавшийся в московском госпитале. Он зашел навестить семью друга и на трагическое известие прореагировал неожиданно. «Я знаю Игоря,— сказал он.— Это всё ерунда. Идти и не возвратиться — он такой глупости не сделает».

Рассказывая мне как-то об этом, Сац заразительно смеялся, вздрагивая плечами: «Вот самая дорогая мне аттестация. Я не хочу быть кавказским героем в духе Марлинского — в огонь и в воду. А вот «глупостей не сделает» — это мне честь».

Демобилизованный в 1946 году, Сац вновь занялся литературным трудом. В 1953—1954 годах, по просьбе Твардовского, помогал наладить работу отдела критики «Нового мира». В ту пору я с ним счастливо и повстречался.

Находясь ряд лет «за штатом» и занимаясь переводами, он продолжал свою редакторскую деятельность «из любви к искусству». Сац шутил, что различие служащего литератора от неслужащего — это то же, что разница между домашней и дикой курицей. Домашняя считает до двух, дальше для нее «много». С дикой делали опыт: входили в шалаш, где лежали ее яйца. Она пережидала людей в стороне. Потом выходили по одному. На пятом или шестом она слетала к шалашу, думая, что вышли все,— значит, считает до пяти! Вот превосходство «диких», находящихся в бодрой борьбе с природой, над одомашненными!

Вечно вокруг Саца, даже когда он не работал в журнале, вились какие-то «молодые дарования» и «бывалые люди», жаждавшие его помощи и совета. Вспоминаю, что рукопись первой моей историко-литературной книги была испещрена его пометками, многие из которых я благодарно принял. Он отучил меня от дурного квазинаучного жаргона, составив однажды сло-

варь запрещенных мне к употреблению слов и выражений. Сколько помню, среди них были такие, как «представитель», «отображает», «предельно». С тех пор я старался их избегать.

В 1958 году Твардовский вновь принял для редактирования «Новый мир», и Сац стал сначала внештатным, а потом облеченным правами члена редколлегии сотрудником журнала, с мнением и авторитетом которого главный редактор заметно считался.

В последнее журнальное десятилетие мы еще короче сошлись с ним, несмотря на разницу лет. Он уже не правил меня, как бывало, не вычесывал стиль частым гребнем, решив, видно, что я вышел из поры ученичества и могу писать как бог на душу положит. Но я долго еще скучал по его быстрому карандашу и всякую свою заметную работу приносил ему на предварительное чтение и нелицеприятный суд.

Его строгой и благожелательной искренности можно было верить.

* * *

Сац не был обделен друзьями. Но среди его литературных дружб была одна — особенная. Имя Андрея Платонова, воспоминания о нем, о его книгах, разговорах не сходили с его языка.

Сейчас книги Платонова издаются и изучаются, пишутся первые его биографии. Но от Саца я слышал о нем, когда писатель этот был глубоко в тени, и такие подробности, которые, кажется, еще не встречались в печати.

Игорь Александрович впервые увидел Платонова в 1928 году в издательстве «Земля и фабрика». Там была тогда, рассказывал Сац, атмосфера литературной вольницы. Писатели заходили туда запросто, как в клуб, сидели на широких подоконниках, разговаривали, курили. Часто бывали в «ЗИФе» члены объединения «Кузница», Алексей Силович Новиков-Прибой.

Кстати сказать, об авторе «Цусимы» Сац всегда говорил с душевным теплом. Однажды в подмосковной Малеевке, где было тогда всего семь комнат и писатели жили чем-то вроде коммуны, Новиков-Прибой постучался на рассвете в комнату Саца, извинился, что поднял его с постели, и просил послушать только что написанные страницы: прерывающимся голосом он прочел главу о гибели эскадры из «Цусимы». Расска-

зал, что писал всю ночь и страшно волновался и плакал, когда гибли корабли, а под утро написал другую главу — спокойную, умиротворенную. Без этого он не мог, физически не мог отделаться от страшного напряжения. По этому поводу Сац замечал, что состояние автора всегда передается читателям, которые после трагедии, грома и слез тоже хотят прийти в себя, успокоиться.

Другой колоритной фигурой среди литераторов, встречавшихся в «ЗИФе», был Яков Захарович Черняк. Он имел прозвище Метафизик. Рассуждал обо всем, яростно жестикулируя, со страстью доказывая свою правоту, и успевал убедить в ней своих слушателей. После этого делал паузу: «Так скажут нам...» — и начинал с той же энергией развивать взгляд прямо противоположный. Черняк был молодым приятелем и наследником М. О. Гершензона: он завещал ему большую часть своей библиотеки и квартиру в Плотниковом переулке. В этой квартире часто бывали и перезнакомились между собой Андрей Платонов, Лев Славин, Виктор Дмитриев, Константин Финн, Ян Новак — несбывшийся писатель, но человек небудничной, авантюрной судьбы, интересный рассказчик, которого я уже в 60-е годы встречал у Саца.

В этом ярком окружении Платонов выделялся, несмотря на свою молчаливость, сдержанность. Было в нем, рассказывал Сац, что-то от мастерового, от рабочего старого времени — во внешнем облике и в некоторых бытовых привычках. Жизненный опыт его был велик и выходил далеко за литературные рамки. В то время как Черняк, разбирая скандальное дело прошлого века, темпераментно обсуждал судьбу «огаревского наследства», Платонов рассказывал о том, как работал паровозным машинистом; как во время голода 1921 года распределял хлеб среди крестьян Воронежской губернии; как организовывал «малую механизацию» на селе — ставил пошвенные колеса, насосы для поливки огородов, используя оставшиеся от войны мотоциклетные моторы.

Сацу была близка сама человеческая индивидуальность Платонова, еще более восхищали его сочинения: ни на кого не похожий, особый строившийся этим писателем мир. В тот год, когда они познакомились, Платонов получил письмо от Горького, прочи-

тавшего в рукописи «Чевенгур». Горький писал о невозможности издать эту книгу, пророчил ей большое будущее, но и припоминал пословицу: «Пока солнце взойдет — роса очи выест».

Горький как в воду смотрел: с 1931 года началась для Платонова особенно трудная полоса его судьбы. Когда в журнале «Красная новь» в 1931 году была опубликована и вскоре резко раскритикована в печати повесть «Впрок», многие отвернулись от автора. И тут Игорь Сац поддержал его — так было положено начало их дружбе.

С повестью «Впрок» была связана ныне кажущаяся невероятной история. Прочитав рукопись Платонова, редактор «Красной нови» А. А. Фадеев, спешивший в отпуск на юг, передал рукопись своему заместителю Ставскому, отчеркнув на полях показавшиеся ему неточными или политически сомнительными фразы и абзацы. Заместитель тоже куда-то спешил, так что рукопись ушла в типографию с непонятными пометками, и наборщик, по-своему уразумев их смысл, набрал отчеркнутое *вразрядку*. Так повесть и вышла в свет, вызвав яростный гнев Сталина, уже прежде выражавшего недовольство «Усомнившимся Макаром». Передавали, будто он сказал в сердцах: «Мы с этим делом разберемся, так чтобы и другим пошло *впрок*».

Испуганная редакция пыталась было организовать изъятие только что разосланного номера у подписчиков, но эта акция не имела большого успеха. Сац давал мне читать свой экземпляр «Красной нови» с поразительными разрядками в тексте, а он был, надо думать, не единственный, кто оставил себе журнал на память.

Разумеется, вернувшись из отпуска, перепуганный редактор признал ошибку и написал в газету статью о «дерзкой вылазке классового врага», прибавив к этому обычно неотразимый аргумент, что если бы только одна идейная сторона страдала, а то повесть беспомощна и с чисто художественной точки зрения... «Бедняцкую хронику», как определил жанр своей вещи Платонов, переименовали в «кулацкую».

Платонов не спешил раскаиваться, как ему это предлагали, а, напротив, написал ироническое письмо, в котором известил «инстанции», что делает из этой

истории свой вывод: просит назначить редактором журнала его, Андрея Платонова. Ведь «Впрок» читало, написал он, шестнадцать редакторов и корректоров да еще политцензор, и никто ничего дурного в повести не приметил, иначе бы она не вышла в свет. Так что если он плохой писатель и написал неудачную повесть, то уж редактором он мог бы быть не хуже тех товарищей... Тем дело и кончилось.

Годы спустя Платонов говорил Сацу о своем «Впроке»: «Да, там было много смутного. Но сознайся, Игорь, кое-что я там угадал».

Видно было, что Саца восхищала жизнестойкость Платонова. После неудачи с «Впроком» Андрей Платонович устроился работать в какое-то научно-техническое учреждение, что-то вроде Палаты мер и весов, и сделал там несколько усовершенствований и изобретений, на которые получил патентные свидетельства. Он не всегда умел рассчитать математически то, что придумывал, но его технические идеи поражали остроумием решений и оригинальностью.

Возможности же для литературной работы он нашел лишь в журнале «Литературный критик». Игорь Александрович и Елена Феликсовна Усиевич заказывали Платонову рецензии и статьи — о Хемингуэе и Олдингтоне, Пушкине и Горьком.

В «Литературном критике» Платонов часто писал под псевдонимом Ф. Человеков. Многим псевдоним казался вычурным, чрезмерно многозначительным. Платонов возражал. Федор Человеков — был его товарищ, паровозный машинист, погибший в гражданскую войну, и Андрею Платоновичу хотелось хоть чем-нибудь почтить его память.

Даже когда его печатали лишь как критика, Платонов не переставал писать прозу. Сац часто бывал первым слушателем и читателем его новых рассказов.

Игорь Александрович говорил, что понимает Платонова не как писателя народного быта, а как писателя народной души. Платонову было чуждо «эстетическое» отношение к человеку, к его телу, отмечал Сац. Трудовые и страдающие, даже нелепые люди были ему дороже красивых. В «Песчаной учительнице», которую Сац считал одним из лучших рассказов всей жизни Платонова, в «Сокровенном человеке», в повести «Река Потудань», одной из наиболее ценимых

самим автором, он находил черты народного идеала.

Правда, по словам Саца, Платонов любил повторять, что «в народном море, как в любом море,— чего только нет: и вонючие водоросли, и всякие морские гады водятся... Беда, что литература молчит или едва цедит сквозь зубы там, где криком надо кричать».

Однажды в «Литературном критике» пришла кому-то в голову богатая мысль: послать Платонова в командировку по радищевскому пути, только наоборот — из Москвы в Петербург, и напечатать его литературные заметки, очерки с дороги из жизни современной деревни. Долго дебатировался вопрос: на чем ехать? Не на «Красной» же «стреле» — из окна поезда что увидишь? Решили купить лошадь, подводу, выписали командировочные до Ленинграда, и Платонов отправился.

Провожали его торжественно, но вернулся он, не проехав и трети пути. Время было голодное, колхозы еще не встали на ноги, в Калининской области лыко драли на лапти, и Платонов раздавал много денег. В конце концов растратил все, на каком-то полустанке продал лошадь и вернулся в Москву несколько сконфуженный отрабатывать авансы по командировке.

Сац гордился тем, что «Литературный критик», сроду не печатавший прозы, в 1936 году опубликовал в одном номере два рассказа Платонова, в частности хрестоматийный ныне «Фро» и «Бессмертие». Да еще с редакционным предуведомлением: вот какую «великолепную прозу не печатают наши «толстые» журналы! После нескольких лет вынужденного молчания Платонова номер критического журнала с его рассказами был сенсацией.

Сац не пропускал случая поддержать талант Платонова в печати и сам подвергался за это нападкам критических зоилов. «Мне обидно, что тебе за меня попало,— говорил Платонов.— Ты лучше напиши про меня статью, в которой будет такая фраза: «Но в конце концов ясно, что писатель идет по оврагу». Все подумают, что ты меня раскритиковал, и мне обидно не будет».

Когда Сац возмущался недалекостью критиков Платонова, тот возражал ему, считая, что дураков нет, а «есть только подлецы, которым выгодно притворяться дураками». «Но этот взгляд на человечество

всегда казался мне чересчур мрачным»,— смеялся Сац.

Игорь Александрович был рядом с Платоновым во времена самых тяжелых личных его невзгод. Вместе с ним переживал несчастную судьбу его единственного сына, ходил с ним в приемную НКВД на Кузнецком мосту. А когда Платонов тяжело и безнадежно заболел — доставал ему лекарства, проводил часы у постели умирающего...

Жаль, что о Платонове, как и о многом другом, он не успел сам рассказать читателям.

* * *

Главные литературные труды Саца, как и его живая память, были посвящены Луначарскому. Им собраны тематические сборники работ Луначарского и написаны статьи о главных разделах его наследия, его взглядах на литературу, музыку, изобразительное искусство, о его мемуарных портретах.

Помимо систематизации и собственной вдумчивой оценки, все, написанное Сацем о Луначарском, имеет то достоинство, что это непосредственное знание, подтвержденное годами личного общения и, стало быть, получаемое нами из первых рук.

Вспоминается рассказ, который я не однажды слышал от Игоря Александровича, а потом прочел чуть переиначенным в одной из книг Катаева. Луначарский держал речь на одном из собраний и, к случаю, процитировал слова Ленина. Из зала выкрикнули: «Ленин этого не говорил!» Луначарский остановился на мгновение, повернулся в сторону, откуда прозвучала реплика, и, ораторским жестом выбросив руку с указательным пальцем, произнес: «Вам — не говорил, а мне — говорил!»

Вот таким безусловным, личным, точным знанием в отношении взглядов, вкусов, интересов Луначарского в области искусства обладал Сац, хотя в статьях своих опирался исключительно на опубликованные тексты и редко-редко прибегал к эффекту личного свидетельства.

Много времени и сил уделил он подготовке к изданию текстов Луначарского, причем порою входил в конфликт с текстологами по одному деликатному вопросу. В последние годы жизни Луначарский обычно

поручал своему секретарю работу литературной правки. Нередко случалось, что Анатолий Васильевич делал устный доклад на каком-нибудь литературном торжестве или произносил речь, которая стенографировалась. Неправленая стенограмма поступала затем в распоряжение Саца — «Гòри», «Гореньки», как по-домашнему называл его Луначарский. Выправленный Сацем текст печатался потом в газете или журнале. Луначарский, по-видимому, полностью доверял своему молодому сотруднику и после его правки часто читал статью лишь в корректуре или даже в вышедшем номере. Он благодарно принимал тактичную помощь своего секретаря.

Когда в 60-е годы стало выходить собрание сочинений Луначарского, текстологи, трактуя авторскую волю формально, попытались убрать в ряде случаев правку Саца, и это его сердило; зачем возвращать Луначарскому его случайные оплошности и небрежности стиля (иногда и технические ошибки стенограммы)? Ведь он сам хотел от них избавиться, поручая их выправить.

Сац-критик впитал, унаследовал от Луначарского уважение ко всякому таланту, но при этом разделял и его особую приверженность к реалистической литературе, демократической, народной подпочве искусства. Культуру он понимал широко, как просвещение масс, а не только как повод для знатоков полюбоваться шедеврами. Популяризацию искусства иногда считают прикладным, побочным и даже как бы немного стыдным для специалиста занятием. Сац видел в нем важнейшее общенародное дело. Разумеется, унылая упрощенность и плебейская вульгарность вызывали у него при этом отпор.

В лучших статьях, к числу которых принадлежит статья о Михаиле Зощенко, он развивал свой подход, который можно характеризовать как демократическое, марксистское просветительство. При огромной читаемости и славе Зощенко в 20—30-е годы мало кто в критике понял тогда природу юмора этого писателя и серьезность его художественной мысли. Сац показал, что авторский мир Зощенко вовсе не совпадает с миром его героев и рассказчика, и отметил глубокий социальный смысл в демократической стихии языка, где говор деревни мешался с просторечьем города,

Одним из первых в советской критике Сац заговорил о значении документальной литературы, рукописях и книгах так называемых «бывалых людей». Таким сочинением были, в частности, записки о Якутии Абрамовича-Блека. Судьба и личность этого человека плохо вязались с его фамилией: это был русский дворянин, бывший морской офицер царского флота, носивший часы на большой цепочке. Сац весело рассказывал о нем: вероятно, они познакомились в пору писания им статьи о записках Блека. Однако литературное значение статьи было шире взятого в ней материала. Автор отмечал невымышленный парадокс: в то время как современной художественной литературе, собственно «беллетристике», недостает «художества», в документальной — пробивается неосознанная художественная правда. Мысль эта готовила будущий интерес Саца к запискам инженера-изыскателя Побожьего, генерала Горбатова и др.

Находчивый и острый полемист, Сац не раз вступал в журнальные споры. Во многих его статьях, журнальных обзорах и заметках остался жар отгоревших баталий 20—30-х годов. Иные полемические поводы потеряли ныне право на внимание вместе с именами, канувшими в Лету. Но до сих пор вызывает живой интерес последовательная защита Сацем таланта Андрея Платонова в ту пору, когда для этого требовались и проницательность, и мужество. Защищая сочинения Платонова от неосновательной и предвзятой критики, Сац одним из первых дал глубокую оценку природе его дара — осязаемой народности, способности и в изображении, и в языке прикоснуться к существу вещей.

Конечно, можно упрекнуть Саца, что его точные и твердые суждения о литературе бывали иногда ослаблены упрощенной социологической догматикой. Кое-что в его способе высказывания навеяно ветрами и сквозняками времени. Иные суждения, казавшиеся когда-то дерзкими, антидогматическими, воспринимаются теперь как нечто очевидное либо устарелое. Но прежде чем осмелиться упрекать его в узости, надо на его уровень взойти, и рядом с отжившим и осыпавшимся сколько окажется в его статьях и рецензиях верности, меткости глаза, остроты восприятия искусства!

Особенно хорош, находчив и свободен был Сац во внутренних рецензиях, которые в литературной среде кто-то остроумно окрестил «могилой неизвестного солдата». В разные времена им были написаны для издательств и, главным образом, для журнала «Новый мир», сотни таких рецензий, иногда объемом в несколько десятков страниц. На этом поле он чувствовал себя свободно и охотно распылял свой талант в пространство. Спокойное, последовательное изложение в журнальных статьях иногда завлекало его в рутину, чего никогда не ощущалось во внутренних рецензиях.

Твардовский одно время носился с идеей собрать все рецензии, написанные Сацем не для печати, в один том: он ожидал увидеть значительную книгу. К сожалению, проект этот оказалось трудно осуществить по двум причинам: во-первых, из-за того, что большинство рецензий пропало без следа — Сац никогда их не собирал, да и сам испытывал скептицизм по отношению к лестному для него предложению. Во-вторых, из деликатности по отношению к авторам рецензируемых книг: если рукопись в результате издана и автор устранил отмеченные в отзыве недостатки, неловко печатно объявлять, что они были.

Но на каких весах взвесить пользу, принесенную Сацем в этом невыигрышном жанре литературы? И как тут быть, если ему нужен был свободный спор, лишенный обязательств, какие накладывает печатное тиснение, чтобы его парадоксальный ум заблистал, засверкал всеми своими гранями?

В импровизированном литературном разговоре — в редакции или у себя дома — он был еще талантливее, раскованнее, чем наедине с листом бумаги. Лучшие мысли рождались у него в полемике, на ходу.

* * *

Сац называл себя «няней филологических наук». Конечно, не доктор филологии, даже не медсестра — на няню он был согласен.

Вынянчил он в области литературоведения не одного младенца, и были у него при этом афоризмы, рассуждения, присловья, которые трудно забыть.

Его определения и оценки часто выглядели парадоксами. Но они разрушали рутину, теребили ленивый ум, сводили с накатанной дороги и почти всегда удив-

ляли непосредственностью взгляда: от абстракции — прямо к натуре, житейской проверке истины.

Приведу некоторые суждения Саца из того, что запомнилось. Конечно, в потоке разговора, высказанные как бы между прочим и к месту, они выглядели несомненнее и острее, но и в таком виде его напоминают.

— Бьются над определением литературных направлений. Я хотел бы предложить свои: если человек изображен голый — это натурализм, во фраке — формализм, а вот если в пиджаке — это уж, точно, реализм.

— Надо различать артистический и физиологический темперамент, простым напором в искусстве не многое возьмешь.

— Композиция в сочинении может быть как панцирь, а бывает — как внутренний скелет.

— Музыка знает понятие *длительности.* Это и вообще примета крупного искусства — долгое дыхание, напряжение и непрерывность чувства.

— Индивидуальность, которая печется о том, чтобы проявить и закрепить свою индивидуальность,— это уже не индивидуальность, а что-то расхожее. Индивидуальным можно быть, лишь проявляя интерес к другим индивидуальностям.

— Вдохновение — это сокращенная работа. Некий писатель говорил, что один рассказ он пишет за день, а на другой, равный по достоинству, тратит месяц. В первом случае было вдохновение. Можно ли вытренировать себя на такую короткую работу? Сомневаюсь. Вот тут и условие — талант. У львицы всегда рождается львенок, пусть хилый, слабенький, но львенок, а не ягненок, не котенок. Говорят иногда, правда, что женщина второго ребенка рождает лучше, чем первого. Это иллюзия. Роды легче, а ребенок не лучше. Важен библейский принцип: «рожденна, не сотворенна».

— Декаденты бывают самодовольные и несамодовольные. Вторые куда симпатичнее. Мне больше всего не нравится пошехонский модернизм.

— Перерыв традиции — всегда беда. Но дерево срублено, а на пне зеленые побеги растут в ту же сторону.

— Нередко рассуждают в абстрактных противоположностях — и те, кто «против», и те, кто «за». Мало

кого занимает существо жизни, как люди живут. Так повар спрашивает: вам котлеты пережаренные или недожаренные? Дайте просто котлеты!

— Не понимаю, как можно ненавидеть нацию. По-моему, и одного человека ненавидеть трудно. Так устаешь...

— Бальзак писал ради денег, а получалось, что пишет для народа. Наш романист К. уверяет, что пишет для народа, а выходит почему-то, что ради денег.

— Есть такая мера глупости, когда это выглядит уже моральным изъяном.

— У Н. много ума, но, к сожалению, он им не пользуется.

— Как сказал Чехов, мы еще увидим все небо в овчинку!

— По мне, самый выдающийся литературный критик — Собакевич, говоривший: «Мне лягушку хоть сахаром обсыпь, я ее есть не стану».

— Следовать за всеми, за толпой — значит «оносорожиться», говорит Ионеско. Но остаться одному, запереть наглухо окна и двери — не значит ли тоже начать зарастать носорожьей кожей?

Когда я слушал увлекательную, легкую, быструю речь Саца, пересыпанную замечаниями, афоризмами, меткими словечками, видел, как лилась его вдохновенная импровизация, то вспоминал мысль Пушкина, высказанную на одной из страниц «Путешествия в Арзрум»:

«Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строки в «Московском телеграфе».

Мне всегда казалось, что это «случай» Игоря Саца.

* * *

Как-то давно, году еще в 1960-м, воодушевленный рассказами Игоря Александровича о прошлом, я уговаривал его написать воспоминания о Луначарском, о том времени, когда он работал с ним рядом. Сац охотно соглашался, говорил, что и его тянет иногда записать не для печати, но хоть для себя все, как было.

Да вот то одно, то другое мешает, не дает спокойно сесть к столу.

Я сочувственно кивал, тогда я еще мало знал Саца. Под свежим впечатлением этих разговоров, встретившись с Твардовским, я и с ним поделился надеждой, что Сац засядет за воспоминания.

— А по ходу дела он и от себя мог бы многое сказать,— подхватил эту тему Александр Трифонович.— Ведь ума палата... Только боюсь, с этим он уже не сладит,— продолжал после некоторого раздумья Твардовский.— Он ведь и работу себе берет только в том случае, если она удовлетворяет двум условиям: самая трудоемкая и самая малоденежная. А ведь нельзя сказать, чтобы деньги были ему лишние... Есть такой рассказ: пьяница самым решительным образом объявляет, что бросит пить,— за выпивкой. Вот так и Сац собирается писать воспоминания... Вы ведь, верно, с ним вечером за столом говорили? Так? А писатель должен это желание не терять и наутро.

Твардовский любил рассказывать, как однажды пытался выручить Саца, опаздывавшего с очередной работой для издательства. К сборнику статей Луначарского он обещал написать предисловие листа на два печатных. Чем ближе подходил срок представления рукописи, тем умереннее становились притязания автора предисловия: сначала он решил, что хватит, пожалуй, и одного листа, потом объявил, что и половинки листа достаточно. Между тем срок неумолимо приближался, не было написано еще ни строки, и Твардовский, в порядке дружеской выручки, пригласил Саца на свою внуковскую дачу — дня на два, на три поработать в тишине. Семья Александра Трифоновича была в городе, и он тоже полагал провести эти дни за городом в сосредоточенной работе.

Прибыли на дачу уже к вечеру, времени для работы не оставалось, поужинали, понятно, весело и решили засесть с утра. С утра за завтраком вели хорошие разговоры. Завтрак кончился, Твардовский сел работать, а Сац вышел на минутку по саду пройтись, воздухом подышать. Через полчаса кричит в окно: «Александр Трифонович, тебе в саду ничего не надо сделать? Давай я смородину перекопаю... Или вот с тачкой торф перевезу».— «А как же предисловие?» — «А после обеда и начну...» В итоге к концу второго дня

написал три страницы и объявил, что, пожалуй, этого хватит с лихвой. «Я вот что понял: ведь здесь и нужды нет в подробных объяснениях, Луначарский сам выразил всё достаточно ясно». «Я только руками развел»,— заключил Твардовский.

Нет, его положительно нельзя было заставить писать длинно. Во всех творческих, дружеских, человеческих отношениях не то чтобы обязательный, но сверхобязательный, свои авторские занятия он отодвигал на последний план и старался свести к минимуму. Защищаясь, брал себе в союзники Бабеля. Рассказывал, смеясь: Бабель мечтал написать повесть, листов, кажется, в пятнадцать. Написал, пошел погулять по улице с девушкой, которая ему нравилась, и по дороге за десять минут все ей рассказал. Да притом не сокращенно, не опуская подробности, а все, что нужно было для впечатления, целиком. Это так его обескуражило, что он не напечатал вещи. Так она и пропала потом, вместе с другими его рукописями. «В самом деле, к чему писать длинно то, что можешь рассказать за десять минут»,— делал вывод Сац.

«Сколько раз я его пытался вытащить на поверхность,— сокрушался Твардовский,— а он опять ныряет в свое подводное царство: редактура, внутренние рецензии... Если бы я пришел вечером к нему и сказал: «Игорь, к завтрашнему утру необходима большая теоретическая статья, а то журнал могут закрыть и мне это будет очень неприятно»,— я могу рассчитывать, что статья будет. Но если я по малодушеству прибавлю: «...завтра... ну, в крайнем случае, послезавтра»,— статьи я не дождусь уже никогда».

Однажды на моих глазах Сац будто взялся проиллюстрировать эти слова Твардовского. Популярная газета заказала ему юбилейную статью. За месяц вперед ей было определено место в номере, и Саца просили представить статью заранее, чтобы избежать поспешности и лишних хлопот в полосе. Сотрудник газеты регулярно звонил и осведомлялся о ходе дела. Прошло две недели — статья не была готова. Еще через неделю — та же картина. Оставалось всего три дня, прошла планерка по номеру, статьи все не было.

Не буду и пробовать воспроизвести тот возраставший день ото дня накал телефонных переговоров с редакцией, которые Сац парировал любезностью, юмо-

ром и уверенными обещаниями не подвести газету. За два дня до выхода номера статьи еще не было, ее можно было набирать уже только «досылом» и вставлять в готовый макет, но редакция еще надеялась. Наконец накануне выхода газеты из редакции позвонили с грозным ультиматумом: «Или статья будет доставлена к часу дня, или...» — «Присылайте курьера»,— сказал Сац. И сел наконец к столу, писать.

Через час явился курьер. Сац встретил его обворожительно, обещал, что вот-вот кончит, и пытался усадить пить чай. Курьер заявил, что ждать не будет, и потребовал статью немедленно. «А вам не надо еще к кому-нибудь после меня ехать?» — ласково спросил Сац. Выяснилось, что курьеру придется везти пакет в Новые Черемушки. «Вот и чудесно, поезжайте в Черемушки, а уж оттуда ко мне»,— попросил Сац. Он дописывал последнюю фразу, когда курьер позвонил у двери вторично. Терпение редакции было вознаграждено: статья, и, смею уверить, отличная статья, была напечатана.

Во времена Петра Великого с писарей в Сенате снимали сапоги, чтобы они не могли убежать из присутствия. Но то было простое нерадение, в случае же с Сацем, полагаю, отмечалось нечто иное. Он так привык помогать другим, так виртуозно расшивал узоры по чужой канве, что легко терял веру в себя как в автора. К тому же его требования к печатному, письменному слову были велики, и он начинал их с себя. Нельзя сказать, чтобы он не был самолюбив, иногда даже что-то шляхетское, гордое пробуждалось в нем, но орган, заведующий литературным честолюбием, был, кажется, ампутирован у него начисто.

Тут, возможно, играли роль и природные свойства, по-разному воплотившиеся в лицах братьев и сестер этой большой талантливой семьи. Я чуть не вскрикнул, когда в мемуарах Станиславского натолкнулся на описание обычного способа работы Ильи Саца, знаменитого театрального композитора, почти гениального в своем деле. Оказывается, Илья Сац, посещая все репетиции пьесы, к которой собирался писать музыку, внимательно приглядывался ко всему, но не спешил приниматься за дело, доводя до крайней степени волнения режиссеров и дирижера оркестра Художественного театра. Уже были продуманы и отрепетированы

мизансцены, выстроены декорации, сшиты костюмы и опробован грим, а музыки все не было. «...Он писал уже в самый последний момент, когда нельзя было больше ждать,— рассказывает Станиславский.— Самый процесс его писания происходил следующим образом. Илья Сац просил домашних запереть его в одну из отдаленных комнат квартиры и не выпускать оттуда до тех пор, пока музыка не будет написана. Его желание исполнялось в точности, и лишь три-четыре раза на дню дверь отворялась и добровольному узнику передавали пищу. В течение нескольких дней и ночей из комнаты заключенного доносились грустные и торжественные аккорды и созвучия, слышалась его очень смешная, аффектированная декламация, от которой, по-видимому, он переходил к музыкальной теме. Потом на целые дни все стихало: домашним казалось, что узник плачет; думали, что с ним случилось что-нибудь, но стучать к нему не смели, так как сношения с внешним миром в эти моменты могли убить у Саца всякое желание творить» [1].

Может быть, мы грешны, что не применяли к Игорю Александровичу тот же жестокий метод! Возможно, его тоже следовало запирать в комнате и передавать пищу через окошечко,— кто знает?

Легко и быстро пишет тот, кто не боится писать плохо. Иногда среди такого быстрого писания родятся и поднятые вдохновением страницы. Но при точном вкусе и внутреннем слухе, при большой требовательности к своему перу трудно переступить за порог даже первого абзаца. В романе Камю «Чума», который очень ценил Сац, ёсть персонаж, отчасти его напоминающий. Это журналист Гран, который хочет написать такой роман, чтобы редактор воскликнул: «Шапки долой, господа!», но никак не может сладить с первой фразой, где элегантная амазонка цветущим утром мая скачет по аллеям Булонского леса. Он месяцами вертит фразу на тысячи ладов, переставляет слова, оперяет эпитетами и вновь выщипывает их, а амазонка скачет все на одном месте.

В последние годы попытки воззвать к нему, чтобы он «писал, больше писал», Сац встречал тихим, не-

[1] Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. М., 1954—1961. Т. 1. С. 312.

обидным смехом. Видно, про себя он уже решил, что вряд ли когда будет на то время и охота. «За всем не поспеешь. Этим я займусь при втором перевоплощении»,— шутил Сац. Казалось, он понял, что в жизни и вообще есть что-то поважнее этой возни с пером и бумагой. Сац знал всю притягательность овладения жизнью способом литературы, но предпочитал непосредственное осязание ее, живое общение с людьми разных возрастов, званий и состояний.

Но с людьми он тоже предпочитал общаться в одиночку или небольшими компаниями: оратором его представить трудно. Это была даже не скромность, а какое-то упрямое уклонение от публичности: то ли боязнь сбиться на фразу и шаблон, то ли прирожденная застенчивость.

Однажды я очень на него подосадовал. Предстоял очередной юбилей Луначарского. Мне позвонили из клуба МГУ и неожиданно предложили председательствовать на вечере его памяти. Я недоумевал, за что такая честь, и пробовал ее отклонить: ведь наследием Луначарского я никогда специально не занимался. Выяснилось, что Сац, к которому обратились с подобной же просьбой, отказавшись, рекомендовал меня как крупнейшего специалиста в этой области и незаменимое для ведения вечера лицо. Я немедленно перезвонил Игорю Александровичу с упреками и отказом. Но он так изобретательно и настойчиво уговаривал, утверждая, что и делать-то мне, в сущности, там будет нечего — сказать два слова при открытии и предоставить выступать друзьям Луначарского и его исследователям, что я ослабел и сдался. Спросил только: «Но вы-то будете выступать?» — «Разумеется,— не колеблясь ответил Сац.— Ни о чем не беспокойтесь, все будет отлично»,— вкрадчиво-ласковым голосом убеждал он.

В назначенный час, изрядно волнуясь, я пришел в клуб на улице Герцена и увидел за кулисами трех выступающих: выдающегося эстетика, старейшую актрису и помощницу Луначарского по Наркомпросу. Не было только Саца. Это меня смутило, я стал обдумывать, не исчезнуть ли и мне, пока не поздно, но в эту минуту Сац явился — чисто выбритый, с красивой серебряной головой, в новом костюме. Правда, галстук, который он не любил носить, предпочитая открытый

ворот рубахи, был повязан каким-то крохотным засаленным узелком и съезжал под мышку... «Вас объявлять первым или вторым?» — спросил я. «Если можно, в конце»,— попросил он с не понравившимся мне коротким смешком.

Мы сидели на сцене за круглым столом, покрытым бархатной скатертью с кистями, на которой стоял микрофон. Я сказал краткое вступительное слово, вечер шел своим чередом, но так как выступающих было немного, я спросил шепотом, наклонившись к Сацу: «Сколько вам потребуется для выступления? Хорошо бы минут на двадцать».— «Сколько удастся, столько скажу»,— ответил он, бросил быстрый беспокойный взор за боковую кулису и сделал движение на стуле, давая понять, что собирается покинуть сцену. «Куда вы?» — прошептал я в его сторону потерянно. «Покурить»,— ответил он и боком-боком незаметно проскользнул за кулисы.

Это было странно, потому что курить, как я хорошо знал, он к этому времени бросил. «Волнуется человек»,— помню, подумал я.

Список ораторов быстро иссяк, я тщетно затягивал время в заключительном слове, все надеясь, что он выйдет на сцену, но он не появился, и после унизительной паузы вечер пришлось закрыть.

Я тщетно искал его в кабинете директора, артистической комнате, коридорах клуба, желая высказать все, что я об этом думаю. Одежды его на вешалке не оказалось. В досаде я позвонил к нему на квартиру, намереваясь излить мое возмущение кому-нибудь из домашних. К моему удивлению, трубку снял он сам. «Ох, так где же вы? — протянул он медовым голосом, который напомнил мне голос за дверью в сказке «Красная Шапочка».— Я давно вас жду, стол уже накрыт». Я онемел от обиды. «Что вы молчите? — ворковал он.— Неужели сердитесь, что я ушел пораньше? Но мое выступление было бы лишним... Вечер прошел так хорошо! Не сердитесь, приезжайте! Все равно я не сумел бы говорить длинно, дольше двух минут. Вы знаете, какая история случилась как-то с Бабелем?..»

Я поехал. Сердиться на него было делом напрасным.

* * *

Порой Сац начинал сетовать, что ничего не успевает делать, что его договоры на переводы и редактирование горят ярким пламенем, что ему минуты нет сесть за стол и сосредоточиться. Чем же он был занят в это время? Лучше спросить, чем он не был занят.

Все мы уже смолоду постоянно чувствовали себя погруженными в дела и заботы, один он — всегда был свободен. В любую минуту в его дверь мог постучаться всякий нуждающийся в нем, и он не выразил бы тени удивления или протеста. Он помогал старушке сочинять бумагу в суд, девушке, учившейся в вечерней школе, диктовал план сочинения, еще кого-то готовил к экзамену в университет, с молодым музыкантом разбирал сонату Бетховена.

Люди мгновенно прилипали к нему. Сломав руку и оказавшись в больнице, он познакомился с молодым хирургом. Хирург по неопытности неправильно сложил ему кость. Сац испытывал жестокую боль, но только посмеивался, когда его повезли на вторую операцию. «Мы слишком увлеклись литературными разговорами...» — оправдывал он молодого врача. Они стали друзьями.

Сац не боялся человеческого горя. У многих больница, психиатрическая клиника или, не дай бог, тюрьма вызывают инстинктивное чувство отталкивания, самобережения: невольный искус устраниться от тягостных впечатлений бытия. Сац был бесстрашен. Он даже шел навстречу тому, что опасно и трудно,— навстречу разным видам человеческого несчастья: горьким пьяницам, преступникам, сумасшедшим, безнадежно больным. И никогда не было у него оттенка брезгливости к жалкой бедности или «стыдной» болезни, высокомерия к трудной жизни. Если бы он был врачом, то, наверное, входил бы в чумные бараки и испытывал вакцину на себе.

Русская поэтесса Кузьмина-Караваева, она же Мать Мария, трагическая фигура французского Сопротивления, погибшая в немецком концлагере, хорошо говорила о помощи людям в быту как о духовной задаче: пока мы стираем белье, чистим картошку и ездим в метро — это так, ничего, «поделка»; но духовная помощь — это не поделка.

Сац не выносил за скобки своей «чистой» интел-

лигентной жизни страдания больницы, темницы, дома скорби и не жалел времени, чтобы опекать больных, ходить с передачами, вызволять из «узилища» невиновных, кого-то брать из роддома, кого-то хоронить.

Вечно сетуя на безденежье, он относился к деньгам более чем легкомысленно: не умел их зарабатывать, не умел тратить, умел раздавать и терять. Он любил свои книги, но к тому, что их читали и зачитывали, относился так же беспечно, забывал, кому что роздал.

Со своей библиотекой, где книги громоздились свободно и хаотично, разномастными корешками наружу, не запертые под стеклом, он общался так же непринужденно, как со своими посетителями. Вытягивал с полки книгу — часто это был Щедрин или Глеб Успенский — и начинал вычитывать оттуда что-либо живописное, едкое и начисто забытое, и сам хохотал мелким, дробным, заливистым смехом. Когда ему замечали, что его любимцев, социальных писателей прошлого века, читают мало, он отвечал со вздохом: «Ну что ж, пусть отдохнут...»

Вкусы его, как и познания, были неожиданны. Однажды, когда я слишком спешил на какое-то собрание, Сац достал с полки Аристофана и вычитал вслух из комедии «Ахарняне»:

...Город мой, о, город мой!
Всегда я первым прихожу в собрание,
Часы просиживаю в одиночестве,
Вздыхаю здесь, зеваю здесь, скучаю здесь,
Пишу, скребусь, рыгаю, философствую,
О тишине тоскую, на поля гляжу
И город ненавижу.
О, село мое!

Он утешил меня тем, что и две тысячи лет назад люди знали муку утомительных словопрений.

Сац являл редкий тип бессребреника. Это его свойство распространялось и на то, что люди основательные так не любят отдавать и дарить: свое время. Среди писателей я знавал маньяков времени, поминутно взглядывавших на часы во время разговора: с ними ты чувствовал себя неловко с первой минуты. Но как восхитительно умел терять время Сац! Иногда он, правда, начинал сокрушаться, что ему не дают работать. Казалось, что стоило ему запереть наглухо двери

своего дома и как-то иначе организовать жизнь? Но не по нему это было, и своей вдохновенной манеры терять время он не оставил.

«Вы заметили, он без часов ходит?» — сказал как-то Твардовский, когда мы ломали голову, что подарить Сацу в день его юбилея. В магазине на улице Горького мы выбрали хорошие наручные часы и пошли было к граверу заказывать надпись, но Александр Трифонович остановился в раздумье. «Нет, не надо,— сказал он вдруг,— мы не знаем еще, будет ли он их носить. Зато, случись нужда, он их заложит, а с надписью — неловко будет». И как в воду глядел: часов наших на руке у Саца я не видел. Он по-прежнему пользовался, да и то изредка, старинными фрачными часами, лежавшими обычно без применения на столе.

Но не на дружеские встречи и разговоры тратил львиную долю своего времени Сац. В литературных делах он не знал различия между служебным долгом и «частной благотворительностью», заказной работой — и просто товарищеской помощью. Сколько я его помню, он вечно корпел над чьей-то рукописью, «доводил» ее, дотягивал до печати. Независимо от того, принадлежала ли она перу прославленного или безвестного автора, имела перспективу на скорую публикацию или была едва ль не безнадежна, он бросался ее читать, рецензировать, править. Это могли быть повесть, роман или военные мемуары, литературоведческая монография или труд по теории музыки. И чем объемнее, утомительнее предстояла работа, тем больший азарт охватывал его перед, казалось бы, невозможной задачей.

Был случай, когда знакомая аспирантка принесла ему свою диссертацию по пьезоэлектричеству и просила просмотреть ее с точки зрения стилистики. Игорь Александрович сделал несколько стилевых поправок, но, возвращая рукопись, смущенно сказал, что во второй главе что-то неладное с выводами: там, по-видимому, ошибка в исходной формуле. Диссертантка за голову схватилась: он был прав, главу пришлось переписывать.

Ему присылали на рецензию неудачный перевод, он сверял его с подлинником и начинал редактировать, по существу переписывая наново. Он получал для редактуры мемуары и, встретившись с мемуаристом, по-

буждал его вспомнить такие сцены и подробности, о которых тот по робости или неопытности промолчал и которые потом составляли едва ли не лучшие страницы книги. Он редактировал воспоминания генерала армии А. В. Горбатова и инженера-изыскателя А. А. Побожьего, начальника тыла армии генерал-лейтенанта Н. А. Антипенко и художника В. П. Комарденкова, дипломата И. М. Майского и генерал-майора Ковтуна, эмигранта Энгельгардта и участника отрядов Сопротивления Флейшера. Многие из этих людей, встречаясь с Сацем, узнавая его в работе, становились личными его друзьями.

В воспоминаниях он не признавал приблизительности и верил живой эмоциональной памяти больше, чем сотворенному в канцелярии документу. Склонялся над старой, прохудившейся на сгибах картой-трехверсткой с генералом Горбатовым, воскрешая подробности давно отгоревших сражений. И почтительно, но твердо советовал другому военному мемуаристу: «Пишите, как дело было... И не слишком верьте документам, которые принесет из архива ваш адъютант. Разве вы не помните, как во время войны донесения писались? Можно поехать в Подольский архив и там найти три моих донесения, помеченных одним и тем же числом. В одном я пишу, что в моей разведроте 38 активных штыков, в другом — 65, а в третьем — 93. Как так? А просто в первом случае меня запрашивали, не могу ли я передать в другую роту часть своего личного состава. Не могу, у меня всего 38 бойцов. Во втором требовалась справка на обмундирование и боевое снаряжение — тут точно 65, ни больше ни меньше. В третьем же случае выдавалось пищевое довольствие — его хорошо было получить на 93-х — разведчика надо кормить. А военный историк пусть выбирает цифру, какая ему нравится».

Сац оживал, когда чувствовал хоть в малой мере свое влияние на ход литературы, выводил в свет молодых и терпеливо возился с людьми не первой молодости, поворачивая их к читателю лучшей стороной, стремясь довести их книги до печати.

В журнально-редакторском деле он был не кладоискатель, рассчитывавший на верную и оглушительную удачу — разыскать весомый самородок (хотя и это порой ему удавалось), но промыватель золота,

готовый протрясти на сетке тонны пустой породы, промыть горы песка, чтобы сверкнула золотая крупица.

И все это, заметьте, по отношению к чужим, прежде незнакомым людям. А что он был для друзей, лучше всего выразил однажды Твардовский.

— Случись со мной какая беда,— сказал он мне как-то,— всегда могу быть уверен, что Сац тотчас будет здесь, и обо всем его можно попросить, не стыдясь одолжиться, не опасаясь быть в тягость: он безотказен.

* * *

«Ах, как я не люблю прощаться. Давайте еще немного вас провожу»,— говорил обычно Сац. Вот и я никак не могу проститься с ним в этих воспоминаниях.

Он был едва ли не вдвое старше меня, но почему-то так всегда получалось, что не я провожал его, как полагалось бы, а он неизменно выскакивал за мной на улицу в распахнутом пальто и кепке.

Жаловаться он не любил. На чужую помощь не рассчитывал. Считал, что со всем в своей жизни должен управляться сам.

В пору последней болезни не хотел уезжать из дому. Исхудавший до неузнаваемости, он лежал на постели в белой рубахе с открытым воротом и тяжело глотал ртом воздух. Сознание то и дело покидало его. Вызвали «скорую», чтобы взять его в больницу, и он, лишь недавно бредивший, каким-то чудом тотчас пришел в себя, мобилизовался, стал говорить ясным голосом, пошутил с санитарами и врачом, уверяя, что о нем напрасно беспокоятся, и отказался ехать. Но едва врач, пожимая плечами, вышел и «скорая» отъехала, он рухнул на подушки и снова забылся.

В последний день его жизни я навестил его в больничной палате. Он уже «обирался», прихватывая пальцами край одеяла, с трудом дыша обметанным, пересохшим ртом. Назвал меня по имени и снова потерял сознание. Последние слова, какие я от него слышал, были обращены к медсестре, пришедшей сменить ему капельницу над постелью. «Зачем... обижать человека...— задыхаясь, с трудом подбирая слова, сказал он.— Медицина... ерунда».

И в предсмертную минуту это был Сац, каким его знали: ни на кого не похожий, независимый и несдавшийся.

Странно: до сих пор не могу представить, что его уже нет, хотя и проводил, и бросил на гроб горсть земли.

Может быть, оттого, что он сам как-то особенно относился к смерти: боюсь выговорить — легко. До последней минуты делал все для больного товарища: мог обегать весь город, стучаться в любые двери, добывая лекарство, организуя врачей; неделями мог дежурить сиделкой, носить передачи. Но человек умирал, Сац провожал его с искренней скорбью, выпивал стопку в его память и возвращался к новым — живым заботам и хлопотам. Там, где другие бились оземь и надолго теряли себя от горя, он, похоже, считал, что совершается какой-то вековечный закон, против которого восставать душой нельзя. Так теряли товарищей на войне, прощались, уходили и воевали дальше.

Сац много раз говорил, что ему, в сущности, все равно, где лежать, и больше всего подошла бы братская могила. Сентиментального культа ушедших у него не было.

Оттого и сейчас чувство, будто он не ушел совсем, а только вышел, и вспоминается о нем большей частью что-то веселое, легкое. Его непритязательный к другим, открытый, дружественный характер тому причиной. И память о нем без всякого оттенка угрюмой скорби, безвозвратного прощания — светлая память. А утрата — незаметная и самая сильная потеря чего-то в себе и вокруг себя: кажется, так теряют молодость.

ДЁРДЬ ЛУКАЧ

1

Учеников Лукача называли «лукачистами». Ни я, ни мои товарищи по Московскому университету 50-х годов к «лукачистам» себя не относили. Но Лукача часто бранили с кафедры, невнятно объясняя его «ошибки», и это подогревало острый сочувственный интерес к странной одинокой фигуре критика и философа-марксиста, вокруг имени которого вечно вскипали споры. Из рук в руки ходила его книга «К истории реализма» в потрепанном черном переплете, вышедшая перед войной, кто-то раздобыл старый номер «Литературного критика» со статьей Лукача «Интеллектуальный облик литературного героя»...

До нас докатывались лишь затухающие отголоски литературных бурь 30-х годов, но и по ним можно было судить о накале той литературной борьбы. Лукача упрекали, что, ценя в литературе по преимуществу способность познания средствами искусства, он ставит литературу «вне классов»; что, поднимая на щит классический реализм Бальзака и Толстого, он, враг буржуазного модернизма, находит и в советской литературе черты декаданса.

Трудно было не заметить, что аргументы противников Лукача, например В. Ермилова, были обычно слабее, чем у его сторонников, а мнимая победа над его взглядами достигалась по преимуществу силовыми приемами — безапелляционным тоном, громыханием голоса. При этом порой с реверансами и оглядкой — будто охота шла на крупного и опасного зверя.

Дёрдь Лукач и впрямь находился в наших литературных спорах несколько в особой позиции уже пото-

му, что, философ-марксист, обладавший широкой европейской образованностью, он как бы принадлежал одновременно трем культурам — венгерской, немецкой и русской. В Германии он подолгу жил, учился в Гейдельбергском университете. Существует легенда, что его лекции слушал Томас Манн — и даже кое-что из навеянного Лукачем запечатлено в «Волшебной горе». В СССР Лукач прожил добрый десяток лет — с начала 30-х годов и вплоть до освобождения Венгрии. В ту пору многие его труды впервые появлялись по-русски. Ну, а о Венгрии и говорить нечего: здесь он родился, жил, работал, участвовал в революционной борьбе, заслужил признание как выдающийся деятель национальной культуры.

Написанная им на склоне лет статья «Великий Октябрь 1917-го и современная литература» хорошо передает взгляды критика и философа не только на литературу, рожденную Октябрем, но и на советское общество, которое автор знал не понаслышке.

Читая эту статью, испытываешь смешанное чувство удивления, восхищения, порою несогласия, но над всей этой амальгамой эмоций — стойкое чувство огромного уважения к неравнодушному философу. С очевидностью, какую приносит дистанция времени, понимаешь: неуступчивость, несгибаемость, даже то, что воспринималось как некий марксистский «догматизм» Лукача,— все это родилось в горниле борьбы как стойкий протест против сталинского «поглощения тактикой принципов», о котором говорится в статье.

Дёрдь Лукач — философ по преимуществу, то есть человек, который не мог не думать каждую минуту своего бодрствования. А думать он привык не о мелком, бытовом, но о главном: о мире, людях, счастье, о путях борьбы, законах жизни. Не место здесь подробнее говорить о собственно научных заслугах Лукача: им высказано немало оригинальных теоретических идей, им создана своя школа в эстетике и философии (его четырехтомный труд «Эстетика» издан в сокращении у нас недавно). Лукача отличал крупный масштаб мысли: он смело сближал эпохи, страны, гениев разных времен и народов — будто парил над историческим пространством земли.

Хочу лишь еще раз отметить, что он ценил литературу, извлекающую из жизни смысл, а само наслаж-

дение искусством рассматривал скорее как средство более полного постижения жизни. Идейному схематизму он противопоставлял полнокровие социального реализма. Бездумное, чисто интуитивное творчество, так же как формализм в его претенциозных проявлениях, Лукачу претили. Возможно, это сказалось на мере его чуткости к исканиям искусства XX века, и он не всегда бывал прав, оценивая художников-современников, таких, как Бертольт Брехт. Но рыцарская верность своему идеалу, отсутствие соблазна неразборчивости, научная и человеческая принципиальность всегда оставались его девизом. Неудивительно, что он получал удары и «слева» и «справа», слыл одновременно «догматиком» и «ревизионистом», оставаясь между тем верен лишь истине, как он ее понимал.

2

Когда в январе 1969 года я впервые оказался в Венгрии, прекрасный человек, поэт и редактор «Кортарша» Иштван Шимон сказал еще по дороге из аэропорта:

— Я хочу показать тебе настоящую Венгрию. Ведь Венгрия — не один Будапешт, как часто думают. Венгрия — это и деревня, мое родное село Бажи, мы поедем туда. Но главное — я хочу, чтобы ты узнал людей, которыми мы, венгры, гордимся. Надо, чтобы ты познакомился с Дьюлой Ийешем: это душа народа, его поэтическая совесть. И с Дёрдем Лукачем: это интеллект Венгрии, ее мысль. Я хочу, чтобы ты говорил с обоими.

И он сделал мне этот царский подарок.

К той поре я немного представлял себе Лукача не только с литературной, но, так сказать, с домашней, неофициальной стороны по рассказам его московских друзей, прежде всего Игоря Александровича Саца: они были знакомы со времен Комакадемии и журнала «Литературный критик».

Издали, по книгам, Лукач рисовался мне в ореоле учености, благородным, упрямым в убеждениях, но несколько отвлеченным философом. Порою же просто пленником своих излюбленных идей, суховатым теоретиком, для которого все цветение и бурление жизни

замыкалось сферою мысли. Рассказы Саца, наклонного к парадоксам и юмору, сильно расшатали академически строгий образ. Изгибами своей судьбы Лукач опровергал представление о нем как о педанте-философе, запершемся в кабинете среди книг, подобно Диогену в бочке.

С изумлением узнавал я, что в 1918 году недавний гейдельбергский студент стал членом ЦК и наркомом просвещения Венгерской советской республики. Во время начавшейся революционной войны он, человек сугубо штатский, стал комиссаром дивизии. Солдатам, которыми он командовал, сменив раненого командира, удалось отбить у противника какой-то мост, и об этой военной операции Лукач рассказывал с тем гордым увлечением, с каким никогда не говорил ни об одном из своих ученых трудов...

После победы контрреволюции Лукач бежал от белого террора сначала в Австрию, потом в Германию. В Венгрию возвращался в те годы лишь нелегально, по заданиям Коминтерна. С приходом в 1933 году к власти Гитлера пришлось перейти в подполье и в Германии. С неторопливым юмором Лукач рассказывал, что нашел способ скрываться от полицейских шпиков. Для успеха нужно было иметь лишь деньги в кармане — в остальном можно было рассчитывать на бюргерскую психологию бережливости. Агенты гестапо получали достаточно денег, чтобы преследовать свою жертву на всех видах транспорта — трамвае, автобусе и берлинской подземке. Но стоило Лукачу взять такси — и он отрывался от «хвоста»: даже имея в кармане марки, ни один шпик уже не хотел на это тратиться — он нес сэкономленное своей фрау.

С 1933 года постоянно живя в СССР, Лукач стал членом Союза писателей, работал в Комакадемии, сотрудничал в советских журналах, дружил с Михаилом Лифшицем, Андреем Платоновым, Еленой Усиевич. Игорь Сац был обычно переводчиком и редактором его статей в «Литературном критике» (Лукач писал их по-немецки).

Перед войной в «Литературной газете» и других изданиях бушевала дискуссия «вопрекистов» и «благодаристов», которая со стороны могла казаться публике чем-то вроде схватки свифтовских остроконечников с тупоконечниками. «Вопрекисты» были одновре-

менно «лукачистами». Они находили, что высокое искусство правды, недосягаемым образцом которого был Лев Толстой, чаще создавалось «вопреки», чем «благодаря» мировоззрению художника, или, точнее, его политическим взглядам. Иначе сказать, создание искусства может оказаться шире, глубже своего творца, и если перед нами действительно значительный художник, если он искренен и верен правде, то в силах воссоздать действительность вернее, чем беллетрист, вытягивающийся по шнурочку «идеи». Тем самым «правильность» темы, замысла теряла большую часть своей цены. И напротив, получало право на жизнь то, что Толстой называл «энергией заблуждения», то есть искание нового, не застрахованное от ошибок, но плодотворное в овладении реальностью.

Впоследствии Томас Манн тонко передал эту особенность критического метода Лукача, похвалив одну его статью о себе: «Этот коммунист, дорожащий «буржуазным наследием» (...) отзывался обо мне очень умно и лестно, обнаружив необходимую всякому критику способность различать между мнением писателя и его бытием (или рожденной бытием деятельностью) и принимать за чистую монету не первое, а только второе».

Вразрез с рапповской и пострапповской идейной риторикой Лукач утверждал, что талантливые писатели, не обладавшие «выдержанным» марксистским мировоззрением, могли дать социалистической культуре больше, чем посредственные авторы, вооруженные передовым учением до зубов.

Таким образом, этот по видимости умозрительный спор имел вполне практический резон. «Благодаристы» готовы были отлучить художника, если находили, что его воззрения неортодоксальны (в духе сталинской ортодоксии 30-х годов). Считалось, что с плохим «мировоззрением» (а под мировоззрением понимали политические взгляды) нельзя создать значительного искусства. «Вопрекисты» же хотели приобщать талантливых художников к социалистической культуре, несмотря на их видимую «неортодоксальность» или вовсе «сомнительные» убеждения.

Но вернусь к тому, что я знал о Лукаче из рассказов Саца. В самом начале войны Лукач был арестован. Руководство венгерской эмиграции в Москве и

сам Георгий Димитров вступились за него перед Сталиным. Лукач провел в следственной тюрьме всего месяца два, и, когда вновь оказался на свободе, встревожившиеся за него московские друзья атаковали его вопросами: «Что это было? За что? Как это понять?» Лукач отвечал односложно: «Sehr Komisch». («Очень смешно».) Ответ, достойный философа, ибо можно представить себе, что̀ он пережил там, где оказался. Как-то он проронил еще, усмехнувшись, что прочитал следователю на допросах полный курс истории партии («увы, он был плохо подготовлен»), а заодно рассказал об основных этапах деятельности Коминтерна. Словом: «Sehr Komisch». Действительно, то, что его, венгерского революционера, дважды приговоренного хортистским военным судом к смертной казни, допрашивали в советской тюрьме, могло казаться с отвлеченной философской точки зрения смешным обстоятельством.

До дней освобождения Венгрии, когда стало возможно вернуться на родину, Лукач работал в Институте философии АН СССР.

Новый неожиданный виток судьбы Дёрдя Лукача связан с событиями 1956 года в Венгрии. Он был на стороне народа, возмущенного провалами в экономике и жестоким режимом Ракоши — Герё, и согласился войти в правительство Имре Надя. Но когда Надь, сыгравший на руку контрреволюции, готов был обратиться за военной помощью к странам Запада, только два министра его правительства проголосовали против выхода из Варшавского Договора: министр внутренних дел Янош Кадар и министр просвещения Дёрдь Лукач. Игорь Сац показывал подробные письма Лукача с попыткой объяснить свою позицию, которые он писал ему в те драматические месяцы. После бурной осени 1956 года Лукач с трудом вписывался в новую общественную жизнь страны. Венгерская коммунистическая партия, ветераном которой он был, оказалась распущена, а в ВСРП он не торопился вступать. За ним были сохранены академические звания и привилегии, но тень опалы легла на него. В ту пору редко кто переступал порог его дома, телефон его замолчал.

Впрочем, время многое сгладило и нормализовало. Незадолго до того, как я оказался в Венгрии и с ним познакомился, произошел знаменательный эпизод.

В праздничный вечер 7 ноября 1968 года Лукач впервые после долгого перерыва был приглашен на прием в советское посольство. Присутствовавший там Янош Кадар, не видевшийся с Лукачем с 1956 года, уважительно приветствовал его. После первых официальных тостов Кадар удалился с Лукачем из банкетного зала и долго беседовал с ним с глазу на глаз в кулуарах посольства.

Гражданская репутация Дёрдя Лукача была восстановлена, но, чего-то опасаясь, его не торопились печатать и пропагандировать в Венгрии, совсем избегали публиковать и даже упоминать его имя в нашей стране, которой он отдал так много своего труда и сердца.

Я был в числе первых, если не первым советским литератором, навестившим Лукача в его будапештском доме после 1956 года.

3

В сумеречные январские дни в Будапеште стоял морозный туман, смешанный с прибитым к земле дымом, так что машины и в полдень шли с зажженными фарами. Но в то утро он начал редеть, и сквозь разрывы облаков над низким Пештом брызнуло солнце. Мы шли к Лукачу по дунайской набережной втроем — Иштван Шимон, я и журналист Пал Фехер, вызвавшийся быть на этот случай переводчиком.

Дом, в котором жил Лукач, оказался неподалеку от моста Франца-Иосифа, ныне моста Свободы, почти напротив заснеженной горы Геллерт, видной наискосок из его окна. Обстановка кабинета Лукача внушала ложную мысль, что хозяин накануне переезда: на полках, на столе, на стульях и просто на полу лежали хаотическими стопами книги и журналы. Многие из них имели закладки, иные были раскрыты.

Я и до той поры знавал огромные домашние библиотеки видных ученых, и не в диковинку мне был понятный лишь хозяину рабочий беспорядок на письменных столах. Но тут наблюдалось нечто особенное: похоже было, что книги учинили в доме дебош. Это было наводнение журналов, брошюр, книг в переплетах и без, на нескольких языках — они вышли из бе-

регов, соскочили со своих полок, переплеснулись через застекленные дверцы шкафов и разлились по диванам и паркету. Мы с трудом нашли место, где сесть. Сам хозяин, привставший с кресла, чтобы приветствовать нас, казалось, прекрасно ориентировался в этом хаосе, махнув рукой на беспорядок. Когда он снова погрузился в глубокое кожаное кресло за столом, то показался маленьким, щуплым. Но едва начал говорить, приковал к себе внимание.

Отставив в сторону руку с зажженной сигарой, он произнес первую фразу, старательно выговорив ее по-русски, и она меня ошеломила:

— Сейчас моя экономика принесет нам кофе...

В устах старого марксиста это звучало волшебно. Гостеприимная пожилая женщина, жившая в доме на правах экономки и угощавшая нас крепчайшим кофе, и не подозревала о таком речевом эффекте.

Но, почувствовав, что с русским языком, в котором ему давно не приходилось упражняться, его поджидают трудности, Лукач быстро перешел на родной венгерский. Говорил он подробно, долгими периодами, как проповедник: может быть, соскучился по свежим слушателям. Мои венгерские спутники смотрели на Лукача с плохо скрытым восхищением, а Шимон временами оглядывался на меня с торжествующей улыбкой: цени, мол, куда я тебя привел!

Помнится, сначала мы поговорили немного о той величавой статуе Свободы, что виднелась за окном, на другом берегу Дуная. Я уже прежде слышал ее необычную историю. Фашистский диктатор Хорти заказал знаменитому скульптору Штроблю монумент в память сына-летчика, сбитого над Украиной, но скульптор затянул работу. В 1944 году, когда советские войска освободили Будапешт, Штробля просили соорудить памятник погибшим нашим воинам — с этой просьбой к нему в мастерскую приходил сам К. Е. Ворошилов. Скульптору жаль было понапрасну сделанной для Хорти работы. Он взял за основу старый проект, недели за две изваял фигуру советского солдата у подножия статуи, а пропеллер на вытянутых руках скорбящей женщины-матери заменил пальмовой ветвью, и вышел памятник, которым гордится весь Будапешт.

— Я не стану осуждать скульптора за неразбор-

чивость. В искусстве есть вечные темы — такова скорбь о погибших. И не иллюстрирует ли этот случай мудрость древних: ars longa, vita brevis,— улыбаясь, подытожил Лукач.

Слушая старательный перевод Пала Фехера, я разглядывал Лукача с понятным любопытством: лицо его обладало своей выразительностью — крупный нос, уши вразлет, чуть вывернутая нижняя губа и спокойный внимательный взгляд из-под прикрытых веками глаз... Толстая сигара между пальцами, пепел сыплется на пиджак, но он не торопится его стряхнуть, занятый ходом разговора.

Расспрашивает о московских друзьях, о Елене Феликсовне Усиевич, Игоре Саце. Я говорю, что Сац, по обыкновению, больше занят редактированием чужих рукописей, чем сочинением своих; впрочем, собирается писать о Луначарском.

— Ну, да,— отзывается Лукач.— Он в «Литературном критике» так умел выправить скверно написанную по-немецки статью, что сам автор потом себе удивлялся... А что касается Луначарского, то неплохо, если бы в Советском Союзе его лучше узнали... У вас ведь нет серьезной критики. Заслуживают, конечно, уважения статьи Владимира Гриба, Александрова, Усиевич...

Я решился возразить, что все это давние воспоминания, имена 30-х годов. А знаком ли Лукач с нашей новейшей литературной жизнью? Ну, хоть с журналом «Новый мир», который я представляю? О «Новом мире» он, конечно, слышал, но согласился, что недостаточно знает новых писателей и критиков. И тут он с одушевлением заговорил о Солженицыне. Для меня это тоже была не посторонняя тема. Прославившийся «Одним днем Ивана Денисовича» и рассказами, напечатанными в «Новом мире», автор оставался еще в те дни членом Союза писателей. Но все яснее становилось, что развязка близка. Недальновидная литературная политика, рассчитанная на «отторжение», непрерывные нападки в печати оскорбляли, озлобляли Солженицына и все дальше уносили его лодку от берегов советской литературной жизни. Но большой талант писателя и сила правды в его начальных, лучших работах были бессомненны, и Лукач говорил о нем с горячей заинтересованностью. Для него, быть

может, главное у Солженицына было то, что в самых невыносимых условиях лагеря человек остается человеком и как важен для писателя взгляд с «низовой», демократической точки зрения. Словно предчувствуя возможность будущей эволюции Солженицына, Лукач говорил, что большого художника нельзя судить лишь по сумме политических взглядов, что его картина всегда шире узкой позиции.

Лукача интересовали успехи новейшей советской литературы, я называл ему имена Айтматова, Быкова, Федора Абрамова, Залыгина, но, к сожалению, они были ему незнакомы. (Впрочем, Айтматова, как мне говорили, он успел прочесть после нашей встречи и по заслугам оценил.) Он расспрашивал и о новых веяниях в советской философии, экономической науке, социологии. Когда я рассказал ему об успехах конкретных социологических исследований, проводившихся, в частности, в Новосибирске, он выразил по отношению к ним осторожный скептицизм. «Социологические исследования — дело прикладное,— сказал Лукач,— они не заменят общей философской позиции, возможной лишь при творческом развитии марксизма, которому препятствовал Сталин».

Во время нашей беседы он несколько раз взрывался яростными филиппиками против Сталина — в эти минуты он преображался, куда девалось эпическое спокойствие философа! Впрочем, он заявил, что не любит, когда в истории возникает «фигура умолчания», исчезают неугодные нам фигуры: перестают упоминаться то Троцкий, то Ракоши, то Сталин, то Хрущев, вместо того чтобы трезво и по заслугам анализировать деятельность каждого.

Лукач напомнил, что, хотя он сам многое критиковал у нас в стране, совсем недавно резко высказался против антисоветских кампаний на Западе.

— Я думаю, что без Советского Союза невозможно дальнейшее движение, обновление социализма,— сказал Лукач,— как невозможно и живое развитие марксизма.

Заговорили о том, что Запад порой оказывает дурную услугу советским писателям, когда выхватывает некоторые острые, правдивые книги, делая их предметом политической сенсации.

— О, это я по себе знаю! — воскликнул Лукач.—

Но ведь, кажется, у вас в стране до сих пор считают меня ревизионистом...

Затянувшись табачным дымом, он сделал глубокую паузу. Отставил руку с сигарой в сторону, над нею вилась тонкая голубая струйка, и сказал задумчиво и серьезно, даже сурово:

— Маркс умер в 1883 году, за два года до того, как родился ваш собеседник. При всей его гениальности он, к сожалению, не успел сообщить нам все, что касается нашей жизни в 1969 году. Нам приходится думать самим, хотя многие от этого отвыкли. Но если за каждую попытку самостоятельной мысли вас будут называть ревизионистом, прогресса в великом социальном учении не будет... Маркс не должен отвечать за наши глупости. Давайте вместе работать над теорией марксизма в современном мире — и тогда социализм на земном шаре победит непременно, и не только в экономическом и политическом, но и в духовном отношении. Считают, что это может произойти лет через 50 или 100, но, если мы будем хорошо работать и не мешать друг другу думать, глядишь, это случится чуть раньше, лет этак через сорок...

Он сам улыбнулся своему пророчеству и замолчал, уйдя глубже в кресло. «Экономика» уносила пустые кофейные чашечки с гущей на донце.

Возвращаясь от Лукача и перебирая свои впечатления, я должен был признаться себе, что ничего неожиданного, ничего такого, за чем идешь к великому мудрецу, я от него как бы и не услыхал. Но отчего же тогда встреча с ним производила сильное и ободряющее действие на душу?

Я увидел человека, живущего в свои 83 года желанием понять мир, жизнь в ее целом, чтобы ее перестроить. Но это был к тому же мыслитель, сквозь полстолетия пронесший верность себе и своим убеждениям. Пусть в его «твердокаменности» находили и некую ограниченность, узость вкуса, не приемлющего философский и художественный модернизм, но он стоял как скала, одинаковая в любую погоду — палимая солнечными лучами и выветриваемая на юру, временами заносимая снегом, иссеченная дождями и градом, покрытая мхами и лишайником, но гордая своей неизменностью. Многое менялось вокруг — он не менялся. Время обтекало его, делало старомодным, почти

смешным, а потом вдруг снова, словно спохватившись, не потеряло ли что-то из неоспоримых ценностей по дороге, снова поворачивалось к нему. И то, что казалось ошибкой, напрасным упрямством, негибкостью взгляда или вкуса, обретало вид соблазнительной новинки, давно искомой где-то поодаль, а оказавшейся вблизи.

Дёрдь Лукач предстал предо мною могиканином живого марксизма, последнее слово которого — он в это свято верил — далеко не сказано.

ТВАРДОВСКИЙ

И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье — все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством... Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание... Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно такое хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение.

Ф. М. Достоевский

УТРЕННИЙ ЧАС

Есть такая фраза: «Незаменимых нет». Твардовского она удручала. Это неверно, замечал он, бывают люди в науке, искусстве, да и не только в этих областях деятельности, которых некем заменить, без которых окружающий мир становится скуднее, тусклее.

Вот уже второе десятилетие, как нет среди нас Твардовского. А чувство, что ему не нашлось, да и не могло найтись, замены, окрепло на расстоянии прожитых без него лет.

Твардовский узнал, что день рождения его — 21 июня, незадолго перед войной. Быть может, в деревенской многодетной семье не придавали большого значения тому, в какой день кто из ребят родился на свет. Во всяком случае, Александр Трифонович долго не знал этого с достоверностью и называл почему-то другую дату.

Большее впечатление произвело на него семейное предание, что мать родила его в пору сенокоса, прямо

под елью, стоявшей на опушке, а соседка, принявшая роды, доставила младенца домой, облепленного хвоей.

И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под елки и всякие толки,—
Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под елки,
Не трогают волки...

В этом шутливом стихотворении Твардовский говорил, что разные «волки» не однажды подбирались к нему:

Едят, но недаром же я из-под ели,
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели.

Твардовский родился в самый долгий, самый светлый день в году. Он не любил сумерки, в особенности предвечерние, «час меж волком и собакой», и однажды признался (мы сумерничали на террасе дачи), что ему просто не по себе, когда он остается один в эту пору дня. Любимым его временем суток было раннее утро.

Час мой утренний, час контрольный,—
Утро вечера мудреней,—
Мир мой внутренний и окольный
В этот час на смотру видней.

Как-то он подосадовал, что, вставши рано, читал чужие (и плохие) стихи в рукописи, убил на них утро — синее, прохладное, свежее — «а много ли у меня осталось этих утр?».

* * *

Существует представление, навеянное традицией Бодлера и полутора десятками блистательных и томительных лет русского символизма, об изломе, болезни, нервности, смутности, полусне как непременных атрибутах подлинно поэтической души. В природе поэтического таланта Твардовского были ясность, здоровье, сила, и это определяло его натуру не менее, чем натуру Вергилия, Гёте или Пушкина. Дисгармония, изломанность, слишком обычное для XX века состояние поэтического духа, почти столь же расхожее, как перманентная бодрость газетного рифмача, заведомо одобренный оптимизм. В отличие от тех и других Твардовский был натурой глубоко искренней и природно здоровой, в высшем смысле «нормальной», гар-

монической. И боль, горечь, каких немало было в его судьбе, равно как и собственные заблуждения, слабости, которых никому еще не удалось избежать, он воспринимал и отживал как человек внутренне цельный, светлый и твердый в надежде.

«ПАН ТВАРДОВСКИЙ»

— А не думаете ли вы переходить на прозу? — спросил Твардовского, как обычно, стремительно и в упор Гудзий. Он любил прямые, казавшиеся бестактными вопросы. И пояснил, как на лекции: — У каждого большого поэта наступает пора, когда он начинает испытывать тяготение к прозе.

Мы сидели в гостях у Александра Трифоновича, в доме на Бородинской набережной. Я в первый раз был у него и, наверное, поэтому так ясно все это запомнил: кабинет с окнами на Москву-реку, маленький письменный стол в трехстворчатом «фонаре», и крупные красные маки на любительском полотне в столовой.

Жена Твардовского Мария Илларионовна разливала крепчайший чай, а Александр Трифонович угощал нас сушками. На столе стоял шоколадный торт, конфеты, но сам хозяин явно предпочитал сушки, большую горсть которых он зачерпывал прямо из расписной глиняной миски в свою широкую ладонь и, разговаривая, ломал и похрустывал ими.

Дело было в сентябре 1956 года. Собрались мы, несколько литераторов, в доме Твардовского по горькому случаю: умер Марк Щеглов. В журнале «Новый мир», который редактировал Твардовский, он напечатал лучшие свои статьи. Александр Трифонович согласился возглавить комиссию по его литературному наследию и собрал нас, чтобы обсудить, что можно сделать для его памяти.

Пили чай, говорили коротко, с долгими паузами. Потом разговор коснулся общих литературных тем. Тут и задал свой вопрос, потирая ладонью лысину, Николай Каллиникович Гудзий. Твардовский ответил чуть застенчиво и очень серьезно: «Да, я об этом думаю». И больше ничего не прибавил. Видно было, что дальше нескромно его расспрашивать. И Гудзий, с его привычкой к неистощимым вопросам, замолчал.

Когда я ближе узнал Твардовского, мне понятнее стала его сдержанность, даже замкнутость, если речь касалась его «творческих планов». Он терпеть не мог этого традиционного вопроса газетных интервьюеров и никогда не шел навстречу праздному любопытству. Ему неприятны были тщеславные разговоры, обычные в писательской среде: «Над чем работаете? Чем порадуете?»

Александр Трифонович сам не любил, забегая вперед, говорить о своей неоконченной работе и другим не разрешал. Он считал, что серьезное литературное дело совершается не на юру и на ветру, а в тишине, наедине с листом бумаги. И самый хороший замысел можно «заболтать», испортить разговорами о нем.

Как-то при мне он разговаривал в редакции с одним известным автором, который все никак не мог сочинить второй части своего романа, но, приезжая в Москву, плотно усаживался в кресле и начинал мучительно скучно и длинно объяснять, что он думает написать в своей второй книге, какой сюжет у него «заварился», какие лица прояснились, отчего «не идет» и т. п. Твардовский слушал-слушал и вдруг резко оборвал его:

— Представьте, я не хочу этого знать. Да, да, мне не интересно, как у вас там — идет, не идет. Сам никогда не рассказываю заранее и слушать не хочу. Кладите на стол рукопись, тогда будет разговор.

В самом деле, целые дни проводя над чужими рукописями и охотно говоря о них с авторами, Твардовский, бывало, словечка не обронит о том, чем сам он с утра занимался в своих тетрадках. А если скажет, то мимоходом, к случаю — и лишь в знак особого доверия.

В последние годы, почти ежедневно видясь с Александром Трифоновичем — в редакции или дома, я знал, что им давно задумана большая прозаическая вещь, что-то вроде автобиографической повести о своем детстве и юности, о близких, об отце. Но известно мне было только название «Пан Твардовский», и больше ничего не мог бы сказать я, пожалуй, об этой его работе. Как далеко ушел он в ней, сложился ли у него вполне ее план, были ли написаны какие-то главы? Всего этого я не знал и нескромным почитал спраши-

вать. Может быть, этот свой замысел имел он в виду, отвечая когда-то на вопрос Гудзия.

Должна ли была проза Твардовского явиться в обличье бесхитростного биографического рассказа или сюжетным повествованием с яркой художественной условностью, на манер «Василия Теркина»? И на это я не мог бы с полной уверенностью ответить. Правда, мне казалось, что я догадывался о происхождении названия.

«Пан Твардовский» — так называлась старинная народная легенда, популярная в Польше в начале прошлого века. Ее мотивами воспользовались Мицкевич и Словацкий. Ее знали и в России. Композитор Верстовский написал на этот сюжет оперу, с успехом шедшую на сцене Большого театра. Герой польского фольклора пан Твардовский — славянский Фауст, бесстрашный человек, в жажде познания и победы над жизнью спознался с нечистой силой и вступил в роковое единоборство с чертом.

Смоленщина тесно соприкасалась с бытовой и народной польской культурой — Польша была ей близким западным соседом, и лубочные книжки о пане Твардовском легко могли оказаться в Загорье. Они разносились коробейниками, ходили из избы в избу, зачитывались до дыр деревенскими грамотеями и возвращались в фольклорный быт.

Старший друг Твардовского Иван Сергеевич Соколов-Микитов говорил мне: «Понятно же, Твардовскими их прокликали, как нас — Микитовыми. Деревня всем дает клички, и у нас вся округа Соколовы, а мы — для отличья — еще и Микитовы. Так, надо полагать, и Твардовские — по знаменитой книжке».

(Впрочем, брат Твардовского Константин Трифонович с этим не соглашался: он считал, что фамилия их исконная, родовая — и дед Гордей уходил на военную службу уже под этой фамилией. А другой брат — Иван Трифонович — рассказал недавно в своих воспоминаниях такой эпизод: совладельцем первой кузницы Трифона Гордеевича был поляк. Он и привел отца впервые в дом Плескачевских, где были девушки на выданье и среди них будущая мать поэта — Мария Митрофановна. Представляя Трифона Гордеевича, поляк назвал его: «Пан Твардовский». Это прозвучало высокоторжественно, запомнилось и осталось в семейном предании.)

Как бы то ни было, Трифон Гордеевич, кузнец по профессии, любил, когда односельчане прибавляли к его имени с шутливым почтением слово «пан», да и сам был не прочь так себя величать. Стало быть, и название задуманной книги могло относиться прежде всего к нему.

* * *

В «рабочих тетрадях» Твардовского нашлось немало указаний на этот неосуществленный замысел: планов, подготовительных записей, уговоров самому себе приступить, наконец, к давно задуманной работе.

Первые отчетливые упоминания о «Пане Твардовском» относятся еще к предвоенным временам, концу 30-х годов. Тогда эту работу заслонила финская, а потом Великая Отечественная война, главное его поэтическое дело тех лет — «Василий Теркин», потом «Дом у дороги», книга фронтовой прозы «Родина и чужбина». В послевоенные годы замысел «Пана Твардовского» не однажды оживает перед автором снова, чтобы всякий раз пересечься чем-то более срочным и неотступным.

Перелистываю его тетради и вижу: Твардовский то и дело возвращается к мысли о большой прозе, ходит вокруг нее, как вокруг заколдованного места, передумывает старые планы, сочиняет новые, воскрешает в памяти полузабытые подробности детских лет, пытается восстановить на бумаге топографическую схему отцовского «имения» — пустоши Столпово. Но снова и снова откладывает «на потом» этот дорогой ему сюжет. Грешно было бы портить его спешной работой. Для прозы «долгого дыхания» нужны покой и воля, которых ему вечно недостает.

И все же, потому ли только не была написана эта книга? Никто, понятно, не ответит нам за автора. Но, может быть, верна догадка, что, возвратившись к судьбе отца, крестьянского дома, в котором он вырос и из которого рано ушел, Твардовский искал какого-то нового взгляда на события давних лет, пытался рассудить их с вершины более зрелого возраста и опыта. Долго стоявшая работа пошла бы споро, как только взгляд этот уяснился бы ему сполна.

Уже после его смерти я увидел однажды в укромном месте, на полке шкафа в его кабинете, стопу но-

вых толстых тетрадей в красных, зеленых, черных обложках. Как всякий литератор, он был неравнодушен к писчей бумаге и из разных городов и стран привозил себе и своим друзьям какие-то особенно удобные, прочные и вместительные тетради. Эта стопка была его неприкосновенный запас: чистые, неисписанные, они ждали, когда станут нужны своему хозяину.

Сколько неведомых нам поэтических строк, высоких мыслей, смелых картин должно было родиться на этих белых страницах. Но к ним уже не прикоснется перо Твардовского.

В пьесе-сказке Метерлинка о синей птице его герои попадают в страну Неродившихся душ. Неродившимися душами кажутся мне вызванные к жизни памятью и воображением, потаенно сберегаемые, но не воплощенные на бумаге замыслы поэта...

Одна тетрадь из неисписанной стопы уже наверное должна была называться «Пан Твардовский».

* * *

Осенью 1965 года Твардовский предложил мне вместе с двумя другими сотрудниками «Нового мира»— А. И. Кондратовичем и И. В. Брайниным — поехать в Сибирь на встречу с читателями журнала. Мы прожили несколько дней в Новосибирске, выступали в Доме офицеров, ездили в Академгородок. Встречи были самые дружеские, принимали Твардовского горячо, и эта атмосфера искреннего тепла, видно, как-то подействовала на Александра Трифоновича: внешне всегда сдержанный, величаво спокойный, он был втайне очень впечатлителен.

А тут еще после одного из выступлений был такой случай. К Твардовскому подошел местный журналист Альперович, живший когда-то в Смоленске. Он протянул ему пожелтевшую групповую фотографию, на которой среди других можно было разглядеть паренька лет шестнадцати с очень знакомыми чем-то чертами широкого русского лица. Все с непокрытыми головами, один этот паренек — в кепке. Александр Трифонович взглянул на фотографию, признал себя, улыбнулся. На снимке он был в том счастливом возрасте, когда, как вспомнит он в своих стихах,

...миру не раскрытый —
В душе поет под музыку секрет,
Что скоро мне семнадцать полных лет
И я, помимо прочего, поэт,—
Какой хочу, такой и знаменитый.

По дороге в гостиницу он рассказал, что снимался, когда ему предложили вступить в САПП (Смоленскую ассоциацию пролетарских писателей) в числе других молодых селькоров и рабкоров. Отдал за снимок полтора рубля, почти все, что было в кармане, и пошел с приятелем на вокзал, чтобы уехать домой. Оказалось, денег на билет не хватает. Приятель подивился его непредусмотрительности. Тогда Твардовский вернулся в мастерскую к фотографу и сказал, подавив смущение: «Знаете, я передумал. Вот моя фотография, верните мне полтора рубля». Фотограф засмеялся, сказал, что уже испортил на него кассету, и денег не отдал.

А фотография сохранилась. Снят он совсем молоденьким деревенским пареньком, и в кепке — не зря, это казалось высшим шиком в Загорье. Снимаясь, он нарочно ее с головы не стянул.

...Обратно из Новосибирска в Москву ехали поездом. Было видно, что Твардовскому мил вагонный быт, хотя бы по памяти тех лет, когда, работая над поэмой «За далью — даль», он несколько раз пересек в дальневосточном экспрессе всю страну:

Нет, хорошо в дороге долгой
В купе освоить уголок
С окошком, столиком и полкой
И ехать, лежа поперек
Дороги той...

Но в первую ночь в поезде он никак не мог заснуть, и мы негромко переговаривались, сидя у столика или лежа на своих полках.

Горела синяя ночная лампа под потолком, и в полумраке купе, затухая и снова разгораясь, шел этот разговор.

Начав с каких-то малых подробностей, дорожных рассказов к случаю, Александр Трифонович беспорядочно перелистывал книгу своей жизни, выхватывая то один, то другой эпизод с разных ее страниц, но упорно, кругами возвращаясь к одному и тому же — ранним годам детства и юности. Он вызывал перед

собою знакомые тени — деда, отца, близких, людей, встретивших и приветивших его в начале жизненного пути. А потом, потянувши нить из клубка воспоминаний, уже не мог удержаться — и говорил о годах ученья, судьбе первых своих поэм, о днях войны.

А впереди были еще день и еще ночь пути. Мы вставали, ложились и снова вставали, сидели у окна за столиком, глядели на летящие мимо леса, поселки, мосты, выпивали, закусывали остывшими щами, доставленными из ресторана в жестяных дорожных мисках, а Александр Трифонович то и дело возвращался к воспоминаниям далекого и недавнего прошлого.

И вдруг мне показалось, что то, что я слышу, и есть какие-то фрагменты, прерывистая канва «Пана Твардовского». Трудно сказать, так ли было на деле. Но и не беря в расчет такую догадку, подумал я тогда, рассказы Александра Трифоновича о себе и своем детстве, юности, молодости могли бы составить интерес не для одного лишь его будущего биографа.

Вернувшись в Москву, я кратко записал впечатления той поездки, и теперь эти записи служат подспорьем памяти.

Мне весело вспоминать его рассказы. Будто лишний раз поговорить с ним.

* * *

Деду Твардовского по отцу — Гордею Васильевичу — было много лет, когда он умер. Родом он был из-под Бобруйска, с реки Березины. Молодость прожил боевую: служил в солдатах — бомбардиром-наводчиком. Он и женился, служа в Варшавской крепости, на солдатской дочери.

На военной службе переехало Гордею Васильевичу ногу орудийным колесом, и, не выслужив полного срока, он вернулся в Россию, на родину жены в деревню Барсуки. У него были прикоплены деньги, но добрую половину он отдал, выручая односельчан от недоимок. На оставшиеся пробовал арендовать мельницу, да разорился, и на старости лет пришлось ему наниматься в пастухи, сторожа.

Деду Гордею положена была солдатская пенсия — три рубля в месяц, и, уже живя с семьей сына в Загорье, он раз в полгода сам отправлялся за ней в го-

род и всем привозил подарки. Внуку Шурке — всякий раз пряничного коня.

Был он человек бесстрашный, и в холеру, когда все вповалку лежали по избам, ходил помогать больным. Сам он спасался от заразы тюрей собственного изобретения: наливал водку в миску, крошил в нее хлеб и ел эту адову похлебку. Верил, что помогает, и в самом деле ни разу не захворал.

Рассказ об этом есть в «Стране Муравии»:

Сорок лет тому назад
Жил да был один солдат,
Тут как раз холера шла.
В день катала — полсела.
Изо всех один солдат
Жив остался, говорят.
Пил да ел, как богатырь,
И по всем читал псалтырь,
Водку в миску наливал,
Делал тюрьку и хлебал.
Все погибли, а солдат
Тем и спасся, говорят.

Гордей Васильевич был учен грамоте, читал церковные книги и писал для деревенских письма и прошения. Читал он до глубокой старости без очков, а чтобы писать, надевал тулуп или хотя бы просто совал руку в рукав: так перо не дрожало.

Слыл он в деревне человеком строгим, но нескупым, охотно давал в долг по рублю — кто ни попросит — и отмечал это плотничьим карандашом на косяке двери. Его угроза неверным должникам была странная: «Не отдаешь? Не надо. Мотри, сотру...» — и дед взглядывал на косяк. Почему-то этого боялись.

Отбить косу дед умел, как никто, а эта работа только кажется простой, на деле же требует большого уменья. К нему из дальних изб ходили, и не только вдовицы — иной мужик не умел так дело справить. Отбитые дедом Гордеем косы были острее бритвы, а главное, полотну косы сообщался еле заметный наклон, при котором она на покосе словно бы сама шла. Когда работа бывала кончена, дед вставал с завалинки, брал косовище, подносил его к губам и кричал вдоль жала: «Коса-а-а...» А она должна была ему ответить: «а-а...»

Этот голос косы отозвался потом в строфах «Дома у дороги»:

И косу вытерши травой
На остановке краткой,
Он точно голос слушал свой,
Когда звенел лопаткой.

. . . .

Коси коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой.

В четыре года Шурка был спасен Гордеем Васильевичем от страшного наказания. В красном углу в избе висела икона, где святой сложил три перста в крестном знамении. Шурка взглянул на нее как-то и сказал: «А боженька курит». Что тут началось! Все стали на него кричать, отец схватил розги, мать ушла в слезах, не смея заступиться. На это дело вошел в избу дед, спросил, отчего шум, и сказал, быстро перекрестившись: «Господи, беру грех младенца на себя».

Это был для него не пустяк, прибавлял Александр Трифонович, он верил серьезно, истово, верил в геенну огненну и наказание на том свете. Но, наверное, рассудил: что ему, если к его грехам один малый грех за младенца прибавится? Ну, черти там еще немного уголька под сковородку подсыпят — все одно гореть.

С чертями тоже были у него свои отношения: если закрестит все углы, глядишь, и черт не проскочит. А где закрестить забудет, тут ему и лазейка.

Смерть деда была для внука первым сильным потрясением его детства. Из сундука достали какой-то черный мундир со светлыми пуговицами. Никто из ребят не знал, что у него есть такой: это бережно сохранявшаяся форма бомбардира. Деда обмыли, обрядили и вынесли из избы. Когда Гордея Васильевича уже несли по улице, Шура, оставшийся на печи, громко заплакал, понял, что не увидит больше деда. Тетка, сестра матери, вернулась в пустую избу и бросилась утешать его: «Не плачь, дедушка поехал, далеко поехал...»

«Кажется, тогда я впервые понял ужас смерти,— говорил Александр Трифонович.— И так все это ясно помню, лучше помню, чем то, что было на каком-то собрании в Союзе писателей три месяца назад».

Есть об этом и стихотворение Твардовского, помеченное 1951 годом:

Мне памятно, как умирал мой дед,
В своем запечье лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, в руке уже стоявшей криво.

В стихотворении этом выражена простая и высокая мысль, что человек всегда какой-то частью умирает, прощаясь со своими близкими, друзьями, товарищами дней войны. Но и сам поэт не хотел бы остаться в одиночестве в свой последний, «неизбежный час»:

Я полагаю, что и мой уход,
Назначенный на завтра иль на старость,
Живых друзей участье призовет —
И я один со смертью не останусь.

* * *

Дед Твардовского со стороны матери — Митрофан Плескачевский — был из обедневших дворян-однодворцев. Человек почти неграмотный, он потерял дворянство, так как не осилил платить 25 рублей в год за фуражку — последний знак принадлежности к благородному сословию. Мария Митрофановна — мать Александра Трифоновича была среди младших в семье из 12 детей. Но Трифон Гордеевич, человек честолюбивый, рассудил, что ему, деревенскому кузнецу, лестно будет за себя взять хоть захудалую, да дворянку.

Мать была женщина мягкая, добрая, отец — человек строгий. В Загорье он держал кузницу — «на хуторском глухом подворье, в тени обкуренных берез». Кузнец он был преотличный и мог вместо литой чугунной шестерни сковать железную, а это для деревенского кузнеца — мастерство Левши. И все — тремя-четырьмя операциями: «тяну», «оттягиваю» и т. д. Топоры ковал такие, что с маху перерубали толстый гвоздь — и нигде не сядет, ни зазубрины.

Отца непрестанно одолевали честолюбивые затеи: то стать «поставщиком двора его императорского величества», то купить в рассрочку землю и обосноваться своим «имением». Но разве что в насмешку можно было так назвать клочок кислой, болотистой земли — «неудоби», на которой стояла изба, где родился Твардовский.

Загорье было в ту пору непролазной глушью. Дороги к нему не было — лесная тропа. Дворы стояли просторно, особняком, от одной хаты не видать другую.

Из самых ранних впечатлений детства сохранились у Александра Трифоновича воспоминания о поездке в город. В Загорье никогда не говорили Смоленск, а

именно Город — других городов для деревни будто и не существовало. На всю жизнь запомнилось, как в первый раз отец взял с собой сына в город: дело было зимой, ехали в санях — и город поразил, оглушил его многолюдством, каменными домами.

Вспоминал Александр Трифонович каких-то загорьевских знаменитостей: Путятиху-кабатчицу, Лазаря, который спускал по дешевке казенный лес, но почти ничего о них я, к сожалению, не запомнил[1]. Зато хорошо помню его рассказ, как дрались в старой деревне — дрались намертво, сходились стенка на стенку. У Трифона Гордеевича было пятеро сыновей, он звал их с шутливой гордостью «тришкина шайка». И говорил весело: «Подрастайте, сыны. Поедем на ярмарку, никто нас не побьет».

Когда Шурка сделался чуть постарше, его стали посылать топить подовин, зерно сушить — стариковская работа. Внизу, в подовине, было уютно, дремалось сладко, но к вечеру становилось страшновато. Деревня жила суевериями: считалось, что в бане под полом и в запечье жили маленькие черти, «анчутки». Дед Митрофан пресерьезно рассказывал, что они и в подовине водятся — 12 некрупных чертей в красненьких и зелененьких колпачках. Эта конкретность убеждала. Шурка умирал со страха. Из подовина наверх вела лестница. По первым ступенькам он поднимался медленно, дальше быстрее, а наверх вылетал пулей... Казалось, за спиной дышит кто-то.

«А вообще-то у нас в семье были короткие отношения с нечистой силой,— говорил, чуть улыбаясь, Александр Трифонович.— Отец был кузнецом, а значит, прикосновен к огню, и черта не боялся».

Топя печь в подовине, Шура пристрастился к чтению. Читал он «Почаевские листки» издания Успенского монастыря на Волыни и другие того же рода сочинения. Там среди проповедей попадались и стихи религиозного содержания, и душеспасительные рассказы. Это разбудило в нем страсть к собственному сочинительству. «В половине я стал писателем»,— шутил Твардовский.

В 12 лет, начитавшись «Почаевских листков», он

[1] Не тот ли это Лазарь Иванович Иванов — певец, плясун, балагур, который упомянут в довоенных стихах «Поездка в Загорье»: «...Лазарь, песенник первый, шут и бабник лихой»?

объявил матери, что хочет стать священником. Это произвело большое впечатление на всех в семье, к нему стали относиться почтительнее, вроде бы даже кормить стали лучше. Но в 13 лет он вдруг открыл, что загробной жизни нет, за грехи ничего не бывает, и тут же сделался отчаянным атеистом.

С детства Шура привык выполнять разную работу: помогал отцу по кузнице, ходил косить. При лошадях с малолетства был старший брат Костя, но и Шура любил бывать с ним в ночном и только жалел, что ездить на лошади так и не научился.

«Костя и по кузне был отцу главным помощником,— рассказывал Александр Трифонович.— Я помогал только поддувать да всякое другое вспомогательное дело. Бывало, отец тюкает молотком как бы лениво и в ритм: тюк-тюк-тюк. Потом говорит: «Держи, Александр Трифонович». (После побега из дому тринадцатилетним мальчишкой я называл отца Трифон Гордеевич, а он меня — Александр Трифонович.) Умел я только загибать у железа конец, а сваривать не умел — это самая трудная работа. И тут отец распалялся и бил всё чаще и чаще, уже без ритма, быстрее, сильнее... и потом — счастливое изнеможение...»

О сыне Трифона Гордеевича рано пошла слава как о грамотном и смышленом пареньке, и мужики просили Шурку Гордиёнка (так звали его в память деда) помогать им делить хуторские наделы, когда крестьяне получили землю.

В помещичьем доме в соседней деревне была недурная библиотека. Помещик выписывал «Ниву» со всеми приложениями к ней, заключавшими в себе сочинения русских классиков и наиболее знаменитых современных писателей. Это дало молодому Твардовскому начала образованности.

Подростком Твардовский читал много, неразборчиво и упоенно. Как-то попала ему в руки роскошная, с золотым обрезом книга «Потерянный и обретенный рай» Мильтона, иллюстрированная Доре. На рисунках была изображена нечисть с крыльями, как у летучих мышей, низвергающаяся на свою жертву. «Я склонил мальчишек сделать крылья в том же роде и сигать с крыши сарая на солому,— рассказывал Александр Трифонович.— Другие испугались, а я разом ух-

нул вниз», «Вообще это моя черта,— добавил он, подумав немного,— может быть, и не самая лучшая черта моего характера. Когда я мальчишкой летел с крыши, то уж не цеплялся в последний момент, не старался удержаться за кромку, а падал с маху».

В 1921 или 1922 году отец привез из города в подарок детям две толстые книги, обернутые в полотенца. Это были Пушкин и Некрасов, купленные или вымененные им у кого-то. «Отсюда пошла настоящая моя любовь к литературе»,— говорил Александр Трифонович. О томе Некрасова, хранившемся всю жизнь в его библиотеке, он рассказал потом в статье «Заветная книга».

Рубежом для юного Твардовского была смерть Ленина. Он сильно ее пережил и всегда жалел потом, что в 50-е годы перестали отмечать траурный день 21 января.

«До той поры странная неразбериха была в голове,— говорил Александр Трифонович.— Читал подряд «Капитанскую дочку» и романы Григория Данилевского. Данилевский нравился больше. Там герой романа Глеб спасал от мужичья с дубьем молодую красивую помещицу. Я воображал себя Глебом и, начитавшись всех этих книг, думал: вот все утихомирится, встанет на свои места в России, я убегу из дома и сделаюсь гусарским офицером».

НАЧАЛО

В 1925 году комсомольский активист Твардовский узнал сладость писательства. Его первое стихотворение «Новая изба» было напечатано в смоленской газете. Твардовский стал постоянным селькором, писал корреспонденции из деревни, лирические и сатирические стихи.

Вспоминал Александр Трифонович какого-то драчливого деревенского человека — самогонщика, на которого по молодости лет сочинил гневную стихотворную сатиру. «Я писал, что он пьет и все у него разваливается, хата трухлявая, крыша течет. А все это было не более чем поэтический прием, потому что отгрохал он себе на самогонку великолепную избу и жил припеваючи».

Стихи молодого селькора были замечены. А сам он в один прекрасный день, не сказавшись родным, уехал из деревни и появился в редакции смоленского «Рабочего пути», чтобы предложить свои услуги в качестве постоянного сотрудника. Все, что ему могли обещать,— это заметки в хронику. Для начала и это было не худо. Но ему даже негде было переночевать. Познакомившийся с ним в редакции Ефрем Марьенков предложил неожиданно: «Пойдем ко мне».

Марьенков был несколькими годами старше Твардовского, считался уже известным — по смоленским масштабам — писателем, к тому же воевал в гражданскую войну и, как говорили, отличился, знал, почем фунт лиха. Предложение такого человека показалось Твардовскому лестным, тем более что в противном случае ему все равно ничего не оставалось, как только шататься всю ночь по городу или ночевать на скамейках в парке.

Во втором часу ночи, когда газета уже вышла, отправились с Марьенковым в дальний пригород — окраинный район Смоленска. Там, как оказалось, Марьенков снимал крохотную проходную комнату, почти без мебели. Посидели у подоконника, попили чаю, гостеприимный хозяин говорит: «Ну, будем спать ложиться». А куда ложиться? Ни кроватей, ни подушек, ни одеял. Твардовский глядел растерянно. Тут Марьенков и научил: приспустить брюки и концы штанин завернуть, чтобы ноги не мерзли, выше прикрыться шубой. Легли прямо на полу и долго не спали, играя в придуманную ими азартную игру: надо было назвать сто знаменитых людей. Впрочем, вспомнить нужно было только 98. Двух-то они хорошо знали.

На другой день по совету Марьенкова Твардовский пошел на рынок и продал там тяжелую и неловкую деревенскую шубу, а купил пальто и ботинки. Когда Трифон Гордеевич, спустя малый срок, приехал в Смоленск навестить блудного сына, то был поражен его новым городским видом. «Я вижу, шуба тебе не нужна, отдай ее, она братьям в деревне сгодится». Сын ответил с некоторым смущением, что оставил ее у знакомых, и отец — человек сообразительный — настаивать не стал.

* * *

В «Рабочем пути» жизнь поначалу была не сладкая. Полгода или того больше пришлось заниматься хроникой городских происшествий. Конкуренция среди таких же молодых, быстроногих и жаждавших печататься молодых людей была страшная. «Принесешь три строчки о том, например, что где-то водопровод лопнул, а другой, глядишь, через два часа волокет сообщение, что его починили. Значит, ты погорел, и снова надо носиться по городу».

К тому же Твардовского одолевала робость. Чуть не месяц он боялся подойти к телефону, если он звонил, просто не знал, как с ним управляться. А однажды, когда ему самому поручили позвонить куда-то, сделал вид, что поднимает трубку и соединяется с кем нужно, сам же в душе молил, чтобы не соединилось.

Выдвинулся юнкор Твардовский только летом, когда никого из штатных сотрудников в редакции не было — все по отпускам, а надо было послать корреспондента в район для освещения какой-то сельскохозяйственной кампании или судебного процесса. Тут его корреспонденции стали появляться едва ли не каждый день. И ответственный секретарь, у которого Твардовский попросил несколько рублей взаймы, величественно пошутил: «Не дам. Не хочу заискивать перед твоим будущим».

Газетная школа была довольно суровой. Как-то, в бытность селькором, послали Твардовского съездить в район к одной вдове, приславшей письмо в редакцию. Женщина эта жаловалась, что ее обижает мужик, нанявшийся к ней батраком. Он ее ограбил, приставал к ее дочери. Случай был возмутительный, Твардовский написал фельетон и привез в газету. Но фельетон не понравился. «Что же у тебя выходит, что батрак — плохой человек?» — строго спросил редактор. «Да. А разве все батраки — хорошие люди, середняки — средние, а кулаки — плохие?» — растерянно отвечал селькор. «А как же, а как же!» — с крепкой уверенностью подтвердил редактор. «Помню, как поразило меня тогда это соображение»,— замечал Александр Трифонович.

Некоторое время Твардовский продолжал жить у Марьенкова и дружил с ним. Марьенков, по словам Александра Трифоновича, был чудак, богема, но от-

личной души человек. Писал он вечно где попало, на каких-то старых конвертах, обертках. Человек по-своему даровитый, он приобщил Твардовского к Бунину, познакомил его с новейшей поэзией. Марьенков любил читать хорошую прозу вслух, и заразительно смеялся — не там, где смешно, а там, где хорошо написано.

(В 30-е годы Марьенков написал «Записки краскома», вещь, по мнению Александра Трифоновича, очень талантливую. Перед войной повесть, уже принятая заботами Твардовского в журнале «Знамя», была вынута из готового номера, так как автор был арестован, а потом погибла вместе со всем архивом журнала в 1941 году. В 60-е годы Марьенков восстановил повесть, и «Новый мир» напечатал ее с предисловием Твардовского. Но это, по словам Александра Трифоновича, было уже совсем не то — ни прежней горячности, свежести, ни картинности изложения... А может быть, просто годы для нее ушли?)

Понемногу все охотнее стали печатать в смоленских газетах и стихи Твардовского. Этим он обязан был не в последнюю очередь примеру и поддержке Михаила Васильевича Исаковского. Твардовский вспоминал съезд селькоров в 1926 году в Смоленске:

«Благодаря высокому росту мне удалось выбиться из юнкоров в селькоры раньше времени. Я уже выступал с трибун, и, помню, какая-то журналистка писала: голубоглазый светловолосый юноша говорил с трибуны... и т. п. Так что я давно, как видите, говорю с трибун... Так вот на съезде селькоров было событие, когда объявили, что поэт Михаил Исаковский прочтет стихи, специально посвященные съезду. Тогда только вошло в обычай посвящать стихи торжественным датам, общественным событиям и т. д. И вот по проходу к сцене пошел человек в широкой куртке, больших очках, немного скосивший голову набок. Взошел на трибуну, положил свои белые, тонкие, какие-то декадентские руки на ее край и сказал негромким голосом: «Стихов, специально посвященных съезду селькоров, у меня нет, а я прочту просто стихи». В этом весь Исаковский,— с его любовью к полнейшей точности слова, к правдивости во всем».

Твардовский вспоминал, как слушали Исаковского в те годы на литературных вечерах в Смоленске,—

раскрыв рты, охая, ахая, «таких литературных вечеров я больше не видел во всю жизнь», говорил Александр Трифонович. Когда Маяковский был в Смоленске, он в обычной своей эпатирующей манере ответил на вопрос из зала: «Как вы относитесь к нашему смоленскому поэту Михаилу Исаковскому?» — «А разве есть такой?» И был удивлен реакцией зала, не принявшего шутку,— смоляне ему этого не простили.

Исаковский помогал Твардовскому на первых порах, начал его чаще печатать в «Рабочем пути», где ведал тогда литературой. Даже прислал художницу, чтобы она сделала его карандашный портрет для одного из номеров газеты. Художница изобразила его так, что, когда гордый молодой автор привез газету в Загорье, дома, покачивая головами, говорили: «Шура, не мог ты им сказать, чтоб получше-то нарисовали?»

Твардовского приняли в САПП, где уж тогда были свои знаменитости, вроде поэта Дмитрия Осина. В САПП принимали сравнительно легко, но так же легко и исключали — Твардовский был исключен из этой ассоциации дважды, второй раз накануне ее закрытия. В писательском буфете можно было получить булку с маслом. Когда Твардовский впервые увидел, как жевал ее, стоя у буфета, какой-то вождек САППа, это показалось ему дерзким вызовом: зачем же с маслом? Ведь и так булка чудесно хороша.

* * *

«В молодости я совсем другой был, и по-другому понимал поэзию,— говорил Александр Трифонович.— Мне хотелось писать естественно, просто, и я изгонял всякий лиризм, проявление чувства. Мне казалось невозможным, например, написать, как теперь: «О, годы юности немилой!» Я мог писать только так: «Раздался телефонный звонок. Кто говорит?» — и так далее, в том же роде. Потом я стал писать иначе».

«В 19 лет я вдруг уверовал, что я гениален, и некоторое время ходил в сознании необыкновенного величия... Все было. Иногда удивительно даже, как это со мною все уже было в этой жизни».

В разгар тщеславных мечтаний он был однажды жестоко уязвлен. Молодой поэт зашел в типографию, где должны были печататься его стихи, и с удовольствием заметил, что наборщики хохочут. Он вспом-

нил Гоголя, рассмешившего, по рассказу Пушкина, своих наборщиков, и горделивое авторское чувство шевельнулось в его душе. Он подошел поближе и прочел на корректурном листе под своей фамилией:

Вагу, вагу, вагу, вагу,
Не марай ты зря бумагу.

И далее, что-то в этом роде, совсем уж непочтительное. Наборщики попросту смеялись над ним, проверяя свое умение рифмовать.

«Наверное, они не были совсем не правы,— замечал, рассказывая это, Александр Трифонович.— В то время, замученный безденежьем, я сочинял и печатал в «Лапте» и других подобных изданиях стихи, вроде таких:

Не должна обойти Ефима
Организация Осоавиахима.

Получив заказ на подпись к рисунку, сулившую верный гонорар, я уже бывал счастлив».

Александр Трифонович любил рассказывать о себе то, о чем другой предпочел бы умолчать, то, что не украшало биографию, чего ему было когда-то смертельно стыдно. И в том юморе, с каким он это рассказывал, было не отречение от себя прежнего, но чувство преодоления, победы над собой самим, каким он был когда-то.

* * *

В 1929 году, если не ошибаюсь, Твардовский приехал в Москву, решив, что здесь он скорее выйдет на прямую литературную дорогу. Толчком к такому решению было то, что Михаил Светлов напечатал несколько его стихотворений в столичном журнале «Октябрь». Но реальность внесла поправку в юношеские мечты.

«В первый раз я приехал в Москву за славой слишком рано. Поторопился, и пришлось возвращаться в Смоленск».

В Москве он скитался по углам, обивая пороги редакций. Большей частью получал отказы. Принес несколько стихотворений Осипу Мандельштаму, который заведовал литературным отделом в «Московском комсомольце». «Раздраженный человек на тонких нож-

ках, как кузнечик, что-то возбужденно кричал мне, и я тихо ушел со своими стихами».

Приносил он стихи и в «Новый мир», Вячеславу Полонскому. В редакции его попросили зайти через несколько дней, и, когда он явился в назначенный срок, какая-то девица вернула ему их через окошечко. Осмелев от робости и неудач, он спросил редактора. Девица ушла докладывать, и через минуту его пригласили в соседнюю комнату. «Там сидел носатый и седой-седой человек. Это был Полонский. Он сказал какие-то незначащие слова, какие я сам теперь порой говорю: «Ну как у вас там на Смоленщине? Интересуются литературой?» И отпустил меня с богом».

Будущий друг Твардовского Сергей Иванович Вашенцев был ответственным секретарем в журнале «Прожектор». Вашенцев поощрял смоленского паренька, хвалил некоторые его стихи, но не печатал ни строчки. Твардовский постоянно носил ему свои новые сочинения без всякого результата. Когда уже в поздние годы прославленный поэт упрекал за это своего приятеля, тот добродушно отбивался:

— Видишь, я прав был, что тебя выдерживал. Не хотел испортить. Знал, что из тебя будет толк.

«А какой испортить,— говорил Александр Трифонович,— когда я просто был несчастный мальчишка, потерявшийся в Москве,— голодный, холодный. Врут, когда говорят, что молодость всегда прекрасна. Я с горечью вспоминаю свою молодость. Как худо мне приходилось тогда».

В редакции «Лаптя» давали 2—3 рубля, в счет будущих успехов. Еле удавалось сводить концы с концами. А когда совсем стало скверно, молодой поэт решил разыскать Юрия Олешу, которого любил и почитал не столько даже за «Зависть», а за какой-то лирический рассказ («Любовь»? или «Вишневая косточка»?). Вдруг он поможет.

Оказалось, Олеша обитает где-то на задворках, в полуподвале. Спустился вниз по грязной лестнице, остановился перед драной, обшарпанной дверью и подумал: «И здесь живет великий писатель!»

Постучал. Долго никого не было слышно. Наконец раздался громкий и недовольный голос за дверью: «Кто там?» Незваный гость оробел и не мог назвать

свою фамилию, она казалась ему скверной, длинной, неуклюжей. Как решиться произнести: «Твардовский»? Неуверенным тоном он попросил: «Откройте, пожалуйста...»

После паузы за дверью сказали: «Я не могу открыть дверь человеку, который не в состоянии даже назвать своего имени».

Твардовский ушел обиженный и долго не мог простить Олеше этого случая. Только в зрелые годы рассудил, что Олеша не был тут виноват. «Кто знает, быть может, у него были неприятности с домоуправлением, не заплатил за электричество или что-нибудь в этом роде»,— со смешком замечал Александр Трифонович.

Наконец кто-то надоумил его сходить в «Огонек», к Ефиму Зозуле... «Огонек» помещался тогда в маленьком уютном зеленом особнячке на Страстном бульваре. Зозуля оказался человеком с маленькой головкой на расширяющемся книзу огромном теле. Видом грозен, но добрый очень. «Его теперь забыли,— прибавлял Александр Трифонович,— он всю жизнь писал книгу «1000 рассказов», да так и не кончил (замысел, правда, странный, почему тысяча рассказов, а не, скажем, 987?). В войну он ушел в ополчение и погиб». Зозуля прочел стихи Твардовского и сразу напечатал в «Огоньке» и «Прожекторе» по одному стихотворению. Это открыло дорогу и в другие журналы.

Твардовский вспоминал добрую атмосферу, царившую в особнячке Жургаза на Страстном бульваре. «В одной комнате сидели Ильф, Петров, Зорич, много смеялись, сочиняли что-то на ходу — и тут же читали мои стихи, серьезные, не сатирические, и даже напечатали что-то на своих юмористических страницах».

И все же Твардовский покинул Москву зимой 1930 года. Ему суждено было еще на несколько лет вернуться в Смоленск, учиться здесь в институте, обзавестись семьей, написать первые свои поэмы, чтобы лишь в 1936 году снова, и на этот раз окончательно, перебраться в Москву уже автором знаменитой «Страны Муравии».

БЕДА

В Смоленске последние годы еще всесильного и не подозревавшего о своем близком конце РАППа были очень трудными. Твардовский рано узнал, что такое накал групповых страстей, подогретых политической демагогией. В местной печати одна за другой появлялись статьи, порочившие молодого поэта. Особенно старался критик Горбатенков. Он называл Твардовского «подкулачником» в поэзии, говорил, что у него «насквозь гнилое нутро». «Насквозь гнилое — а мне было-то в ту пору лет двадцать»,— с горькой усмешкой повторял Александр Трифонович.

Его первую большую вещь о каком-то деревенском «деде», уже отпечатанную в типографии, сочли невозможной к изданию, и весь тираж сожгли на железном листе в присутствии специальной комиссии.

Молодому поэту суждено было и еще одно сильнейшее жизненное потрясение. В пору «сплошной коллективизации» и в духе того, что было названо потом ее «перегибами», хозяйство Трифона Гордеевича было признано кулацким, хотя никаких оснований, по правде говоря, для этого не было. Подвел, сильно подвел его дом-пятистенок, которым он так гордился. Семья Твардовских в один день была собрана и выслана на Северный Урал.

Александра Трифоновича спасло от высылки то, что он уже несколько лет жил самостоятельно, в стороне от семьи. Над ним долгое время висело обвинение в том, что он сын кулака. От него требовали отречься от отца, как от социально чуждого элемента. Отец и в самом деле был в ту пору далек ему: газетчик-селькор, искренний комсомолец, он досадовал на привязанность отца к своему имуществу, клочку земли, хутору. Молодой Твардовский горячо верил, что слабость к своей землице — у людей старшего поколения — жалкий предрассудок, бессмысленный и вредный в свете наступающего дня всеобщего счастья, братского коллективного труда под солнцем свободы. Соединение исконной поэзии земли, крестьянской работы и быта с надеждами на новое, справедливое устройство жизни вызвало к жизни такую оптимистическую и молодую поэму, как «Страна Муравия».

Но автор очень искренний, не умеющий лгать или

прятаться от себя в стихах, он правдиво изобразил и ту трагедию, которая коснулась среди тысяч других безвинно изгнанных с родных мест семей и его семьи:

Их не били, не вязали,
Не пытали пытками.
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки,
Милицейские ребята
Выводили под руки.

Эти строки, выброшенные при первой публикации «Страны Муравии», автор восстановил только в последнем прижизненном собрании сочинений. А к своим сложным отношениям с отцом — «паном Твардовским» — вернулся и пересудил их наново в написанной им в последние годы жизни поэме «По праву памяти».

* * *

«Страна Муравия» была еще в рукописи, в Смоленске встречали ее настороженно, и Исаковский уговорил Твардовского послать поэму Горькому. Вспоминая, наверное, о том, как Горький приветствовал в печати его книгу «Провода в соломе», он рассчитывал на такую же поддержку и для своего друга.

Несколько недель ожидания, и вдруг Твардовский получает от Горького странное письмо, отпечатанное на машинке. Какие-то издевательские стишки приведены:

...вот колесо,
Взял и поехал,
Как хорошо.
Оглянулся назад,
Одни спицы лежат.

А дальше сказано, что вся поэма — непереваренная смесь из Есенина и Прокофьева.

Письмо было — как гром среди ясного неба. Исаковский стал утешать друга, что, мол, Горький случайно так отозвался: может быть, старик был не в духе, не разобрался, написал под горячую руку. «Вот тогда я и стал мужчиной,— рассказывал Твардовский.— Дня три промучился страшно, потом перечитал поэму и про себя подумал: «Хоть ты и Горький,

а я не поверю тебе и покажу, какой я подражатель Прокофьева». И стал работать.

«Страна Муравия» должна была печататься в «Красной нови». Цензура остановила поэму. Было напечатано 4 главы из 19.

Твардовскому устроили свидание с Б. Волиным, начальником Главлита, не пропускавшим поэму. «Это правдивая вещь,— сказал молодому поэту Волин.— Но это не та правда, которая нам нужна».

«Вот когда еще я получил понятие о двух правдах — большой и малой»,— замечал с иронией Александр Трифонович.

Критик и партийный работник Кронид Малахов, горячий заступник таланта Твардовского (арестован в конце 30-х годов и погиб), в хорошую минуту «напел» об этой поэме А. С. Щербакову как о замечательном достижении молодой советской поэзии. В его присутствии Щербаков снял телефонную трубку и сказал: «Ну, что там с Твардовским? Почему задержали? Пропустите эту, как ее, «Страну муравья». И пусть Союз писателей ее обсудит».

В 1936 году в Москве состоялось обсуждение поэмы. Твардовскому прислали в Смоленск вызов телеграммой. Александр Трифонович приехал и прочел в Союзе писателей по тетрадке главы четыре. Потом говорили Пастернак, Асеев, Вера Инбер. Все дружно хвалили поэму. Особенно горячо выступил в ее защиту критик Святополк-Мирский. Фадеев объявил, что поэма стоит в издательском плане. «Стоит-то давно стоит, а ничего не получается»,— парировал Мирский.

На другой день директор издательства «Советский писатель» пригласил молодого поэта на завтрак, и Твардовский, не глядя, подписал заготовленный договор. На полученные деньги тут же купил меховую шубу с отворотами (потом очень стеснялся ее, не знал, как от нее отделаться, кому продать). В гостинице «Киевская», где ему сняли номер, дал остолбеневшему швейцару три рубля «на чай». Просто не знал, куда девать такую уйму денег. Счастье, казалось, свалилось на голову.

Из педагогического института в Смоленске он перевелся в Москву в ИФЛИ (Институт философии, ли-

тературы и истории), сразу на 3-й курс. Приехал он вместе с белорусским критиком Алесем Кучаром, небольшого роста скромным человеком. Первое время они всюду появлялись вместе. На курсе острили: «Приехал Твардовский со своим кучером». Вначале комсомольские активисты института посматривали на Твардовского косо. Было даже возбуждено дело об исключении его из комсомола «за побег из деревни». Но известность Твардовского как поэта быстро росла, и вскоре его стали выбирать в президиум на комсомольских собраниях.

В 1936 году Твардовский получил возможность навестить семью в ссылке. С Урала Твардовским удалось к тому времени перебраться в Русский Турек. Александр Трифонович пробыл там 10 дней, слушал рассказы матери. Недалеко от поселения была река, но мать никогда не умела ее назвать.

...Там текла река другая —
Шире нашего Днепра.
В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей,
Даже снег визжал больнее
Под полозьями саней,—

вспоминал он в стихах «Памяти матери».

Жили в бараках, охрана была условная. Мать рассказала, что в ту пору, когда семью грузили в эшелон, отец был на заработках в Донбассе. Когда узнал, что случилось, поехал за семьей, догнал их по дороге и присоединился к ним. Александр Трифонович этих подробностей не знал, потому что жил тогда «на своих хлебах», оттого и судьбы этой не разделил, хотя, как он говорил, смоленские «братья-писатели» не прочь были приобщить и его к семье.

Когда привезли до места, выгрузили из вагонов прямо в снег. Наскоро построили бараки и поселились там. Кругом тайга, ходить можно было свободно, без конвоя — считалось, что бежать некуда. И вот мать однажды, бродя по лесу, отошла в сторону и видит такой же, как у них, барак. Двор пуст. Толкнула дверь, а там лежат на нарах и *сидят* за столом покойники. Видно, охрана ушла, а люди померли от слабости и от холода.

«Мать не могла этого выдумать,— говорил Александр Трифонович.— Она мне не могла соврать, да и

потом всегда о матери знаешь, что она присочинит, что утаит, что прикрасит. Здесь этого не было».

Отец, когда нашел семью, стал бегать через каждые несколько месяцев на заработки, чтобы прокормить своих — иначе бы все погибли. Уезжал за полстраны — кузнецы везде нужны были — и возвращался с пудом муки или мешком сухарей. Тем и выжили.

В наказание за побеги отца сажали в карцер, большую проволочную клетку, и он сидел в ней, по выражению Александра Трифоновича, «как дрозд».

Однажды шли они с матерью голодные, едва что не падали, и обогнал их мужик на санях: «Куда идете? Подвезу».— «А черт его знает куда»,— отвечал отец горько. Проезжий взял их к себе на сани, по дороге разговорились, и он узнал, что отец кузнечный мастер. Оказался он председателем колхоза и пригласил отца работать к себе — у них как раз кузнеца не было. Перебрались к нему, и жизнь лучше пошла.

Поразил Твардовского и еще один рассказ матери. Жили они семьей в маленькой избушке — тесно, душно. Поздно ночью в окно постучал старичок и попросил пустить на ночлег. Трифон Гордеевич сказал грубо: «Самим тесно, куда еще». А мать пристыдила его, пустила старика, накормила, чем бог послал. Утром проснулись — старика и след простыл. А у дочки младшей за отворотом платья нашли 9 смятых рублей. Мать совестила отца: «Вот ты, Тришка, неразумный. Не хотел на ночлег пустить, а может быть, это святой человек к нам приходил».

Мать была женщина чувствительная, с поэтическим воображением. Кажется, ее рассказы, которые я здесь привожу со слов Александра Трифоновича, он сам когда-то записал и, наверное, полнее и точнее, чем я. Но все равно я решил повторить их здесь — быть может, какие-то подробности, упущенные на бумаге, уцелели в устном рассказе.

Процитирую документ, лежащий сейчас передо мною. Это «Протокол общего собрания писателей и писательского актива г. Смоленска 18 сентября 1937 г.». В резолюции отмечалась необходимость «быстрейшего разоблачения и ликвидации троцкистско-бухаринской диверсионной деятельности авербаховского агента Македонова и его приспешников Твардовского, Марьенкова, Муравьева, Тарасенкова, Пет-

рищева и Синельникова...». В заключительных пунктах постановления говорилось: «4) Проверить в кратчайший срок общественно-политическое и творческое лицо пособников врага народа Македонова, Твардовского, Петрищева и Марьенкова. 5) Срочно проверить деятельность критика Тарасенкова, всячески выхваливающего и выгораживающего от критики произведения Твардовского, тесно связанного с врагом народа Македоновым».

В 1937 году, уже учась в ИФЛИ, Твардовский приехал на каникулы в Смоленск. Пошел к своему давнему другу А. В. Македонову, просидел у него весь день, о многом говорили. Ушел от него и не знал, что через 10 минут за Македоновым пришли с ордером на арест и увели его. На другой день об этом говорил весь город. Твардовский понял, что сам он на волоске от ареста, поехал на аэродром и первым же самолетом вылетел в Москву. Задержись он на день, не миновать ему беды.

Потом рассказывали, что некий областной деятель сказал с досадой, узнав о его внезапном отъезде: «Упорхнул». В Москву пошли из Смоленска бумаги о его связях с «врагами народа», но там это еще надо было согласовывать — Москве 1937 года и своих забот хватало — и труднее было его достать.

Вскоре стало известно и об аресте Марьенкова. На допросах Македонову предъявляли одним из обвинений дружбу с Твардовским, поощрение кулацкой поэмы «Страна Муравия», в том числе и запретных ее строк: «Их не били, не вязали, не пытали пытками...»

«На прогулке в Смоленской тюрьме,— рассказывал Александр Трифонович,— шагая по внутреннему дворику, руки за спиной, затылок в затылок, Македонов слышал, как идущий за ним, кажется, это был Марьенков, быстрым шепотом повторял: «Сашку не называй... Сашку не называй...»

В 1939 году была награждена большая группа писателей, и Твардовский, к общему изумлению, получил орден Ленина. (Секрет щедрой награды был прост — Сталину понравилась «Страна Муравия».) Став орденоносцем, Твардовский решил, что настал час помочь Македонову. Он составил письмо в его защиту, подписал его сам и отнес подписывать Исаковскому. Но близкие Исаковского на него напусти-

лись: «Как вам не стыдно! Зачем втягиваете Михаила Васильевича в такое дело?» Исаковский тем не менее написал от себя письмо в областную прокуратуру. Ходил вместе с А. Т. к следователю Л. Шейнину. Но дальше Твардовскому пришлось вести дело одному.

Адвоката, которому по прошению Александра Трифоновича передали для составления кассации дело Македонова, он случайно повстречал потом на фронте. «Македонов ни в чем не виноват,— доверительно сказал ему адвокат.— Его бы, может, и выпустили по вашей просьбе, да беда та, что по этому делу проходит еще человек шесть, и все невиновны, дело высосано из пальца. Да теперь всех их и не найдешь». (Иные были, видно, расстреляны.)

Провел Македонов в лагерях и ссылке 21 год, работал в шахтах Норильска и степень доктора геологии сумел в результате получить. Встреча с другом после возвращения его из лагеря вызвала к жизни одну из самых сильных глав поэмы «За далью — даль».

* * *

В ИФЛИ он учился добросовестно, даже истово, стремительно стараясь добрать все то, что пропустил в юности, в «годы странствий».

Гудзий любил рассказывать, как Твардовский сдавал ему историю древней русской литературы. Профессора поразило, во-первых, то, что Александр Трифонович явился на экзамен, аккуратно свинтив со своего пиджака орден Ленина (тогда ордена носили и в будни). Очевидно, он сделал это для того, чтобы ничем не отличаться в глазах экзаменатора от других студентов. Во-вторых, студент-орденоносец проявил отличное знание такого памятника древней литературы, как «Житие протопопа Аввакума», любимого сочинения профессора, и тем вконец растрогал его.

Уже на моей памяти Твардовский обнаружил однажды в примечании к солидному ученому труду ссылку на какого-то языковеда, автора статьи о предлогах в «Горе от ума», и со смехом заявил мне, что является его соавтором. Оказывается, будучи прилежным студентом, Твардовский тщательно записывал его лекции и тем обратил на себя внимание профессора. В перерыве тот поманил его пальцем и дал задание: выписать из «Горя от ума» все случаи употребления

предлога «к» на отдельные карточки. Другому студенту он поручил обследовать у Грибоедова предлог «от», третьему «в». И получилась ученейшая статья.

В ИФЛИ рассказывали, и Александр Трифонович этого не опровергал, что однажды ему пришлось положить билет и просить другой у экзаменатора по советской литературе: он вытянул вопрос о поэме «Страна Муравия». Твардовский еще не успел окончить институт, когда его поэма была включена в учебные программы филологов.

ВОЙНА

«Когда я поселился в Москве,— говорил Александр Трифонович,— первое время мне все казалось, что здесь мало воздуха, простора. Тянуло домой, на Смоленщину.— И добавлял после паузы: — Немец мне это облегчил. После войны там ничего не осталось».

Последний раз перед войной он навестил Загорье в 1939 году. Встреча была ему устроена торжественная: односельчане бросили все работы дня на три, водили из дома в дом, угощали, а старики говорили, поглядывая на его орден: «Ну, земляк, высоко ты пролез». «Мне было обидно,— комментировал их речи Александр Трифонович,— и я пытался уверить их, что не пролезал я. Они бороды крутили, головами кивали, соглашались. А спустя малое время снова говорили: «Нет, земляк, высоко ты все же пролез».

Побывав на месте, где прежде стояла изба отца и где теперь был лишь «садик в поле открытом, ни трубы, ни избы», поэт впервые отчетливо подумал, наверное, о замысле «Пана Твардовского».

Война оборвала все замыслы и планы.

* * *

Твардовского всегда интересовало — как, где, при каких обстоятельствах встретили разные люди первый день войны, 22 июня 1941 года. В книге «Родина и чужбина» есть небольшой его очерк на эту тему. Он расспрашивал об этом разных своих собеседников и записывал некоторые истории: какой-то интересный замысел мерещился здесь ему.

Сам он узнал о начале войны, будучи с семьей на даче, в середине мирного летнего подмосковного дня. К вечеру он уже был в Москве, а через несколько дней выехал на фронт.

В 1941 году под Киевом он едва вышел из окружения. Редакция газеты Юго-Западного фронта, в которой он работал, размещалась в Киеве. Приказано было не покидать город до последнего часа: говорили, что остался большой запас типографской бумаги. Армейские части уже отходили за Днепр, а редакция все еще работала. Оттого-то во время отступления несколько сотрудников газеты погибли или были захвачены в плен. Твардовский спасся чудом: его взял к себе в машину полковой комиссар, и они едва проскочили из смыкавшегося кольца немецкого окружения.

Александр Трифонович жалел, что в сумятице тех дней мало что записывал, а некоторые записи пропали с полевой сумкой. «Всю жизнь вел дневники, а от тех дней ничего не осталось».

* * *

Перед войной было уже написано несколько глав «Василия Теркина», зародившегося еще на финской войне, в том числе такая важная глава, как «Гармонь». Даже напечатано было что-то в «Красной звезде», и само название поэмы уже утвердилось, как говорил Александр Трифонович, благодаря С. И. Вашенцеву.

«Но, стыдно признаться,— рассказывал Твардовский,— писался «Теркин» очень туго, и, когда началась война, я вроде бы даже обрадовался, что поэму можно оставить. Поехал на фронт, писал корреспонденции, очерки, стихи, а о «Теркине» не думал».

Вспоминая о первых месяцах своей работы во фронтовой газете «Красная Армия», Александр Трифонович любил приводить такой комический эпизод. Машинистка, впервые перепечатывавшая для набора его стихотворение, поставила внизу подпись: «Поэт А. Твардовский». «Зачем же поэт?» — удивился Александр Трифонович. «А как же? — возразила она.— Этак всякий может стихи писать». Слово «поэт» казалось ей чем-то вроде воинского звания.

В 1942 году было временное затишье на Юго-Западном фронте, и в газете решили организовать юмо-

ристическую страницу, чтобы было что читать солдатам на отдыхе. Тут Твардовский и вспомнил снова о Теркине — сначала как о персонаже летучих газетных стихов. В это время Александра Трифоновича отозвали с Воронежского фронта в Москву, он прожил полтора месяца в своей квартире на улице Горького — и вдруг «Теркин» пошел. За короткий срок он написал четыре или пять новых глав, сгруппировал их с прежними, и первому прочитал оказавшемуся в Москве в ту пору М. А. Лифшицу.

К этой поэме у Александра Трифоновича навсегда сохранилось особое отношение.

В 1970 году, в последнее лето перед болезнью, Твардовский пришел как-то ко мне и неожиданно заговорил о своих поэмах. Он редко о них говорил, но тут был случай: он только что перечитал их, готовя для однотомника «Всемирной литературы».

— Знаете, как опасно перечитывать старые свои сочинения: все не так, все не нравится. Но вот «Муравия» — такая молодая вещь, на многое я смотрю сейчас иначе, а почему-то ничего в ней не стыдно. Не стыдно,— повторил он, чуть помолчав, крепко и твердо и стал цитировать 7-ю главу поэмы:

— Товарищ Сталин, дай ответ,
Чтоб люди зря не спорили:
Конец предвидится ай нет
Всей этой суетории?..

— А «Теркина» стал перечитывать... Я не читал его лет пятнадцать — все переиздания шли — и накопилось изрядно опечаток, промахов набора, перепутанных строк — надо же было когда-то их повыправить. Ну, да я не о том... Во время войны многие думали: вот и еще агитстихи о солдате. Герой не всем нравился: простоват, «приземлен». Ставили мне в пример «Фому Смыслова» Кирсанова. А «Теркин» ведь совсем иное... Вот я стал сейчас его перечитывать, будто не свое... И стыдно сказать, в нескольких местах расплакался...

Вспоминаю сейчас этот разговор и думаю: Твардовский был смел уже в самом выборе темы. Не брался за мелкое, легкое, пустое. Отваживался на главное. Но это главное росло в нем органически, по масштабу личности, по размаху сил, а не как навязанное

себе решение: напишу-ка эпическую поэму, удивлю свет.

Он говорил: когда человек объявляет себе и другим — «это будет грандиозно, это как «Война и мир»,— пиши пропало, заранее можно сказать, ничего не выйдет». «Вот у Александра Иванова из «Явления Христа» ничего не вышло потому, что он заранее объявил, что пишет великую картину. Никогда не надо задумывать «гениальных произведений». Если что и выходит стоящее, то незаметно, исподволь».

Все его собственные замыслы росли из зернышек, высеянных раньше. Все они, как правило, своим зарождением опережали события. В «рабочих тетрадях» Твардовского видно, как «Теркин» рождался еще до большой войны, но взошел и был урожаем собран в ее разгар. А когда уже сложился «Теркин», война еще шла — зарождалась послевоенная вещь — «Дом у дороги». Поэма о возвращении — раньше срока, потому что дело это органическое, и оно совершается — как дерево растет, как развивается из зерна колос.

Большие и малые сочинения Твардовского будто привиты к единому стволу. Из «Теркина» отпочковался и вырос «Теркин на том свете». Из послевоенной лирики — «За далью — даль», в свою очередь дающая множество побегов в позднейшую лирику и поэму.

Самое главное, что душа поэта росла, все в себя вбирала, все пропускала через себя — и это уже не просто отражение этапов народной жизни: коллективизация, война, послевоенный труд, как часто пишут,— это преображенная поэзией судьба поэта, его понимание жизни, его идеал, бесконечно растущий и пополняющийся...

* * *

В 1943 году вместе с наступающей армией Твардовский подходил к родному Смоленску. Там оставались во время оккупации его отец и мать. Генерал — кажется, фамилия ему была Сухомлин,— вспоминал Александр Трифонович, «дай бог ему здоровья, может, теперь копается где-нибудь у себя на дачке», предложил машину и хорошего шофера.

По Рославльскому шоссе медленно-медленно поехали. На шоссе ни впереди, ни сзади ни одной машины. Никто не мог бы поручиться, что дорога размини-

рована по всей ширине полотна. В лесах, по обеим сторонам шоссе, еще бродили остатки разбитых немецких частей, и шофер вел машину в рубчатый след проехавшего ранее грузовика, готовый резко затормозить в любую секунду. И там, на пустынном этом шоссе, еще издали увидел Твардовский пылающий Смоленск.

Въехали в разбитый город. Он с ужасом глядел на развалины, не зная, застанет ли в живых своих близких. Дом на Краснознаменной улице, в котором они жили перед войной, сгорел. Соседи ничего не могли сказать ему об отце с матерью. Тогда он пошел искать деда Ореха.

Дед Орех — Арефий его звали — был для Шурки в детстве загадочным, полумифическим существом. До революции он был довольно богат, имел, кажется, лавку, но сын его стал в 19 лет красным комиссаром, погиб героем в гражданскую войну. После его смерти деду Ореху простили его лавку, и продолжал он жить в покое и почете. «Были такие странности времени»,— добавлял Александр Трифонович. Вот этого деда Ореха Твардовский разыскал и от него узнал, что отец и мать его живы и находятся в деревне.

От сердца отлегло немного у Александра Трифоновича. Потом он узнал, что тетку его, сестру отца, немцы расстреляли во время оккупации. Она стояла под пулями, опершись на клюку свою, будто не хотела с ней расстаться. Так и упала, вцепившись в нее намертво...

В 1943 году Александру Трифоновичу исполнилось всего тридцать три года, но какая огромная, трудная и серьезная жизнь была уже у него позади.

* * *

Замысел «Пана Твардовского» был, очевидно, данью коренной теме поэта — теме памяти. Памяти благодарной, тревожной, скорбящей, взыскующей.

Сейчас вспомнилось: мы идем как-то тихими зимними сумерками по аллее Тверского бульвара. Идем молча. И вдруг Александр Трифонович останавливается и говорит: «Подумайте об этих деревьях,— и показывает на темные тени заснеженных лип.— Это деревья знаменитые, они, может быть, еще Пушкина помнят, Гоголь здесь гулял, да и кого-кого они не пе-

ревидали...» Я подхватил разговор, стал вспоминать, кто из великих предков хаживал этим бульваром. «Нет, вы не поняли меня,— перебил Твардовский.— Эти деревья знаменитые, а я думаю о незнаменитых, никем не воспетых, где-нибудь на деревенской околице, на бугорке у леса...»

Я вспомнил этот разговор, когда спустя некоторое время он прочел нам в редакции «Нового мира» свое стихотворение «Береза». Скромное кривое деревцо «на выезде с кремлевского двора» потянуло за собой целую перспективу мыслей — о времени, о стране, о давнем и недавнем прошлом.

Ее не видно по пути к царь-пушке
За краем притемненного угла.
Простецкая — точь-в-точь с лесной опушки,
С околицы забвенной деревушки,
С кладбищенского сельского бугра...
А выросла в столице ненароком,
Чтоб возле самой башни мировой
Ее курантов мерный слушать бой
И города державный рокот.
Вновь зеленеть, и вновь терять свой лист,
И красоваться в серебре морозном,
И на ветвях качать потомство птиц,
Что здесь кружились при Иване Грозном.
. . . .
И в кольцах лет вести немой отсчет
Всему, что пронесется, протечет
На выезде, где в памятные годы
Простые не ходили пешеходы,
Где только по звонку, блюдя черед,
Машины — вниз — на площадь, на народ,
Ныряли под ступенчатые своды
И снизу вырывались из ворот.

Если мы глядим на природу, то и природа глядит на нас. Всему есть свой свидетель, и ничто не канет безвозвратно в бездну: все всплывет, угадается, запомнится.

Это цепь постоянных мыслей Твардовского — о народной памяти, о связи исторической и частной жизни людей. О том, что всему должен найтись свой певец, свой выразитель, и в особенности «незнаменитому», незаметному. Кто знает, быть может, когда мы говорим о совести, мы имеем в виду эту способность незабвения, жгучей, неотступной эмоциональной памяти? А в верности «незнаменитому», в угадывании его связей с историей — не выражен ли как раз сполна демократизм поэта?

ТАК БЫЛО

А. Т.— расписывался он на верхнем углу рукописи или верстки «Нового мира». Значило: прочел и не возражаю, можно печатать. Иногда спрашивал о какой-то рукописи: «А я поставил на ней А. Т.?» Это — как личная гербовая печать. И между собою, за глаза, конечно, мы звали его часто Трифоныч или «Атэ». Пока вымолвишь имя и отчество, а так — и коротко, и складно. Последняя прижизненная книжка его лирики украшена этим увеличенным на всю обложку «А. Т.».

Сотрудникам по редакции, среди которых образовалось немало и личных его друзей, в голову не могло прийти звать его, как часто случается слышать, «Шеф» или «Главный». Когда разбитные литературные люди спрашивали меня: «Ну как там шеф?», я не сразу понимал, кем они интересуются. Какой-то другой род отношений сложился между нами, и от этого только крепче стоял его огромный авторитет.

* * *

Быстро потухает память поколения. Спрашиваешь себя — не рано ли писать о Твардовском? Не было бы поздно. Что до меня, то почти нет дня, чтобы я не вспоминал Трифоныча — его слова, шутки, оценки людей и книг.

Не помню только почему-то, как увидел его впервые. Это было, наверное, весной 1954 года в старом здании «Нового мира» на углу улицы Чехова. Чтобы попасть в разгороженные клетушки редакции, надо было подняться по роскошной барской лестнице с зеркалами во всю стену над ней. Студентом я приносил в журнал свои первые рецензии и, помнится, встречал Твардовского в коридоре или на этой лестнице: он стоял с кем-то, пальто нараспашку,— тогда я мог лишь почтительно наблюдать его издали. Но эти ранние впечатления стерлись, заслонились потом годами близкого общения с ним, и мне кажется иной раз, что я знал его всегда.

* * *

Большой, высокий, крупный, медвежье в фигуре что-то. В плечах широк, чуть сутулится, голова крепко пришита к телу. Сразу, едва войдя, он заполнял собой комнату — у комнаты появлялся центр. Сколько бы ни было в ней людей — все силовые линии располагались мгновенно к нему, все о него намагничивалось.

Обыкновенно он приезжал в редакцию в середине дня. Медленно, в последние годы с одышкой, поднимался по лестнице, здороваясь со встречавшимися сотрудниками. Наклонял свою тяжелую голову слегка, но со значением, с уважением. В проходной комнате, служившей приемной, приветствовал Софью Ханановну Минц, отрывавшуюся на мгновение от машинки, входил к себе в кабинет, бросал на стол истертый желтый портфель с прочитанными рукописями и версткой и шел в каморку ответственного секретаря узнать, какие новости.

В коричневом просторном костюме, широкоплечий, плотный, он присаживался на низкий диванчик, вынимал зеленую пачку сигарет «Ароматные», закуривал, слушал внимательно, взглядывая исподлобья, покачивал головой. Потом возвращался к себе и садился просматривать почту. Тут же отвечал на письма, часто мелко исписывая обороты отслуживших календарных листков, и Софья Ханановна, перебелив их на машинке, возвращала ему на подпись.

Все наличные в этот час «соредакторы», как он нас неизменно по-старинному величал, узнав, что он приехал, без зова стекались к нему в кабинет.

Он сидел за большим, с массивными тумбами столом, в старомодном канцелярском кресле с прямой спинкой и твердыми подлокотниками. Закончив с почтой, снимал очки, совал их в нагрудный карман, а из портфеля вынимал верстки со своими пометками. И начиналась обычная необъявленная редколлегия без предварительной повестки дня — разговор о прочитанных рукописях, о текущих новостях, о том, что давать в очередную журнальную книжку.

На верстках, помимо его обычного «А. Т.» или «Воздержаться», были его отчеркивания, иногда правка, по поводу которой он подробнее изъяснялся устно.

Ему чужды были мелкие придирки, исходящие из

редакторских опасений, выискивание «подтекста» и т. п. Он с текстом имел дело, и ему важно было общее впечатление и направление повести или статьи. Главное — правдиво или неправдиво, добавляет ли что-то существенное к пониманию вещей или нет. И, наконец, как написано — умелым пером или «плотничьим карандашом»?

Правил он, и обычно неопровержимо, приблизительные, случайно подвернувшиеся словечки. Особенно был придирчив к описаниям природы, крестьянского обихода, фронтового быта, того, что сам знал до точки. Вот пример, мне запомнившийся: в повести Айтматова была фраза: «Крепкие, как топором обтесанные, скирды...» Казалось бы, недурно сказано. Но Твардовский правит в верстке: «Гладкие, как гребнем очесанные, скирды...» Как точна и бережна его замена! Не нарушен даже ритм фразы, а образ стал правдивее, точнее.

Как-то он совестил при мне литератора, допустившего оплошность в описании конской упряжи. И когда тот заупрямился — в наших краях-де так было, Твардовский предложил ему: перескажите по порядку, как коня запрягают. И поглядывал на него с укоризной, когда тот путался: седелка, хомут, шлея, уздечка...

Если он приходил под впечатлением новой, только что прочитанной дома вещи, то тут же, что называется «со свежа», высказывался о ней. Вот он прочел повесть Сергея Залыгина «Перекос», позже названную «На Иртыше», и «заражен» ею:

— Может, не легко будет напечатать, да и критики заедят, но вещь стоящая. Ведь о сибирском крестьянине, о коллективизации в Сибири так никто не писал... Для Залыгина это рывок. И написано густо.

Он развязывает тесемки на папке и открывает первую страницу:

— Только не надо начинать так: «Буранило сильно... Избы по самые крыши замело...» — и тому подобные красоты природы. Все это тысячу раз было. А надо: «21 марта 1931 года в селе Красный Кут сгорел амбар с посевным материалом». И дальше сразу картина — кто как к этому отнесся, что говорил и т. п.

Твардовскому повесть нравится, он говорит о ней с той пристрастной горячностью, какая всегда явля-

ется у него, когда он как читатель и редактор неравнодушен к вещи, уже считает ее как бы «своей».

Время от времени в кабинете А. Т. появляются авторы — кто с новой рукописью, кто за предварительным советом, а кто просто забежал на огонек. Бек, Симонов, Соколов-Микитов, Домбровский, Яшин, Эренбург, Федин, Казакевич, Панова, Ф. Абрамов, Трифонов — это если только вспоминать ушедших. Вообще же, кажется, вся живая литература 60-х годов прошла через этот кабинет.

«Соредакторы» то расходятся по своим кабинетам, то снова заглядывают к Твардовскому. «Когда у вас заседает редколлегия?» — спрашивали у А. Т. «Всегда, когда я в редакции»,— отвечал он обыкновенно.

Он любил литературное дело, когда это было дело, а не форс, не поза. С сомнением поглядывал на литераторов, курящих трубку («под Эренбурга») или заводивших конторку, чтобы писать стоя («под Хемингуэя»). Любил атмосферу литературных интересов, если к ней не примешивалась официальщина или салонная болтовня. Пустые мероприятия на литературной почве он называл «водосвятиями» и терпеть не мог сидеть в президиуме лишь для того, чтобы «светить глазами».

Твардовский смеялся над трафаретной формой поздравлений, в изобилии приходивших ему к праздникам и отпечатанных в типографии, частенько золотом на глянцевой бумаге: «Дорогой друг! Желаем Вам успехов в творчестве и счастья в личной жизни!» «Кто это ко мне так обращается, хотел бы я знать? — иронически недоумевал он.— Кому это я друг, да еще дорогой? И что значит: «успехов в творчестве и счастья в личной жизни»? Неужели поздравитель полагает, что мое творчество — это не моя личная жизнь?»

Сам А. Т. положил себе правилом к большинству поздравительных карточек, которые рассылались журналом к Новому году, Маю и Октябрю, прибавить хотя бы несколько личных, адресату направленных строк. А рассылалось этих карточек всякий раз 200—300 штук, так что пальцы болели подписывать. «Рука бойцов колоть устала...» — шутил А. Т., поднимая глаза над грудой плотных бумажных прямоугольничков с «фирмой» «Нового мира» в уголке.

А. Т. любил журнал, его голубую строгую обложку, с каким-то чувством радостного изумления брал в руки сигнальный экземпляр: «Скажите, вышел!» Держал его в руках, переворачивал, нянчил, как младенца. Потом внимательно прочитывал оглавление.

Давать название рукописи, «крестить» ее было обычно его привилегией. Он и нас всех вызывал соревноваться в придумывании названия, если авторское не подходило. Но редко кто мог составить ему конкуренцию. Им были придуманы названия «На Иртыше», «Семеро в одном доме», «Годы и войны», «Матренин двор», да и множеству других повестей, рассказов и статей стал он крестным отцом.

Перевернув свежую книжку журнала, Твардовский долго разглядывал как-то пустую заднюю обложку:

— Послушайте, а нельзя здесь что-нибудь печатать? Хотя бы рекламу какую...

Как рачительный крестьянин, он не хотел оставлять незасеянным и клочка пахотной земли.

День шел своим чередом, и, бывало, обнаруживалась необходимость послать в издательство или типографию какую-то деловую бумагу. А. Т. брался за перо. Считалось почему-то, что никто не напишет прошения или ходатайства лучше самого Твардовского.

— Я единственный человек в редакции, который умеет грамотно составить казенную бумагу,— комически возмущался А. Т., безропотно садясь за очередную «слезницу».— Приходил тут недавно завхоз из «Известий», к которому я непрерывно пишу, и, увидев меня издали со спины, сказал ядовито: «А-а, это ваш главный писатель...»

Твардовский приобрел даже как-то пособие по составлению деловых бумаг, прочитал его внимательно, но с разочарованием объявил, что не нашел для себя ровно ничего нового.

Зато с какой свободой и лукавством использовал он эти штампы «канцелярита», ставя их в неожиданное соседство со словечками народного языка в своей поэзии. Он и из мертвого источника умел черпать живую воду и заставлял виртуозно служить своим целям, в особенности в «Теркине на том свете». «Я это зверье давно знаю»,— говорил он о бюрократах. А уж язык их был изучен им до точки.

Тем временем в кабинет вносили стаканы с чаем на подносе с изображением райских птиц. Мягкие свежие бублики доставлялись по просьбе А. Т. из голубого павильона с угла улицы Чехова и Садового кольца. Начиналось традиционное чаепитие.

Обсуждались насущные журнальные дела, а потом шел вольный, неторопливый разговор о книгах, новостях политики, литературы,

Целинных землях и Шекспире,
Вреде вина и табака
И обо всем на белом свете
Беспротокольный склад речей,—
Ты лишь у смеха на примете
На случай глупости твоей...

Набегал кто-нибудь из периферийных авторов или «ближайших сотрудников», и разговор еще более оживлялся.

Мне понравилась мысль, высказанная в одной из статей (И. Ростовцевой), что Твардовский, когда глядел на человека и разговаривал с ним, делал это не в масштабе нынешнего случая встречи, а как бы задумываясь о всей судьбе человека, с которым говорил, и от него ожидая такого же крупного ответа о себе. Это очень верно.

Не было тут и тени претензии на исторический миг, который должен быть оценен и закреплен, не было и позы великого человека, собравшегося учить собеседника. Весь строй разговора — его очевидная простота, замечания и расспросы о самом обыкновенном, житейском, готовность к шутке — словом, никакой возможности встать на котурны. А вместе с тем разговор с Твардовским нередко распахивал перед тобой весь горизонт жизни, заставляя оценить ее и себя в ней по-новому.

Товарищество с ним было трудное, но отрадное — надо было все время за ним тянуться. У него было органическое понимание масштаба, чутье существенного в жизни. И никакой при этом плоской дидактики или позы — все попросту, все вровень. Я уж не говорю об отвращении к панибратству. Едва ли не всех вокруг, кто был моложе его, звал по имени и отчеству. Не терпел легких «ты», тем более «ты» односторонних. Невозможно представить его выслушиваю-

щим подогретые излияния в любви и заверения в преданности.

Он очень следил за своим поведением и речью — как человек застенчивый, ставший по судьбе общественным и бывший на виду, то есть со множеством людей пересекавшийся: ничего лишнего, нет слов пустых — и это сообщало ему величавость.

Издали он мог показаться даже высокомерным. Популярность его имени направляла к нему бездну тяготений и интересов, не всегда содержательных и бескорыстных, и он вынужден был охранять себя от чужой бесцеремонности.

Его побаивались. Побаивались не столько его гнева, сколько искренности и серьезности. В глаза его мог смотреть не всякий. Он умел сказать все, что о тебе думает, храня верность завету:

Хлеб-соль ешь, а правду режь...

Даже люди, привыкшие распоряжаться и «советовать», робели перед ним — перед открытостью, убежденностью и неожиданностью его суда.

Лишенный внешнего лоска, он обладал вместе с тем врожденным тактом и почти аристократической воспитанностью. Сын смоленского крестьянина, он свято чтил все формы, обиходы и понятия вежливости. В том, как он здоровался, как прощался, учтиво склоняя голову чуть набок, глядя в глаза собеседнику и протягивая с легкой улыбкой широкую ладонь, была какая-то даже чуть церемонная уважительность. Она равно распространялась на Маршала Советского Союза, члена английского парламента, посетившего редакцию, и на старушку-уборщицу Ксению Гавриловну, заглянувшую в дверь, чтобы спросить: «Стаканы свободны, Александр Трифонович?»

Можно утверждать даже, что он культивировал формы вежливости, понимая, по-видимому, дело так, что эти внешние знаки человеческого общения, пускай сугубо условные,— путь к навыкам взаимной уважительности.

Выговаривал кому-то: если тебе позвонили по телефону, а тема разговора исчерпана и надо прощаться, ты не можешь первым сказать «до свидания» — разговор кончает тот, кто тебе звонит.

От чужой грубости, неделикатности он страдал

иной раз почти физически, но ничто в его величавой фигуре и серьезном округлом лице не выдавало этого.

Это не значит, что он не бывал резок с неприятными ему людьми, случалось, взрывался. Но «воспитанный человек не может быть груб без намерения»,— говорит английская пословица. Вопреки обычной сдержанности, он мог вспылить, «полыхнуть» иногда грозно, но легко отходил. Чаще же умерял хамство, самонадеянность, претензии, останавливая человека презрительным взглядом и отрезвляющим словом. «Не затрудняйте себя объяснениями»,— говорил он холодно, с белыми от гнева глазами. Да, А. Т. умел сохранять дистанцию, когда это было необходимо.

Зато, как хорош, открыт он был с друзьями, да и просто расположенными к нему людьми, а таких было большинство. Отрадно было наблюдать Твардовского за праздничным столом в редакции, когда собирались все сотрудники. Он любил произнести речь, обращенную к корректорам, призывая их блюсти «культуру печатной страницы» как залог общей культуры журнала. Всех за столом он, бывало, заметит, всем скажет доброе, участливое слово. И никакой при этом сладости, меду и сахару — все просто, как давно обдуманное и как бы по делу. В застолье не просто по-грузински прибавит чести человеку, а как бы на его высь, на его скрытые возможности укажет — и вместе с тем не «пересолодит».

При мало-мальски близком знакомстве с ним легко приоткрывалась его доверчивость. Да, при всей пронзительной остроте ума, он был человек по-детски доверчивый, потому что верил в справедливость и ждал ее от жизни.

Он был жаден до новостей, и новостей добрых. Бывало, сложится в редакции тревожный, невеселый день. А. Т. сидит за столом в кабинете, сигарету в руках мнет, табак сыплется на пиджак, глаза настороженно, недобро щурит. Обдумывает что-то и, пока твердо для себя не сформулирует, вслух не скажет. Но вот приходит кто-то с хорошей вестью, или просто симпатичный человек набежит, разговорит, пошутит,— и А. Т. рассмеется вдруг от души, видно решив про себя, что дела не так уж и худы.

Были у него любимые цитаты-присловья на эти случаи.

— Погадаем-поглядим, что нам скажет Никодим. (А Никодим что-то помалкивает,— частенько добавлял он.)

Когда в кабинете появлялся знакомый литератор, Твардовский мог огорошить его вопросом-цитатой из Некрасова:

Сходится в хате моей
Больше и больше народу.
Ну, расскажи поскорей,
Что ты слыхал про свободу?

И делал изумленно-вопрошающий вид, устремляя на вошедшего указательный палец.

Твардовский истово верил, что любое зло ненадолго, любая беда минет, что надо ждать от жизни добрых перемен, от людей — хороших вестей. А если узнавал что невеселое, но привычное, говорил со смешком, крутя головой:

Ну, спасибо, ямщик. Разогнал
Ты мою неотвязную скуку.

Он охотно обольщался посулами радости и добра. И при всем своем здравом и скептическом уме был легковерен к доброму.

ЗА РЕДАКТОРСКИМ СТОЛОМ

Беседовал ли он с заслуженным автором или случайным посетителем, говорил с нами о редакционных делах или вспоминал житейское, в его присутствии рождалось впечатление чего-то значительного: никакой будничности, пошлых пустяков. Он мог посмеяться острому анекдоту, но сам анекдотов не рассказывал. Серьезность его не была надутостью, он легко отзывался на шутку и сам любил пошутить весело, озорно. Но это никогда не роняло его, не казалось мелким, не снижало полета.

Твардовский умел восхищаться чужой работой. Гордился, когда отыскивал в рукописном потоке что-то талантливое и дельное. Был необычайно чуток даже к оттенкам чьей-то удачи: восхищался «перекрученными березками», мелькнувшими где-то у Тендрякова, или подробностью боя у Василя Быкова, когда вместе с землею «сыпануло в окоп горсть отстрелян-

ных вонючих гильз». Какая сжатая сила выражения!

Когда А. Т. разговаривал с авторами начинающими или прославленными, он, как никто, умел поощрить щедрой, искренней похвалой, но и о неудаче или каких-то частных слабостях хорошей вещи говорил с обезоруживающей прямотой.

Впрочем, его весьма решительные суждения не имели обычно императивного характера. Всерьез он говорил с писателями, чьи работы заслуживали такого прямого, без скидок, профессионального разговора. Часто рукописи, по поводу которых он хотел подробнее объясниться, уже были намечены к публикации в журнале. Твардовский любил говорить о рукописи, как бы «отмыслив» вопрос ее печатания или непечатания, а по «гамбургскому счету», с высоты своих, нимало не сниженных для удобства собеседника требований к литературе. Поправит ли что-то писатель в своей вещи после такого разговора или нет, это было дело его способностей, намерений или художественной совести. Дело Твардовского было сказать, что́ он об этом думает.

Попробую восстановить канву некоторых разговоров Твардовского, при которых присутствовал и которые вкратце записал. Вот А. Т. прочел верстку повести Виля Липатова «Чужой» и пригласил его для объяснений.

— У вас обширный опыт,— говорит А. Т.,— но вам не хватает писательской культуры. В этом отношении Юрий Казаков, который читал Бунина, выше вас. Вы располагаете серьезным жизненным материалом, а часто портите его. Вы небось после детства «Капитанскую дочку» ни разу не перечитывали. Нет? А вам надо ее прочитать — и задохнуться от восторга.

(Надо сказать, что «Капитанская дочка» для А. Т. вообще — символ совершенного искусства. Если кого хочет укорить, всегда скажет: «Да он «Капитанской дочки» не читал».)

А. Т. разглядывает свои многочисленные пометки на верстке, начинает было приводить примеры, но машет рукой и продолжает:

— Вы пишете и не переделываете. Все остается, как в первый раз писалось. Художник же начинается тогда, когда является необходимость второй и третий раз возвращаться к однажды написанному... Мы

напечатаем эту вещь, но вот вы называете это повестью...

— У меня в рукописи было «роман», это в редакции перекрестили в повесть,— замечает Липатов.

— Тем более. У вас материала на рассказ, а вы вздуваете его на повесть, даже на роман... Давайте условимся, напишите для нас рассказ, но такой, чтобы вы могли приехать к нам в редакцию и прочитать его вслух. В старину писатели часто читали друг другу вслух свои рассказы. Это прекрасная проверка, когда за каждое неловкое слово стыдно бывает. Я по себе знаю: читаешь вслух поэму — и одно слово хочется проглотить, замять, чтобы слышно не было, а другое уверенно, звонко произносишь,— значит, как надо стоит... И еще, простите уж,— у вас нет родословной. Я не знаю, кто ваши отцы, или они бродят неподалеку, совсем рядом. Смотрите, в «Одном дне Ивана Денисовича» — там и протопоп Аввакум, и Достоевский или Чехов (не как простое подражание, конечно) — а у вас никого не видно, не думайте, что это хорошо...

Разговор с Константином Воробьевым о его повести «Момич» Твардовский начал искренними похвалами. Еще раньше он говорил в редакции об этой рукописи, что местами она ему очень понравилась: «...какая-нибудь тропинка, изгиб ветлы совсем по-бунински написаны». Нравился ему и главный герой, Момич, отчим мальчишки, от лица которого идет повествование. «Это, конечно, автобиографическое. Детство — золотой запас всякого писателя. Об этом почти нельзя плохо написать».

Но смущало Твардовского то, что в повести тронута тема первых коммун и дана она глазами подростка. Он советовал положить конец рукописи «в стол» и оборвать повествование накануне коллективизации: «Для этой темы не годится восприятие подростка, тут нужна другая оснастка. А впрочем, вам решать,— сказал А. Т. в заключение.— Вы — как летчик в воздухе. Мы с земли следим за вами и знаем, что у вас какая-то беда, но помочь ничем не можем, разве что советом. Только вы один в кабине пилота можете самому себе помочь. А мы в лучшем случае барражируем рядом с вашим самолетом». (И все же потом А. Т. еще долго

говорил с автором наедине о том, как «спасти» его повесть.)

Любимую им тему о достоинстве повествовательной авторской речи энергично развивал он в разговоре с Николаем Вороновым о его рукописи «Юность в Железнодольске».

— Есть детское, литкружковское правило: «показ, а не рассказ». Но нужен и рассказ, нужна свобода авторского изложения. Не о том речь, чтобы воспарять в философские многозначительные рассуждения. Это редкость, когда писатель имеет право себе позволить сказать: «Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» и т. п. (А. Т. любил цитировать этот зачин третьего тома «Войны и мира» как образец открытой и величавой авторской речи.) Я считаю тяжким грехом прозы — изложение обстоятельств действия в диалогах. Вместо того чтобы сказать: «Он подъезжал к городу, когда под ним пала лошадь», вы даете две страницы диалога: «Кто там скачет?», «А на чем?» и т. п.

Твардовский оценил правдивость и новизну материала Воронова — жизнь тылового приуральского города военных лет. «Прекрасно описана эта зашлаченная, с битым стеклом земля, по которой трудно ходить босиком, эти базары, очереди, толкучки, воришки, бараки и проч.».

— О трудовой жизни писать надо так, чтобы читать было нетрудно,— говорил Твардовский Воронову.— Иной раз материал вас захлестывает. Хорошо, когда такой подпор материала, но нужен и водослив. Бывает, автор отдается вдохновению, благодарному свойству памяти и желанию все запечатлеть, а энергия рассказа потеряна.

А. Т. неизменно стоял за скромность жанровых определений. И Воронову, как многим другим, настоятельно советовал убрать из подзаголовка слово «роман».

— Пусть читатель скажет: «Смотрите, названо «хроника», а в сущности, настоящий роман». Это куда лучше, чем если будут говорить: «Какой же это роман? Скорее уж хроника...»

* * *

Твардовскому нравился жанр записок, свидетельств, документальных мемуаров. Он считал, что «дельная проза» восполняет дефицит правды в расхожей «беллетристике». И оттого высоко оценил записки инженера-изыскателя Александра Побожьего «Мертвая дорога», воспоминания крестьянина Бартова о побеге из колчаковской тюрьмы, очерк рабочего Терентьева о строительстве электростанции. К досаде одного автора популярных романов, он ставил ему в пример безыскусную прозу Терентьева: «Вот образец того, как надо писать».

Нравились Твардовскому и записки летчика-испытателя Марка Галлая. Он лишь предупреждал автора против «разукрашивания» событий, иначе сказать беллетризации, портящей доказательность и поэзию документа.

— Нет занимательности без обстоятельности,— приводил Твардовский любимую мысль Томаса Манна.— Не надо украшать свой рассказ, все достоинство записок в их дельности.

— А если я хочу написать пейзаж, чем-либо мне запомнившийся? — спросил Галлай.

— Специально ради пейзажа не надо,— отвечал Твардовский.— Не надо так: «Багряные лучи заходящего солнца окрасили небосклон...» Но если вы напишете, что солнце садилось в тучу, и потому, скажем, труднее было вести самолет,— это другое дело. У Арсеньева в «Дерсу Узала» нигде не найдете самоцельных описаний природы. Но вот, например, он рассказывает, что подкрался к оленю так близко, что увидал, как с губы у него капало: кап-кап... Это уже молодечество, и, понятное дело, это нужно.

Документальную прозу А. Т. хвалил, поддерживал, печатал, но когда кто-то, запалившись, вознес ее слишком высоко, Твардовский охладил его пыл:

— Знаете ли, увлечение документальной прозой лишь до той поры, пока появится произведение, роман или повесть подлинного художественного размаха. Тогда очевидные достоинства дельной прозы перед средней беллетристикой мгновенно померкнут.

* * *

Твардовский посмеивался над теми, кто причину недостатков литературы видел в неразработанности теории социалистического реализма. Дескать, откроем законы, выработаем правила — и тогда станем писать высокоидейные и одновременно глубоко художественные произведения. Это не значит, что у него не было своей хотя и не приведенной в систему, но вполне продуманной эстетики.

Пусть даже не со всеми оценками его можно было согласиться, а некоторые прямо поддразнивали и вызывали на спор, но всегда видно было, что у мысли его — крупный масштаб: его интересует литература в целом, литература как проявление народной жизни, а не какие-нибудь частные счеты-расчеты.

Когда перед ним лежала рукопись, ему прежде всего важно было понять — правдиво ли произведение и существенно ли, то есть открываются ли в нем новые стороны народной судьбы, человеческой души? Если писатель ставил перед собой задачи малые, облегченные, не забирающие его целиком, это разочаровывало Твардовского.

Фальшь он чувствовал за версту и особенно не любил, когда к серьезной, драматической теме, скажем жизни послевоенной деревни, добавлялись сентиментальные, «романтические» ноты.

Плохое искусство он считал не просто нейтральным балластом культуры, но вредоносным гасителем добрых эмоций, разрушителем доверия читателя, зрителя. Однажды мы возвращались с неудачного, с потугами на острый модерн, фильма. Твардовский отказался от предложенной ему машины, и мы долго шли по пустынной Мосфильмовской улице уныло, молча. И вдруг он сказал: «Вы замечали, как может искусство делать счастливым, даже если сюжет печальный, горький? Я читал одну австралийскую книгу, где герои долго идут по безводной пустыне, по пескам и колючкам, страдая от усталости и жажды. И внезапно поймал себя на желании причастности: мне захотелось быть там, вместе с этими людьми. И тогда чувство счастья от книги... Но зато какое гнетущее бывает настроение, когда ты не веришь, когда перед тобой подделка, а ты принужден прочесть или досмотреть — как мы сейчас с этим фильмом — все это до конца.

Тут уж тоска наваливается... будто у тебя кто умер».

Требования его могли казаться максималистскими, но это оттого, что он не знал большего врага правды, чем уклончивая полуправда. «В деле литературы, искусства недостаточный талант хуже отсутствия таланта»,— говорил А. Т. Он имел в виду, что отсутствие таланта — никого не обманывает, и оттого не так разрушительно по общественным последствиям.

Скептически относился он ко всему взятому не из первых рук, имевшему привкус испробованной «литературы». В стихах отвергал ассоциации, навеянные уже послужившим искусству материалом: «нестеровский взор», «левитановский закат».

— Нельзя определять жизнь уже прежде (и не тобою) созданными образами ее,— объяснял он.— Это «отражение отражений».

И никак не мог понять критиков, которые поощряли приукрашенное изображение действительности в литературе:

— Для них отражение важнее положения.

* * *

Не хотелось бы, чтобы из моих беглых заметок, записанных мною когда-то слов, Твардовский предстал человеком нравоучительным, одаряющим тех, кто входил в его кабинет, готовым запасом житейской и литературной мудрости. Я видел его задумчивым и остронасмешливым, растерянным и яростно гневным. Гнев его вызывали неизменно претензии не по чину, искательство, потуги очевидной бездарности.

Как-то наш разговор с Твардовским прервал пробившийся к нему пенсионер. Он говорил, что приехал издалека и настаивал, чтобы Твардовский принял его по неотложному делу. Я сидел в кресле в углу кабинета и стал очевидцем такого диалога:

— Я к вам только на пять минут, хочу задать один вопрос.

— Пожалуйста.

— Если я напишу идейно выдержанный и высокохудожественный роман, вы его напечатаете?

— Нет.

— Почему???

— Потому что тот, кто задает такие глупые вопросы, романа написать не может.

— Но я ведь должен знать заранее, получить какие-то гарантии... Ведь мне придется отдать этому труду два года жизни.

— Вот я и советую вам, не надо отдавать двух лет жизни.

Посетитель ушел, растерянный и недовольный: какой, однако, нечуткий человек этот Твардовский!

Казалось бы, защищенный своей громкой поэтической славой автор «Теркина» мог относиться к своему редакторскому посту несколько прохладнее, как к почетной должности: за тебя все прочтут и сделают, а ты «царствуй, лежа на боку». Некоторым так дело и представлялось. В действительности же А. Т. обычно прочитывал в верстке журнал от корки до корки; многое он читал, разумеется, еще в рукописи. Да к тому же иные бойкие авторы «самотека» настигали его лично и вручали толстые и тонкие папки дома и по пути в редакцию.

— Рукопись надо читать, как арбуз выбирают,— учил он меня.— Вырезал клинышек, взглянул — не красно, положил обратно в середку.

— Автор может обидеться,— возражал я.— Станет требовать, чтобы до конца прочли.

— Да, бывает и такой трудный случай,— соглашался Твардовский.— Ему толкуешь, что роман не годится, и это видно уже по первым страницам, а он в ответ: «А вы заметили сцену объяснения у колодца в главе 49-й? Не правда ли, получилось?» Вот и приходится подряд все читать, вплоть до опасных симптомов отравления... не скажу чем. Вы знаете, в медицине есть такое понятие, забыл как по-латыни...

Однажды малоталантливый беллетрист, имевший лишь то преимущество, что он когда-то учился с Твардовским, принес в редакцию пухлый кирпич верстки. Он уже уговорил какое-то издательство напечатать его роман и теперь хотел добиться его публикации в журнале. Отрицательному мнению сотрудников редакции он, конечно, не поверил и требовал, чтобы роман прочел и решил его судьбу непременно Твардовский.

А. Т. хорошо знал возможности этого автора и решил не медлить с ответом. Он открыл роман на первой странице и в присутствии автора сделал показательный разбор. Он шел от фразы к фразе и под друж-

ный смех присутствующих обнажал фальшивые красоты стиля, штампы, нелепицу изложения. Несколько смятый, но непоколебленный автор заявил, что по первой странице судить нельзя: там-де все сказано иронически и с точки зрения героя, который окажется в ходе действия отрицательным.

— Но зачем же начинать роман в духе и стиле отрицательного героя? — сказал Твардовский.— Может быть, тогда он хотя бы заканчивается иначе?

Он перевернул пачку верстки и тем же способом начал разбирать последнюю страницу романа. Тут уж автор вскричал: «Хватит, хватит»,— и счел за благо удалиться с версткой под мышкой. Справедливости ради скажу, что такой жестокий способ изучения рукописи Твардовский применял редко, и только чтобы наказать воинствующую бесцеремонность. Самолюбие скромных авторов он щадил.

Каждому начинающему поэту было, понятно, лестно, чтобы его прочел и оценил сам Твардовский. Его ловили у машины, «повисали» на нем в редакционном коридоре, везли стихи на дачу, умоляя, чтобы они попали не в отдел поэзии, а были непременно прочитаны им. «Мне обидно,— отбивался Твардовский,— вы не доверяете моим сотрудникам, а значит, и мне. Ведь я-то им вполне верю... Они и мои стихи бракуют». Но порой не выдерживал осады и брал рукопись домой.

Случалось временами, что на другой день в редакции он несколько смущенно вынимал из портфеля прочитанные им дома стихи начинающего поэта и, собрав двух-трех сотрудников, проверял свои впечатления. «Или я ничего не понимаю в поэзии и выстарился совсем, или тут что-то есть...» — начинал в таких случаях А. Т. Он читал понравившиеся ему стихи с выражением, с энергией и искренне огорчался, если слушающим не нравилась его находка. Порой ему свойственно было обольщаться незамысловатой простотцой. Но чаще он бывал прав. Так он открыл и читал нам вслух в редакции стихи Алексея Прасолова, рано погибшего, к несчастью, воронежского поэта. Он принял горячее участие в его судьбе и даже вызволял из одной житейской беды. Ему нравилась сосредоточенность Прасолова, его философия природы

и высокая культура стиха. Особенно восхищали Твардовского строки:

И трав стремленье штыковое,
И кротость детская листа.

— Я бы мог так написать, да почему-то не догадался. «И трав стремленье штыковое», а ведь лихо сказано!

Я думаю, что в «Новом мире» печаталось много хороших стихов, и все же Твардовский и поэзия — непростая тема, потому что некоторые из современных поэтов обижались на него: он их не печатал. Виной тому было нередко различие самого подхода к делу. Для Твардовского, как ни дорожил он искусством, жизнь была все же важнее поэзии — самого прекрасного, летучего и восхитительного цветения бытия. Смысл, содержание, то есть попытка понять людей, что с ними происходит и как они живут, собравшись в то объединение, что зовется «обществом»,— вот что составляло для него суть всякой литературы, в том числе и поэтической. И как жизнь для него была первостепеннее поэзии, без которой он тоже, впрочем, не согласился бы существовать, так и «человек» важнее «поэта». Иными словами, элитности поэтов он не признавал, и право на поэтическую «невнятицу» тоже считал сомнительным. «Как я могу печатать то, чего сам не сумею объяснить, если попросят?»

Уже появились воспоминания, в которых сообщается, что Твардовский был несправедлив, отклоняя многие прекрасные стихи, что он не проявлял здесь широты, необходимой просвещенному вкусу. Ну, не так уж он был узок, если печатал Межелайтиса и Евтушенко, Межирова и Карло Каладзе, Кайсына Кулиева и Д. Самойлова, если о Марине Цветаевой или Анне Ахматовой сказал, быть может, самые весомые в наши дни слова признания. Но, конечно, строгая избирательность его была наглядна.

Не решусь утверждать, что он во всех случаях был справедлив как всеведущий и беспристрастный судия. «Ничто человеческое...» Но мне кажется важным указать на устойчивые основы его этики, делавшие его приговор чужим стихам, даже когда он казался (или был) несправедливым, лишенным всякого оттенка зависти, соперничества или конкуренции.

Прежде всего в литературных отношениях, как и во всяких иных, Твардовский не умел лгать. Притворяться, что ему что-то понравилось — из редакционных ли выгод, чтобы поддержать дружеские отношения или просто из чувства самоохранения, оберегая свой покой,— Твардовский не умел катастрофически. Понимая, что у него вымогают поощрение, нарочно иногда, чтобы не сбиться с компаса правды, говорил в глаза автору резче, чем сказал бы за глаза.

Замечал я и то, что поэтов увенчанных или вознесенных модой Твардовский оглядывал с прищуром более острым, чем безвестных и начинающих. Если в начинающем видел искру божию — готов был помочь ее раздуть, но ранних «знаменитостей» не щадил. И не по чувству профессиональной ревности, я думаю, а оттого, что не терпел шелухи, внешних примет признания, камуфлирующих истинное достоинство. В таких случаях он отвергал чужую рукопись без снисхождения. Уверял: «Если сразу сказал, что думаешь, дальше разговаривать легко».

Много раз откровенно и взыскательно говорил он с Е. Евтушенко, одобрял одни его стихи, подробно разбирал и отвергал другие.

— У вас импровизационный талант,— говорил ему Твардовский.— Но нет драгоценной для искусства способности возвращаться к раз начатому. Вы умеете захватить территорию противника, но не умеете закрепиться на ней — обеспечить тылы, окопаться и т. п.

О стихотворении «Баллада о смертнике» Твардовский сказал:

— Вы нагоняете на читателя страх: ох, эти поэты, отчаянный народ, как бы он над собой чего не сделал. А не надо пугать. Вот в другом стихотворении у вас сказано о поэтах, что один из них с брюшком, другой — пошляк в жизни, но в них-де «божественный глагол». А я думаю, что не обязательно поэт так уж непригляден — это все кокетство и заискиванье перед читателем. Поэт может быть строен, красив, и даже должен быть таким в молодости. А кроме того, я не верю, чтобы ваш пошляк — если я верно его угадал — когда-нибудь чувствовал себя поэтом по существу. Пошляк — он пошляк и есть.

К чести Евтушенко надо сказать, что он достойно выслушивал эти малоприятные речи. «В прошлый раз

вы довели меня до слез, сейчас я едва сдержался,— сказал он Твардовскому.— Но следующую вещь опять принесу вам».

«Даровитый человек,— рассуждал после его ухода Твардовский,— но, к сожалению, поэзии русской как следует не знает. Я спрашиваю его: «Зачем тут у вас женская рифма?» Он не знает. Это еще не поэзия, а импровизация. И потом — самоупоен. Прожекторный луч убегает от него, а он за ним гонится, чтобы снова под него попасть».

«Сейчас в моде незастегивающиеся рифмочки,— рассуждал по другому поводу Твардовский,— «старушка — Таруса». Все это рифмы-пифмы. В народном стихе встречаются неточные рифмы, но всегда закономерные. «Бери свою шубу, чтоб не было шуму». Многие наши молодые ушиблены звукописью. Если у них идет «католический», то в следующей строке непременно «калиткой». А ведь звукопись лишь одно из малых средств поэзии. И выходит виртуозно, но пустовато».

Нерифмованные стихи Твардовский откровенно недолюбливал. Однажды он вернул мне стихотворение довольно известного поэта, которое мне нравилось и за которое я хлопотал.

— Пока я здесь редактор, не приносите мне белых стихов, печатать не буду,— полушутя сказал А. Т.

— И «Вольные мысли» Блока не напечатали бы?

Наступила пауза. Твардовский будто обдумывал — и вдруг сказал серьезно:

— Нет, Блока бы напечатал.

Казалось, белый стих должен привлекать его естественностью течения речи, простотой формы. Но он с предубеждением относился к «российскому верлибру», как бы опасаясь, нет ли здесь заведомого облегчения поэтической задачи, «езды со спущенными вожжами». Да и народное стихосложение, на которое он всегда оглядывался, тяготело к рифме, так что в белом стихе ему виделось что-то безнациональное, сомнительно новомодное. А. Т. вспоминал пушкинскую насмешку —

...Мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль, а что как это проза,
Да и дурная...

Велико было удивление присутствовавших, когда однажды Твардовский прочел нам в редакции свое большое стихотворение «Береза», написанное белым стихом. Стихотворение смело совмещало времена и пространства, эпоху Ивана Грозного и современность, березку, притулившуюся за выступом Спасской башни Кремля, и другую — на кладбищенском сельском бугре его родины... Этому лирическому рассказу очень шел естественный, свободный строй белого стиха.

Но кто-то из слушавших пошутил: вот-де и А. Т. белым стихом не погнушался, а как замечательно получилось. Твардовский на это только хмыкнул. Но, когда спустя неделю он принес подборку стихов, подготовленных к набору, мы с изумлением увидели ту же «Березу» в оперении классической рифмы. Затрудняюсь сказать, приобрело или что-то потеряло при этом стихотворение: каждый из вариантов был по-своему сильным.

Вообще, если кому-либо разговоры Твардовского с поэтами представлялись излишне резкими, пусть искуплением послужит то, что к своим собственным работам он относился с еще большей критической придирчивостью. И в стихах последних лет ставил себе зароком:

...Сурово спрашивать с себя,
С других не столь сурово.

«ЛУЧ СЛОВЕСНЫЙ»

Не знаю, как в дни его молодости, но в годы, что я его знал, он глухо охранял двери в свою мастерскую, никогда не носился с написанной страницей, и похоже было, что испытывал вечное чувство недовольства собой. В особенности неохотно расставался он со своими лирическими стихами, всегда медля передавать их в печать.

А. Т. иронизировал над таким способом существования лирического поэта-профессионала: встал, хорошо выспавшись, попил кофе, положил на стол писчую бумагу и перо, сел и думает, вперив взор в окно,— что бы мне сегодня написать? Лирические стихи возникали у А. Т. непреднамеренно — доро́гой, на прогулке, среди ночной бессонницы — и переписывались им в

дневник между других записей дня, словно бы как часть его. Я знал это и, хотя Твардовский недолюбливал таких разговоров, вместе с С. Г. Карагановой, заведовавшей отделом поэзии, начинал теребить его, не даст ли он что-нибудь для очередной книжки. Говорил, что читатели «Нового мира» давно не видели его стихов, так не пора ли показаться перед ними поэту, а не только редактору?

Твардовский переглядывал, наконец, дома свои тетрадки и выбирал придирчиво то, с чем, на его вкус, было не стыдно показаться. Потом он собирал в своем кабинете «соредакторов» и читал новые стихи, как бы «на пробу».

Он надевал очки, перелистывал страницы толстых общих тетрадей с закладками и говорил для начала что-нибудь застенчиво-шутливое, вроде: «Перебирал стишочки, как бедные грибочки, а белых вовсе нет...» Или: «Вот, послушайте. Тут одно стихотворение более или менее, а остальное так, дрибныця...» Это словечко, позаимствованное им из украинского языка, означавшее «мелочь, россыпь», должно было настроить слушателей так, что на этот раз ничего особенного они не услышат.

А ведь читал он на моей памяти, помимо глав из «За далью — даль» и «Теркина на том свете», такие стихи, как «Я знаю, никакой моей вины...», цикл «Памяти матери», «На сеновале», «Слово о словах», «На дне моей жизни...».

После чтения наступала обычно долгая пауза — трудно было сразу оторваться от магии этих стихов, прочитанных его твердым, без тени сентиментальности или эстрады, хрипловатым голосом.

Помню, как читал нам Твардовский фрагмент своей последней поэмы — «На сеновале», удивительное воспоминание о «годах юности немилой». На похвалы отвечал: «Тут не все отделано...» И тут же пошутил: «Когда хозяйку хвалят, она всегда скажет: здесь не хватает, кажется, корицы или перцу...» И поскольку присутствовавшие все еще молчали, заговорил сам:

— Никогда не знаешь, что где откликнется. Все так странно связано... В моей наивной поэме «Путь к социализму», которую я теперь ни в одно собрание сочинений не включаю, есть строки о молоденьких петушках. Их когда-то заметил Пастернак на обсужде-

нии поэмы. И вдруг эти петушки вспомнились мне здесь: «Их голосов надрыв цыплячий...» Ну да ладно, говорите, что не так.

А. Т. ввел в редакции суровое правило: рукопись, пришедшая со стороны, могла увидеть свет и при разногласии членов редколлегии, ее судьба решалась простым большинством голосов. Если же речь шла о сочинении сотрудника редакции, не исключая самого главного редактора, требовалось единогласие: один-два голоса против — и сочинение уже не печатается.

Не помню случая, чтобы мы голосовали по поводу лирических циклов А. Т. Но стоило кому-либо в самой деликатной форме усомниться или только сказать: «А это вроде послабее...», как стихотворение мгновенно исчезало из будущей подборки, и больше мы его не видели.

Помню, я отчеркнул уже в верстке две заключительные строчки в стихотворении «Я знаю, никакой моей вины...» и сказал А. Т., что они кажутся мне не обязательными, слишком дидактичными, что ли; на другой день их как не бывало.

Это не значит, что Твардовский легко соглашался на перемены — иногда сердился, вскрикивал, упрямо стоял на своем. Но, поостывши, говорил: «Дело дружеской критики — расшатать гвоздик в стене. Если легко вынется, значит, был плохо забит, а останется на месте — значит, стоит, как надо».

Зато, если соглашался, поразительно легко делал поправки — в стихах ли, в статье. Весь словарь, рифмы, синонимы, вся амуниция искусства была у него наготове, все отмобилизовано, и по первому зову являлось точное, нужное слово, а для проверки — полдюжины синонимов. Когда в строке обнаруживалась «слабина», он мгновенно находил ей замену, легко перерифмовывал и ставил на место.

А вот если слово сказано точно и он его ценит, никакими силами нельзя было заставить его уступить. Твардовский возмущался редактором, готовившим отдельное издание поэмы «За далью — даль»:

— Странный молодой человек. «Здесь, говорит, у вас неверное согласование». Или: «Это не по-русски», «это неправильно». Да, неправильно. Вот я и хочу, чтобы было неправильно. Другое дело, когда сам чувствуешь, что нужно что-то поправить. Тут типограф-

скую машину уже пустили, а мне захотелось еще внести изменения. Я сказал в издательстве об этом. Мне отвечают: «Не советуем. Иначе вы как автор понесете большие материальные убытки».— «Гонорара хватит?» — ответил я им.

Как-то в дружеском застольном разговоре А. Т. заметил об одном писателе, что у него есть замечательные сцены, но он очень неровен, пишет много, как графоман. «В этом смысле всякий писатель графоман»,— возразил один из присутствующих. «Я не графоман,— сказал неожиданно Твардовский.— Если бы вы знали, как трудно, мучительно я пишу и как мне не нравится все, что я пишу». И, переведя на шутку, он комически оглянулся по сторонам, не слышит ли кто нас за соседним столиком: «Только не говорите этого никому, ради бога».

Редко-редко кто мог слышать от него, когда он, обиженный или расстроенный чем-то, говорил горделиво:

— Я знаю себе цену, не думайте. «Василий Теркин» важнее и выше год от году. Это когда он главами печатался, некоторые думали: вот и еще агитстихи про солдата... А ведь как Бунин про это сказал...

Бунинской оценкой он гордился. Но мгновения удовлетворенности, самоутешения были редки, а мука в совершенствовании себя — длительна. Он не любил откровенничать, но по вырывавшимся время от времени фразам видно было, что ему казалось,— все это еще не то, не так, не самое главное он пишет.

Твардовский не знал покоя в стремлении к совершенствованию им созданного, и пока книга не уходила от него на слишком заметную дистанцию, продолжал поправлять, переделывать написанное. Исчеркивал поправками уже десятки раз изданную поэму «За далью — даль», не однажды возвращался к «Теркину на том свете». Иногда даже портил невольно какую-то строчку, и удивлялся, и сердился, когда ему указывали, что прежде такая-то строфа звучала лучше.

Однажды шел разговор о его смоленском приятеле Е. Марьенкове, рукопись которого, написанная перед войной, погибла, и он нашел в себе силы написать ее заново второй раз. По впечатлению Твардовского, некоторые страницы в ней оказались даже лучше, ярче.

— Так бывает,— сказал А. Т.— Я иногда говорю поэтам, которые приходят забрать присланные ими стихи: «А я их потерял. Запишите наново по памяти. Все хорошее, сильное наверняка запомнилось и останется, а шелуха отпадет».

Способ жестокий, но верный; я свидетель, что А. Т. применял его и к себе. Весной 1969 года, оказавшись в больнице без главных своих тетрадок, он сочинял последнюю свою поэму, восстанавливая по памяти движение мысли и стиха, и радовался, что какие-то строфы забыл: «значит, не нужны».

О своем тайном единоборстве со словом он лучше всего сказал в стихах:

...Не надо платы никакой —
Ни той, посмертной, ни построчной,—
А только б сладить со строкой.
А только б некий луч словесный
Узреть, не зримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.
И вздрогнуть, веря и не веря
Внезапной радости своей,
Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом все больней.

Для меня этот «луч словесный» — одно из лучших выражений сути поэтического труда, самого невыразимого в поэзии.

Твардовскому иногда предъявляли упрек в назидательности, иллюстративности его лирики — упрек, как мне кажется, несправедливый. Он вкладывал в поэтическое слово куда больше, чем сообщал его прямой «сюжетно-предметный» смысл. Помню, как с недоумением перебирал он иллюстрации художника к его лирической поэме.

— Вообще сомневаюсь, нужны ли лирике иллюстрации? Возможно ли иллюстрировать «Возмездие» Блока? И как? «Победоносцев над Россией простер совиные крыла» — Победоносцева рисовать с совиными крыльями? Тут один художник решил иллюстрировать «За далью — даль» в некоем иконописном русском штиле. И где у меня строки: «...Как вспомню запах первой книжки и самый вкус карандаша» — изображен инок с воздетыми к небу глазами, прижимающий к груди книгу. А тему «далей» художник передал какими-то полукружьями — одно в другом. Я сказал

издателям: я понимаю, художнику нужно получить заказ посолиднее, нужно, грубо говоря, хлеб жевать, но очень прошу, нельзя ли выпустить меня хоть раз без иллюстраций, чтобы внимание читателей не рассеивалось.

В литературной среде до сих пор бытуют, обрастая легендами, острые словечки Твардовского: «Я не любитель поэзии, как Асеев, Кирсанов, а скорее стихофоб». Или: «Котят надо топить слепыми» (о молодых поэтах). Только глухой к юмору человек поймет дело так, что Твардовский не любил поэзии или третировал молодых писателей — сколько их разлетелось с его крыла! Но, с жестокой требовательностью относясь к своему поэтическому слову, мог ли он снисходительно поощрять то, что казалось ему слабым, случайным или пустым у его товарищей по перу? Строгость Твардовского, всегда ощущавшего за спиной великие тени классиков, держала уровень требований в поэзии, во всей литературе.

ТВАРДОВСКИЙ-ЧИТАТЕЛЬ

Н. К. Гудзий, утверждавший, что все люди делятся на писателей и читателей, «и те, которые писатели, уже не читатели», подметил удручающую особенность литературной среды: далеко не всякий писатель, ставший профессионалом, находит время для чтения. Книги читают или по случаю — на обсуждении надо выступить, юбилей классика грядет, рецензию заказали; или же коллега прислал книгу — неудобно отложить в сторону. Но Твардовский был из числа самых замечательных читателей, каких я знал.

А. Т. смеялся над ходовой ораторской фразой: «Не читал, но скажу...» Если уж он брался говорить о какой-то книге, можно было не сомневаться, что он прочел ее со всем вниманием, думал над ней, вынес свой суд и навсегда усвоил в ней все поразившее его новизной или созвучное душе.

Однажды Корней Иванович Чуковский прислал Твардовскому свою книгу о языке «Живой как жизнь». Чтобы понятнее стало то, о чем я хочу дальше рассказать, замечу, что Твардовский очень чтил Корнея Ивановича. «Старик знает, что почем»,— го-

ворил он. Когда-то, сразу после выхода «Страны Муравии», Чуковский написал А. Т. важное для него письмо. К несчастью, оно потом затерялось, но смысл его Твардовский излагал так: если критики достойно не откликнутся на «Страну Муравию», то я сам тряхну стариной. А незадолго до смерти Чуковский прислал Твардовскому замечательное письмо о цикле лирики, напечатанном в «Новом мире»; письмо было из больницы, и в нем были слова — «в моей предсмертной тоске...», поразившие Твардовского своей искренностью. В них был залог несомненности восхищенного отзыва Чуковского.

Словом, мнение Чуковского всегда было для Твардовского небезразлично. Но, посылая ему книгу «Живой как жизнь», Корней Иванович в дарственной надписи просил особое внимание обратить на перечисленные им ниже страницы. На этих страницах, как оказалось, приводились цитаты из Твардовского. Когда А. Т. это обнаружил, то, вопреки ожиданию автора, отнюдь не был польщен:

— Во-первых, почти всюду, где Корней Иванович по доброте меня цитирует, он делает это неточно или невпопад. А во-вторых, он очень невысокого обо мне мнения, если думает, что я так вот, выборочно, читаю книги...

Отнюдь нельзя сказать, чтобы Твардовский не был разборчив в чтении, всеядность ему не грозила. Но в отношении классиков, старых и новых, в отношении новейшей западной литературы (с отечественной он знакомился по большей части в рукописи, как редактор журнала) редкость было встретить такого разностороннего по интересам, вдумчивого и памятливого читателя.

Благодаря этому, учившийся урывками, с большими пробелами и перерывами, Твардовский оказался одним из образованнейших людей своего времени. Может быть, оттого и его поэзия, такая кристально ясная и демократическая по форме, не обременяясь грузом книжности, дышит настоящей интеллектуальной культурой.

«Перечитывать хорошие книги — привилегия зрелого возраста»,— говорил он в последние годы, и на моей только памяти обращался к книгам Диккенса, Стерна, Томаса Манна (восхищался «Волшебной го-

рой», «Иосифом и его братьями»), Льва Толстого, Герцена, Бунина. И сколько попутных наблюдений, сколько разбуженных ими дум возникало у него по дороге!

Множество раз говорили мы о Толстом. Летом 1969 года на отдыхе в Абхазии он перечитал «Былое и думы» Герцена и «Войну и мир» Толстого — и вернулся весь еще под впечатлением этого чтения.

— Вы много писали о Толстом,— сказал он мне.— Вот вам загадка. В романе есть исторические лица — Кутузов, Даву и прочие, и вымышленные — Андрей Болконский, Пьер и другие. Известно, что Васька Денисов — это Денис Давыдов. Но вот к каким лицам, историческим или вымышленным, отнести денщика Денисова — Лаврушку? К вымышленным? Хорошо. Но тут-то Толстой и делает необыкновенно озорную выходку. Уже наиздевавшись вдоволь над историком Тьером, он приводит выдержку из него, где говорится о каком-то «неизвестном казаке», захваченном французами и морочившем голову Наполеону. Тьер воспользовался дневниками боевых действий и прочими документами, так что казак — лицо историческое. Но Толстой вдруг замечает: «А это был Лаврушка». И рассказывает, как этот плут попал невзначай к французам и что он там мог им накрутить. Каков озорник Лев Николаевич!

А. Т. дивился повествовательной смелости Толстого — никакой привычной нормативности.

— Вы заметили, он будто уставал долго рассказывать все подряд и наскоро заканчивал главу: «Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых». Сказано так, как будто мы знаем, что тому за причина — а ведь прежде об этом ни полслова. Но мы можем вообразить, и простого сообщения нам достаточно — так хорошо представлены характеры лиц. Или вот Анатоль Курагин. Прежде чем Толстой сведет его с Болконским на операционном столе, мы о нем долго ничего не знаем. Но не кажется, что он появился внезапно — он все время будто существовал за кулисами.

Твардовский сознавался, что в хрестоматийной сцене, когда Наташа скидывает ростовское добро с подвод, чтобы отдать их под раненых, а старый граф говорит сквозь слезы: «Яйца... яйца курицу учат»,—

сам прослезился над книгой. И восхищался дерзостью стиля Толстого: ораторские, проповеднические периоды, а рядом самое простонародное слово. «Толканул», например, вместо «толкнул» (стронул) — «толканул коня».

— А я-то изживал, как позор, такие речения своего деревенского детства,— сокрушался Твардовский.

Несколько раньше, чем «Войну и мир», Твардовский перечитывал «Смерть Ивана Ильича», и из этого чтения тоже вынес ворох попутных мыслей. Его поразила на этот раз не трагедия смерти, умирания («а я чувствительный к этому человек»), но гениальное изображение психологии чиновника, которая состоит в том, что человек приучивается «отпихивать от себя все неприятное».

Или толстовский рассказ «Алеша Горшок». Твардовский знал его давно, но признавался, что чтил больше по репутации, созданной восхищением Блока и проч., то есть со слуха, а, выходит, не понимал. Только перечитав, сознал всю силу этого кратчайшего в мире романа и кроткую гуманность героя, сострадание к отцу.

Не однажды брался А. Т. за дневники Толстого и все удивлялся бесчисленным совпадениям своих мыслей и настроений с толстовскими.

— Впрочем, я замечал, что когда сосредоточен на чем-то, то какую книгу ни открой, непременно нападешь на созвучие своим мыслям.

И с восхищенной улыбкой говорил, что Толстой, неустанно проверяя и испытывая себя, нашел-таки неожиданный предел своему воображению: «...в подлеца могу перевоплотиться, а в дурака нет»,— цитировал его запись Твардовский. «Как это смешно и точно!»

Конечно, русская проза XIX века — святилище для А. Т. Но вкусы его были достаточно широки, чтобы включить в круг чтения Фолкнера и Бёлля, Мориака и Камю. Прочитав «Письмо к заложнику» Сент-Экзюпери, автора, оставлявшего его прежде равнодушным, он с восхищением повторял понравившуюся ему мысль: «Жизнь создает порядок, но порядок не в силах создать жизнь». К Хемингуэю относился сдержанно, главным образом из-за потока подражаний его прозе у доморощенных «хемингуистов». Зато неожиданный интерес проявил к Кафке. Прочитав два впервые напеча-

танных у нас его рассказа, говорил, что это «понятный гротеск, вроде гоголевского «Носа». Когда в «Превращении» чиновник изображается в виде перевернутого насекомого, шевелящего лапками,— становится страшновато: но ведь как выразительно!

К переводам поэзии относился с большим разбором, хотя, конечно, выделял Бёрнса в переводе Маршака.

— Но даже Маршак, я думаю, не всегда достигает силы оригинала. Поэзия на родном языке — цветущий луг, перевод — накошенное сено. Оно может быть питательным, даже давать аромат, а все равно — не то... Я сам переводил Шевченко, но, может быть, и зря. Настоящий Шевченко звучит только по-украински... Он большой национальный поэт, хоть и не создал за собой литературы, как Пушкин. Своим песенным народным талантом он больше напоминает Бёрнса. Ему было суждено одному пропеть всю песню своего народа...

Особое пристрастие Твардовский имел к книге познавательной, на грани художества и документа. Любил читать исторические очерки, книги Географгиза. Увлекался книгой Якубовича-Мельшина «В мире отверженных» о русской каторге и со значением говорил:

— Якубович — это к н и г а (и голосом выделял это слово, будто вразрядку). Я вот всегда знаю, где у меня на полках красивые собрания сочинений и прочее, что я не читаю, а где к н и г и. Такие вот книги — Энгельгардта «Письма из деревни» или Веселовского об Иване Грозном.

Книгой замечательного историка С. Б. Веселовского об опричнине Твардовский увлекся всерьез, а потом перечитал и другие работы Веселовского, среди которых было и родословие Пушкина.

Мы возвращались из Карачарова, где вместе гостили у И. С. Соколова-Микитова, когда Твардовский прочел в машине начало нового своего стихотворения о Пушкине:

Пушкин — имя молодое,
Отзвук огненного боя...

«Молодое имя» — исторически недавнее, и «отзвук боя» — пушка, прямое занятие предков поэта. Превосходно по сжатости и свежей силе, жаль, что стихотво-

рение так и осталось неоконченным. А ведь эти строки — прямой след чтения «родословия» Пушкина у Веселовского.

ТРУД МЫСЛИ

А. Т. твердо веровал в один закон: в литературе, искусстве, как в любви, хорошо лишь то, что в охотку. Принуждение себя, любой оттенок неискренности сразу скажутся в деревянном слоге, фальшивом тоне, как ни заботишься укрыть свое равнодушие.

Твардовский трепетно отнесся в свое время к задаче — выступить на всесоюзном юбилее Пушкина. Речь его на заседании в Большом театре была значительной, да и дала ему повод перечитать и передумать всего Пушкина заново.

Но вот придвинулся лермонтовский юбилей, и его снова стали сватать в докладчики.« Что же, других поэтов нету? Опять меня припрягают,— говорил он с тоской в голосе.— А я так думаю: вот выступил на юбилее Пушкина, так это — часть судьбы, часть биографии. Но нельзя же по каждому поводу возглавлять комитеты и говорить речи о всех подряд классиках».

Несмотря на это, он начал все же думать о выступлении и, перечитывая Лермонтова, интересно рассуждал о «Валерике», о способности Лермонтова охватить словом огромные пространства, сопрячь в поэзии русскую степь и вершины Кавказа... Но в конце концов от доклада на юбилее отказался. Чувствовал, что это для него недостаточно «личный» повод.

За ним водилась одна черта: необыкновенно умно, нешаблонно, ярко говоривший о том, в чем он был убежден, Твардовский терял свой свободный дар, едва хотел себя принудить. Как он сердился тогда на себя и на всех вокруг и как неудачно говорил!

В самом начале 60-х годов у меня как-то случился с ним такой разговор.

— Тут я должен был выступить на совещании,— сказал Твардовский,— название которого никто не умеет правильно произнести.

— Как так?

— А так. Ну, как вы скажете? Газеты читали?

— Читал. Ударников коммунистического труда.

— Не-е-ет. «Совещание передовиков соревнования

за звание ударников коммунистического труда». Так-то! По-бюрократически верно, а уху непереносимо... Так вот, меня просили выступить там с речью. Уговорили, я стал думать — и вдруг понял, что ничего у меня не выйдет. Пытаюсь отзвонить с отказом, а мне говорят: «Вы нас подводите, вы один должны были говорить «от всех искусств и ремесел», а всего-то выступающих с приветствиями девять человек. Мы это выступление не дублировали» и т. п. Я объяснил все же, что выступать не могу, и с тем уехал на дачу. Встал на другое утро, день чудесный и было что в саду делать, а вот же — сел писать речь. Думаю, напишу для очистки совести, чтобы показать потом черновик: мол, не по лености или нерадению отказываюсь, а просто не с руки. Стал писать, и представьте, выходит что-то такое скверное, такое скверное (тут А. Т. даже за голову схватился), какого никогда не писал. Пока карандашом набрасывал, еще ничего казалось, а как стал перебелять чернилами — в ужас пришел... Так и лежит у меня в столе эта бумага — памятником несчастного дня.

Но зато какая сила убежденности, выношенных мыслей и искреннего чувства дышала в его речах, когда он брал слово на партийных и писательских съездах, чтобы сказать о том, что было его болью, его надеждой, делом его жизни.

* * *

Замечено, что люди делятся на тех, кто способен к духовному росту лишь в сравнительно недолгие, молодые годы (как сложился когда-то к 25 годам — так и живет), и тех, кто одарен к внутреннему движению на всю жизнь. Способность А. Т. к совершенствованию, переменам меня всегда изумляла. При очень твердой нравственной основе личности, сегодня он был не совсем такой, как вчера, и другим обещал быть завтра.

Дело в том, что его отличал непрерывный, поразительный для наблюдения со стороны труд мысли, ее живое строительство. Каждое сильное впечатление заставляло его многое передумывать, в нем шла постоянная, без пауз и пустот, работа нравственного сознания.

Иногда с новизной личной находки он делал для себя простые, самоочевидные открытия. «Я только

сейчас понял...» — обычное для него присловье, когда он вернется из какой-нибудь поездки или прочтет что-то важное для себя. Он двигался с каждой новой книгой, с каждым интересным знакомством, с каждым хорошим разговором. До многого, что неясно было ему прежде, он на моих глазах начал додумываться. Чем дальше, тем меньше он склонен был верить кому-либо на слово и не позволял своей мысли скользить по изведанному. И «племя младое, незнакомое» пытался тому же учить.

— Вожусь я как-то в саду,— делился А. Т.,— а рядом двухлетний внук со своей лопаткой что-то лопочет, дергает за рукав, хочет знать, что я делаю. А я ему: «Смотри и думай. Смотри и думай».

Твардовский был не из тех правдолюбцев напоказ, которые слова про себя держать не могут и, явись им какое соображение, тут же должны выпалить его, упиваясь тем, что «рубят правду-матку». Он часто помалкивал, покуривал, взглядывая исподлобья, когда вокруг шумели признанные говоруны. И когда говорил, очень всерьез и веско или с тайным лукавством,— всегда оставалось впечатление, что он не до конца высказался, что еще что-то осталось при нем. Не из опасений быть непонятым, а потому, что он не вполне, быть может, уверовал в то, что еще мог бы сказать, не до конца продумал и оставляет как бы для внутренней «доработки»: когда обдумает сполна, тогда и выскажется. В вопросах крупных и важных, касавшихся убеждений, он не шел на компромисс, но не любил и легковесности экспромтов.

Ему было свойственно народное здравомыслие, редкий инстинкт правды. Сколько раз приходилось наблюдать на разного рода обсуждениях, когда все кругом наговорят с три короба, напугают друг друга, запутаются, а он помалкивает да курит. А потом, взяв слово, неожиданно находит простое и безупречное решение, казалось бы, неразрешимому вопросу. Были у него, конечно, и предрассудки, усвоенные со своим временем и средой, но как он радовался, когда сам или с чьей-то помощью перерастал их и от них освобождался, как ветхую кожу сбрасывал.

Может быть, не был он лишен смолоду тщеславия, наверное даже не лишен, но по тому, как он отказывался от всяких почестей и славословий, в том числе в

юбилейные свои дни, видно было, что он в себе это отжил. Как и всегда, ему помогала тут, наверное, простая демократическая мера вещей.

Большинству людей нравится или не нравится что-то безотчетно. Прочел, скажем, статью или повесть — вроде все правильно, а что-то царапает, задевает, и лишь напряжением мысли догадываешься, что нехорошо. То же и при первом знакомстве с людьми — легко ли сразу понять человека? А. Т. обладал свойством каждое свое ощущение, невнятное чувство доводить до ясности, до понимания, почему нравится или не нравится, и тогда уж сбить его было невозможно.

Про одного нашего общего знакомца, мало чем зарекомендовавшего себя в литературе, но добивавшегося особо доверительного разговора с ним, сказал: «Не хочу. Он мне неприятен». Я попытался смягчить этот приговор,— да, мол, утомителен иногда. «Нет,— после минутной паузы, будто взвесив что-то про себя, возразил Твардовский.— Не утомителен, а неприятен. Самоуверен до бесчувствия». И встретиться отказался.

В другой раз я упомянул в каком-то разговоре о давно забытом, но некогда известном критике:

— Он был плут, но человек талантливый.

Твардовский взглянул на меня изумленно:

— Негодяя никак нельзя назвать талантливым,— жестко возразил он.

Пересуды новейших пушкинистов о том, считал ли сам автор «Моцарта и Сальери», что гений и злодейство несовместимы, он попросту бы не понял. А как иначе мог думать Пушкин?

О СЛОВЕ

Твардовский редкостно памятлив на то, что его интересовало, на художественное в особенности. Через годы мог восстановить слово за словом памятный чем-то разговор, воспроизводил мельчайшие подробности в давно прочитанной рукописи. Цитировал большими кусками не поэзию только (Пушкина и Тютчева помнил отлично, Некрасова мог читать наизусть из любого места), но прозу, в особенности толстовскую и бунинскую. Запоминал понравившиеся ему выражения и, если употреблял услышанное в разговоре, считал долгом сослаться: «Это я у вас позычил».

Но память его была избирательна. То, что его не занимало, он «отмысливал», или, попросту, пропускал мимо ушей. С невероятной восприимчивостью общался с собеседником, который был ему интересен, а таких оказывалось большинство. Но тех, кто разочаровывал его своей заурядностью или отвращал бесцеремонным «повисанием», будто не видел и забывал, едва они скрывались из глаз. «Как вам NN сегодня показался?» — спрашиваешь его. «А я его не видел».— «Да он к вам сегодня заходил».— «Разве?»

В природе он хотел все знать в лицо — каждую птицу, каждое дерево. Когда я навещал его летом, на даче (он жил поначалу во Внукове, последние годы на Пахре), А. Т. казался мне другим, чем в городе,— более свободным, открытым, неозабоченным. Я любил смотреть, как он в клетчатой рубахе с открытым воротом и каких-то видавших виды штанах орудовал секатором у кустов смородины или катил по песчаной дорожке тачку, вечно что-то усовершенствуя, корчуя и пересаживая в своем саду.

Говорил:

— Есть в этом сладость — помогать природе. Какой-нибудь ряд елочек завершу или этот куст — туда, тот сюда... И вроде день прошел не зря, несомненное что-то сделал.

А то на лесной неторопливой прогулке шевелил рогатинкой нижние ветки молодых елок в поисках гриба или застревал у какого-то дерева, обламывая сухую ветку с затейливым изгибом. Вырезанные и обструганные им у рукоятки палки стояли обыкновенно на крыльце в уголку у входной двери.

Да не то что в лесу — на городском бульваре мог остановиться внезапно, как вкопанный, середь дороги, неожиданно прервав разговор, и разглядывать необычной формы листья, почки или побеги. «А это что, знаете?» И, выждав паузу, удостоверяющую, что я безнадежен: «Американский клен!»

Точно так же вглядывался он и в людей, которые его интересовали.

Твардовский так и не стал до конца городским человеком: опасался переходить улицу, на шумных магистралях вцеплялся в рукав своего спутника. Его внимание притягивали не механизмы, а организмы. Вряд ли он мог устранить простейшую неисправность в ча-

сах, наладить радиоприемник или хотя бы починить электропроводку в квартире. Как-то сказал с печальной самоиронией: «Есть три вещи, которым я мечтал научиться, да, видно, в этой жизни не успею: водить автомобиль, печатать на машинке и выучить иностранный язык». (Он знал немецкий, но в скромных пределах.)

Зато все, что произрастает, цветет и плодоносит, он считал подвластной ему сферой и стремился знать до тонкости. А. Т. сердился, когда в описаниях природы автор ограничивался общим определением: дерево, птица, цветы.

— Для меня это улика. Дерево — так скажи какое: ель, береза, осина? Птица — так дятел это, дрозд или синица?

«Разнотравье», которым отделываются многие деревенские пейзажисты, было одним из самых скомпрометированных для Твардовского слов. Ведь трава — это мятлик, ежа сборная, пырей. Все они были для него непохожи друг на друга и жили каждый под своим именем в его поэзии:

...Трава была травы добрей —
Горошек, клевер дикий,
Густой метелкою пырей
И листья земляники.
И ты косил ее, сопя,
Кряхтя, вздыхая сладко.
И сам подслушивал себя,
Когда звенел лопаткой.
Коси коса, пока роса.
Роса долой — и мы домой.

Как зримы и ароматны в одном этом перечислении травы, ложащиеся под косой и будто одним видом добавляющие счастья тяжелому, потному труду косьбы.

Вспомнилось еще: однажды ранней весной идем мы проходным городским двором мимо кучи недавно обрезанных тополиных веток. Твардовский бросается к ним и начинает деловито подбирать неповрежденные ветви. «Посажу на даче, ведь тополь черенками размножается». И со вкусом объясняет: надо ровный колышек, без побегов, закопать на треть и несколько дней поливать, а там и не заметишь, как будет дерево.

— Недавно был во Внукове у дочери, на бывшей своей даче, и подивился. Когда-то рядом со станцией подобрал я такие же ветки, взял нож у буфетчицы, зачистил их, принес под мышкой на дачу и забил колыш-

ками в землю сантиметров на тридцать. Сейчас приехал, и что же? Огромные деревья. И березка выросла, которую я когда-то принес из леса... Как с того света пришел: сад при мне еще не плодоносил, а теперь дает бездну яблок, деревья вымахали на склоне, закрывают закат. Я хожу, смотрю, будто после смерти — что тут без меня? Если хоть одно дерево посадил, то к нему непременно вернешься, и вдруг увидишь, как жизнь ушла.

Сад в последние годы был одной из его главных слабостей и утех. В нем крепко сидел крестьянский навык — жажда простого труда, радость прикосновения к земле. Он не любил искусственных упражнений для тренировки мышц — не могу представить его делающим гимнастику. Но физический труд, и нешуточный, был ему, по-видимому, необходим, иначе он начинал «закисать».

В 60-е годы Твардовский не однажды ездил за границу, во Францию и Италию. «В Италии,— говорил он,— стыдно сказать — сижу в наушниках на заседании КОМЕСа, тут о судьбах романа говорят, а я записываю в книжечку, как надо яблони перекапывать».

Твардовский отнюдь не принадлежал к числу людей, которые из показного патриотизма норовят похлеще обругать то, что они видят там, куда так любят ездить. Но он любил разбираться во всем основательно, и кратковременные поездки, давая заряд свежих впечатлений, все же мало удовлетворяли его. Часто он возвращался оттуда, будто выполнив утомительный долг, и зарубежные поездки последних лет не оставили следа в его творчестве.

— Не пойму тех смельчаков, кто съездит дней на десять в чужую страну — глядишь, и очерк готов, а на месяц — так книга. Сообразить, что представляет собой другой народ и страна, очень трудно, по себе знаю. Я и на Смоленщину-то теперь выберусь на недельку, так и то не все разберу, как теперь там живут, из чего хлеб пекут. А тут Франция или Япония... Есть, правда, такие путешественники, которым все легко. Вы заметили, как обычно зарубежные очерки начинаются? «Мне довелось побывать...» «Довелось» — ведь это в точном значении — удалось наконец-то посетить святые места. А у нас могут написать что-нибудь вроде: «Мне довелось посетить... мусорную свалку».

* * *

Ему была свойственна особая чуткость к складу и уряду речи, редкая целомудренность слова, даже в разговоре. Шла обычная застольная дружеская беседа — и вдруг: «Ох, как плохо, отвратительно, пошло я сказал»,— сморщившись, будто от зубной боли, простонал Твардовский.

А ничего худого он, смею уверить, не «ляпнул», просто воспользовался одним из тех банальных или неловких словосочетаний, каких обыкновенно избегал.

Твардовский никогда не употреблял таких слов актерского жаргона, как «наив», «волнительно» или выражений: «на полном серьезе», «я сражен этим известием», «сильное переживание» и т. п. У него не повернулся бы язык вымолвить псевдонародное словечко, проникшее в литературный обиход: «задумка», «грустинка», «смешинка» или воспользоваться редакторским штампом: «состоялся как писатель», «высветлить этот образ», «творческий поиск». Он избегал в разговоре слов «надой» (вместо «удой»), «хлеборобы» (вместо «крестьяне», «колхозники», «земледельцы»).

Я зашел в его кабинет, когда он, сидя один, просматривал газету и отчеркивал что-то в ней синим карандашом:

— Вот послушайте, что пишут: «Доказывал о том, что...» Нет, это невозможно. А тут еще рядом — «маяки соревнования». Когда-то очень в ходу были эти «маяки», а теперь — почти умершее слово. Я хотел напасть на него в речи о Пушкине, хорошо, что воздержался, оно само отмирает. Ведь до нелепости доходило: «В таком-то районе свыше двух десятков «маяков»... Получается побережье... А то еще, когда хотят выразиться покудрявее, громоздят отрицание на отрицание и достигают противоположного эффекта. Недавно прочел у одного автора: «Он возомнил себя мнимым гением». Выходит, этот «он» — скромнейший человек!

Речь Твардовского дышала неторопливым достоинством. Он любил хороший разговор, но начинал откровенно скучать от болтовни. Когда к нему обращали ординарный вопрос: «Как поживаете, Александр Трифонович?» — он отговаривался всегда как-то по-сво-

ему, мигом прекращая пустое суесловье: «Как живу? Как в нашем возрасте».

В речи Твардовского не было слов-паразитов, всех этих «так сказать», «вообще», «как говорится». Она как бы усвоила строгий синтаксис письменного слога, не пренебрегая иной раз и канцеляризмами («по части...», «при наличии...», «в отношении...»), звучавшими иронически-торжественно. Но была перевита множеством живых просторечий и старинных слов («до поры», «покамест», «особливый»), редких, забытых, употреблявшихся в белорусско-смоленском обиходе и очень выразительных в его устах речений.

Вместо «погоняли» он мог сказать «подкнучивали», вместо «мгновенно» — «одним дыхом», вместо «заболтался» — «плетет плетеницу», вместо «плохи дела» — «прах... праховое дело». Когда хотел сообщить, что выслушал что-то неприятное — «как мыла наелся». Если сталкивался с мертвой бюрократической инертностью, говорил: «Запали — не треснет». Принудить, заставлять что-то сделать силком — на его языке «приводить к присяге». Его обычные присловья по разным случаям жизни: «Стыдобушка!», «Хоть худое, да другое», «Сижу в тепле, в сухе...», «Девять гривен до рубля не хватило» и т. д. и т. п.

Твардовский мог употребить в разговоре — в целях живописности или забавы ради — соленое мужицкое словцо, но лишь тогда, когда оно как бы просилось в силу особой выразительности и никогда не имело оттенка ёрничества. В одной из книг его библиотеки я заметил отчеркнутые им слова князя П. А. Вяземского о Пушкине: «Пушкин неизменно, в течение всей своей жизни утверждал, что все, что возбуждает смех,— позволительно и здорово». Твардовскому должны были прийтись по душе эти слова.

Как музыкант, слышавший малейшую фальшь звука, Твардовский очень точно чувствовал уместность слова, избегал щегольства местными речениями и никогда не позволил бы себе перенасытить ими живой язык. Бестактность в словоупотреблении его коробила.

Однажды на похоронах, слушая неловкого оратора, который увлеченно говорил, что покойный был теми «дрожжами», на которых всходила литература, Твардовский наклонился ко мне и шепнул: «Как не по-

нимает, что при покойнике нельзя говорить — дрожжи, опара, тесто».

Еще строже, чем к живой речи, Твардовский относился к речи литературной. Он не терпел подделки под народное слово в «деревенских» повестях и рассказах.

— Давайте условимся,— говорил он не раз,— фонетическая запись искаженной разговорной речи в «Новом мире» недопустима. У нас не должно встречаться: «чаво?» «таперича», «старан» вместо ресторан — все это дурной вкус.

В первые месяцы, что я поступил работать в редакцию, он подарил мне академический словарик «Правильность русской речи (Трудные случаи современного словоупотребления)» с надписью: такому-то в «целях усиления бдительности в отношении чистоты и безупречности статей и рецензий в «Новом мире». А. Твардовский».

Прежде чем передать эту книжку мне, он сам ее внимательно перелистал и отчеркнул на полях заметки о словах: «в адрес», «волнительно», «без ничего». Соотношение нормы с живым бытованием слова всегда занимало его.

ПЕСНЯ

...Песня возникала вдруг, без предупреждения, без уговора. На дальнем конце стола, где сидел Твардовский, сквозь беспорядочный говор, смех, звяканье посуды будто сам собою зарождался напев.

Далеко-далеко
Степь за Волгу ушла...

И все смолкало. За торцом стола, на фоне серо-синих книжных переплетов — чуть откинутая вверх голова Твардовского, мягкое, округлое лицо, поредевшая прядка волос по лбу и широко открытые голубые глаза. Рука пошла в сторону плавным, приглашающим жестом...

В той степи широко
Буйна воля жила.

Хрипловатый и сильный его голос, негромко, но с властной энергией выговаривал слова песни. Никакой разнеженности, сентиментальности! И чем чувствитель-

нее был сюжет, тем по внешности суше, строже *рассказывал* он песню. Именно рассказывал, потому что пел он не как поют певцы, хотя бы и домашнего круга, подражающие оперному бельканто или эстрадному шепотку. Песня была для него обычно балладой — напевным рассказом о каком-то происшествии, драматической судьбе, неразделенном чувстве. Слыша музыку внутренним слухом, он строго держал ритм и тон. А внешне — почти говорил, вкладывая в песенный рассказ будто личное, пережитое.

Знать, в недобрый тот век
Жизнь не в радость была,
Что бежал человек
Из родного села.

Песня обрастала голосами. Чистым и высоким-высоким тенором подхватывал Александр Григорьевич Дементьев, выводя мелодию первого голоса. Вторили, как умели, остальные.

Твардовский любил, чтобы пели хором, но не дирижировал, а вёл песню голосом, подчиняя своему темпераменту и интонации. Бывало, все еще тянут припев, а он уже торопит началом следующего куплета:

Забывал он семью,
И детей, и жену.
А имел на уме
Только волю одну.

Минутами он будто пропадал, уходил куда-то. Светлые и сильные глаза его на бледном полноватом лице смотрели в глубь себя, пока голос вел мелодию. А то — как бы обращался к слушающим, и тогда, даже если песня была всем знакома, казалось, он рассказывает ее в первый раз, как если бы никто из нас ее прежде не слышал.

Песню в «Новом мире» любили, и ни одно из праздничных дружеских собраний за длинным столом в редакции или в более тесном домашнем кругу не обходилось без песни. Твардовский вспоминал какого-то генерала, столь большого любителя многоголосого пения, что он подбирал в свой штаб офицеров — «по голосам». «Вот и я,— смеялся Александр Трифонович,— своих заместителей по голосам подбираю». В самом деле, пели у нас, за малым исключением, все.

В песне было слияние дружества, счастливое забвенье, быть может полнейшее, чем в чарке вина, освобождение души от лежавшего на ней дневного гнета. Запевал Твардовский — и отодвигалось, проваливалось в небытие все, что мешало и мучило с утра,— несправедливая газетная статья, тяжкое объяснение с автором, которому пришлось возвращать рукопись, какие-то вечные недоразумения с типографией, то не набравшей материал, то сбросившей номер с машин...

А пел он песни не сказать чтоб веселые. Вообще-то он и шуточные песни любил, но на моей памяти пел их уже редко, и последние годы все реже. Разве иногда — «Метелки вязали», эту комическую круговерть хилой коммерции рязанского мужика, который вяжет в деревне метелки, отправляет их в Москву, продает, пропивает вырученные деньги и снова возвращается в родную деревню вязать метелки... Плясовая, напоминающая по отчаянной самоиронии «Камаринского».

Но счастливое чувство преодоления душевной тяжести, когда вдруг всё отступало, несли у Твардовского и песни протяжные, печальные. Да таких и больше было у него в запасе.

В песне, как и во всем, что имело касательство к его душевному миру, Твардовский был разборчив, избирателен. Сходясь большим или малым журнальным кругом, мы пели и романсы, и песни — старые и новые, и совсем недавние, и какие придется. Но Александр Трифонович не во всех песнях участвовал. Иные он только слушал — вежливо и равнодушно.

Другое дело, когда пелись *его* песни. Они были его песнями вне зависимости от того, знали ли мы их раньше или только от него услышали. Одни из них я ни прежде, ни потом ни от кого больше не слыхал. Другие он издавна усвоил себе настолько, будто сам сочинил.

Да и не мог бы он петь то, что было *не его* песней, даже подтягивать не мог. А избранные им, любимые песни были уже словно частью его существа: он относился к ним ревниво, как к своим, в себе рожденным.

Никогда не пел он салонных романсов, не слишком уважал гитару, хотя и просил иной раз ему аккомпанировать. Наверное, больше из вежливости просил. Строго говоря, он не испытывал нужды ни в каком музыкальном сопровождении — его песни можно было петь

и просто так, даже лучше они так пелись. Он вел песню на малопривычный лад — то говора, то народной распевности, и, наверное, его пение трудно было бы перевести на нотную линейку. Как говорит в толстовском «Живом трупе» музыкант, тщетно пытаясь записать «Не вечернюю»: «Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то ска́ла иная».

Начисто не признавал Твардовский модных современных мотивчиков и, за малым исключением, того, что называют в радиоконцертах «песни советских композиторов». Исключение составляли некоторые песни Исаковского, в особенности «Враги сожгли родную хату», «Землянка» Суркова да еще две-три песни. На свои стихи он пел только одну песню — и пел замечательно,— «Шинель» из «Василия Теркина».

Эх, суконная, казенная,
Военная шинель,—
У костра в лесу прожженная
Отменная шинель...

Мотив этой песни, неведомо кем сочиненный, узнал он на фронте. Ему напел его впервые актер Борис Чирков, сам его где-то подхвативший.

Твардовский любил повторять, что лучшие слова для песен не те, что писаны специально по просьбе композитора, а те, что прежде, чем стать песней, жили самостоятельно как хорошие стихи, просто как поэзия. И бранил за небрежность, за искусственный подгон к ритму поэтов-песенников. Даже в лучших песнях находил досадные несообразности, какие обычно не замечают, когда поют: слова «припелись», ну и ладно! В знаменитой песне «Дороги» неудачной считал строчку: «Может, крылья сложит посреди степей». И дальше: «Твой дружок в бурьяне неживой лежит» — неуклюже, скверно, а прижилось благодаря музыке. И посмеивался над строкой в песне «Хотят ли русские войны?» — «над ширью пашен и полей...»: «Разве пашня не то же поле, только вспаханное?» Те, кто эти песни поют, рассуждал Твардовский, не замечают таких оплошностей, но они сразу бы вылезли, стали заметны при чтении и разборе стиха.

Твардовский как бы стеснялся петь плохие стихи, каждое неточное, неправдивое слово в песне его коробило, и оттого он выбирал для себя песни поэтически

безупречные, простые и высокие по смыслу, по словам.

Авторов их чаще всего никто не мог бы назвать: ими были те оставшиеся безымянными народные поэты, деревенские песнопевцы, о которых в прошлые бесписьменные времена некому было догадаться, чего стоит их дар, да и сами они вряд ли об этом знали. Домашний песенный репертуар Твардовского — неподдельный, неразменный и состоял в основном из нескольких широко известных и многих мало кому знакомых народных песен: «Летят утки», «Далеко-далеко», «А в поли вярба...», «Летела зозуля», «Степь да степь кругом...».

Припоминая сейчас одну за другой эти песни, я вижу, что две по преимуществу темы, неизменно глубоко трогавшие Твардовского, определили его выбор: любовь, редко счастливая, чаще неразделенная, несчастная, когда жизнь, обязательства перед семьей или просто отсутствие ответного чувства разъединяют людей. И другая тема — свободы, степи, побега, давняя народная тема *воли*.

Разные славянские традиции, разные народные культуры сошлись клиньями на Смоленщине: белорусские и украинские песни пелись там как свои. Твардовский их любил и, когда пел, считал излишним переводить слова: смысл был понятен, а особливое звучание речи для слушателей его, не знавших, скажем, по-белорусски, как ни странно это сказать, не отдаляло, а делало общée, всепонятнее выраженное в них чувство. Лучшие его песни были смоленские, женские, быть может петые еще его матерью, как песня о перевозчике-водогребщике, сбереженная им в прекрасных стихах.

В белорусской песне «А в поли вярба...» рассказывалось, как парень, приведший коня на водопой, встретился с девушкой. Он просил ее напоить коня, а она отвечала ему, что ей «стюдёно стоять» босыми ногами в ручье.

Парень обещает:

Я куплю парчу
Ножки обвярчу.
Я поеду в дальний город...

Тут Твардовский на мгновение останавливался и бросал в сторону: «В Смоленск, конечно...»

Боти-и-ки куплю.

На это девушка отвечает парню:

Не купляй ты мне,
А купи собе,
У мене есть батько з маткой,
Они куплят мне.

Твардовскому особенно нравилось это девичье самоотвержение, беззащитная доверчивость чувства, горделивость и простота, с какой девушка дает понять парню, что и она к нему неравнодушна.

Но выше всего ставил Твардовский украинскую песню «Летела зозуля». Он сравнивал ее с сонетами Петрарки, называл «вершиной мировой лирики». В этой песне кукующая за домом кукушка напоминает молодой женщине о женатом человеке, которого она на свою беду любит.

Ой горе мне, горе,
Що я наробыла,
Козак мае жинку,
А я полюбыла.

Козак мае жинку,
Тай диточек двое,
Тай диточек двое,
Чернявы обое.

Тай диточек двое,
Чернявы обое,
Колется серденько
Начетверо мое...

И, повторяя эту ударную строфу припевом, Твардовский еще ладонью рубил воздух, будто показывал, как разрывается на части любящее сердце. Его и здесь привлекала эта особая верность своему чувству, отсутствие самолюбивого захвата, доброта женской души.

В песнях Твардовского была сосредоточенность, сдержанная нежность — и вольный размах; они уносили куда-то в приднепровские степи, в его загорьевское детство — к костру в ночном, к мужицким посиделкам у сметанного стога на покосе, к женским песням-жалобам, дальним отголоском летевшим с предвечернего поля.

Мужественным темпераментом, волевой энергией голоса Твардовский побеждал унывность напева или,

во всяком случае, никогда ее не подчеркивал. В его напевах отзывалось чувство, наклонное и к горю, и к радости, без той неизбежной тоски плоских равнин, какое приписывают порой русской песне.

Но в иных случаях, когда, казалось, рассказ-речитатив уже не может передать захватившего его настроения, он тянул, гудел простой мотив, без конца повторял одну и ту же строфу:

С кем ходила, с кем гуляла —
Одного тебя-а люблю-у...

С плавной важностью чуть разводил руками, будто объясняя и удивляясь. А потом снова:

С кем ходила, с кем гуляла,
Одного тебя-а люблю-у...

Были у него такие народные песни, которые сам он помнил только кусочками, песни-обрубки без начала и конца, но прекрасные, как осколки античных амфор.

Белым снегом, белым снегом
Замело все пути.
Гляну-гляну на дорогу,
Не видать, где пройти...

Его песни тосковали, вспоминали былое, пророчили разлуку, утешали в беде; жаловались на скоротечность жизни и обещали верность в любви, предчувствовали утраты и мужественно спорили с судьбой.

Он пел много песен редких, но и самые известные, самые запетые песни звучали у него свежей новизной, может быть оттого, что пение было формой жизни его же собственного поэтического чувства. Пушкинского «Узника» он пел на особый замысловатый мотив, перенятый у отца. Слова там тоже были отчасти самодельные. Так, среди мечтаний о воле арестанту вспоминалась родная деревня, и Твардовский прибавлял с голоса отца нечто, чему сам невольно улыбался:

Девчонок там много,
Лю-у-бить некого...

А «Славное море — священный Байкал» пел вполне традиционно, но как-то особенно серьезно, истово.

Однажды сказал:

— Удивительная песня. Я мог бы написать, навер-

ное, целую статью, разбирая ее строчка за строчкой. Автор ее — Давыдов, но не гусар Денис Давыдов, а забытый поэт Дмитрий Давыдов, сибирский краевед. Ничего заметного, кроме этой песни, он, кажется, не сочинил. Но это шедевр, как бывает у автора одной вещи. Кто мог бы ее заметить и оценить по-настоящему тогда, когда она была написана? Разве что Пушкин, если б не умер двадцатью годами раньше.

И он принялся разбирать песню, идя от строки к строке. Это была блестящая импровизация, как бы конспект ненаписанной статьи.

«Славное море — священный Байкал...» Первая строка заявочная, говорил Твардовский, камертон всего стихотворения. Байкал — сибирское море, и море священное, потому что помощник беглецу. Первая строка всегда очень важна в песне. Она и место действия определяет, и сразу дает нужный тон и масштаб изображения. Кажется, Горнфельд говорил, что по первой строке сразу можно определить, удалось ли все стихотворение. Может быть, это наблюдение и не ко всем случаям, но правда, что без сильной, запоминающейся первой строки стихотворение редко получается, я это по себе знаю.

«Славный корабль — омулевая бочка...» Вторая строка незаметно переводит нас к конкретности — и вот уже вся картина озера и беглеца в бочке, плывущей по волнам...

«Долго я звонкие цепи носил, Долго бродил я в горах Акатуя...» У Давыдова было иначе: «Худо мне было в норах Акатуя», то есть в шахтах, в Акатуйском руднике. Но когда песня сделалась народной, общерусской, те, кто ее пели, не понимали этих слов и переделали — «в горах Акатуя», что легче доходит. Вообще местные названия и изощренные образы в народной песне не держатся. Вместо «Партизанские отавы (то есть буйно растущая трава) занимали города» поют «Партизанские отряды...», что общепонятнее, да, может, и лучше.

«Старый товарищ бежать подсобил. Ожил я, волю почуя...» Понимаете ли вы, что эти строки трагические в отношении к еще одной судьбе? Старый-то товарищ сам не бежит. Отбегался. Когда-то, видно, попался, присужден к новому сроку и теперь только помогает молодому. Были такие, что бегали по нескольку раз,

возвращены обратно, и сил уже не хватало на новый побег.

«Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не поймала...» Очень сильно звучит эта география, это простое перечисление самых страшных каторжных тюрем...

«Шел я в ночи и средь белого дня. Шел и кругом озирался я зорко...» Мы так поем, а у Давыдова было, пожалуй, точнее: «Близ городов я поглядывал зорко». Озираться в тайге и в ночи не обязательно, там за несколько суток ходу можно человека не встретить. Другое дело — вблизи городов поглядывать. Но песня мирится с некоторой условностью.

«Хлебом кормили крестьянки меня...» Когда ездил на Ангару, то застал еще в деревнях полочки у окон, на которые крестьянки ставили молоко, клали хлеб для бредущих через тайгу.

Твардовский рассказывал, что, работая над «Далями» (так он называл в разговоре свою поэму «За далью — даль») и собираясь ехать в Сибирь, он прочел чуть не все о Байкале и песню Давыдова тогда впервые узнал всю.

— Она длинная,— говорил Александр Трифонович,— и есть еще отличные строфы: «Весело я на сосновом бревне Вплавь чрез глубокие реки пускался; Мелкие речки встречалися мне — Вброд через них пробирался...» — и потом — как нашел на берегу старую бочку, и описание всего путешествия в ней. Вообще мы едва одну треть поем, и является соблазн сказать: вот народ-редактор оставил самое сильное, ненужное пропустил. Но это, может, и не всегда верно. Вот мы поем: «Славный мой парус — кафтан дыроватый». Кафтан — одежда старинная, уже в девятнадцатом веке редкость. А в стихотворении было: «армяк дыроватый» — это сразу увидишь, драная тюремная одежда беглеца. Но вообще-то — великая слава стихотворению стать такой песней. Бывают подобные шедевры-одиночки. Помните, как Маршак восхищался слепцом Козловым? «Не бил барабан перед смутным полком» в его переводе — это классика, и не ниже, чем самый лучший оригинал. Так вот и эта песня.

И Твардовский запел, а все подхватили с каким-то чувством бережности к песне и нового понимания знакомых слов.

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка...

Какое горькое бессилие — так ясно слышать и видеть его сейчас, в ту минуту, как пишу эти строки, во главе длинного стола, среди товарищей, весело сосредоточенным и поющим — и не знать, как удержать и воскресить все это: чуть поднятые удивленно глаза, и выражение мягкой твердости в голосе, и неспешное, плавное движение рук?

«ОДИН ДЕНЬ...» И ТРИ ГОДА

Уставая от чтения бесцветных, посредственных рукописей, Твардовский, бывало, говорил, что вся невидимая миру, черновая, нудная редакторская работа, тысячи прочитанных и отброшенных безнадежных страниц — все получает оправдание и смысл, если журнал открывает хотя бы одно имя действительно выдающегося или хоть попросту значительного автора. Ради этого впрягаешься в эту лямку, по-бурлачьи тянешь журнальную баржу, утомляешься, досадуешь на убегающее время, отодвигая собственные труды, в терпеливой надежде дать миру нового Толстого, Достоевского или хотя бы Бунина, Куприна... И такой писатель появился.

Начало этой истории относится к декабрю 1961 года. В ту пору я еще не работал в «Новом мире», но часто печатался в нем и был, по старомодному выражению А. Т., одним из «ближайших сотрудников» журнала. Как-то я заглянул в редакцию, Твардовский заметил меня в коридоре и поманил в свой кабинет. Обычно невозмутимое лицо его несло на себе печать торжественности и одновременно веселого лукавства. Он был немногословен. Спросил для порядка, как дела, помолчал немного, разминая сигарету и щуря один глаз, как бы взвешивая, стоит ли доверить нечто важное собеседнику, и объявил, что прочел необыкновенную рукопись «Один день одного зека». Он достал из ящика тонкую папку и передал мне, взяв слово, что я никому не скажу о прочитанном и через день-два верну рукопись. «Увидите, что это такое, а потом поговорим».

Я поинтересовался, кто автор. «Да я сам толком не знаю... Но живет не в Москве»,— уклонился он. И вдруг стал рассуждать, как бы вне связи с темой разговора: «Все, что сделано доброго в литературе, сделано без разрешения начальства. Стоит только спросить «можно ли?», и тебе непременно запретят...» Я понял, что он прикидывает возможности публикации той самой вещи, какую я держал в руках.

Надо ли говорить, что, придя домой, я немедленно открыл папку, на заглавном листе которой было выведено «Щ-854», и до ночи читал, не отрываясь, пока не кончил. Откуда эта подлинность, и правда, и сила рассказа? Заснул я, помнится, лишь в четвертом часу ночи. Кто он такой, этот новый автор? Твардовский называл фамилию (на рукописи ее не было), да я мимо ушей пропустил. Кажется, Соложеницын...

В конце декабря в Большом зале Дома литераторов шел очередной пленум Союза писателей. В кулуарах я увидел Твардовского: он стоял в плотном кольце теребивших его какими-то вопросами, просивших автограф, предлагавших рукописи для журнала людей. Его как раз атаковал лысоватый назойливый литератор, когда он заметил в толпе меня. «Простите, уж я твердо знаю, что вашу статью не следует печатать, не пытайтесь переубеждать меня»,— резко оборвал разговор Твардовский и, выйдя из круга, повлек меня на площадку лестницы. Ему не терпелось узнать мое мнение о прочитанной повести. Я поделился своими восторгами, он радостно кивал.

Но можно ли представить себе это напечатанным? Да и как это сделать? Лагерь, бараки, охрана, заключенные, муки тысяч ни в чем не повинных людей — и все, показанное без всякого сглаживания, привычных уступок неправде,— сюжет, казавшийся невозможным для литературы. Одно дело политика, доклад Хрущева на XX съезде, речи, разоблачавшие злодеяния Сталина на недавнем XXII. Другое — живая сила художественного рассказа. Ведь автор повествовал о жесточайшей народной беде как о чем-то наглядном, повседневном, касавшемся не одних наркомов и военачальников, но глубокой людской толщи: лагерь будто представлял в разрезе всю задавленную сталинским режимом страну. Как же это напечатать, как обойти цензурные запреты?

Первое, что пришло в голову, опубликовать прежде отрывок в «Известиях». Мой товарищ, работавший там, мог бы попробовать соблазнить Аджубея — азартный газетчик, тот вряд ли оказался бы равнодушным к такой сенсации, да к тому же зятю Хрущева позволено больше, чем другим. А тогда и в журнале, глядишь, пройдет легче.

— Да, я тоже об этом подумывал. Напечатать повесть ох как непросто, но я сделаю для этого все,— отозвался Твардовский.

Разговор в тот день мы продолжили, уйдя в перерыве с пленума. Сидя у меня дома на Страстном бульваре, Твардовский то и дело возвращался к мысли о повести, которую с какой-то особой нежностью называл по имени героя — «Шухов». «А вы поняли, что в ее безыскусности — великое искусство? И как хороша сцена с кавторангом!»

Очень ухватился за сказанное мной, что слабый художник в такой теме нагнал бы мраку и было бы черное по черному, а тут выбран обыкновенный и даже счастливый день зека, когда Шухову все удается. Развивая эту тему, Твардовский заметил, что лагерный быт чем-то близок военному — казарме, землянке. И рассказал, как на войне наблюдал однажды кашевара — добродушного, с бабьим лицом солдата. Тот крутил черпаком кашу в большом котле и приговаривал: «Эх, кашка, кашка моя горемычная...» А в этот момент подошли к нему Твардовский, приехавший как корреспондент армейской газеты, и сопровождавший его подполковник. Солдафон-подполковник напустился на повара: «Ты понимаешь, что говоришь? Какая такая горемычная? Воевать за Родину и за товарища Сталина — великое счастье!» «Так точно, великое счастье, товарищ подполковник»,— отвечал кашевар, вытянувшись по швам. И такая тоска была у него в глазах, когда снова взялся он мешать свою кашу!.. Такой вот, наверное, и этот Шухов.

Всю весну и лето 1962 года, стоило нам встретиться с Твардовским, и возникал разговор о повести. Осторожно, боясь чрезмерной огласки, Твардовский давал ее читать литераторам, суд которых был для него важен. Одним из первых отозвался Корней Чуковский. Свой отзыв он озаглавил: «Литературное чудо». Давал Твардовский читать повесть и Маршаку — тот передал

ему письмо, в котором говорилось, что опубликование этой вещи поднимет уровень нашей литературы. Твардовский ревниво отметил, что письмо Маршака несколько осторожнее и «жиже», чем отзыв Чуковского, но и оно на пользу.

Замечу, кстати, что, когда я в те дни встречался с Маршаком, он, как и многие в ту пору, путая непривычное имя автора, говорил с восхищением: «Этот Солжéнцев, голубчик, еще заставит говорить о себе. Вы заметили, какая абсолютная художественная точность! Когда в его повести кавторанг ссорится с конвоем, звонко кричит, отстаивая свои права, он будто чувствует еще на себе свои ордена и петлицы... Это, знаете, как ампутированные пальцы руки, ноги — еще долго кажется, будто ими можно пошевелить... По простоте и мужеству этот Солженцев, пожалуй, родословной от протопопа Аввакума... В его вещи народ от себя заговорил...»

С июня 1962 года я уже работал в «Новом мире» и внутренней задачей среди прочего имел, сколько было в моих малых силах, помогать Твардовскому укрепиться в решении печатать повесть. Конечно, в главном он и сам был убежден, поступал, как решил, по совести, но поддержка всегда была ему важна. Получив полторы странички отзыва от философа Мих. Лифшица, он сказал мне: «Я с ним в ссоре был. Он иронически отозвался о последних главах моей поэмы. А тут такое письмо! Значит, думаю, мы друзья, раз одно и то же любим».

Возможно, автору и казалось, что редакция медлит с его повестью, но Твардовский не хотел действовать наобум, а внутри у него созревало твердое решение — напечатать «Шухова» или уйти. Отзывы влиятельных писателей он собирал не столько для себя, сколько для того, чтобы убедить ими тех, от кого будет зависеть решение.

Поделившись со мной желанием напечатать повесть в восьмой (августовской) книжке журнала, Твардовский сказал, что хочет просить Константина Федина, не как главу Союза писателей, а как члена редколлегии «Нового мира», дать отзыв о повести. «Я его заставлю написать, — говорил А. Т. — Скажу: все помирать будем, Константин Александрович».

Но здесь, как и в других случаях, Твардовский ока-

зался наивен. Прочитав рукопись, Федин сказал: «Да, это талант. Вы даже не подозреваете настоящей художественной цены этой вещи». Но от письменного отзыва уклонился. «Не знаю, не знаю, как вы это напечатаете.... А папе (то есть Н. С. Хрущеву.— *В. Л.*) показывали?» — неожиданно спросил он.

Твардовский и сам понял, что другого пути у него нет и надо посылать рукопись «на высочайшее», как говорилось в старину, имя. Чтобы дать повести рекомендацию для возможных читателей и выразить открыто свое отношение к ней, Твардовский написал небольшое предисловие. Вдвоем-втроем мы обсуждали это в редакции, сделав небольшие поправки. С этим предисловием рукопись была передана помощнику Хрущева, занимавшемуся вопросами литературы и идеологии, Владимиру Семеновичу Лебедеву.

В начале июля 1962 года Лебедев позвонил Твардовскому и сказал, что находится в некотором затруднении: согласился, что написано впечатляюще, талантливо, но ведь автор «за Советы без коммунистов»... Впрочем, подумав немного, Лебедев порекомендовал Твардовскому написать Никите Сергеевичу личное письмо и приложить к нему рукопись повести. Но прежде еще поработать с автором по высказанным им замечаниям. Замечания эти касались всего двух-трех мест, хотя нельзя сказать, чтобы были несущественны. Предлагалось поправить в речах бригадира Тюрина то место, где о 37-м годе говорилось как о возмездии за коллективизацию с обращением к всевышнему: «долго терпишь да больно бьешь». Советовал также в протест кавторанга против жестокостей охраны вставить слова: «Вы не советские люди, не коммунисты». Были еще замечания, касавшиеся тех мест текста, где говорилось о заключенных литовцах, эстонцах, о бандеровцах,— можно ли считать их безвинными жертвами? Все это было изложено заместителю Твардовского А. Г. Дементьеву для передачи автору и редколлегии. Твардовский вызвал Солженицына из Рязани телеграммой.

23 июля 1962 года я впервые увидел Солженицына. Пришел в редакцию, немного опоздав, открыл дверь в кабинет Твардовского, а там уже полно народу за длинным столом, за которым обычно собиралась редколлегия. На столе чай с бубликами: готовятся обсуж-

дать Солженицына. Твардовский поманил меня поближе, представил автору.

Передо мной был человек лет сорока, показавшийся мне некрасивым, в летней одежде — холщовых брюках и рубашке с расстегнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко, надбровные дуги нависают над ними. На лбу заметен шрам. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Спокоен, сдержан, но не смущен. Смеется открыто, показывая два ряда крупных зубов.

Твардовский в максимально деликатной форме, как пожелание, которым автор волен распорядиться по-своему, предложил ему подумать о замечаниях, внимание к которым облегчило бы печатание повести: прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бандеровцам, еще что-то в этом духе.

А. Г. Дементьев говорил о том же резче, прямолинейнее, суровее. Почему-то обиделся за Эйзенштейна, его «Броненосец «Потемкин», спор о котором идет в повести. Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом Алешкой. И советовал автору подумать, как примут его повесть заключенные из числа старых большевиков, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.

Это задело Солженицына. Он ответил, что о реакции такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. «Есть книга и есть я. Может быть, и я думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории... И потом люди, о которых вы говорите, как правило, не были на общих работах. Согласно своей квалификации или бывшему положению они устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть зная это изнутри. Если бы я, положим, был бы в том же лагере, но наблюдал это со стороны, никогда бы так не написал. Не написал, просто не понял бы и того, какое спасение труд...»

Зашел спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он, тонко чувствующий, мыслящий человек, должен неизбежно превратиться в тупое животное. Тут Солженицын не уступал: «Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в ла-

гере, не огрубит свои чувства, тот погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: там я старше, чем теперь, лет на пятнадцать. И я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому не пропал. Если бы как интеллигент внутренне метался, нервничал, переживал все, что со мной случилось, наверняка бы погиб... А спор об Эйзенштейне, показавшийся Александру Григорьевичу литературным, я не выдумал, а в самом деле слышал в лагере».

У меня не нашлось, что возразить автору, я поделился лишь своим восхищением. Но и Твардовский, как я заметил, предлагал свои поправки робко, почти смущенно, что вовсе на него не было похоже, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны. Слушая же Дементьева, обеспокоивался, напрягался внутренне, как бы тот не пережал и не заставил молодого автора обидеться и «полыхнуть».

Один раз по ходу разговора Твардовский неосторожно упомянул, что в последний момент «красный карандаш» может еще что-то вычеркнуть в повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит? Может ли редакция или цензура убрать что-то из текста, не показав ему? Твардовский стал его успокаивать. «Мне цельность этой вещи дороже ее напечатания»,— объяснил Солженицын.

Он тщательно записал на листке все замечания, сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они на пользу вещи; те, о которых он будет думать, трудные для него; и, наконец, невозможные — те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.

Впечатление на всех этот рязанский учитель математики произвел отличное — скромный, но одновременно и знающий себе цену, твердый, но не заносчивый, покладистый. А какая обаятельная улыбка!

Солженицын уехал, а Твардовский продолжал править и шлифовать письмо Хрущеву, ожидая знака, чтобы отослать его. Однажды приехал в редакцию мрачный и напал на Дементьева, который хотел переменить какое-то слово в уже готовом тексте. Новые отсрочки приводили его в бешенство.

— Ну, какое слово вы предложите? — с яростью спрашивал А. Т.

— Ты не волнуйся, Саша,— успокаивал его Дементьев.— Но есть какое-то такое: «разрешите просить о...» (и он щелкал пальцами, подыскивая ускользающее словечко)... о помощи... поддержке...

— Благословении? — ядовито отозвался А. Т.— Так вот я вам скажу («вы» к Дементьеву, с которым он был на «ты», подчеркивало его раздражение), что слов в языке мало. На этот случай их всего шестнадцать... И пятнадцать из них мы уже использовали.

Наконец письмо вместе с рукописью было отправлено, и оставалось терпеливо ждать, как повернутся события. Шли недели за неделями — все было глухо. В сентябре я уехал дней на двадцать в отпуск в Болгарию, а вернувшись, узнал от Твардовского, что дело стронулось. 15 или 16 сентября ему позвонил домой Лебедев с известием, что повесть Хрущеву понравилась.

Дело, по рассказу Твардовского, происходило так. В Гаграх, где отдыхал Хрущев, Лебедев, улучив удобный момент, как-то стал вслух читать Никите Сергеевичу повесть. Читали и на другой день вечером. А на следующее утро уже были отложены все дела, Хрущев пригласил Микояна, отдыхавшего неподалеку, и читали второй раз вслух. Хрущев смеялся и задумывался, ему понравился эпизод про «красилей», делавших коврики с лебедями. Он по-своему оценил и искусство Солженицына, восхитившись его выражением «волчье солнышко». Попросил было пригласить Твардовского для беседы, но потом передумал.

Типографии «Известий» было дано срочное задание: набрать повесть и оттиснуть 25 экземпляров на хорошей бумаге. Было ясно, что предполагается обсуждение, вероятно на Президиуме ЦК. Не хочет ли Хрущев дать своим сотоварищам предметный урок по критике культа личности? — догадывался Твардовский.

«Когда раздался этот звонок,— рассказывал он нам с И. А. Сацем,— жена ждала меня обедать, все торопила идти к столу. У нас вообще-то пуританский, лишенный сентиментальности стиль отношений в семье, но тут я позвал ее с кухни, чтобы все бросила, и расчувствовался: «Победа, Маша! Победа!» Я ска-

зал Лебедеву,— продолжал А. Т.— «Спасибо, что вы есть, что вы помогли нам». А он: «Спасибо, Александр Трифонович, что вы есть. Видите, правда, она все же существует». А я ему: «Существует-то она существует, но важно, как ее доложить». Последние слова он произнес с заметным лукавством в голосе.

«Но вот я радовался: «победа, победа»,— продолжал он,— а решения окончательного нет, дело как-то захрясло».— «Так всегда и бывает,— отозвался Сац.— В мае 45-го, разве ты забыл, какое-то время то же чувство было. Неужели победа?»

20 октября 1962 года Твардовского принял Хрущев. На другой день я дважды выслушал его рассказ об этой встрече — более подробный наедине и краткий — для всей собранной им по этому случаю редакции. Хрущев встретил его с такой благожелательностью, как никогда раньше. Об «Иване Денисовиче» он сказал: «Это жизнеутверждающее произведение. Я даже больше скажу — это партийное произведение. Если бы это было написано менее талантливо, получилась, может быть, ошибочная вещь. Но в том виде, как сейчас, она непременно будет полезна». Собеседник Твардовского дал понять, что не все члены Президиума, которые знакомились с повестью, раскусили ее значение. «А я сказал: идите домой и еще подумайте». Второй раз с ним согласились все. (Вот почему впоследствии в печати появилась формула — повесть напечатана «с ведома и одобрения ЦК».)

Хрущев рассказал Твардовскому о том, что специальной партийной комиссией собрано несколько томов материалов о преступлениях Сталина, продолжается расследование дела об убийстве Кирова и т. п. «Мы должны сказать правду об этом времени,— рассуждал Хрущев.— Возможно, не все документы и материалы нужно сейчас публиковать, но собрать надо все, чтобы предъявить потомству. Нас будут судить следующие поколения, и пусть они знают, в каких условиях нам пришлось работать, какое наследство мы приняли».

— Я так понимаю, что ваш первый доклад о культе личности на XX съезде был сопряжен и с личным риском,— сказал Твардовский.

— Еще бы! Еще бы! — живо отозвался Хрущев. Он рассказал, что перед смещением Берии он с Маленковым и Булганиным уезжал далеко за город, шли

в лес, и, только отойдя подальше от дороги, Хрущев решился говорить о деле. Решимости ему прибавило то, что он заметил однажды, что у лифта и в коридорах ЦК, которыми он проходил в свой кабинет, всюду оказались на постах люди Берии. «Твои люди зажирели,— сказал он Берии по телефону,— надо отправить их побегать с оружием в полевых условиях»,— и сменил охрану на армейских офицеров.

Хрущев намекнул Твардовскому, что аппарат срывает ему борьбу с культом личности. Литература же эти вопросы ставит.

А. Т. усердно убеждал Хрущева, что литература может лучше помочь партии и советской власти, если ей будет дана возможность свободнее критиковать темные стороны жизни. «Советская власть не такая мимозно-хрустальная, чтобы рассыпаться от такой критики,— говорил Твардовский,— и знайте, Никита Сергеевич, что все лучшее в нашей интеллигенции поддержит вас целиком в борьбе с культом личности».

Таков, если говорить вкратце, был рассказ Твардовского об этой встрече, а главным ее итогом было то, что для повести Солженицына было срочно расчищено место в ноябрьском номере журнала, который был уже на ходу. Скорее, скорее в печать!

На праздниках, уехав на дачу, А. Т. перечитал повесть в верстке и говорил, когда мы встретились в редакции: «Сам себе не верю. Неужели мы это напечатаем?» Радостно и гордо думая о будущей судьбе открытого им писателя, Твардовский решил написать ему большое дружеское письмо с отеческими предупреждениями и увещеваниями относительно ждущих его искушений славы. Он предупреждал о неизбежно грядущей шумихе и просил Солженицына беречь свой талант, избегать встреч с репортерами, интервьюерами, инсценировщиками, расхищающими время серьезного писателя.

По поводу этого письма А. Т. советовался в редакции. А. И. Кондратович сказал ему, что он слишком в высоких выражениях пишет Солженицыну о его таланте, стоило бы умерить похвалы. Надо было видеть, как по-детски растерялся, огорчился Твардовский, и принес письмо мне. Я сказал, что, по моему мнению, перехвалить эту вещь Солженицына нельзя, что эта маленькая повесть знаменует, может быть, новое ле-

тосчисление в нашей литературе. А. Т. успокоился и отослал письмо.

16 ноября 1962 года был получен сигнальный экземпляр, на другой день была начата рассылка 11-го номера. Через два-три дня о повести неизвестного автора говорил весь город, через неделю — страна, через две недели — весь мир. Повесть заслонила собой многие политические и житейские новости: о ней толковали дома, в метро и на улицах. В библиотеках одиннадцатый номер «Нового мира» рвали из рук. В читальных залах нашлись энтузиасты, сидевшие до закрытия и переписывавшие повесть от руки. В моем архиве случайно сохранилась записка, которую в те дни передал мне со смехом один из литераторов. Ее оставила отцу, ложась на ночь спать, дочь-второклассница: «Папа! Одиннадцатый номер взяла я. Целую. Груня».

Редакции разрешили допечатать к обычному тиражу — дело неслыханное — 25 тысяч экземпляров. В ближайшие дни после выхода номера заседал многолюдный, с приглашением гостей, как тогда полагалось, Пленум ЦК. В киосках, расположенных в кулуарах, было продано свыше 2 тысяч экземпляров 11-го номера. Вернувшись с Пленума, Твардовский рассказывал, как заколотилось у него сердце, когда в разных концах зала замелькали голубенькие книжки журнала. Отзывы, впрочем, были пестры. В перерыве к Твардовскому подошел один из секретарей обкома, сибиряк: «У меня в области таких «хозяйств», как тут описано, сколько хочешь было. И что особенного? Зачем о них писать?»

Одна за другой появлялись статьи в газетах — в «Известиях» К. Симонова, в «Литературной газете» Г. Бакланова. Все дружно хвалили повесть, удивлялись таланту нового автора. В. Ермилов в «Правде», уравновесив отзыв о Солженицыне похвалами Вадиму Кожевникову за повесть «Знакомьтесь, Балуев», заявлял тем не менее, что талант нового писателя «толстовской силы». Твардовский внимательно следил за всем, что пишется о Солженицыне, и ревниво комментировал, чутко отмечая всякий оттенок фальши. По поводу рецензии в газете «Литература и жизнь», не пользовавшейся доброй репутацией, сказал: «Эта задыхающаяся газетка поместила рецензию Дымшица, написанную будто нарочно так, чтобы отвадить от повести.

Ни одной яркой цитаты, ни напоминания о какой-либо сцене... Сравнивает с «Мертвым домом» Достоевского, и то невпопад. Ведь у Достоевского все наоборот: там интеллигент-каторжанин смотрит на жизнь простого острожного люда, а здесь все глазами Ивана Денисовича, простого крестьянина, который по-своему и интеллигента видит... И, заметьте, как точно Солженицын написал: ведь 37-й год — это расплата за экспроприацию крестьянства в 30-м... Вот мой отец — какой он кулак? Разве что дом-пятистенка...»

В дни, когда вышел номер, Солженицын появился в Москве. Приехал он из Рязани не с пустыми руками — привез два новых рассказа и пьесу. Поразил Твардовского тем, что, когда был у него дома, принесли как раз свежую газету со статьей Симонова о нем. Он глянул мельком и сказал: «Ну, это я потом прочту, давайте лучше поговорим». А. Т. удивился: «Но как же? Это же впервые о вас пишут в газете, а вас вроде бы и не интересует?» (Твардовский заподозрил здесь некоторое кокетство.) «Нет,— отвечал Солженицын,— обо мне и раньше писали... В рязанской газете, когда я завоевал первенство по легкой атлетике».

Пьесу Солженицына Твардовский не одобрил. «Теперь вы лучше можете оценить мою искренность, пьесу я печатать не советую»,— сказал он автору. «Но я думаю еще поговорить о ней со специалистом-режиссером»,— защищался Солженицын. «И напрасно,— парировал Твардовский.— Ведь это заранее известно, он скажет «великолепно!», втянет вас в колесо поправок, переделок, дополнений и т. п., а вам надо бы заниматься большой серьезной литературной работой».— «Я понимаю, что времени мне терять нельзя»,— согласился Солженицын.

Рассказы же, привезенные Солженицыным, были каждый по-своему замечательны и, что самое важное, подтверждали не случайную удачу повести. «Не стоит село без праведника» (по совету Твардовского получивший название «Матренин двор») и рассказ «Случай на станции Кречетовка» обсуждались в редакции в конце ноября 1962 года, уже после того, как Твардовский провел над ними свою домашнюю редактуру. Передавая мне рукопись и суля удовольствие от чтения, Твардовский сказал: «Посмотрите внимательно перед обсуждением. Но, впрочем, вам остались мелкие ка-

мушки, булыжники я оттуда уже повыкидывал». Это не было редакторской самовольной придирчивостью, но желанием, чтобы после триумфа «Ивана Денисовича» новый автор даже самой малой небрежностью не уронил себя, вышел в полном блеске своего дара.

На обсуждении рассказов в редакции все, сколько помнится, помимо яркого художественного письма, отмечали с радостью то обстоятельство, что Солженицын показал свою силу реалиста-художника и за пределами «лагерной темы», в которой, как казалось некоторым, замкнут его талант. Литературно неискушенным людям «Иван Денисович» представлялся чем-то вроде документа или очерка с натуры: героя путали с автором. Рассказами Солженицын подтверждал свою репутацию сильного самобытного художника. На обсуждении критиковали лишь один сюжетный поворот, казавшийся искусственным, в рассказе «На станции Кречетовка» (герой забыл будто бы, что Царицын переименован в Сталинград, и тем погубил себя). Мне случилось отметить и некоторые излишества словотворчества, возрождение редких и старых слов, там, где они не были вполне естественны.

«Вы меня выровнить хотите»,— кипятился поначалу Солженицын. Но потом миролюбиво согласился, что некоторые словечки неудачны. «Я спешил с этим рассказом о Кречетовке. А вообще-то я люблю забытые слова. В лагере мне попался третий том словаря Даля, я его насквозь прошел, исправляя свой ростовско-таганрогский язык».

Рассказы Солженицына появились в январском номере «Нового мира» за 1963 год. Но еще прежде в общественно-литературной жизни произошли события, которые предвещали перемены, и отнюдь не в добрую сторону.

В начале декабря 1962 года Н. С. Хрущев неожиданно посетил выставку в Манеже. Подстрекаемый В. А. Серовым и другими руководителями Союза художников, он набросился на абстракционистов и «прочих формалистов» как на опасность, грозившую всему советскому искусству. Началась кампания в газетах. С живописи и скульптуры быстро перекинулись на литературу, обнаружив изъяны и в ней. 17 декабря 1962 года состоялась первая встреча Хрущева с деятелями культуры, писателями на Воробьевых горах.

Этим было положено начало череде «исторических встреч», как будто не было у Советского правительства бо́льших забот, чем приструнить творческую интеллигенцию. Началось с абстракционистов и «проблемы Манежа», но круг критикуемых быстро расширялся: подверглись разносу молодые поэты Вознесенский и Евтушенко, досталось и И. Эренбургу за его мемуары, и В. Некрасову за путевые очерки, печатавшиеся в «Новом мире». В газетах появились статьи и «письма земляков», бранивших поэтическую «Вологодскую свадьбу» А. Яшина.

«Начали с абстракционизма, но кажется, имеют-то в виду реализм»,— проницательно комментировал Твардовский. Впрочем, вне всякой логики, солженицынская повесть находилась некоторое время вне критики, как получившая высочайшее одобрение. На встрече 17 декабря в Доме приемов Хрущев поднял Солженицына из-за стола и под бурные аплодисменты представил его собравшимся. М. А. Суслов, подойдя, долго тряс его руку. На встрече в Кремле 7—8 марта 1963 года Хрущев снова поминал «Ивана Денисовича» как вещь, написанную «с партийных позиций».

«Матренин двор» был беззащитнее — его стали пощипывать за очернительство — А. Сурков в «Литературной газете», В. Полторацкий в «Известиях». Постепенно стали подбираться и к критике «Ивана Денисовича» — критике лицемерной, с оговорками и вздохами, но по шажку подходившей к тому, чтобы перечеркнуть повесть. Ивана Денисовича упрекали в том, что он «не герой», не борется в лагере (как будто там можно было бороться!), что картина нарисована односторонне и т. п. Мы понимали, что каждый новый выпад против повести означал еще одно: ослабление позиций Хрущева в борьбе со сталинистами, опасные уступки его самого и его окружения. Затаившаяся, но еще сильная аппаратная бюрократия со сталинистской крепостнической психологией жаждала реванша. «Новый мир», напечатавший повесть Солженицына, был точкой приложения сил, удобным полем борьбы, на котором получали проверку отнюдь не одни лишь литературные амбиции.

Внимательно следя за тем, как разворачивается эта борьба, я решил, не советуясь в редакции, на свой страх и риск, написать статью о повести Солженицы-

на и ее критиках. Для Твардовского статья была неожиданностью. Прочитав ее в рукописи, он прислал мне 2 декабря 1963 года из санатория в Барвихе письмо, которое я впервые привожу здесь. Всегда испытываешь неловкость, цитируя похвалы своей работе, но читатель поймет, надеюсь, что не в них дело. Просто я считал бы грехом держать и дальше под спудом столь значительный литературный документ.

«Дорогой Владимир Яковлевич! Статья так хороша, существенна, исполнена достоинства и убежденности, что, пожалуй, и говорить бы не о чем. То, о чем я хочу сказать, происходит как раз, может быть, от того, чем именно хороша статья: в ней идет настолько серьезный разговор, она касается таких значительных и важных политических, этических и эстетических мотивов в связи с «Ив. Денисовичем», что в ней не нашлось места для специального раздела о «художественных средствах выражения», какими Солженицын действует. Но это ясно только для умных и добрых людей. А имея в виду и других людей, не мешало бы, может быть, подчеркнуть, что вот, мол, такой выразительности и полноты содержания Солженицын достигает не в силу пренебрежения формой, а как раз по причине ее крепчайшего, органического слияния и взаимопроникновения с содержанием. Можно подчеркнуть, что в повести нет ни одного готового, взятого напрокат слова,— они все как бы впервые на свет рождаются, они всякий раз необходимы и в данном случае незаменимы. Далее: Солженицыну чужда тенденция щегольнуть «художественностью», красивостью облюбованного фразеологического оборота,— это было бы кощунственно в применении к его материалу и т. д. Сказать еще о ритмической целостности, музыкальности рассказа, о внезапном выходе из стиля Ивана Денисовича, когда вдруг речь идет о Буйновском; о том, как смело автор дает в точном воспроизведении «интеллигентные» разговоры в присутствии Ивана Денисовича, который наверняка не слышит, не фиксирует их, хотя все повествование дается лишь через его пять внешних чувств (очень обостренно!) и только через его сознание.

Впрочем, все это у Вас даже и есть, только уж так сдержанно, без малейшего сползания к пошлому в своей отдельности «анализу формы». Да, может быть, в

отношении этой вещи тоже кощунственным был бы этот «анализ формы». Словом, говорю Вам обо всем этом без уверенности в том, что Вы так-то и должны доработать статью. Но, может быть, следует смело и решительно оговориться, что мы, мол, не станем заниматься этаким анализом отдельно, что нас больше занимает целое, существенное.

Но вот что, пожалуй, я считал бы необходимым внести в немногих строках в текст статьи. Там, где речь идет о том, где автор был в тот зимний день, когда Иван Денисович выходил с колонной на работу,— там это все хорошо насчет морозца, Кремля и студенческих малых забот,— но тут же нужно сказать, *где была в тот день страна*, что сообщали газеты, радио и т. д. Это сделает картину «дня» Ивана Денисовича еще разительнее, противоестественнее, невозможнее. Загляните мельком в газеты того времени — что-то строилось, затевалось, выполнялось, восстанавливалось, а в это время...

Необходимо еще разыскать из печати хоть полуфразу из того, что говорил о повести Н. С. <Хрущев>, хотя бы по газетному изложению (помните, о «человеческом в нечеловеческих условиях», о партийных позициях автора. Das ist seher wichtig! В крайнем случае, снимите мою фамилию в Ваших двух случаях (вообще — не более одного) и цитатните из моего интервью («Я никогда не забуду...» и т. д.).

Кажется, у Серговандева же было нечто вроде противопоставления «активной» позиции шолоховского Соколова «пассивности» Ивана Денисовича? Я все ждал, что Вы и этот гвоздь вобьете в гробовую крышку над статьей «Октября».

Еще я, может быть, поймаю Вас по телефону. А покамест всего Вам доброго, мой юный, мудрый и благородный соредактор и друг. Обнимаю Вас. А. Твардовский».

Надо ли говорить, что я воспользовался советами Твардовского при редактировании статьи. Она получила название «Иван Денисович, его друзья и недруги», появилась в январской книжке «Нового мира» за 1964-й и наделала много шуму и принесла немало неприятностей автору. С малоизвестным молодым критиком удобнее было сражаться, чем с писателем, поддержанным самим Хрущевым, и на какое-то время

повесть вышла из-под удара. «Недруги» Ивана Денисовича оттачивали свои желчные перья на статье о нем. В Союзе писателей бушевали собрания, отчеты о которых помещала «Литгазета». Особенно негодовали на то, что я будто бы обозначил творчество Солженицына как магистральный путь развития советской литературы, а все общество, или, во всяком случае, литературную общественность, разделил на «друзей» и «недругов» Ивана Денисовича. «Вот что вы наделали, все спешат записаться в «друзья» к Солженицыну»,— смеялся Твардовский.

Неожиданную остроту приобрел вопрос о «работягах» и «придурках» в лагере, к числу которых я, вслед за Солженицыным, отнес его героя, кинорежиссера Цезаря Марковича. Часть благомыслящей публики обиделась на меня — не выпад ли это против москвича-интеллигента? Не ложное ли народолюбство? Статью стали атаковать и «справа» и «слева».

Мы были на встрече с читателями в Доме учителя на Пушечной, когда я передал Солженицыну только что вышедший номер журнала со статьей о нем. На другой день, зайдя в редакцию, он сказал: «Могу сделать вам самый высокий для меня комплимент: это написано с точки зрения лагерного человека». А немного спустя я получил от него письмо из Ленинграда, куда он уезжал работать в библиотеке. Вот оно:

«Дорогой Владимир Яковлевич! Когда я был в редакции, то меня несколько тревожно спрашивали (Б. Г. Закс), как я отнесся в Вашей статье к месту о Цезаре. Я и сам уже было встревожился.

Но, прочтя статью, вижу, что все отлично и все на месте. Вы верно истолковали, что не о народе и интеллигенции речь идет, а о тех, кто принимает на себя удар и кто от него уклоняется. Именно это и именно так я и хотел передать в повести. И хотя перед прототипом Цезаря мне по-человечески несколько неловко, но что делать? Amicus Plato... Ну, может быть, приравнение к красилям есть маленький перебор, а скорее-то всего, учтя возможные в то время сценарии Цезаря, и нет. По глубокой-то сути — верно.

И великолепный удар по дьяковской повести без этой подготовки не получился бы.

В общем, спасибо за статью. От подобной статьи чувствуешь — как бы и сам умнеешь.

Привет большой Александру Трифоновичу и всей редакции. Крепко жму руку. С.».

Публикация статьи о повести Солженицына «Новым миром» имела в те дни и еще один прицел. Повесть была выдвинута редколлегией на Ленинскую премию, и успех этого дела зависел, в частности, от того, как пойдет общественное обсуждение. Выдвижение повести редакцией официально поддержала лишь одна организация — ЦГАЛИ, Центральный государственный архив литературы и искусства. Это выглядело символически: где-где, а уж в архиве знают цену большому писателю, тому, что остается для будущего.

Присуждение премий ожидалось в апреле 1964 года, и борьба вокруг выдвинутых кандидатур была тем более острой, что Солженицыну, кажется, не находилось в списке достойных конкурентов. Шансы его были реальны, и Твардовский связывал с этим большие надежды — и в отношении укрепления позиции журнала, и в смысле публикации новых, более крупных работ Солженицына — романов «В круге первом» и «Раковый корпус», с которыми автор начинал нас знакомить. Получи тогда Солженицын премию, говорил не раз впоследствии Твардовский, и, возможно, вся судьба его сложилась бы иначе...

До последнего момента по прессе было трудно судить, куда склонится чаша весов при голосовании. В печати раздавались и решительные голоса в пользу повести («Правда» напечатала статью С. Я. Маршака), и осторожные высказывания против нее. Те, от кого зависело решение, кто давал обычно «рекомендации» Комитету, выжидающе молчали. Н. С. Хрущев не возвращался уже к этой теме, как бы отойдя в сторону. До его падения оставалось чуть больше полугода, его окружение уже чувствовало, как уходит из-под ног почва. А он будто ничего не подозревал, увлеченный своими «прожектами», политическими и хозяйственными импровизациями, которые становились все случайнее и рискованнее. Полюбил он и долгие, недели на две, поездки за границу, которые развлекали его и освобождали от неотложных государственных дел.

Оставалось всего ничего до последнего голосования Комитета по премиям, когда случай ускорил решение дела. В свете только что объявленной тогда демократизации обсуждения произведений, выдвинутых на

премию, поручили телевидению дать большую передачу о возможных лауреатах. Кто-то придумал провести дело так: каждое издание, каждый журнал защищает перед телезрителями «своего» кандидата. Твардовский попросил меня представить Солженицына от журнала.

Телевидение было тогда прямым, на видеопленку не записывалось, да я к тому же опоздал в телевизионный театр на площади Журавлева, и встретивший меня за пять минут до начала передачи на лестнице редактор только и успел спросить: «Ну вы-то знаете о чем говорить? Не подведете?» Я с готовностью кивнул головой. Потом меня ввели в зал, где стояли камеры, и посадили на последний из стульев, расположенных полукругом. На других уже сидели мои коллеги — редакторы других изданий. Мне объяснили, что говорить я должен не более пяти минут и смотреть, горит ли у аппарата зеленая лампочка: как только зажжется красная — эфирное время кончилось.

Я принес в студию толстую папку с письмами, шедшими в редакцию со всех концов страны: абсолютное большинство поддерживало выдвижение повести Солженицына на Ленинскую премию. Я прочитал выдержки из этих писем, едва удерживая в руках тяжелую папку, а напоследок сказал: «С надеждой и терпением будем мы ожидать *справедливого* решения Ленинского комитета». Слово «справедливого» я невольно выделил интонацией.

После меня о своем кандидате должен был говорить еще представитель редакции «Октября» — но тут загорелась красная лампочка, осветители стали сматывать провода: время кончилось. Случайно, без всякого вмешательства режиссуры получилось так, что последнее слово было сказано о Солженицыне, да еще с призывом к справедливости решения...

Надо же было так случиться, что Хрущев в эту пору находился в очередном путешествии, а все дела в Москве вершил за него его заместитель Леонид Ильич Брежнев. Он смотрел передачу, и она рассердила его: «Говорят о Солженицыне так, как будто он уже получил премию, а мы еще этого не решили...» На другое утро, как рассказывали, председатель Комитета по телевидению Харламов получил жестокий нагоняй, а «Правде» было вменено в обязанность выступить с об-

зором читательской почты, в котором сделать акцент на письмах, авторы которых не приемлют повесть Солженицына.

11 апреля 1964 года такой обзор под названием «Высокая требовательность» в «Правде» появился. Выделялись письма тех читателей, которые ведут «по-хозяйски строгий и взыскательный разговор»: «Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положительной оценки, но ее нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии».

Появившаяся накануне последней решающей сессии Комитета по премиям, статья эта была знаком того, какое решение ожидается. И тем не менее на заседаниях разгорелась острая борьба. Твардовский несколько раз брал слово, и к его горячей убежденности и ясной логике прислушивались многие. Чтобы переломить настроение Комитета, С. П. Павлов, тогда первый секретарь ЦК ВЛКСМ, сказал в своей речи, что Солженицын сидел в лагере за уголовное преступление. «Это ложь!» — крикнул из зала Твардовский.

Помню, как среди дня, бледный, взволнованный, он приехал в редакцию с заседания Комитета и просил срочно разыскать текст постановления о реабилитации Солженицына. На другой день на заседании Комитета Твардовский заявил, что у него в руках текст Определения военной коллегии Верховного суда СССР от 6 февраля 1957 года, реабилитирующего Солженицына, обвиненного по политическим мотивам, за отсутствием состава преступления. «И все-таки интересно, что там написано»,— не унимался Павлов. Тогда Твардовский величаво передал текст секретарю Комитета Игорю Васильеву с просьбой огласить документ, и тот «хорошо поставленным голосом», как рассказывал Твардовский, прочел его от точки до точки.

Копия этого документа сейчас передо мной. В нем говорилось: «Из материалов дела видно, что Солженицын в своем дневнике и письмах к своему товарищу Виткевичу Н. Д., говоря о правильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказывался против культа личности Сталина, писал о художественной и идейной слабости литературных произведений советских авторов, о нереали-

стичности многих из них, а также о том, что в наших художественных произведениях не объясняется объемно и многосторонне читателю буржуазного мира историческая неизбежность побед советского народа и армии и что наши произведения художественной литературы не могут противостоять ловко состряпанной буржуазной литературной клевете на нашу страну.

Эти высказывания Солженицына не содержат состава преступления».

Далее в «Определении» отмечалось: «Из боевой характеристики Солженицына и отзыва служившего вместе с ним капитана Мельникова видно, что Солженицын с 1942 года до дня ареста, то есть до февраля 1945 года, находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал».

Когда И. Васильев прочитал этот текст, наступила долгая пауза. «Я пригвожден...» — неловко попытался пошутить весь красный то ли от неловкости, то ли от негодования Павлов.

Под откровенным давлением Е. А. Фурцевой и Л. Ф. Ильичева Комитет в результате проголосовал против присуждения премии Солженицыну. Твардовский воспринял это как глубокое личное поражение. Не знаю, отдавал ли себе отчет Хрущев, что в тот час произошла проба политических сил и многое потерял он сам.

Что же касается Солженицына, то и для него, по-видимому, это был поворотный пункт, хоть и вовсе не потому, что он жаждал славы. Помню его слова в те дни: «Присудят премию — хорошо. Не присудят — тоже хорошо, только в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше». Однако этому бодрому заявлению приходилось верить лишь отчасти. С каждым днем литературная судьба Солженицына на родине складывалась все труднее. Книг его не печатали, о нем распространяли самые нелепые слухи, как о полицае и пособнике оккупантов в войну, и не давали печатно их опровергнуть. После падения Хрущева осенью 1964 года над именем Солженицына стала сгущаться пелена крамольности, полузапретности...

Все, что рассказано здесь, совершилось за три года и было лишь прелюдией к долгой, трудной и мучитель-

ной истории отношений Солженицына с Твардовским и его журналом. Солженицын обрисовал это в своих пристрастных мемуарах «Бодался теленок с дубом». Твардовский не только не смог рассказать, как виделись те же события ему, но не успел даже прочесть солженицынскую книгу, по-своему ярко, но односторонне изобразившую драматические события нашей недавней литературной истории. Мне эти семь лет представляются настоящей, невыдуманной драмой, счастливую завязку которой я бегло очертил.

Впереди были волнения вокруг романов «В круге первом» и «Раковый корпус», героические и тщетные попытки Твардовского их напечатать, арест архива Солженицына, бесчисленные заседания Секретариата Союза писателей, обсуждавшего «солженицынский вопрос», хождения Твардовского по начальству, добровольные унижения, переговоры и уговоры с единственной целью — отстоять Солженицына для родной земли, для русской литературы. А заодно — малоуспешные попытки обуздать нрав самого Александра Исаевича, отклонить его от резких поступков, привычки отвечать ударом на удар, найти совместный разумный выход из, казалось бы, безвыходного положения.

Исключение Солженицына из Союза писателей в ноябре 1969 года предвещало неизбежный и наступивший всего через три месяца конец «Нового мира» Твардовского.

А дальше был эпилог, какого не надумало бы самое богатое воображение. «Все боятся за Солженицына, а я, признаться, больше беспокоюсь за Твардовского»,— сказала мне как-то со свойственной ей сверхчуткостью Елена Сергеевна Булгакова. Тогда это поняла она одна.

Впереди у Твардовского были — болезнь, немота, кресло у холодного камина, угасание, смерть. У Солженицына же долгая, хоть и нелегкая судьба: слава Нобелевского лауреата, насильственная высылка из страны, яростные политические речи и толстые тома новых книг, не известных на родине, и зеленая лужайка за глухой высокой стеной усадьбы в американском штате Вермонт — та «другая жизнь», о которой не суждено было узнать Твардовскому.

ИЗ ЖУРНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ

В июне 1970 года Твардовский скромно отметил свое 60-летие. Звание Героя Социалистического Труда, которое ему все заранее прочили (а наиболее расторопные успели уже и поздравить), ему не присвоили. Наградили орденом Трудового Красного Знамени, что сам юбиляр, усмехаясь, комментировал так: «Трудись, мол, больше, трудись...» От торжественного вечера в Центральном Доме литераторов Твардовский отказался, а устроил обед для десяти человек — сотрудников журнала в ресторане «Прага». Был на обеде еще один его приятель-фотограф, но без фотоаппарата, и Владимир Фоменко, случайно приехавший в те дни из Ростова. Как это мало напоминало шумный, веселый, многолюдный праздник — пятидесятилетний юбилей, отмечавшийся в тех же стенах за длинными столами десятью годами прежде!

Когда все добрые слова, на какие мы были способны, прозвучали и пришло время говорить юбиляру, Твардовский сказал:

— Я верую и исповедую одну теорию: все, что «недополучил» здесь, на этом свете, всякое признание и уважение, получишь после смерти с лихвой, и наоборот, если перебрал при жизни наград и успеха — тебе грозит забвение...

И вспоминал всю долгую историю своего редакторства в оба, как он выражался, «захода», с 1950-го по 1954-й и потом, после перерыва, с 1958-го.

В 1950 году заехали за ним домой неожиданно А. А. Фадеев и К. М. Симонов, посадили в машину, таинственно отмалчиваясь, куда и зачем везут. Симонов пошутил: «За назначением едем. Меня хотят назначить секретарем райкома, а тебя председателем райисполкома...» Приехали между тем на Старую площадь, прошли в кабинет к Г. М. Маленкову. Тут и выяснилось, что Симонов переходит из «Нового мира» редактировать «Литературную газету», а Твардовскому предлагают возглавить «Новый мир».

Александр Трифонович признавался, что имел тогда очень смутное представление о роли редактора толстого журнала. Помнил только что-то о Пушкине, как издателе «Современника», о Некрасове-редакторе, сочетавшем эти свои труды с собственно поэтическими,

и это ему импонировало. Перед Маленковым лежала голубая книжка «Нового мира», раскрытая на популярном тогда романе Добровольского «Трое в серых шинелях». Он спросил:

— Вы знаете, чем толстый журнал отличается от тонкого?

Твардовский подумал-подумал и недоуменно пожал плечами.

— Толстый журнал,— наставительно сказал Маленков, выдержав долгую паузу,— печатает вещи с *продолжением*.

Потом он спросил, не станет ли Твардовский, как поэт, притеснять в своем журнале прозаиков? Тот ответил, сославшись на Некрасова: мол, он тоже был поэт, но печатал и Тургенева, и Толстого. Тут Фадеев оборвал его репликой: «Ну, ты пока что не Некрасов...»

Так почти безотчетно принял Твардовский назначение, перевернувшее впоследствии всю его судьбу. О периоде работы в «Новом мире» 1950—1954 годов он говорил, впрочем, как о чем-то «доисторическом», полубессознательном. И однако еще в 1952 году, при жизни Сталина, журналу удалось опубликовать «Районные будни» Валентина Овечкина, предвещавшие новую литературу, а затем, годом-двумя позже, повести В. Тендрякова, «Записки агронома» Г. Троепольского. После марта 1953 стала размораживаться, оживать и журнальная критика. Статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе», Федора Абрамова о фальшивой «колхозной» беллетристике, памфлет Михаила Лифшица, критика Марка Щеглова читались всеми, но это и послужило поводом к увольнению Твардовского летом 1954 года с его поста. Второй и не менее важной причиной его ухода из журнала была поэма «Теркин на том свете». Первый ее вариант был в апреле 1954 года прочитан Твардовским в редакции в присутствии Николая Асеева, Михаила Светлова, Веры Инбер и других. Поэму набрали, сверстали, но она стала предметом доноса по начальству и рассматривалась как антисоветская выходка, едва ли не с призывом к бунту. Так была истолкована невинная строфа, где «генерал-покойник» мечтает взять «полчок солдат», чтобы разнести канцелярскую мертвечину. Кому-то удалось тогда убедить в злонамеренности автора

даже Н. С. Хрущева, вообще-то Твардовскому симпатизировавшего.

На четыре года журнал снова перешел в руки Симонова, и лишь летом 1958 года, после беседы с Хрущевым, его снова принял Твардовский. Хорошо помню тот день, один из первых дней работы новой редакции, когда я по приглашению Твардовского пришел в его кабинет на улице Чехова. Он сидел за столом в белой рубашке с открытым воротом, с закатанными рукавами, на лоб спадала светлая прядка еще густых волос. Он что-то читал или правил, а во всех комнатах двери были распахнуты настежь и роился веселый, какой-то праздничный литературный люд — помню лица Тендрякова, Ваншенкина, Виктора Некрасова...

И все же в день своего юбилея Твардовский говорил, что примерно до 1960 года работа в журнале не сознавалась им как важнейшая в его судьбе. Откровенно говоря, его думы были больше заняты собственным творчеством, поездками на Дальний Восток, работой над поэмой «За далью — даль», и лишь потом все постепенно переменилось.

Замечено: чем чаще дитя болеет и чем больше приносит огорчений, тем милее оно родителям. Так и журнал: чем труднее давался его выпуск, чем больше бранили его в печати, тем дороже он становился Твардовскому.

Нападки на «Новый мир» уже в начале 60-х годов сопровождали едва ли не каждую заметную публикацию. Перелистайте газеты тех лет — рецензии на романы и повести В. Пановой, В. Тендрякова, мемуары И. Эренбурга выходили под такими заголовками: «Кого обвиняет писатель?», «Неправедный суд», «Литературный брак», «Не тот прицел, не та тенденция», «Факты и пристрастия», «Неудавшееся воскрешение», «Теория терпимости» нетерпима» и т. п. Но это было скромное начало. Бурю вызвала публикация повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказов А. Солженицына. Большой шум сопровождал появление «Вологодской свадьбы» А. Яшина, путевых очерков В. Некрасова («Турист с тросточкой» — отозвались «Известия»). С 1962 года «Новый мир» был под постоянным прицелом недружественных критических перьев.

Передо мной «Литературная газета» от 2 апреля 1963 года. Здесь напечатано выступление одного из

старшин «ростовской роты» писателей, как назвал своих земляков Шолохов, Михаила Соколова на литературном пленуме. «Товарищ Твардовский — большой поэт, но и у Твардовского как у редактора есть ошибки. Давайте ему скажем об этом и пожелаем, чтобы он дальше их не делал. И вот что бросается в глаза, когда критикуешь тов. Твардовского как редактора, он молчит, а почему бы ему не выступить и не ответить на критику?»

Помню этот пленум. «Новый мир» бранил на нем не один оратор. Твардовский сидел в президиуме, «светил глазами», по обычному его ироническому выражению. И когда Соколов с грозным видом произнес свою филиппику, требуя Твардовского к ответу, тот неожиданно рассмеялся, да так заразительно, что за ним стала смеяться часть зала, только что, казалось, наэлектризованного угрюмой враждебностью. В кулуарах к Твардовскому подошел смоленский поэт Николай Рыленков. «Ты не можешь представить,— сказал он,— как ты расположил всех тем, что не нахмурился, не выразил негодования, а рассмеялся...»

Но в начале 60-х годов положение Твардовского как редактора было еще достаточно прочным. Его редко решались открыто критиковать, считались с его положением: до 1966 года он входил в состав ЦК партии, был депутатом Верховного Совета, его выступления на съездах партии, писательских съездах и пленумах выслушивались с огромным вниманием.

Первый серьезный кризис журнал пережил весной 1963 года: критика в выступлениях тогдашних руководителей Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева, проводивших «исторические встречи» с деятелями культуры, беспрестанные нападки на журнал в печати привели к тому, что Твардовский стал подумывать об отставке. Ее готовы были принять и уже подыскивали ему преемников: вели закулисные переговоры с Симоновым, приглашали готовиться к новому назначению В. В. Ермилова... Журнал спасла тогда растущая международная известность, с ней отчасти считались. Твардовский по просьбе Министерства иностранных дел дал интервью журналисту Шапиро, обычно интервьюировавшему Хрущева, и, по настоянию Твардовского, это интервью было напечатано не только в «Нью-Йорк таймс», но одновременно и в «Правде». «Последние

месяцы мы имели временную прописку,— объяснял Твардовский тем, кто тревожился о судьбе журнала,— а теперь, кажется, снова получили постоянную... Надолго ли?»

Летом 1963 года в Ленинграде состоялась сессия Европейского сообщества писателей, вице-президентом которого был избран Твардовский. Это тоже имело значение для судеб журнала. После окончания конференции ее руководство, в которое входили нобелевский лауреат Унгаретти, Жан-Поль Сартр и другие, было приглашено в Пицунду на встречу с Н. С. Хрущевым. Доставленные специальным самолетом, они оказались в роскошной курортной резиденции, где их ждал обед. Помощник Хрущева Владимир Семенович Лебедев заранее шепнул Твардовскому, чтобы тот захватил с собой обновленную рукопись своей «отреченной» поэмы «Теркин на том свете». После первых тостов Хрущев неожиданно для присутствующих предложил: «Кажется, Александр Трифонович приготовил нам что-то почитать...» Твардовский, не чинясь, стал читать поэму, а Хрущев очень живо реагировал на чтение — то хмурился, то громко, по-деревенски хохотал в голос. На обратном пути Твардовский спросил из любезности Сартра — не скучно ли ему было, когда он читал, ведь без перевода. Сартр ответил: «Что вы, это был замечательный спектакль! Я следил за переменами лица Хрущева и как менялись одновременно лица ваших писателей» (там присутствовало несколько руководителей писательского Союза).

Сразу после чтения, когда Хрущев поздравил Твардовского и поднял тост в его честь, А. И. Аджубей попросил поэму для «Известий». Почти одновременно с газетой вышел и «Новый мир», в который мы срочно заверстали реабилитированную поэму.

В начале 1965 года «Новому миру» должно было исполниться 40 лет. Для юбилейного номера Твардовским была написана статья «По случаю юбилея» — статья спокойная, твердая и неуступчивая.

Верстка была задержана. Твардовский пригрозил отставкой, попросил встречи у М. А. Суслова. После беседы с «первым идеологом» и внесенных по его настоянию в текст поправок статья была напечатана. «Мы приветствуем споры,— писал Твардовский,— дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем самую

суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику. Мы считаем это нормальной жизнью в литературе. И сами не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках. На том стоим» (1965, № 1).

Девиз Лютера пришелся как нельзя кстати в этой статье, по существу отвергавшей нападки и на прозу, и на критику «Нового мира». И немедленно в «Известиях» появился обширный ответ «Внесем ясность», подписанный известным скульптором Евгением Вучетичем. Это был первый серьезный случай прямого спора в печати с Твардовским как редактором, знак, что и он лично не вне критики. Автор «Известий» еще расшаркивался перед Твардовским, слишком велика была его народная слава, но уже позволял себе опасные намеки: «Между прочим, лично для меня не столь важно «на чем стоять», сколь важно «за что стоять». Это, я думаю, и должно быть основой спора. Именно в том, что мы хотим защитить, что отстоять. В этом суть. Эту статью я и написал во имя утверждения истины, нашей партийной истины, которая для всех нас превыше всего» (14 апреля 1965 г.).

Статья Е. Вучетича появилась через полгода после смещения Хрущева, который, как считалось, покровительствовал Твардовскому, и открывала новую полосу в жизни журнала, когда он стал много беззащитнее перед печатью и цензурой, с особой придирчивостью рассматривавшей теперь каждый лист корректуры, подписываемой в печать. Журнал начинало лихорадить, он стал опаздывать к подписчикам.

Весь 1965 и 1966 годы критика «Нового мира» нарастала. На XXIII съезде партии, куда Твардовский уже не был послан делегатом, журнал критиковали И. Бодюл, Н. Егорычев и другие ораторы. Еще резче говорили о «Новом мире» на Всесоюзном идеологическом совещании, состоявшемся после съезда. В печати же особенно резкой критике подверглись военные повести В. Быкова, «Семеро в одном доме» В. Семина, «На Иртыше» С. Залыгина, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можаева, а также мои статьи и статья В. Кардина «Легенды и факты». Обо всем этом можно было бы написать куда подробнее, но мне хочется лишь прочертить канву событий, каждое из которых непосредственно касалось Твардовского, волновало его, мучило и

старило до срока. В печати стали появляться и выходки против Твардовского-поэта: актер Борис Чирков мимоходом задел поэму «Теркин на том свете» в «Правде». Великолепный спектакль В. Н. Плучека в Театре сатиры по этой поэме, которым Твардовский гордился, был снят после нескольких представлений. Не говорю уж о критике, раздававшейся из «Октября» Кочетова: там не пропускали ни единого номера, чтобы не разнести что-либо из напечатанных в «Новом мире» вещей. Дмитрий Стариков опубликовал язвительную статью о поэме Твардовского с характерным названием: «Теркин против Теркина». Он тщился доказать, что признанный «Василий Теркин» несравним с «очернительской» поэмой «Теркин на том свете». Твардовского возмущала фальшь таких сравнений. Он неизменно повторял: «Без «Теркина на том свете» большой «Теркин» — сирота».

В декабре 1966 года внезапно было объявлено созревшее «в кабинетах» решение: убрать из редколлегии заместителя главного редактора А. Г. Дементьева и ответственного секретаря Б. Г. Закса. Помимо того что оба они были старейшими и опытнейшими работниками журнала, их соединяла с Твардовским давняя личная дружба. Первым порывом Александра Трифоновича было немедленно уйти. Он попытался встретиться с Сусловым, но тот не принял его, а по телефону призывал покориться в порядке партийной дисциплины, стращал и улещивал одновременно. Поостыв, Твардовский стал искать пути выхода из кризиса и нашел их в том, чтобы ввести в редколлегию Чингиза Айтматова, Ефима Дороша, а молодого журналиста «Известий», моего друга Михаила Хитрова сделать ответственным секретарем. Мне Твардовский предложил исполнять обязанности Дементьева, даже если я не буду утвержден по всей форме Секретариатом Союза писателей. (Замечу в скобках, что так оно и случилось, и до самого конца нашей редакции я оставался и. о. заместителя главного редактора.)

27 января 1967 года появились два грозных подвала в «Правде» — «Когда отстают от времени». Еще прежде на разного рода совещаниях говорилось, что «Новый мир» и «Октябрь» — это две зловредные крайности. «Новый мир» пытается сделать далеко идущие выводы из критики «культа личности», «очерняет»

действительность, замахивается на «легенды», а «Октябрь» хочет отменить ее вовсе, восстановив в правах фигуру Сталина и его идеологию. На принципе равновесия ударов — «направо» и «налево», принципе, отработанном в самые суровые годы борьбы с оппозициями, была основана теперь и критика двух журналов. «Христа тоже распинали вместе с разбойником»,— невесело шутил по этому поводу Александр Трифонович.

Между тем трудности с цензурой все возрастали, и подписание каждого номера в печать становилось мукой. Был остановлен уже наполовину отпечатанный роман А. Бека «Новое назначение», и типография понесла убытки, пустив готовые листы «под нож». Не прошла цензуру верстка «Дневников» 1941 года Константина Симонова. Каждую следующую книжку журнала мы составляли как последнюю.

Так прошел 1967 год и наступил год 1968-й. «Пражская весна» сказалась на нашем положении самым прискорбным образом. Литераторов стали бояться еще больше, всюду искали «неконтролируемый подтекст». Из апрельской книжки «Нового мира» сняли главы «Деревенского дневника» Ефима Дороша, ни один из материалов не остался без вымарок. Из майского номера сняли повесть Василя Быкова, требовали уничтожить (и уничтожили) уже отпечатанные листы с разоблачительной биографией Гитлера — «Преступник № 1». (Немного позднее эта книга Л. Черной и Д. Мельникова благополучно вышла в издательстве АПН.) В редакцию одна за другой стали наведываться комиссии райкома и горкома партии. Одну из них возглавлял главный редактор журнала «Городское хозяйство Москвы», который с трудом переключался на литературу от проблем водопровода и канализации. «Новый мир» снова был на краю, и Твардовский решился просить встречи у Л. И. Брежнева. Я был в его кабинете, когда раздался долгожданный телефонный звонок. Брежнев был благодушен, расположен, обещал встретиться после переговоров с арабским лидером Насером и ряда других неотложных государственных дел. Свидание откладывалось с недели на неделю и было перечеркнуто молча и окончательно 20 августа 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу.

В сентябре 1968-го Твардовский почти не бывал в редакции, как бы постепенно приучая себя отстать от

любимого дела. Он отказывался подписывать «воронковские бумаги», коллективные заявления, которые ему привозили на дачу из Союза писателей. Отговаривался болезнью. А в это время складывались такие стихи:

В чем хочешь человечество вини
И самого себя, слуга народа,
Но ни при чем природа и погода:
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни

Безветренны, теплы — почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

Это в поэзии. А в жизни он с обычным своим великодушием и участливостью писал мне 15 октября 1968 года в Ялту, куда я с трудом выкарабкался, наконец, в отпуск:

«Рад, что Вы устроились и довольны как будто. Отдохнуть-таки Вам надо,— последние месяцы главная тяжесть журнала была на Вашем горбу,— я это очень хорошо понимаю. Конечно, и другие наши люди молодцы и терпеливцы, худого слова не скажу ни о ком... О себе скажу, что со времени «событий» силы стали окончательно покидать меня, я начал приучать себя к мысли, что ничего уже не поделать,— так оно, должно быть, и есть. Во всяком случае, потеряв возможность с кем-нибудь «на этажах» «советоваться», искать защиты или хотя бы сочувствия, видя свое полное одиночество в этом смысле, я почти что сознательно избегал «тыркаться» в какие-либо двери и, может быть, как я уже говорил, это было отчасти к лучшему для журнала,— не навлекало на него добавочной дозы раздражения «этажей». Так я и в отпуск свой ушел, чтобы хоть не числиться это время, надеясь, что, может быть, развиднеет, но надежда эта все более меркнет».

Осенью 1968 года редакция стала получать недоуменные и возмущенные письма подписчиков, далеких от литературных дел. Спрашивали: что случилось с

журналом, почему он так опаздывает? Читатели интересовались, будет ли подписка или журнал уже закрыт? В некоторых областях усилиями местных руководителей подписка на «Новый мир» была запрещена. Так, ни одного индивидуального подписчика на новый 1969 год не оказалось на родине Л. И. Брежнева в Днепропетровской области.

Наглядным свидетельством трудностей, какие переживал журнал, было и то, что № 5 за 1968 год вышел «тощим» — он потерял почти треть своего объема — 208 страниц вместо обычных 288. Зато шестой номер, по настоянию редакции, желавшей возместить ущерб подписчикам, оказался «толстяком» — 368 страниц как бы восполняли недобор предыдущей книжки. За полвека существования журнала такого, кажется, не бывало.

Июньская книжка опоздала на три месяца, декабрьский номер 1968 года подписчики получили лишь в феврале следующего, 1969-го. Ясно было, что журнал приговорен к смерти и казнь его только отсрочена. Добиваясь публикации окончания повести Н. Воронова «Юность в Железнодольске», против первой части которой в печати были организованы письма, долженствующие показать недовольство уральских металлургов «очернительством» автора, Твардовский говорил в те дни своим коллегам в Секретариате ССП: «Если вы хотите смерти журнала, то вы на правильном пути».

Так наступил 1969 год. Твардовский внутренне уже готовился покинуть журнал. Как-то с горечью сказал молодому ответственному секретарю М. Н. Хитрову: «Вы с нами недавно, может быть, это дело не так чувствуете, но когда столько лет прожито с журналом, трудно его оставлять». Из корректуры февральской книжки журнала были сняты очерки Ефима Дороша, члена редколлегии, и стихи самого Твардовского, вошедшие позднее в поэму «По праву памяти». Там были строки:

Уже тот век не безответен,
Он так ли, сяк ли распочат.
Он приоткрыт отцам и детям
И настежь будет для внучат.

Твардовский открыто, мужественно призывал к ответу сталинизм. Кто-то из пришедших в редакцию рас-

сказал нам в те дни, что на одном из совещаний в Узбекистане Ш. Рашидов откровенно говорил, что к 1971 году «мы полностью реабилитируем Сталина». «Да, очень хотят обелить эту эпоху, а все же после XX съезда прореха такая, что ни зашить, ни заштопать»,— отозвался на это Александр Трифонович.

В марте 1969 года в «Правде» появилась статья о повести Н. Воронова, прямо адресовавшаяся к редакции.

«Редакция «Нового мира» и ранее,— говорилось в статье,— подвергалась критике за публикацию ряда произведений, содержащих идейные ошибки, очерняющих нашу действительность». Таким образом, подчеркивалось, что журнал упорствует в своих заблуждениях и новые «организационные выводы» неизбежны: заблуждающегося можно простить, но самый тяжкий грех — нераскаянность.

Ссылаясь на свежее постановление об усилении ответственности редакторов журналов, К. В. Воронков пригласил в марте 1969 года Твардовского и без нажима, в тоне дружеского увещевания предлагал несколько «освежить» состав редколлегии: ввести в нее, скажем, писателя В. Чивилихина, критиков Лидию Фоменко, Льва Якименко. «Да я никого из них не знаю, ни по литературе, ни лично,— отвечал Твардовский.— Не буду же я жениться на девице, которую не знаю и не люблю». Дело затормозилось, но все мы понимали, что первый звонок к уходу прозвенел.

Твардовский почти физически страдал, когда ему приходилось в те месяцы ходить объясняться в какие-то «инстанции». После одного из таких визитов сказал: «Там двухтумбовый стол, как правило. И когда они с тобой разговаривают, то выражение такое, будто в правом ящике у них марксизм, в левом — ленинизм, а в среднем еще что-то поважнее — может быть, последние указания? У Маркса, кажется, я прочел недавно об ужасном состоянии общества, где все делятся на воспитателей и воспитуемых. Как же у нас любят «воспитывать»! И на всех уровнях есть воспитатели, а над каждым воспитателем еще свой воспитатель... О, как я их всех знаю!»

Между тем к концу апреля у Твардовского окончательно сложилась поэма «По праву памяти», и на одном из наших дружеских собраний он читал нам ее.

Мы могли оценить ее ясную определенность и поэтическую силу: никакой уступки неправде.

Какой, в порядок не внесенный,
Решил за нас особый съезд
На этой памяти бессонной,
На ней как раз поставить крест.

Горечь и мужественная энергия были в его голосе, когда он читал о попытках вернуть все к прежнему:

...Тогда молчальники правы,
Тогда все прах — стихи и проза,
Все только так — из головы.

С этого момента для Твардовского и для всех нас судьба его последней поэмы сплелась с загоняемым в глухой угол «Новым миром».

В мае 1969 года К. В. Воронков предложил Твардовскому — хотя и без всякой категоричности — подать заявление об уходе. Первым порывом Твардовского было мгновенно уйти, хлопнув дверью. Но мы уговаривали его смирить порыв гордости. Не для того столько всего было пережито, чтобы теперь согласиться с уходом «по собственному желанию». Через две-три недели выяснилось, что никто категорически на уходе не настаивает, и вопрос снова повис в воздухе.

Однако давление со всех сторон возрастало. Приехал доцент из Ярославля, рассказал: уничтожен уже отпечатанный выпуск «Ученых записок» со статьей о «порочной» поэме «Теркин на том свете». Из издательства «Художественная литература» звонок: разобран набор 5-го тома Собрания сочинений Твардовского, так как автор не соглашается на предложенные ему поправки. В редакции стали появляться странные люди. Один из них, попросив меня принять его наедине, шептал на ухо: «Предупредите Александра Трифоновича. Пусть осторожнее переходит улицу, возможен случайный наезд...»

Впереди было последнее «горячее лето». В начале июня поэма была сдана нами в набор и задержана — без вызова автора, без объяснения причин. Видимо, верстка ее гуляла по кабинетам.

21 июля Твардовский, оступившись, упал с крутой лестницы на даче, разбил голову, немного повредил шейный позвонок. В ту пору, когда он, выздоравливая,

лежал в Кунцевской больнице, и началась массированная атака печати на «Новый мир».

Тон задал журнал «Огонек» со статьей «Против чего выступает «Новый мир»?», подписанной одиннадцатью литераторами. Начав с критики статьи А. Дементьева, авторы грозного письма отказывали журналу в советском патриотизме, народности и т. п. В поддержку «Огонька» мгновенно высказались «Советская Россия» и «Литературная Россия», областная газета «Ленинское знамя». «Социалистическая индустрия» 31 июля 1969 года напечатала «Открытое письмо токаря М. Захарова главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.» — он требовал ответа от Твардовского от имени рабочего класса: «...Руководители литературных изданий, видимо, должны держать ответ не только перед Союзом писателей, но и перед читателями. А то стоит рабочему высказаться по поводу литературы, как некоторые критики пишут: вы занимайтесь своим делом — сталь варите да хлеб сейте (это рабочий-то сеет хлеб?! — *В. Л.*), а уж литературу оставьте нам». М. Захаров извещал, что в прошлом уважал в Твардовском большого поэта, но как редактора его не одобряет и решительно солидарен с «Огоньком».

«Советская Россия» подошла к проблеме с другого бока, известив, что на сторону «Нового мира» встала газета «Нью-Йорк таймс». «Неужели главный редактор А. Т. Твардовский, коммунисты редакции и на этот раз не задумаются над тем, почему их позиция в литературе и общественной жизни вызывает столько радости в стане антисоветчиков, почему ни один другой печатный орган не пользуется таким «кредитом» у буржуазных идеологов, как «Новый мир»,— писал Дм. Иванов (3 августа 1969 г.).

«Мы пережили страстную неделю — что ни день, то служба»,— пошутил Твардовский, когда я навестил его в больнице. А если говорить серьезно, то и тогда было ясно, что вся эта кампания — результат сознательного сговора с участием группы литераторов, «обиженных» «Новым миром», видевших в его существовании прямую угрозу своим интересам.

Мне было больно наблюдать, как сдал, постарел за последние месяцы Твардовский. Нервы его были на пределе, он начал страдать бессонницей, иногда под-

давался вспышкам ярости, которые прежде легко гасил в себе обычной сдержанностью и юмором. Добиваясь по телефону Воронкова, он услышал от его секретарши: «Константин Васильевич не может подойти, он заседает на комиссии по юбилею Туманяна». Глаза Твардовского побелели, и он сказал резко: «Нет уж, извольте позвать Воронкова. Туманян умер, а Твардовский пока еще жив». «Держишься на людях, не подаешь вида,— смущенно прокомментировал свою вспышку Александр Трифонович,— но все это ох как несладко... Да что мне вам объяснять».

Врачи уговаривали его не читать газет, предлагали погрузить в длительный сон-отдых на 24 часа. Твардовский только смеялся: «Кажется, кончится тем, что из хирургического меня переведут в психиатрическое отделение».

Уже в восемь-девять часов утра он обычно звонил мне из больницы — узнать, какие новости. Волновался по поводу нашего ответа «Огоньку». Набросанный мной текст он основательно выправил и дополнил. «Заметка и так хороша, но надо, чтобы была литая,— сказал он.— Если не дадут напечатать, будем друг другу вслух читать, как стихи... для самоуслаждения». И он рассмеялся, сидя на больничной постели.

Ответ «Огоньку» «От редакции» мы все же напечатали, хоть и с немалым трудом. В те дни утешением и поддержкой для Твардовского и всех нас были письма, которые известные писатели написали в нашу защиту, хоть и тщетно пытались их опубликовать. «Литературная газета» не захотела напечатать письма Г. Бакланова и Ю. Трифонова, «Литературная Россия» отказала в публикации письма Расулу Гамзатову, бывшему членом редколлегии этого издания. Прислал большое письмо Твардовскому К. Симонов. В нем, в частности, говорилось:

«Не имея возможности увидеть тебя, хочу, чтобы ты знал мое мнение о статье одиннадцати литераторов в «Огоньке». Прежде всего должен сказать, что их нападки на якобы «антипатриотические» позиции журнала «Новый мир» облыжны от начала до конца и мне лично кажутся свидетельством их превратных взглядов на патриотизм вообще и на советский патриотизм в частности...

Журнал «Новый мир», во главе которого стоит

лучший, на мой взгляд, из ныне здравствующих поэтов России, больше чем какой-либо другой журнал показывал на своих страницах народные истоки нашей жизни...

Мне остается сказать, что я лично отношу себя к числу тех литераторов, которые не приемлют ни позиции одиннадцати (...), ни их аргументации, ни того метода систематических передержек, по которому написано их письмо. И я готов изложить свое мнение везде, где меня пожелают выслушать, и опубликовать его везде, где его согласятся напечатать» (28 июля 1969 г.).

Разумеется, никто не пожелал его выслушать, и напечатать свое мнение К. Симонов не сумел нигде. Редакции же «Нового мира» удалось напечатать свой ответ, пожалуй, лишь потому, что мы заручились следующим отзывом К. А. Федина, совмещавшего должность председателя Союза писателей с членством — по давней традиции — в редколлегии «Нового мира». Осторожный Федин написал, ознакомившись с версткой, которую мы ему привезли:

«Прочитав эту статью, сравнив со статьей, подписанной одиннадцатью писателями, за подписями которых появилась статья — «обвинительный акт» журнала «Огонек», нахожу ответ редакции справедливым и заслуживающим напечатания в «Новом мире» (31 июля 1969 г.).

Таким образом, концентрированная атака на «Новый мир» летом 1969 года захлебнулась, но для нас это была, пожалуй, пиррова победа.

Осень для Твардовского ознаменовалась тем, что из его однотомника в издательстве «Художественная литература», выходившего в серии «Всемирная литература», выбросили поэму «Теркин на том свете». О поэме «По праву памяти» никто не вспоминал, но появились слухи, что текст поэмы неведомым путем оказался за границей и там его печатают без ведома автора. Все это сильно волновало Твардовского. Продолжались и нападки на журнал. «Огонек» выступил с очень резкой критикой партизанской повести Василя Быкова «Круглянский мост».

Будучи в отпуске, я получил письмо от Твардовского из Пахры:

«Дорогой Владимир Яковлевич! Если писать все,

что набегает — все впечатления и размышления этой осени (первая у меня такая — бесповоротно грустная и странно спокойная), то не уписать и в тома. Но если краткость почесть главнейшим достоинством эпистолярного жанра, то скажу только, что на этот раз Ваше отсутствие особенно заметно. Может быть, когда соберемся все «до кучи», будет веселей малость, а так — скудно бытие наше беспеременное» (20 октября 1969 г.).

Но когда мы все собрались в редакции — ничего доброго нас не ждало. Неожиданно приехавшим к нам на редколлегию Г. М. Маркову и К. В. Воронкову Твардовский сказал: «Мы не только не чувствуем себя обиженными, но как бы не впасть в гордыню». Мы действительно жили с ощущением своей правоты, чистой совести и ожидали неизбежного поворота событий со спокойствием.

Запомнилось, что в те дни «Новому миру» прислал приветствие Бертран Рассел, из разных уголков нашей страны мы получали письма поддержки, иногда трогательные знаки читательского внимания в виде посылок с архангельскими пряниками, дальневосточными лесными орехами или краснодарскими яблоками. Посетивший редакцию в те дни английский литератор сказал: «Я вам завидую, у вас в России идут такие литературные бои, какие у нас были возможны только в XVIII веке!»

Но об этом хорошо читать потом в книжке с картинками. Прожить это труднее. Накануне нового, 1970 года Твардовский сказал: «Как я постарел за этот год, страшно постарел внутренне... И все время думаю: как понять то, что произошло, происходит с нами. Мне все хочется утоптать, как сено на возу, увязать в одно, чтобы не сыпалось». Он никак не мог смириться с тем, что неправда берет верх, что ничего нельзя доказать, ни к кому нельзя достучаться.

С ноября циркулировали слухи, что где-то «в кабинетах» вызрел план убрать из редакции А. И. Кондратовича, И. И. Виноградова, И. А. Саца и меня — тогда, мол, Твардовский сам уйдет. Имея это в виду, Твардовский говорил Соколову-Микитову: «Корабль получает страшную пробоину. Вероятно, придется открыть кингстоны». В декабрьском номере должна была идти моя статья «Мудрецы» Островского — в ис-

тории и на сцене». Я сильно за нее опасался. Последние годы ни одна из моих работ не проходила, не ободрав бока. И вдруг статью подписали без замечаний, по указанию важного лица, заметившего вскользь: «На прощанье. Все равно он уходит».

Так мы встретили новый, 1970 год. Как-то мы сидели в кабинете Твардовского. Зашел Троепольский, потом Гранин. Разговоры не вязались, неведомо почему повисали долгие паузы. Твардовский сказал: «Вам не кажется, что мы говорим так, будто в доме покойник? Собрались, как это принято, посидеть вокруг него и переговариваемся тихо».

Последний подписанный нами номер, № 1 за 1970 год, вышел в свет подозрительно быстро и беспрепятственно. Твардовский, не получивший ответа на два предыдущих обращения к Брежневу, решил писать ему третье, последнее письмо. Он хотел говорить в нем о журнале и о поэме. «Я готов отвечать в ней за каждую строчку — на Секретариате Союза писателей и, если бы это было возможно, на Политбюро». В первых числах февраля стало ясно, что какое-то решение принято. Твардовский звонил по разным телефонам, но в руководящих кабинетах все будто вымерло. «Какая-то стена. Мафия»,— вырвалось у него.

9 февраля 1970 года состоялось решение Секретариата СП, на котором в редколлегию ввели в качестве первого заместителя главного редактора Д. Г. Большова, проштрафившегося прежде на телевидении, О. П. Смирнова, В. А. Косолапова, А. Е. Рекемчука, А. И. Овчаренко. От своих обязанностей были освобождены А. И. Кондратович, И. И. Виноградов, И. А. Сац и я.

Вызывающим, беспрецедентным было не только насильственное, против воли главного редактора, освобождение многолетних его сотрудников. Но назначение людей, с которыми Твардовский заведомо не согласился бы работать. Как раз незадолго до этого А. И. Овчаренко публично клеймил «По праву памяти» как «кулацкую поэму». Твардовский заявил, что он уходит, и 24 февраля его отставка была окончательно принята.

«Новый мир» идет ко дну,
Честь и совесть на кону —

такие строчки записал он в эти дни.

Его письмо-протест пришло к Брежневу с опозданием. Высокий адресат навел справки... и решил не отвечать. Разгон «Нового мира» был санкционирован М. А. Сусловым.

Еще 20 февраля Твардовский обошел всю редакцию, поднявшись в корректорскую и к техредам, всем жал руки, прощался, благодарил за доброе сотрудничество.

Вечером того же дня в моей квартире на Страстном бульваре мы собрались почти полным составом редколлегии. Твардовский говорил первый тост. Он сказал, что удачлив в жизни. Что работа в журнале это вторая — после лет войны и «Теркина» — счастливая полоса в его судьбе, когда он твердо знал, что дело его нужно всем или, по меньшей мере, многим людям. Он говорил, что за эти годы в журнале он учился у всех своих товарищей, соредакторов, сотрудников, и всех благодарил. Я произнес ответный тост — за Твардовского. Потом встал за столом А. Г. Дементьев, оказавшийся в этот вечер с нами. Едва он начал говорить, как заплакал по-стариковски. Но, справившись с волнением, сказал все же очень хорошо о том, что журнал жил для страны, народа, для его будущего, а значит, несколько пышно говоря, идеи «Нового мира» победят.

Тогда же постановили: собираться ежегодно в этот день, 20 февраля, до последнего оставшегося в живых члена *той* редколлегии. Многие годы так и было, но уходили в вечную тень один за другим Дорош, Марьямов, Сац, Дементьев, Кондратович, Герасимов. А Твардовский не мог быть уже и на первой нашей годовщине...

Наш костер, по его же слову, разбросали, как головешки, чтобы огонь не горел. Свет и тепло того костра не забыты и через два десятилетия.

«НА ДНЕ МОЕЙ ЖИЗНИ...»

В письмах читателей, телефонных звонках, встречах со знакомыми и незнакомыми людьми Твардовский что ни день мог обнаружить бесчисленные подтверждения своей народной славы, поклонения ему множества людей. Но при этом сохранял, пусть это не про-

звучит банально, поразительную скромность. Не скромность для виду, напоказ, как бывает иногда у людей, балованных известностью, но тайную застенчивость, основанную на требовательной самооценке. Все, что выделяло его среди других людей и отделяло его от них, при мало-мальски доверительном разговоре сметалось им как ненужная преграда.

Я царь, я раб, я червь, я Бог...

Он не любил подчеркивать некое особое положение поэта в ряду других профессий и состояний. Дивился, когда средней руки литератор представлялся при знакомстве: «Поэт такой-то». Никто никогда не слышал, чтобы он сказал в телефонную трубку: «С вами говорит поэт Твардовский».

Не забуду, как, вернувшись из Смоленска в 1965 году с похорон матери, А. Т. рассказал эпизод, случившийся с ним по приезде в родной город. Пошел он в гостиницу, где, он думал, должны были оставить ему номер. Произошла какая-то путаница, он приехал машиной, а его встречали на вокзале, и гостиницу ему, как потом выяснилось, предназначали другую, более комфортабельную. Но он не знал этого и, пробившись к окошечку администратора мимо гудевшей очереди, спросил, не оставлен ли для него номер, должны были звонить. Девушка взглянула в его удостоверение и сказала: «Нет, номер не оставлен, но я вам его дам». Очередь загудела грозно, начали браниться, особенно усердствовали двое. Твардовский попытался оправдаться: «Товарищи, я человек приезжий, не здешний, у меня крайние обстоятельства...» О матери он не захотел сказать, как-то язык не поворачивался. И уж совсем не мог объявить, что он Твардовский, назвать какие-то звания, должности. Так, обруганный, и пошел в номер, который все же ему дали.

На другой день коридорная говорит: «Там в вестибюле двое мужчин ждут вас с утра, уже несколько раз спрашивали — выходил? проснулся?» Твардовский подумал, что это братья, еще с утра его разыскивавшие. «Спасибо, говорит, я их уже видел». А коридорная ему: «Нет, это двое шоферов гжатских, они вчера в очереди с вами поругались, а теперь узнали, что вы Твардовский, и прощения пришли просить».

Вышел к ним А. Т., ребята шапки мнут, с ноги на

ногу переминаются: «Извините, мы ж не знали, а у вас еще горе».— «Да что там, ребята...»

Возвратясь из той поездки, А. Т. написал четыре замечательных стихотворения, составивших цикл «Памяти матери» — из лучших во всей русской лирике.

Отжитое — пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.

Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

В его стихах последних лет все чаще стали являться мотивы неизбежного расставания, близкой старости, внутренней подготовки к ней и нежелания с нею смириться.

На дне моей жизни, на самом донышке,
Захочется мне посидеть на солнышке
На теплом пёнушке.
И чтобы листва красовалась палая
В наклонных лучах недалекого вечера.
И пусть оно так, что морока немалая —
Твой век целиком, да об этом уж нечего...

В его лирике с новой силой зазвучала вдруг тревожная, личная, какая-то звенящая нота. И это было не совсем привычно. Ведь обыкновенно он был так сдержан в отношении всего, что касалось его близких, отношений с родными и друзьями, немощей его тела, забот возраста. Это были темы, которых он в разговоре избегал. Для дружеских тайн он был — могила и сам приоткрывался очень редко. Да и в стихах личное возникало у него лишь тогда, когда он был уверен в его общезначимости.

Его укоряли, что у него мало или почти нет стихов о любви. Мне кажется, он не писал их из особого рода застенчивости. А о себе он вообще не был расположен говорить, особенно о себе теперешнем. Его личные признания за много лет нашего товарищества наперечет. О многом, я думаю, он не говорил никогда и ни с кем. Зато внимательно вглядывался в жизнь, пытаясь проникнуть в ее сущность, вслед за Пушкиным разгадывая загадку:

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

Простодушный старичок-шофер, возивший А. Т., сказал мне как-то, с разочарованием понаблюдав его жизнь — с дачи в редакцию, из редакции на дачу: «Скучно живет». Я поинтересовался: почему? «Никуда не ездит. Гостей, смотрю, у них не бывает... Я бы на его месте пожил в свое удовольствие. Ведь каждый день — к смерти ближе».

То, что для кого-то другого могло показаться делом благополучия или престижа, то есть внешними атрибутами бытия, он считал частью своей личной жизни. Так относился он к журналу.

Один корреспондент, добившийся у Твардовского согласия на интервью (это был редкий случай, А. Т. не любил давать интервью), забросал его вопросами о его творчестве. Твардовский отвечал коротко и неохотно. В заключение корреспондент сказал неосторожно: «Спасибо, достаточно о творчестве, скажите мне в заключение несколько слов о журнале». А. Т. посмотрел на него в упор и сказал раздельно: «Журнал — это тоже мое творчество».

Как-то Твардовский заговорил о том, что́ каждый из нас станет делать, когда, рано или поздно, мы покинем редакцию и разойдемся в разные стороны.

— Ну, вы университетский человек, не пропадете,— говорил А. Т.,— пойдете преподавать, наверное... А я... Как вы думаете, мог бы я преподавать русскую литературу где-нибудь в пединституте? Ну, не здесь, в Москве, а хотя бы в провинции? У меня все же филологическое образование.

Сказано это было всерьез, как обдуманное, и не для того, чтобы его опровергали. «Вот Уланова оттанцевала,— продолжал А. Т.,— теперь учит детей в балетной школе. Так и нам, наверное, надо».

А иногда мечтал целиком отдаться личной литературной работе, «а то возделываешь общественную ниву, а приусадебный участок запустил». Когда мы отмечали его шестидесятилетие, говорил, что рассчитывает еще «на десять хороших рабочих лет». В его столе остались лежать многочисленные рукописи, начатые и неотделанные стихи, последняя поэма, начала и планы прозаических работ, «Пана Твардовского» и еще большого рассказа или повести «Изба на полозьях».

Он говорил, что серьезный писатель не должен стремиться мгновенно публиковать все им написанное, что-то и «про запас», для раздумья оставлять надо. Дурной знак, считал он, когда после смерти автора наследники хвать-похвать, а все ящики письменного стола пусты — он всем до крохи распорядился при жизни...

С А. Т. не могло так случиться, и вот уже почти два десятка лет появляются все новые публикации из его архива, старательно подготовленные его вдовой Марией Илларионовной.

Как зарок и завет звучат четыре строчки, написанные им, по-видимому, вскоре после ухода из журнала. Я прочел их, когда его уже не было в живых, на обороте календарного листка:

Как сделать, чтобы жить с умом,
Со вкусом и охотой?
Найти себя в себе самом
Однажды за работой.

* * *

Вновь и вновь вспоминаю его в последние дни, что видел его в редакции. Как всегда в его кабинете — нетолченая труба народу. Он сидит, грузный, постаревший, в своем кресле. Седые, поредевшие прядки еще на моей памяти светло-золотых густых волос откинуты со лба.

Звонит телефон. Он поднимает трубку. Не с его впечатлительностью, видно, воспринимать то, что он сейчас слышит. Я смотрю за его лицом, пока идет разговор, и тысяча выражений сменяется на нем в одну минуту: внимание, растерянность, гнев, угроза, презрение, смех — все это мгновенно проходит в глазах — голубых, могущественных и беспомощно-детских.

Положив трубку, он обращается к нам, и уже собран, крепок, «отмобилизован»:

— Давайте говорить, что завтра утром будем варить.

И комната оживает. Бросает острую реплику И. А. Сац, Твардовский мгновенно откликается на нее, вздох облегчения — и все смеются.

Может быть, в эти дни или чуть раньше перечитывал он древнегреческих лириков. Впоследствии Валентина Твардовская, старшая дочь А. Т., разыскала в

библиотеке эту книгу и выписала мне элегию Феогнида из Мегары, особо отмеченную при чтении ее отцом.

Дух мой, терпи и мужайся, хоть боль твоя выше терпенья.
Ведь не раба у меня жалкое сердце в груди.
С непоправимой обидой сдружившись, напрасно не сетуй!
Боли слезами не множь! Горем друзей не томи!
Горем не радуй врагов! Не легко человеку избегнуть
Роком сужденных дорог, посланных богом даров.

...Снова телефон, на этот раз междугородный. Дружеский, сочувственный голос Аркадия Кулешова из Минска. Поговорив с ним, А. Т. обращается к нам:

— Он мне дудит в трубку: «Здоровье!.. Главное, здоровье береги!..» Здоровье... А честь и совесть беречь не надо?

Все это застыло в глазах, будто было вчера. И, вспоминая его в те дни, я отчетливо понимаю, что одним своим присутствием в литературе Твардовский помогал создать в ней особый моральный климат. Многих он воодушевлял и поддерживал, иным помогал удержаться от пустого, поверхностного или криводушного слова. Всякий чувствовал на себе: чего-то нельзя было сказать или написать, зная, что он может это услышать, прочесть. И неизбежно было тянуться за ним на крутой, высокий гребень требований, какие он ставил искусству.

* * *

Болезнь свою он долго не хотел признать, хотя все лето 1970 года, когда, по его желанию, совсем скромно, в дружеском и семейном кругу было отмечено его шестидесятилетие, уже чувствовал себя нездоровым.

Он привык ощущать себя сильным, крепким, не нуждающимся в чужой помощи и утешении. Да и в самом деле был человеком несокрушимого физического и нравственного здоровья.

Один из друзей художника Владимира Васильевича Лебедева рассказывал с его слов, каким запомнился ему Твардовский в конце войны. Сарра Лебедева лепила тогда свой замечательный бюст Твардовского (теперь он в Третьяковской галерее), и Лебедев встречал А. Т. в ее мастерской. Однажды после сеанса Лебедев предложил ему побороться, кто — кого. Владимир Васильевич смолоду увлекался французской борьбой, был профессиональным рефери на ринге, но с

изумлением рассказывал потом: «Какой богатырь! Он же приемов не знает, а сопротивляется. Мне сопротивляется!»

Иван Сергеевич Соколов-Микитов любил вспоминать, как на утренней прогулке в Карачарове, в старом гагаринском парке, А. Т. заметил сломанный дубок и решил выкорчевать его, чтобы поправить непорядок. Качал-качал, дубок не дается. «Брось, Александр Трифонович»,— говорит ему Соколов-Микитов. Нет, не бросает. На другое утро, только на прогулку вышли — он опять за дубок — и так тянул его, пока не выдернул. Сила его и упорство восхищали Ивана Сергеевича.

В последнее лето в глазах Твардовского поселилась особая печаль. «В деревне говорят: задумываться стал. Вот и я стал задумываться»,— горько пошутил он однажды.

Стихов он уже не писал, с середины лета забросил и дневник. Последнее, что его еще занимало — письма читателей, полученные к 60-летию, да новенький двухтомник, который он охотно рассылал поздравившим его людям. И вдруг сказал мне в июле:

— Ничто меня не занимает... Ни письма, ни собака, ни компостная яма,— и усмехнулся невесело. («Усовершенствование компостной ямы» на участке было в его устах всегда символом серьезного, дельного занятия.)

Теперь я припоминаю, что тогда же в разговорах с ним стала чаще возникать тема смерти, притом в разных поворотах, будто он хотел примериться к ней. Одному другу, легко рассуждавшему о неизбежном конце, сказал: «Да, ко всем придет... А не запищишь?»

В то лето скончалась Елена Сергеевна Булгакова, с которой он был знаком. Она умерла внезапно, можно сказать, счастливо, в одночасье, и я рассказал об этом Твардовскому:

— Нет,— неожиданно возразил А. Т.,— внезапная смерть не счастливая. Я не бог весть какой мужественный человек, но хочу знать, когда умру. Не для завещания, нет. А просто не согласен, когда говорят: счастливая смерть — кирпич на голову упал, человек и подумать не успел. Как Иван Сергеевич пишет в последнем письме: «...чую, что она близко».

То, о чем он думал еще со времен войны и что на-

писал в главе «Смерть и воин» в «Василии Теркине», то, о чем с победной иронией рассуждал в «Теркине на том свете» («Смерть — она всегда в запасе, жизнь — она всегда в обрез»), то, что он замечательно, но все же несколько со стороны определил в статье о Бунине, придвинулось к нему как личная неизбежность.

Зайдя ко мне в августе с похорон Николая Робертовича Эрдмана, он сказал нечто прямо противоположное тому, что я месяц назад услышал от него:

— А еще рассуждают, что нету тайн. Разве это не великая тайна, что человек не знает ни дня, ни часа своей смерти? Если б знал, жизнь стала бы невозможной.

30 августа он позвонил с утра и звал меня в Сандуны, а после бани мы в последний раз — с нами был еще И. А. Сац — сидели в ресторане на Петровке и скучно пили холодное сухое вино. А. Т. выпил один бокал и отставил в сторону. Разговоры были тихие, усталые. Помню, он рассказывал, что перечитывает басни Крылова и восхищается их неугасшей за полтораста лет злободневностью. Вдруг пожаловался, что болит нога и рука плохо работает: «Надписываю адреса на бандеролях, по две бандероли за день — и баста». Было заметно, что он тяжело дышит (врачи говорили: эмфизема курильщика) и трудно, тяжело откашливается.

17 сентября он еще появился на собрании в Союзе писателей, сидел не в президиуме, а в зале. В перерыве к нему подходили со всех сторон литераторы. «Как живете, Александр Трифонович?» — «Как в наши годы»,— отвечал он и проходил сквозь возбужденную, гомонящую толпу не задерживаясь.

С собрания мы пошли не спеша на Смоленскую площадь к И. А. Сацу. По дороге, на Новом Арбате, к радости А. Т., купили в магазине грампластинок запись «Теркина на том свете» в его чтении. У Саца пили крепкий чай из больших чашек. А. Т. уже и курить бросил, к рюмке не прикоснулся. «Зарез»,— только и сказал он на наши расспросы о здоровье. Мы советовали ему лечь на обследование, но он отметал все эти разговоры, мгновенно начинал гневаться и объяснял, что ждет места в «Барвихе», в санатории-де его и подлечат.

Отвлекся, повеселел, лишь когда стал вспоминать своего приятеля, давнего деятеля ЛОКАФа. «Этот человек более всего на свете любит петлички, лычки, ордена... Есть такой разряд людей: он обожает военную службу в мирное время». В рассказе А. Т. его приятель выглядел разновидностью солдата Швейка: хвастливый, практичный, обаятельный, наивный и ловкий одновременно. «И главное, убежден в своем личном бессмертии. Если даже бомбу атомную бросят и все вокруг сметет, а Шебашевский тупик, где его дом стоит, цел и невредим».

Спустя два дня, в ясное сентябрьское воскресенье А. Т. работал в саду. Ему хотелось перенести в другой конец участка кусты смородины или малины, и целый день он их выкапывал, отвозил на тачке к новому месту и помещал в заготовленные прежде ямки. Задыхался, чувствовал боль в ноге, но упрямо делал свою работу.

Хоть про сейчас, хоть про запас,
Но делать так работу,
Чтоб жить да жить,
Но каждый час
Готовым быть к отлету
И не терзаться — ах да ох —
Что, близкий или дальний,—
Он все равно тебя врасплох
Застигнет, час летальный...

Это из стихотворения 1969 года, одного из последних его стихотворений.

В понедельник 20 сентября, выйдя на кухню, чтобы поставить чай, он вдруг обнаружил, что не может поднять чайник с водой. Думал, что отлежал руку, и ни за что не хотел вызывать врача. А в среду уже лежал в больнице на улице Грановского с частичным параличом правой стороны тела, затрудненной речью.

Казалось, хуже этого не может быть: Твардовскому — и потерять возможность говорить, да еще руку, которой пишешь! Мысль о руке, о том, как он будет писать, и мучила его первое время больше всего. Но спустя две недели врачи установили, что у больного вдобавок запущенный рак легкого, и дали понять близким, что жить ему остается считанные недели.

Он будто напророчил себе это в стихах:

Нет, лучше рухнуть нам на полдороге...

Он сделан был на сто лет, а рухнул разом, плашмя, всей массой, будто подкошенный понизу острой косой.

Но не так легко было победить его богатырское тело. Вопреки всем консилиумам и безнадежным прогнозам А. Т. прожил еще год и три месяца, по-теркински упрямо сопротивляясь смерти. Сколько раз, бывая у него в больничной палате, я напоминал ему:

Кабы мне глоток-другой
При моем раненье,
Я бы, может, ни ногой
В ваше заведенье...

и он слабо улыбался в ответ.

Это была уже не жизнь, а житие — с вереницей сменяющихся врачей, лекарств и методов лечения, краткими проблесками надежды, возвращениями из больницы домой — и снова в больницу. Смерть постепенно овладевала им, выматывая в долгом и предрешенном поединке.

Первое время он еще говорил свободнее, рассказывал сон: видел во сне свое собрание сочинений в двадцати томах, потом свой кабинет на даче с книжными полками, а проснулся, узнал стены палаты и долго в себя не мог прийти от горя. В другой раз, что видел во сне Карабиху, куда собирался поехать в некрасовский юбилей,— белый дом на холме с зеленой сквозной башенкой над тихой Которослью.

Я навещал его в эти месяцы болезни каждую неделю, иногда и чаще. На даче он сидел обычно в большой комнате с камином в кресле с пологой спинкой. Ноги его были укрыты пледом, больная рука лежала на коленях, и он смотрел в большое, во всю стену окно — на дорожку, шедшую наискосок от калитки. Будто ждал кого-то.

Он сильно изменился, похудел, осунулся, а после курса облучения заметно поредели волосы на голове. Последнее время один седой клок свисал на пустом куполе высокого лба, немного напоминая Тараса Бульбу. Он был тих, слаб и светел, как ребенок, а выцветшие голубые глаза его — доверчивы и несчастны. Пытался сказать что-то — выходило с трудом. «Мечет-

ся...— говорил он.— Мечется...» Слово мечется, а его не схватишь.

Но поразительно, как цельно было до конца его нравственное сознание. При нем я старался говорить и вести себя так, будто ничего не случилось, и мы по-прежнему, по-бывалому беседовали не спеша: я рассказывал свежие новости, передавал впечатления от прочитанных рукописей и книг. Он слушал внимательно, с видимым участием, кивал, пытался ответить что-то. Иногда произносил два-три внятных и точных слова, потом, не сладив с концом фразы, замолкал. Но не было случая, чтобы он спутал нравственные акценты. Слушая о людях и обстоятельствах, ему знакомых, он эмоционально реагировал на все точно так, как и до болезни: сердился, презирал, любил. Слабеющий, подмятый безысходной болезнью, а все тот же Трифоныч — с его молчаливым мужеством, серьезностью, интересом к жизни, деликатностью, жаждой добрых вестей. Пусть все это приглушено в нем слабостью и страданием, но все это есть, и природа его личности ничуть не переменилась. Как точно понимает и отвечает он улыбкой на шутку, а однажды вдруг от души рассмеялся. И на прощанье с трудом сложил слова: «У вас... все... хорошо?» Как всегда, ни жалобы, ни слова о себе. Скажешь: «Больно, Александр Трифонович?» — «Больно»,— подтвердит он. Или произнесет, как бы даже изумляясь: «Не-е-ет». И уже едва говорит, а хочет быть внимательным. Пытается сделать знакомый мне, как бы приглашающий жест, разводя руками в стороны (правая не слушается), и благодарит одними глазами.

28 ноября 1971 года я приехал на Пахру, когда он уже не мог подолгу сидеть и больше лежал в постели. Днем заходил К. М. Симонов — и, потерянный, расстроенный, вскоре ушел.

Я сел на уголок дивана, где он лежал, он взял мою руку, теплую в его большой холодной,— и долго не отпускал, будто согревался. Время было прощаться. «До свидания,— говорю,— Александр Трифонович, до свидания, милый», а он все не отпускает руки. «Скоро непременно к вам приеду, до встречи»,— сказал я. Он слегка приподнял голову с подушки и с трудом вымолвил непослушным языком: «До счастливой встречи». И повторил, как будто со значением, делая уда-

рение на слове «счастливой»: «До счастливой встречи». Мне показалось, что он прощается со мной, как прощаются навсегда.

Я видел его еще однажды за пять дней до смерти, 12 декабря 1971 года. Он лежал неподвижно на диване под рисунком Пикассо, изображавшим испанскую корриду. Ему уже тайком кололи наркотики. Я помог ему повернуться на бок. Он посмотрел на меня печально и серьезно. Говорить было уже не о чем. Его мучили боли. «Устал, Александр Трифонович?» — спросил я. «Устал, устал»,— повторил он дважды, будто довольный, что я понял его.

А темным декабрьским утром меня разбудил ужасный, давно ожидаемый звонок. Примчавшись в Пахру на машине с Олей и Валей, дочерьми Твардовского, я увидел его неподвижно лежащим под простыней. Увидел его спокойное, помолодевшее, бледное лицо с чуть заметной улыбкой в углах губ. Была оттепель, березы стояли в инее, била из-под колес рыжая подтаявшая грязь, когда мы везли в больничный морг то, что еще недавно было А. Т.

Нет, был бы он невыносимо страшен,
Удел земной, не будь всегда при нас
Ни детства дней, ни молодости нашей,
Ни жизни всей в ее последний час.

Твардовский родился в самый длинный, светлый летний день в году. Хоронили мы его в самый короткий день года, 21 декабря, когда ночи долги, поздно светает и едва ли не с полудня начинаются зимние сумерки.

1973—1980

РАЗГОВОРЫ С МАРШАКОМ

Имя Маршака, знакомое мне, как и большинству моих сверстников, с самых ранних лет детства, когда мы помним книги больше по названию и героям, чем по имени автора, долго стояло для меня где-то обок с именами Пушкина и Некрасова и само звучало мне в младенчестве моем сказкой.

Можно ли было вообразить, что человек, написавший «Пожар», «Почту» и «Мистера Твистера», живет, как и я, в обычной московской квартире, разговаривает, гуляет по улицам. Ему бы более пристало стоять, задумчиво наклонив голову и закутавшись в плащ, подобно бронзовому монументу на Тверском бульваре, окруженному старинными фонарями и массивными цепями, на которых мы любили качаться.

С годами мои понятия о новых и старых поэтах приобрели более реальные очертания, но так, видно, стойки первые наши впечатления, что поверх всего, что я узнал о Маршаке в зрелые лета, его имя являлось мне в ореоле особой значительности, узаконенной детством. Неожиданное подтверждение почти магнетической силы действия этого имени я получил позднее.

В 1962 году я работал в «Литературной газете» и замещал редактора отдела, уехавшего в отпуск. Как раз в это время редколлегия решила подтянуть дисциплину сотрудников, и мне было вменено в обязанность строго следить, чтобы никто самовольно не отлучался из редакции. Помню, я немного удивился, когда ко мне зашел один из работников нашего отдела и сказал: «Я уезжаю из редакции. Меня вызвал Мар-

шак». Он не спрашивал меня и не просил разрешения уехать. Он просто сообщил мне об этом так, как говорят о вызове из вышестоящей организации, когда не подчиниться нельзя,— и я не решился возразить ему. Наутро встречаю его в коридоре: «Ну что, привез что-нибудь для газеты?» — «Нет, но Самуил Яковлевич читал мне свою пьесу, и мы так хорошо поговорили...»

Прошло дня два, ко мне забегает другой сотрудник, тоже работавший в нашем отделе,— и с теми же словами: «Я уезжаю, и в редакцию сегодня не вернусь, меня Маршак вызывает...» Признаться, я был смущен: одно дело отпустить сотрудника по вызову издательства, Союза писателей или другого ответственного учреждения, но «по вызову Маршака»?.. Мне следовало остановить его, потребовать объяснений, а я почему-то только рукой махнул.

И хорошо сделал, ибо спустя несколько дней Маршак вызвал меня...

Надо ли говорить, как был я обрадован, удивлен, потрясен, когда мне посчастливилось познакомиться с Маршаком — и об этом я еще расскажу, но прежде скажу о книге, которая нас познакомила. В последние годы жизни Маршак составил и издал книгу «Воспитание словом» — свои раздумья об искусстве. В ней он предстает критиком и литературоведом не совсем обычным.

На одной из страниц книги рассказывается об экскурсоводе, выражавшем недовольство теми посетителями музея, которые пытались рассматривать картины без его помощи.

— Не смотрите, не смотрите,— говорил этот экскурсовод.— Я вам сейчас все расскажу.

Маршак-критик не похож на этого экскурсовода. В своей книге он сводит вас лицом к лицу с поэзией, заставляет прежде всего услышать стихи, а потом уже позволяет себе некоторые рассуждения на этот счет. Его девиз: «Смотрите, слушайте, думайте сами». Но вслушаться, вглядеться он непременно нам поможет — своей увлеченностью, своей любовью к стиху.

Вот знакомые с малолетства строки:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

«Здесь очень мало слов — все наперечет,— пишет Маршак.— Но какими огромными кажутся нам из-за отсутствия подробностей и небо и море, занимающие в стихах по целой строчке.

И как не случайно то, что небо помещено в верхней строчке, а море — в нижней!

В этом пейзаже, нарисованном несколькими чертами, нет берегов, и море с одинокой бочкой кажется нам безбрежным и пустынным».

Как точно, как абсолютно точно сказано у Маршака о том, что мы и сами всегда чувствовали, знали, слушая пушкинскую сказку, да не умели высказать,— секрет поэтической картины безбрежного моря.

Любовь к слову — вещь особая, надо быть художником по призванию, по натуре, чтобы по-настоящему знать ее. Это странная власть любимых слов, и свободная игра словом, и нечаянное счастье оттого, что нашлось, припомнилось или услышалось какое-то незнакомое, точное и редкое слово. Это как радость музыканта от свежего и сильного звучания инструмента, как радость живописца, смешавшего на палитре краски и нашедшего чистый и новый тон, цвет, оттенок...

«Поэт чувствует буквальное значение слова даже тогда, когда дает его в переносном значении,— писал Маршак.— В слове «волноваться» для него не исчезают волны. Слово «поражать», заменяя слово «изумлять», сохраняет силу разящего удара».

Но бывает, что слова истрепываются, становятся банальными. И художник снова добывает поэтические ценности из житейской прозы. Когда Лермонтов писал «Белеет парус одинокий...», парус не был поэтическим образом — в слове еще чувствовалась грубая материя, серая парусина. Но худо, говорил Маршак, когда начинают «делать из поэзии поэзию», то есть сплетать строки из тех соловьев, крыльев, роз, белых парусов и золотых нив, которые в свое время были добыты настоящими поэтами из суровой прозаической реальности.

Обо всем этом я прочитал в 1960 году в книге Маршака «Воспитание словом» и написал небольшой отзыв в журнале «Новый мир».

И вдруг мне передают: Маршак прочитал рецензию и немедленно хочет видеть меня, просит позвонить по телефону. Я счел это простой любезностью и

не решился его беспокоить. Но на другой день телефон зазвенел на моем столе — и, подняв трубку, я услышал задыхающийся напористый голос: «Голубчик, вы, должно быть, ко мне не дозвонились, а нам обязательно нужно встретиться... Я читал вашу рецензию. Писатель всегда должен радоваться, что он прочитан. Но еще более редкая радость узнать, что ты не только прочитан, но понят... (В трубке мучительно закашляли...) Вы должны ко мне приехать... Когда? Нет, зачем же откладывать... Сегодня же...» Я пробормотал что-то насчет вечера. «Голубчик, надо ли ждать до вечера? Если вы не очень заняты, приезжайте теперь же. Через сколько минут вы у меня будете?»

Голос в трубке то слабо подхрипывал, словно жалуясь и умирая, то, окрепнув, решительно требовал от меня чего-то. И я понял, что не подчиниться ему нельзя.

Так я в первый раз был вызван Маршаком.

Найдя подъезд во дворе большого дома на улице Чкалова и поднявшись на третий этаж, я, прежде чем позвонить, постоял с минуту у двери, робея перед встречей и обдумывая слова, приличествующие такому случаю.

Но вот дверь открылась, меня впустили — в глубине узкого коридора, сжатого шкафами и вешалками, стоял невысокий старик в пижаме, домашних туфлях и нетерпеливо покашливал. «Самуиль Яковлевитч, пойдите в комнаты, ви простудитесь!» — закричала с порога впустившая меня женщина. С седыми буклями, в очках, она имела вид необыкновенно строгий, а легкий немецкий акцент еще подчеркивал эту ее суровость. Но Маршак, не обращая внимания на предостережения, шел прямо ко мне. Я засуетился, закрывая дверь, повернулся к нему спиною и долго не мог закрыть незнакомую мне задвижку, а потом, сообразив, что надо поздороваться, как-то боком подал ему руку. Маршак очень серьезно пожал мне руку, склонив набок большую, тяжелую голову и глядя прямо в глаза, и вдруг с неожиданной между незнакомыми людьми нежностью обнял меня — и мне показалось, что я уже прежде бывал в этой квартире, знаком с Маршаком тысячу лет и просто мы давно не видались. Эта откровенность чувств, нетерпеливая искренность поразили меня при первой встрече.

Он помог мне раздеться и, шаркая туфлями, про-

вел в кабинет. Я сел на истертый кожаный диван — пружины подались и потопили меня в нем, а Самуил Яковлевич расположился напротив в кресле у письменного стола и закурил. Я огляделся в комнате: полукружьем обнимали стол книжные шкафы, тускло светили на полках корешки книг, старинные часы стояли на подоконнике.

Маршак задал мне два-три быстрых вопроса и заговорил сам, припоминая что-то к случаю, обращаясь к историческим примерам, цитируя свои и чужие стихи и прерываясь затем лишь, чтобы бросить в пепельницу потухшую в руке папиросу, закурить новую и, кстати, заглянуть собеседнику в глаза, как бы требуя немедленного подтверждения сказанному: «Правда, милый? Вы тоже это замечали?»

Маршак говорил неутомимо, временами задыхаясь и подхрипывая, и с удивительной правильностью русского — на старинный интеллигентный лад — говора с особенным, «петербуржским» произношением четкого «ч» в словах «что», «конечно», «чтобы». Три, четыре, пять часов подряд он рассуждал о пользе научно-популярных книг и о том, как трудно переводить Блейка, об аллитерации в поэзии и о жанре баллады, о Лермонтове и Маяковском, о поэтах «озерной школы» и Козьме Пруткове, о том, как понимать смысл выражения «руководить литературой», и о том, что пишут ему ребята из Норильска.

Легко было заметить, что Маршак не избегает тем бытовых, повседневных, но к разговору его не прилипал сор будничности. И не то чтобы он старался поддерживать высокую и умную литературную беседу. Нет, просто он не стеснялся говорить о существенном, потому что мысли о литературе и жизни занимали его не в специально отведенные для этого часы, а постоянно жили в нем, составляли часть его существа и с необходимостью выплескивались в разговоре.

С досадой рассказывал Самуил Яковлевич о том, как он познакомился со знаменитым американцем Стейнбеком, хотел поговорить с ним о литературе, но разговор решительно не удался. «Что-то вы, русские, всё о вечности хлопочете, а разве это нужно?» — «А что нужно?» — спросил Маршак. «А надо пиво пить»,— со скептическим вызовом сказал Стейнбек, смертельно разочаровав и обидев своего собеседника.

Как я вскоре понял, разговор, в котором оттачиваются и проверяются выношенные мысли, внезапно возникают новые, был для Маршака формой творческого труда. И такой же внутренней потребностью было для него немедленное чтение вслух всего им написанного. Привычка к коллективному обсуждению, проверке не только на глаз, но на слух своей и чужой работы родилась у него, возможно, еще в годы редакторской деятельности в Ленинграде, да так и осталась на всю жизнь.

«Голубчик, давайте почитаем стихи... Я тут кое-что написал за последние дни. Вам не будет скучно?..» — сказал он в первую же нашу встречу и стал ворошить бумаги на столе, разыскивая нужную рукопись. Он раскрывал какие-то папки, вытаскивал наугад листки и от нетерпения никак не мог найти того, что хотел. В досаде на свою беспомощность нажимал кнопку звонка, приделанного к его письменному столу, вызывая своего секретаря и домоправительницу Розалию Ивановну, ту самую строгую женщину, которая встретила меня в коридоре, и, не дождавшись немедленного ответа, звонил снова, с силой давя на кнопку и еще крича вдогонку, чтобы усилить действие звонка: «Ну где же вы пропали, Розалия Ивановна?» — «Да что вы трезвоните, я давно здесь, Самуиль Яковлевитч»,— говорила Розалия Ивановна, возникая на пороге, и мгновенно находила потерянную в хаосе стола рукопись.

Маршак склонялся над столом, подносил листочки к самым глазам и начинал читать новые переводы из Блейка или оригинальные свои стихи. После каждого четверостишия он близоруко взглядывал на меня, как бы проверяя реакцию слушателя, и быстрыми вопросами поощрял к высказыванию: «Правда, мужественно?», «Милый, а это дошло?».

Должен сознаться, меня поначалу немного обижало это его слово: почему он думал, что его стихи могут «не дойти» до меня? Но, узнав Маршака ближе и привыкнув к нему, я понял, что в его нетерпеливом возгласе не заключалось, по существу, ничего обидного: спрашивая так, он волновался и за себя — удались ли ему на этот раз стихи настолько, чтобы читатель, слушатель вполне понял его.

Я счастлив, что слышал в чтении Маршака многие только что написанные им строфы, в частности те чет-

веростишия и восьмистишия, которые он назвал потом «Лирическими эпиграммами». Но я не мог лукавить и в иных случаях говорил: «Самуил Яковлевич, это мне кажется послабее». Он огорчался, потухал, иногда начинал сердиться. «Да? А это самое важное для меня четверостишие,— говорил он голосом, в котором слышалось страдание.— Вот вам не понравилось, а ведь здесь самая дорогая для меня мысль». В первый раз, когда это случилось, я был страшно смущен своей глухотой, невосприимчивостью и почувствовал, что проваливаюсь, погибаю в его глазах. «Самое важное», «самое дорогое», а я не оценил, не понял! Но когда я услышал то же и о другом, и о третьем стихотворении — я догадался, что все только что написанное им было для него в эту минуту особенно важным, и уже не боялся прямо говорить о том, что мне нравилось меньше или вовсе не нравилось.

Среди последних лирических эпиграмм Маршака есть такая:

Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, словно птицы.
И я остался автором одной
Последней, недописанной страницы.

К новорожденным своим строчкам Маршак относился с материнской ревностью и нежностью. Прочтя вслух свое стихотворение, он нередко передавал рукопись мне и требовал, чтобы его прочитал я, и, почти всегда не удовлетворившись моим чтением, сам читал, уже в третий раз, словно проверяя и взвешивая на незримых весах каждое произнесенное слово.

Первая встреча с Маршаком ошеломила меня: столько разговоров о литературе, поэзии, блестящих наблюдений, острых характеристик, неєношенных слов. И все это — для одного меня! Мне казалось, что я попал на этот пир мысли незаслуженно и случайно, по счастливому билету судьбы. Но недолго я чувствовал себя избранником.

Время от времени, пока мы разговаривали, звонил телефон. Маршак жадно хватал трубку — и голос его становился умоляющим: «Голубчик, я очень вас жду... только не сегодня... А завтра с утра вы можете?» Как я вскоре узнал, он не любил застольных общих разговоров: три-четыре человека было для него уже много,

он предпочитал оставаться с собеседником наедине. Уходя от него, можно было встретить на лестнице или во дворе С. Рассадина, В. Берестова, Е. Винокурова, которые, подобно мне, в назначенные часы приходили поговорить с ним, или, вернее сказать, его послушать.

Так я мог убедиться, что счастье подолгу говорить с Маршаком привалило не мне одному. Но не о том я думал, покидая в первый раз его дом. Уже в передней, прощаясь, он вместо привычного «Приятно было познакомиться» сказал, снова смутив меня своей стремительностью: «Знаете, я вас полюбил. Вы еще придете ко мне?»

И я стал бывать у Маршака. Я приходил к нему и просто так — погостить, побеседовать, и по делам, как редактор его статей в «Новом мире», где я вскоре начал работать. Сколько счастливых часов провел я на старом кожаном диване, слушая Маршака, и о чем только тут не было переговорено! Теперь я жалею, что так скудно и редко записывал его слова и многого уже не могу восстановить в памяти.

А все-таки я решил: соберу все, что когда-либо записал или вспомнил, и как есть, без очереди и порядка, перенесу на бумагу — быть может, эти отрывочные записи дадут хоть слабое представление еще об одном жанре, в котором Маршак был так щедро талантлив — о разговоре Маршака.

— Как вы думаете, что, если затеять в Детгизе серию — «Биография книги»? Это будет литературоведение, но не вполне обычное. Можно взять «Дон Кихота» или «Героя нашего времени» и рассказать, как была задумана книга, как она писалась, какое впечатление произвела на современников, какова ее судьба в потомстве — словом, описать всю ее жизнь до наших дней. Только вот кто это сможет сделать? Андроников? Бонди? А еще кто?

У нас вообще мало научно-популярных книг для детей. Редко переиздают и то, что было сделано нашей ленинградской редакцией в тридцатые годы,— Ильина, Бианки, Житкова, «Китайский секрет» Данько, «Солнечное вещество» Бронштейна... А какие могли бы быть книги о животных, растениях, подводном мире, новых открытиях физики... Когда-то я задумал

что-то вроде библиотеки знаний для детей, даже составил проект и повез в Сорренто Горькому. В школах тогда были педология, «бригадный метод», и я думал: школы учат плохо, так пусть учат книги.

— У нас забыли, что такое баллада. Называют балладой посредственные стихи, повесть, даже роман страниц в шестьсот... Я понял, что такое баллада, когда начал переводить англичан. Это не аристократический жанр, как можно подумать, читая Жуковского, а разговор, короткий рассказ при встрече на улице или среди друзей в таверне, за кружкой эля.

Английская народная баллада — проста, естественна, как и английский детский фольклор, который я очень люблю. Англичане догадались собирать его и собирают уже лет триста. А сейчас уже есть роскошные оксфордские издания детских считалок, рассказов и песенок. И, боже мой, что там говорят дети! Они честят на чем свет стоит своих учителей, школьные порядки, литературных героев, которые навязли у них в зубах, королей, рыцарей, да что там — святыню английской истории короля Артура! Какая там английская чопорность!.. И никому в голову не приходит, чтобы это было дурно.

— Я всегда ценю конретность, материальность в искусстве. Надо знать, как люди едят, пьют, одеваются, работают. В наш век известный уровень физиологической точности просто необходим. Без сугубой натуральности, даже физиологии человеческих переживаний литература может показаться беллетристикой. Нужна абсолютная точность ощущений. Но серьезный писатель помнит, что кроме ощущений есть чувства!

— Вчера в газете прочел стихи, в которых в рифму сказано, что быть стилягой — плохо, а пенсионером — хорошо. И автора этого печатают, называют поэтом... Надо бороться с властью призраков. Собакевич мертвых расхваливал как живых. Если человеку разрешили надеть штаны с лампасами и погоны с

крупной звездой, ему начинает казаться, что он и внутри стал генерал: был просто человек, а тут — генерал. То же с плохими писателями — они думают, что, если их печатают, значит, и вправду они существа особые, что-то в них есть такое, какое-то писательское «вещество». А там ничего нет, одна призрачность, «козьмапрутковское» глубокомыслие. Как в этих стихах, которые вы наверняка не слышали.

И Маршак прочел с видимым удовольствием:

Vis-à-vis с моим окном
Два окна виднеются.
Вижу я, в окне одном
Что-то часто бреются.

Каждый день все тот же вид —
Бреют, бреют, бреются,
Прямо мочи нет — тошнит,
Что за дрянь там деется.

Я предался весь мечтам:
Может быть, имеется
Там цирюльня? Ибо там
Что-то часто бреются.

И от Фильки моего
Я узнал: имеется
Там цирюльня. Оттого
Там так часто бреются.

— Вы знаете, это подлинный Прутков и нигде еще не опубликованный,— сказал Маршак с оттенком гордости гостеприимного хозяина, сумевшего продемонстрировать гостю такую редкую вещицу.— Но не находите ли вы, что многие современные стихи сами кажутся скверной пародией на Козьму Пруткова? [1]

— Не следует обольщаться тем, что вот вы поняли что-то важное и громко высказали это и все тут же согласятся с вами, начнут жить иначе, поступать, как нужно. Так не бывает. Надо раскладывать костер, а огонь упадет с неба.

---

[1] Как я узнал от сына поэта И. С. Маршака — это неизвестное стихотворение К. Пруткова, в подлинности которого Маршак не сомневался, было передано ему сыном со слов филолога и переводчика Ф. А. Петровского, в прошлом близкого знакомого семьи Жемчужниковых.

— Критики делят меня на детского поэта, переводчика, лирика — и не видят, что я один и тот же и в детских стихах, и в переводах, и в своем... Настоящая поэзия требует всего человека, и я не соглашусь с Толстым, когда он говорит, что писать стихи в рифму — это все равно что пахать, а самому идти за плугом и пританцовывать. Но каждый поэт должен в глубине души чувствовать ущерб от того, что не занимается хлебопашеством.

— Ну вы-то в счастливом положении, ваше хлебопашество — детские стихи,— сказал я.

И Маршак, обычно ревниво отстаивавший первенство своей лирики, вздохнул и неожиданно легко согласился со мной.

— В искусстве нужна сосредоточенность. Нельзя писать на ветру. Этого не понимают наши молодые поэты, они работают небрежно, на моду. А в России мода всегда распространялась как-то особенно легко. Может быть, потому, что Россия равнинная страна — и оттого в ней простор для всяких эпидемий...

— Вчера занимался своей статьей (С. Я. работал в то время над «Беседами о мастерстве» для «Нового мира») и придумал несколько недурных определений. Знаете, кто такие формалисты? Это люди, которые еще не овладели формой. А кто самый крупный у нас абстракционист? (И он назвал... Никиту Сергеевича Хрущева.) Ведь он ругает абстракционистов на чем свет стоит, а сам живет в мире фетишей и абстракций.

О своем юбилее.

— Это не юбилей, голубчик, а убилей. Надо бы переменить обычай и отмечать юбилеи лет в 16—17. Тогда это будет приносить истинную радость юбиляру...

(Но, видит бог, это ему и сейчас не все равно. Он так любит быть окруженным людьми, чувствовать себя в центре внимания, что готов забыть о болезни.)

Критика наша бывает сварлива, придирчива, но если уж облюбует что-нибудь, то не скупится на по-

хвалы. А прочтешь — и видишь: не на чистом масле...

«Не на чистом масле» — такова обычная у Маршака оценка полуправды в литературе, имитации подлинного дарования.

Я упрекнул Самуила Яковлевича, что в новом издании «Мистера Твистера», какое я читал сыну, многое выпущено, переделано — и к худшему, в сравнении с тем, что помню по детству.

— Меня просили переделать. В старом «Твистере» швейцары гостиниц звонили друг другу, уславливаясь, что у них нет номеров для строптивого Твистера. Так «Интурист» заявил, что американские богачи отказываются к нам ехать, ссылаясь на стихи Маршака — «там-де, в Ленинграде и Москве, все красные швейцары в сговоре — невозможно попасть в гостиницу». Пришлось учитывать этот протест,— смеется Маршак.

— Заметьте, как нагружено слово эмоциональным смыслом, ассоциациями, с ним связанными. Юрист Кони когда-то приводил такой пример: одно дело «кровь с молоком», другое — «молоко с кровью». Или еще: какие люди были «декабристы» и какие «октябристы»? Писатель должен хорошо знать ресурсы родного языка, иначе он сам себя обкрадывает... Как можно угадать из нескольких строк Демьяна Бедного? По иностранным рифмам: прокуратура — диктатура...

— Голубчик, мы все перескакиваем с одного на другое, но ведь это все об одном, не правда ли?

— Когда переводишь Шекспира, надо чаще поглядывать в окно, на живую жизнь. У меня есть перевод сонета: «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть...» Это неточная передача Шекспира, у него иначе. Я долго бился над этими строчками, стараясь понять их смысл. И вдруг случайно узнал историю одной девочки, жившей в детдоме. Ее несправедливо обвинили в воровстве, наказали, оставили без обеда. Тогда она с отчаяния и с голоду пошла и в самом деле украла на кухне немного хлеба — попалась на этом и

заявила: «Если все считают, что я воровка, пусть так и будет». Тогда я понял, что хотел сказать Шекспир:

Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
Напраслина страшнее обличенья...

Это почти точные слова той девочки.

— Настоящий перевод — не только подчинение, но и соперничество. Когда я переводил Шекспира, я думал, воображал вместе с ним и даже порой независимо от него. Часто я поступал так: переводя первую строчку, закрывал ладонью дальнейшие, чтобы, следуя воображением за Шекспиром, не спугнуть вольный ход своих мыслей,— и только потом сверял и корректировал.

Маршак любил рассказывать про ленинградскую редакцию Госиздата, о людях, которых он нашел и объединил вокруг этого дела,— о Житкове, Хармсе, художнике Лебедеве, Л. Пантелееве, К. Меркульевой, написавшей книгу про Палату мер и весов... Запомнился мне его рассказ о дебюте Виталия Бианки:

— Мне рекомендовали его как молодого человека, только что окончившего университет и подыскивающего работу по душе. Я знал о нем, что он заядлый охотник, в недавнем прошлом сын состоятельных родителей, так что легко было заподозрить в нем бездельника. Но, услыхав, что он биолог по образованию, я решил попробовать, несмотря на то, что ровно никакого литературного опыта у молодого Бианки не было. Мне вспомнился рассказ Сетон-Томпсона, в котором говорилось, что волк по утрам обнюхивает следы — это он читает свою газету. Так была задумана «Лесная газета». Вначале я помогал Бианки, он уговаривал меня поставить на первых выпусках «газеты» два имени, чего я, конечно, не сделал. В «Лесной газете» Бианки нашел себя и стал большим детским писателем.

С уважением и приязнью говорил Маршак о своих сотрудниках по редакции — Т. Г. Габбе, А. И. Любарской, Л. К. Чуковской, дружно работавших в тесных комнатках на пятом этаже Ленинградского Дома книги.

— Мы все любили свое дело. Был только один молодой человек в редакции, отличавшийся редким равнодушием. Я спросил его как-то: «Скажите, а на велосипеде вы любите кататься?» Он растерянно ответил: «Нет».— «Жаль,— сказал я ему,— если бы вы хотя бы велосипед любили... а то нельзя же ведь ничего не любить».

— Вы не слышали о Раисе Васильевой? Нет? Это была простая работница, выросшая за Нарвской заставой, одна из первых комсомолок и очень талантливая писательница. Мы с ней работали над книжкой о заставских ребятах «Фабричные-заводские». Она приходила ко мне домой после работы, и бывало так, что мы до ночи засиживались над рукописью. Однажды мы кончили работу так поздно, что я должен был сочинить расписку, чтобы избавить ее от семейных неприятностей. Там были такие строчки:

Дана расписка
В том, что Раиска,
Родионова дочь,
Провела со мной ночь.
Но чиста ее совесть,
Она правила повесть.
Ушла в семь с половиной
Совершенно невинной.

К сожалению, из этой книжки были напечатаны тогда только несколько глав, а вся рукопись была потеряна... В доме у Горького, куда часто приглашали Маршака, бывали члены правительства, крупные работники НКВД, но существовал строжайше соблюдаемый неписаный закон: во время этих встреч ни к кому из высокопоставленных лиц не обращаться ни с какими просьбами. Маршак нарушил этот запрет, отвел после ужина наркома Ягоду в соседнюю комнату и сказал ему о Васильевой: «Я не знаю, в чем ее обвиняют и что она совершила, но прошу иметь в виду только два обстоятельства: она исключительно талантлива и очень больна». (У Васильевой был, кажется, туберкулез легких.) Ягода записал все это в книжечку, обещал узнать и во всем разобраться. Но вскоре стало известно, что Васильева погибла, а единственным отголоском этой истории было то, что в пору

репрессий 1937 года Маршаку на одном из писательских собраний в Ленинграде припомнили заступничество за «врагов народа». Особенно усердствовал в этих обличениях Г. Мирошниченко, автор «Юнармии», книги, выпестованной Маршаком и переписанной им от начала и до конца.

О Горьком Маршак говорил с неизменным уважением, да и неудивительно: ведь тот дважды сыграл огромную роль в его судьбе. Первый раз, когда после знаменитого обеда на загородной даче Стасова, на котором присутствовали Глазунов и Шаляпин, а Маршак-гимназист читал свои стихи, Горький принял в нем участие и на свой счет отправил талантливого мальчика учиться и лечиться в Ялту. И второй — когда он всей силой своего авторитета поддержал ленинградскую детскую редакцию.

В конце 20-х годов рапповская критика развернула настоящую кампанию против Маршака и его сотрудников.

— Вы не можете себе представить, что тогда обо мне писали,— рассказывал Самуил Яковлевич.— «Литературная газета» печатала статьи с заголовками через всю полосу: «Против халтуры в детской литературе». Я не выдержал и уехал из Ленинграда в Сибирь, в деревню. Это был год, когда шла «сплошная» коллективизация, я мог много страшного видеть своими глазами и никогда не пожалел об этом. Возвращаюсь из Сибири поездом, совсем в невеселом настроении. Сосед по купе, инженер, читает «Правду». Я заглянул: статья Горького. А в ней такие строчки: «Нельзя... травить талантливых Маршаков...» Мы снова могли работать. Распалась наша редакция только в 1937 году, когда несколько человек из наших авторов и сотрудников были арестованы, а я в Москву перебрался. Горького уже не было в живых, некому было заступиться.

— Журнал надо вести так, чтобы каждый его раздел мог вырасти потом в отдельный журнал... Году в тридцать восьмом или тридцать девятом, когда я познакомился с Твардовским, мы мечтали с ним о своем

журнале. Как я теперь понимаю — это должен был быть нынешний «Новый мир»...

— У нас нет настоящей истории русской поэзии. А я хотел бы прочитать такую историю, написанную без ученого щегольства и малозначащих подробностей, но из которой можно было бы понять, как жила наша поэзия со времени Пушкина. Скажем, у Пушкина слова «родина» и «государство» значили еще одно — вспомните «Медного всадника», «Отчего пальба, и клики, и эскадра на реке?..» «В надежде славы и добра». Он в чем-то остается наследником восемнадцатого века, высокой гражданской оды. Другое дело Лермонтов — для него понятия «родина» и «отечество» разошлись далеко. Это «странная» любовь к родине, к родине, но не к государству.

И в праздник, вечером росистым
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Хотя и это идет от Пушкина. Вспомните: «...теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака...» Но традиция вельможного восемнадцатого века погублена Лермонтовым начисто. Личная, разговорная интонация (как в «Завещании»: «...сказать по правде, очень никто не озабочен»), психология, частный быт, даже уменьшительно-интимные словечки — «глазки», «ручки», казавшиеся прежде невозможными в поэзии... Некрасов довершит эту демократизацию поэзии, отпадение ее от «державности».

— Вы знаете Свиридова? Это прекрасный наш композитор, он пишет музыку на поэтические тексты — романсы, оратории. И, представьте, не имел никакого успеха во Франции. Новейшим меломанам чужда музыка, связанная со словом. Сейчас вообще боязнь слова, изживание его в живописи, музыке, даже поэзии. Это и есть примета модернизма.

— Настоящая форма рождается не на поверхности, а где-то очень глубоко, вместе с содержанием.

Где? — вот вопрос для психологов, для физиологов даже. Начинающих поэтов часто соблазняет звукопись, аллитерация. Но внешняя аллитерация — дело пустое. У Пушкина есть стихи, поражающие прелестью отсутствия аллитераций. Но вот Пушкин любил слово «милый», и многие его лирические стихи — совершенно непроизвольно, но не случайно, я думаю, построены на чередовании «м» и «л»[1]. Лучшая аллитерация, которую сам не сознаешь отдельно от всей музыки стиха. В одном сонете Шекспира ключевым у меня оказалось слово «думать», и непроизвольно сонет был прошит буквой «д». Когда я заметил это, то был очень удивлен и решил посмотреть, а как у Шекспира? Оказалось, у него аллитерация основана на звуке «th», соответственно английскому чтению этого слова.

— Вы что-нибудь пишете сейчас? В литературе, искусстве надо все время двигаться, иначе начнешь проваливаться в ямы. В молодости, во время путешествия за границей я видел американские мосты не из сплошного полотна, а из перекрещенных стальных полос. Сделано это было для того, чтобы лошади и автомобили не застревали. Проехать по такому мосту и не провалиться в его дыры может лишь тот, кто быстро едет. Так и нам опасно останавливаться.

...Припоминаю, записываю еще звучащие в ушах слова Маршака, его милые шутки, парадоксальные суждения, неожиданные сближения и примеры из поэзии разных веков и стран — и сознаю с досадой, как мало передает все это живую прелесть, и блеск, и остроту, и разнообразие его разговора. А ведь слышу, до натуральности ясно слышу его голос: «Это так нужно мне, голубчик, такое живое общение. Иначе я и писать не могу, лучшие мысли приходят и проверяются в разговоре».

Маршак лежит после болезни в постели в расстегнутой у ворота белой рубахе, приподнимается с поду-

[1] В самом деле, по данным «Словаря языка А. С. Пушкина» слово «милый» употреблено поэтом 698 раз (для сравнения: «дорогой» — 58, «любимый» — 47).

шек, хватает сигарету и, задыхаясь, кашляя, говорит, говорит без отдыха. Просит принести чай, но не пьет, чай стынет в стакане. Сердится, когда ему напоминают, что врачи запретили ему курить и разговаривать подолгу... Ну что толку в этих предупреждениях, если он давно не садился за письменный стол, а свободная импровизация вслух — это его способ работы.

Порою он по-детски капризен, мнителен и нетерпелив, но зато и широк, отзывчив на чужую боль и беду. Я думаю, его требовательность к близким и друзьям, иной раз стеснявшая и тягостная, имела оправдание не в одном лишь темпераменте, но во всем деятельном складе его натуры; он всегда готов был помочь, поддержать, посодействовать, а не только вяло сочувствовать доброму делу. Тронутый чужой бедой или возмущенный несправедливостью, он немедленно, яростно хватался за телефонную трубку, чтобы вмешаться и помочь. Однажды мне пришлось наблюдать, как, лежа больной в постели и набирая номера телефонов, он переполошил весь аппарат ЦК комсомола, добиваясь места в общежитии для молодого поэта. И часто слова, произнесенные слабым, но настойчивым голосом: «С вами говорит Маршак...», производили действие более решительное, чем любые формальные ходатайства и движение канцелярских бумаг.

Его готовность помочь была безотказной. Как-то я сказал, без намерения пожаловаться ему, что талантливая рукопись моего покойного товарища, которую я редактировал, застряла в издательстве. «Кому я могу об этом позвонить?» — немедленно откликнулся он.

Я говорил о том, как любил Маршак «пропеть», по выражению Твардовского, своим слушателям только что написанные им стихи или даже статью,— но и стихи других поэтов, в частности молодых, он мог читать и разбирать часами. Ему полюбились стихи Новеллы Матвеевой. Он с симпатией говорил о ней как о девочке из городского предместья, принесшей с собою поэзию пригорода. Н. Матвеева болела, ей трудно было самой приехать к Маршаку, и он, узнав по телефону, что у нее есть новые стихи, немедленно посылал за ними. Я был однажды свидетелем того, с каким волнением, ероша волосы и как-то смешно почесываясь от нетерпения, он ждал возвращения шо-

фера с этими стихами, ждал, будто срочной телеграммы. А получив их, сел в постели, схватил листок дрожащими пальцами и тут же стал читать вслух. Потом заставил читать меня — и горячо обсуждал удачи и промахи каждой строчки.

Я часто навещал его вместе с Александром Трифоновичем Твардовским, чьей дружбой он по-особому дорожил.

В дружбе Твардовский был надежен. И его отношения с Маршаком, как и с Исаковским, Аркадием Кулешовым или Соколовым-Микитовым, составляли нечто трогательно постоянное. Но в отличие от многих людей, которые не любят делиться своими друзьями, Твардовский охотно соединял, связывал, сближал людей, ему не посторонних. Узнав, что я пришелся Маршаку ко двору, он не раз уговаривал меня побывать в доме у Земляного вала вдвоем.

Тому несколько было причин: в компании веселее, да к тому же, «если пойду один, он замучит чтением стихов и поужинать забудет дать, а так мы вроде гости...», с обычным своим юмором объяснял Твардовский.

Любопытно и поучительно было наблюдать их рядом — такими разными они были, с разными привычками, традициями, опытом жизни. Сдержанный, неторопливый, редко открывавшийся на людях Твардовский и весь кипевший нетерпением, жаждавший немедленного самовыявления Маршак. Но они оказывались неизменно близки, едва дело касалось понятий, каких оба держались в литературе.

Твардовский рассказывал, что вскоре после опубликования «Страны Муравии» где-то у вешалки в Доме союзов его окликнул незнакомый человек в шубе и меховой шапке: «Неужели вы Твардовский?» А когда молодой, смущающийся поэт это подтвердил, Маршак, едва представившись, заключил его в свои объятия. Это была поистине счастливая встреча.

Маршак с его невероятными познаниями и живой памятью в разных областях культуры оказался для молодого поэта целым университетом на дому, соперничавшим по влиятельности с ИФЛИ, где Твардовский заканчивал свое литературное образование. В от-

ношении советов, касавшихся литературы, Твардовский прислушивался к Маршаку более, чем к кому-либо. Маршак в пух и прах разнес те стихи для детей, которые Твардовский писал еще в Смоленске: он имел неосторожность предложить их вниманию старшего мастера как бы по цеховой принадлежности в одну из первых же встреч. Александр Трифонович долго вспоминал беспощадно честный отзыв Маршака и его слова, что писать для детей снисходительно, как бы между делом — это все равно что посещать церковь и не молиться.

Даже в стихах Твардовского слышны отголоски литературных разговоров с Маршаком:

...Как говорит старик Маршак:
«Голубчик, мало тяги».

Разница в возрасте между ними, казавшаяся огромной в молодые годы Твардовского, постепенно стиралась, и на моей памяти они были как бы на равных. Сохраняя уважительную дистанцию, Твардовский звал Маршака на «ты», но «Самуил Яковлевич», а тот его — «Саша», при посторонних чаще «Александр Трифонович».

В последние десятилетия Твардовский был неизменным участником всех юбилейных комиссий, заседаний и чествований Маршака. В своих выступлениях на писательских собраниях и съездах он ставил Маршака в образец как мастера и труженика стиха, написал о нем блистательную статью. И по праву дружбы, в которой уже невозможно усомниться, разрешал себе подтрунивать над его чудачествами.

Александр Трифонович комически возмущался, когда Маршак вел себя по отношению к нему слишком деспотически, требовал, скажем, неукоснительного посещения своего дома.

«Знаешь, Саша, я ведь в Ялту еду, а там знакомых людей нет... пустыня... поговорить не с кем будет. Приезжай. Вот ведь к Чехову в Ялту весь Художественный театр ездил»,— жалобно сетовал Маршак. «Да ведь я не Художественный театр»,— отбивался Александр Трифонович.

Ложась в больницу или санаторий, Маршак тут же звонил Твардовскому, вызывая его к себе. «И сказал бы по-человечески,— ворчал незлобиво Александр

Трифонович,— «мне в больнице скучно, приходи», я бы и поехал. А то: «Приходи, у меня много мыслей, надо поделиться». Да мыслей-то у меня у самого до черта, не знаю, как их к делу приложить»,— усмехался Твардовский.

Заметно было, что в упрямстве Маршака было что-то, что и раздражало его, и импонировало ему как «характерность» незаурядного человека.

«Уговорите его дать в «Новый мир» статью о молодых поэтах,—говорил мне Твардовский.— Натерпитесь с ним, но лучше-то вам никто не напишет. По поводу каждой запятой будет, правда, по шесть раз на дню звонить — и все же по-своему заставит сделать. Скажет: «А почему каждая главка не с новой страницы? Вам что, для меня бумаги жалко? Для сочинений Б. и Г. экономите? И потом — почему у вас в редакции так некультурно распоряжаются шрифтами? — постепенно «входил в образ» Твардовский.— Что это? ШЕКСПИР набрано крупно, а внизу петитом, даже и не прочесть: «В переводах Маршака». Передайте вашему малограмотному техреду, что испокон века печатается вверху страницы крупно: МАРШАК, а внизу помельче: «Переводы из Шекспира».

Начав в веселую минуту показывать Маршака, Твардовский не мог остановиться — Самуил Яковлевич был любимый герой его добродушных пародий.

— Он решил, что в «Новом мире» мы должны печатать его, как в Детиздате... А ведь там что ни строчка, то целая страница с картинкой. Печатают, например, под рисунком: «Дуйте, дуйте (и уже надо листать страницу), «Ветры в поле» (еще страница), «Чтобы мельницы» (опять страница), «Мололи...» (снова страница). А он еще недоволен: «Отчего так тесно? Дайте больше воздуха под рисунком: «Дуй-» (страница), «-те» (страница), «Дуй-» (страница), «-те» (страница)...»

Но, переходя с дружеской шутки на серьезный лад, Твардовский восхищался теми же строчками как образцом содержательной звукописи: вслушайтесь, будто четыре взмаха крыльев ветряной мельницы!

Маршак в свою очередь отвечал Твардовскому нежнейшей привязанностью, но когда, случалось, нарывался на его резкое, раздраженное словцо, по-детски обижался и начинал жаловаться: «Черствеет наш

Трифонович... А ведь это опасно для поэта. Он же по природе такой нежной души человек — это у него от матери. А вчера... он был больше похож на отца». Я пытался заступиться и за отца, и за сына, говорил, что это пустое недоразумение, вызванное задерганностью, усталостью Александра Трифоновича, Маршак меня не слышал. А на другой день Твардовский сетовал: «Замучил меня наш Маршачок: иди да иди к нему, стихи, мол, почитаем. Будто мне есть когда. Целый день вчера шли ко мне на прием по депутатским делам, и как нарочно, все по квартирному вопросу, словно это я здесь квартиры раздаю. Да и шли какие-то все несчастные — калечные, хромые, косоглазые... До стихов ли тут?» Но быстро менял гнев на милость и набирал номер телефона: «Ты меня слышишь, Самуил Яковлевич? Прости, если ненароком вчера тебя обидел... Худой мир лучше доброй ссоры... Ну, конечно, приеду...»

«Да, Саша, да... Я не держу на сердце,— вздыхал в трубку Маршак.— Только уж ты не откладывай, приезжай непременно сегодня».

Твардовский, бывало, вспоминал по разным поводам пушкинские строчки:

...Схватив соседа за полу,
Душу трагедией в углу.

«Маршак любит душить стихами поодиночке,— предупреждал Твардовский.— Он вам звонил? На когда назначил? На завтра? Ну вот! А меня сегодня просил прийти. А мы его перехитрим и явимся вместе».

Я отказывался, опасаясь быть лишним в их беседе с глазу на глаз, но Твардовский настаивал, и, случалось, мы являлись в дом на улице Чкалова вдвоем. Маршак встречал нас разочарованно и только из вежливости не говорил — зачем не порознь? А Твардовский хитро прищуривался и, разминая в руках сигарету, бросал в сторону мгновенный лукавый взгляд. «Мы только что из редакции... Владимир Яковлевич даже перекусить не успел». Маршак кивал сочувственно и как будто не слышал. «Садитесь, отдыхайте, я тут кое-что новое написал...» — говорил он, пока мы рассаживались в старых кожаных креслах или на диване сбоку от его рабочего стола. После первых расспро-

сов о здоровье, о том о сем Маршак доставал свои листочки и располагался читать.

«Нет, нет, Самуил Яковлевич,— опережал его Твардовский.— Я прочел у античного лирика: прежде чем приглашать меня слушать твои стихи, умасти нас благовониями и напои фалернским вином».

«Да, да,— соглашался Маршак...— А ты уверен, Александр Трифонович, что... нужно вино?»

«Мне нет, но вот Владимир Яковлевич,— замечал, к моему смущению, Твардовский,— предпочитает придерживаться античного образца. То, что у тебя не найдется благовоний, он как-нибудь тебе простит, а вот что касается «горечи фалерна»...»

Я пытался возразить, но Маршак уже нажимал кнопку звонка, вызывая Розалию Ивановну. И в кабинет вскоре въезжал столик на колесах, на котором были искусно сервированы помидоры, яйца, зелень, колбаса и все прочее, что не могло помешать оживленной дружеской беседе.

Наступал наконец момент, когда Маршак считал возможным приступить к чтению. Заметно волнуясь, он перебирал листочки, подносил их к самым глазам и одно за другим читал свои новые четверостишия и восьмистишия, названные им потом «лирическими эпиграммами».

Твардовский слушал молча, внимательно. Когда Маршак делал паузу перед следующим стихотворением, неторопливо затягивался сигаретой, говорил: «Так. Еще». Иногда: «Берем», «И это берем»,— означало, что редакция напечатает стихи в очередном номере «Нового мира». Иногда делал короткие, быстрые замечания.

Вот Маршак читает:

Без музыки не может жить Парнас.
Но музыка в твоем стихотворенье
Так вылезла наружу, напоказ,
Как сахар в разложившемся варенье.

«Разложившемся» — нехорошо,— замечает Твардовский.— Варенье засахаривается, твердеет, а не разлагается».

«Да, да, Саша,— соглашается Маршак,— пожалуй, ты прав.— К тому же словечко скользкое: «разложившиеся элементы», уводит ассоциацию... А что, если так: «Как сахар прошлогоднего варенья»?»

Твардовский кивает, и Маршак берет в руки следующий листок.

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден.
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему,—
Как будто жить рассчитывает вечность
И целый мир принадлежит ему.

«Хорошо,— говорит после паузы Твардовский.— Я бы только одно словечко заменил».— «Какое?» — «И *целый* мир принадлежит ему». Лучше: «И *этот* мир принадлежит ему».

Маршак читает следующую «эпиграмму»:

Как вежлив ты в покое и тепле,
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в хвосте у модной лавки.

Твардовский морщится. «Самуил Яковлевич, помилуй бог, какие сейчас модные лавки? Это что-то из Грибоедова или Крылова». Маршак сопротивляется: «Нет, Саша, нет... Значит, до тебя не дошло...» — «Как знаешь...— кротко вздыхает Твардовский.— А что, если последнюю строчку так: «Или в толпе у керосинной лавки»?»

И Маршак безропотно: «Да-да, пожалуй, так лучше... Прочти теперь ты, как получилось»,— и он передает листок с выправленным четверостишием Твардовскому...

Похвалы Твардовского после конца чтения немногословны, скромны, но весомы. Похоже, что Самуилу Яковлевичу их не хватило, но все же он доволен.

От Маршака не раз мы возвращались вместе. Я провожал Твардовского Яузским бульваром до Котельников, где он жил, и по дороге Александр Трифонович говорил:

«А все же он — единственный в своем роде! Сколько людей притворяются, что им нужна литература, поэзия. А Маршак литературой живет, ничего другого ему на свете не надо... Много раз я уговаривал его купить дачу, и сам он стонет, что задыхается, особенно летом — за стеклами-то Садовое кольцо... Но дачи

нет и не будет. Он жалуется, что не знает, где ее купить, как это делается и тому подобное, а на деле боится загородной жизни и с места не стронется. Предпочтет задыхаться от бензиновой вони, глохнуть от шума в центре Москвы. Но здесь телефон, его тормошат, звонят, приходят, мешают, и, поверьте, это ему сладко. На даче ему делать нечего будет — труднее кого-то зазвать, стихи прочесть, мыслями поделиться... Мне на него его шофер жаловался: заставляет «Капитанскую дочку» читать... Тот чуть не плачет...»

Этот рассказ о шофере Маршака я слышу от Александра Трифоновича уже не в первый раз. Наблюдая его муки, Твардовский из гуманности решился даже поощрить криводушие. «А ты скажи, что прочел...» — присоветовал он. «Как же, скажешь ему,— возразил шофер,— а он спросит: «А понравилось ли?» — «А ты скажи, что понравилось».— «А он скажет: «А что именно понравилось?..» В своей жажде сеять просвещение Маршак никогда не останавливался на полдороге.

Твардовский любил подтрунивать над слабостями Маршака, но никогда не делал это обидно: в его комическом отражении Маршак представал как бы еще симпатичнее, человечнее, живее.

22 ноября 1963 года был редкий на моей памяти случай, когда мы сошлись втроем не у Маршака, а, напротив, у Твардовского, в высотном доме на набережной Яузы. Вместе обедали, потом пили чай за круглым столом в кабинете. Маршак читал новые переводы из Вильяма Блейка, рассказывал, какую пишет статью для «Нового мира». Твардовский делился впечатлениями от записок лечившего Некрасова доктора Белоголового, которые тогда читал. Говорили о том, какое несчастье ложь в литературной жизни, и Твардовский, достав с полки том Слепцова, вычитывал из него что-то смешное, а Маршак цитировал «Театральный разъезд» Гоголя.

В соседней с кабинетом комнате работал телевизор. Вдруг посреди мирного разговора вбежала в комнату младшая дочка Твардовского Оля и выдохнула на пороге: «Покушение на Кеннеди». Ушла и снова вернулась через 10 минут: «Скончался».

Оборвались разговоры — стало тревожно, тяжело, не по себе всем. Пошли к телевизору: на экране во-

зобновилась то ли оперетта, то ли конкурс эстрадной песни. Маршак заговорил, и оказалось, что мы, не сговариваясь, подумали об одном: что-то вдруг сдвинулось в ходе большой истории, и кто знает, может быть, война стала ближе. «А я ведь должен был с ним встречаться»,— сказал Твардовский. (Готовилась его поездка в Америку в обмен на визит к нам Роберта Фроста, и известно было, что президент Кеннеди примет его.)

Оля тихо заплакала. Твардовский ходил крупными шагами по комнате, остановился у темного окна, потом молча углубился в вечернюю газету.

«Так бывает,— нарушил общее молчание Маршак.— Жизнь ползет себе потихоньку, будто минутная стрелка, и вдруг — часы пробили». Он опустился на диван, сильнее сгорбился, уронив голову вниз, опершись подбородком на палку, и стал негромким стариковским голосом утешать Ольгу: «Не плачь, Оленька, ты еще много хорошего увидишь». И было, как всегда, от таких слов немного неловко.

Мы разъехались по домам, а спустя несколько дней кто-то из общих знакомых завел с Маршаком разговор о том, что сколько-де пустяков описывается в рифму, а события, к которым не безразличны миллионы людей, плывут мимо. «Вот убийство Кеннеди,— сказал собеседник Маршака,— ведь никто из поэтов не догадался на это отозваться...» — «Я догадался»,— возразил Маршак и стал шарить по столу в поисках нужного листка. После я узнал, что в его архиве осталось незаконченное стихотворение, навеянное впечатлениями того вечера.

«Нет, когда его не станет, не раз еще мы его вспомним»,— неизменно говорил о Маршаке Твардовский.

Последнее время недуги старости сильно мучили его, к обычной одышке и кашлю прибавилась болезнь глаз, грозившая потерей зрения, но я почти не замечал в нем следов апатии и вялости. Напротив, больной и немощный, он по-прежнему поражал своей жадностью к новым людям, событиям, книгам. Достаточно было ему узнать о новом интересном имени в литературе, как он тут же спрашивал: «А вы с ним знакомы? Что он за человек?» И немного спустя: «А почему бы

ему не познакомиться со мной? Милый, приведите его ко мне...» Он ничего не желал упустить. Стоило упомянуть при нем о какой-нибудь неизвестной ему книге, и он тут же начинал упрашивать достать ее. Так я принес ему редкое издание писем Станкевича, «Основные течения американской мысли» Паррингтона и многое другое. Я понимал, что катаракта на обоих глазах делала для него чтение почти невозможным, но просьба его была искренней — ему важно было знать, что он не прошел мимо этих книг и в любой момент может открыть их...

Последний раз мне пришлось навестить Самуила Яковлевича вместе с Твардовским 16 июня 1964 года — я вряд ли бы запомнил эту дату, если бы последующие события так часто не возвращали к этому дню мою память. А так — это был обычный вечер у Маршака с разговорами, шутками, чтением стихов, небольшим импровизированным ужином. Вначале, правда, Маршак показался мне слабее обычного, он больше слушал, чем говорил. Но мало-помалу разошелся и даже, отставив мензурку с каплями, захотел выпить с нами рюмочку коньяку, которую я сам вложил ему в руку — глаза отказывались ему служить. Он был таким же, как обычно, но временами посреди разговора тяжело закашливался, «заходился» — и становилось не по себе, вдруг чувствовалось, что мы сидим у тяжелобольного человека, а он не хотел этого знать и не отпускал нас.

Говорили о переводе «Теркина» на английский язык, о предисловии, которое Маршак написал для этого издания, о письме Твардовскому Чарлза Сноу, сообщавшего, что он собирается в Россию, где он хотел повидаться и с Маршаком, о политических и литературных новостях, о детских книжках. Маршак возмущался тем, как портят язык иные авторы детских книг, и говорил, что надо написать об этом статью. То и дело возвращался к предстоявшей ему операции глаз и волновался, что врачи откладывают ее. Все его речи, замыслы, предположения упирались в одно: «Вот снимут мне катаракту, тогда...» Казалось, он жил в ощущении того, что перед ним вот-вот откроется новая эпоха жизни: хотел продолжить «Беседы о мастерстве» и начатую статью о Шекспире, мечтал выпустить книжку «Лирических эпиграмм», собирался

осенью поехать на шекспировские торжества в Англию, поговаривал о большой статье, посвященной искусству редактора и памяти Т. Г. Габбе, надеялся посетить в Малом театре премьеру своей сказки...

Случилось так, что две недели спустя я, после короткой поездки в Таллин, возвращался самолетом в Москву. Благодушно откинулся в кресле, развернул газету «Советская Эстония» и вдруг увидел под передовой краткое извещение Совета Министров — умер Маршак...

Казалось, вчера только я обнял его на прощанье, уходя из его квартиры на улице Чкалова...

Припомнились слова Маршака — в искусстве надо ездить быстро, чтобы не проваливаться в ямы. Его поезд не подошел, медленно тормозя, к перрону, а остановился вдруг, на полном ходу. И рядом с общим горем и сожалением я испытал острое чувство личной потери, словно из моей жизни ушло что-то, чем я в обыденной нашей сутолоке забывал дорожить. Зачем когда-то за пустым делом поторопился от него уйти, а когда-то не дослушал, что он говорил, или сам мог пойти к нему, да не пошел... Поздно!

«Я САМ БЫЛ РОССИЯ...»

(И. С. Соколов-Микитов, его рассказы и письма)

— А какой рассказчик! — говорил, ероша рукой волосы и захлебываясь восхищением, мой товарищ по редакции Евгений Николаевич Герасимов, только что вернувшийся из Карачарова.— Вот это старик! Ты вообразить себе не можешь... Избушка на краю леса, Волга неподалеку... Птицы поют, он каждую знает по голосу... А дожди зарядили, мы засели у печки — и чего-чего он не рассказывал!

Герасимову была свойственна некоторая взбалмошность, импульсивность. Чутью его на людей и книги можно было верить, но и на шестом десятке лет он сохранял наивную восторженность вечного гимназиста. Говоря о поездке в Карачарово, он больше, чем обычно, размахивал руками, подхохатывал сам себе от удовольствия, заменяя связную речь междометиями («Ну... это... у-у...»), и возвращался на одно:

— А какой рассказчик!

* * *

Когда в 1962 году случай привел меня впервые увидеть Соколова-Микитова, Иван Сергеевич молчал. Твардовский заранее объявил, что ожидается дорогой гость, просил приготовить в редакции к его приходу чай, бублики и еще что-то, от чего Иван Сергеевич не имел бы сил отказаться. Знакомя меня с ним, Твардовский сам радовался, будто подарком меня дарил. Соколов-Микитов же только чуть склонил при этом голову и сильно пожал руку своей большой ладонью.

Бросалось в глаза, что он двигался по комнате и говорил как бы в другом, более медлительном ритме, чем все вокруг. Высокий, еще крепкий старик с аккуратной серебристой бородкой, с несуетливыми, верными движениями, какие заметны у бывалых охотников, он промолчал несколько часов кряду, пока находился в редакции. Лишь несколькими дружескими, полушутливыми словами обменялся поначалу с Александром Трифоновичем («Ну как самочувствие, батюшка Иван Сергеевич? Как творческий сон?» — «Да сплю, признаться, пунктиром...»), а потом устроился в кресле в углу редакторского кабинета и стал посасывать свою трубочку, односложно, хоть и учтиво, отвечая на обращенные к нему приветствия и расспросы.

«Да от него слова не допросишься,— подумал, помнится, я тогда.— И этот молчун — рассказчик?»

После конца рабочего дня довольно большой компанией пошли мы в одну знакомую, пустовавшую по летнему времени квартиру. За дружеским столом Твардовский произносил самые сердечные и вместе возвышенные тосты в честь редкого питерского гостя (Соколов-Микитов жил еще в Ленинграде). А Иван Сергеевич только покряхтывал смущенно и неторопливо поворачивал донышком наливаемую ему стопку.

За весь вечер он не выронил из уст ни одной сколько-нибудь длинной фразы. Сказал только к случаю, что по соседству с Карачаровом скотный двор сгорел. Все обернулись к нему, ожидая более длительного рассказа, но его не последовало.

Со всеми он был доброжелательно ровен, но оставалось впечатление, что застолье из пяти-шести человек, среди которых были и малознакомые лица, его стесняет.

Мне пришлось сидеть в тот вечер между Иваном Сергеевичем и одним очень симпатичным и талантливым литератором, положительно влюбленным в Соколова-Микитова и незадолго до того откликнувшимся на его юбилей статьей в «Новом мире». Перегнувшись через меня с полным бокалом, он настойчиво выспрашивал у Ивана Сергеевича, понравилась ли юбиляру его статья.

Иван Сергеевич долго отмалчивался и только покряхтывал неопределенно, но, так как вопрошающий

был упорен, вымолвил наконец, вынув изо рта трубочку: «Нет»,— и опять замолчал.

Ошарашенный такой откровенностью, мой сосед по столу пытался выяснить, почему не понравилось, но внятного ответа не получил, а Твардовский решительно оборвал неловкую паузу:

— Поделом тебе. Не пытай зря ума.

* * *

Лишь годы спустя узнал я в случайном разговоре, отчего та юбилейная статья не понравилась ему, несмотря даже на искренние симпатии к ее автору. Соколову-Микитову не льстило, когда им восхищались как гостеприимным хозяином карачаровского домика, человеком с редкостной биографией, обаятельным старцем, забывая только одну вещь, что он — писатель. При всей его скромности, он не мог простить невнимания к тому, что разумел главным в себе: «Да он не считает меня писателем»,— пробурчал в бороду Иван Сергеевич.

Судьба его книг была странной. В последние годы за ним закрепилась слава детского писателя, следопыта и охотника «дедушки Микитова». Азбуки и хрестоматии для младших классов переполнились отрывками из его сочинений, описаниями природы, деревьев и трав, птиц и зверюшек. Словари русского языка горстями черпали из его книг примеры выразительной, точной и благозвучной родной речи.

Но мало кто в широком читательском кругу представлял себе настоящий масштаб таланта этого писателя и драму его несовершившейся, как загадывалось смолоду, литературной судьбы.

Литературные дебюты Соколова-Микитова одобрил такой строгий и привередливый судья, как Бунин, и позднее сочувственно следивший за его творчеством. «Рад, что вы оцениваете его прозу,— сказал Бунин одному своему парижскому собеседнику,— я ее тоже очень люблю, а многие ее не чувствуют».

Правду сказать, в свою очередь, и Соколов-Микитов боготворил Бунина. В своем творчестве он прошел многими пробитыми автором «Деревни» и «Жизни Арсеньева» тропами. Немало общего нашлось у них в воспоминаниях детства, мелкопоместного, тесно соседствовавшего с крестьянским быта, природы

равнинного русского юго-запада: Орловщины у Бунина, Калужской земли и Смоленщины у Соколова-Микитова. Да и не только в «деревенских» сюжетах легко отметить их близость. Рассказ Соколова-Микитова «Ава» (1926) о погибшей девушке-гимназистке напоминает «Легкое дыхание», «Тайфун» (1930) о смерти капитана Босса навеян «Человеком из Сан-Франциско». В тоне и духе бунинского сборника «Роза Иерихона» написан великолепный микитовский рассказ «Ножи».

Я думаю, Соколов-Микитов не подражал Бунину. Скорее Бунин открыл для него возможность художественного живописания тем и сюжетов, которые Соколов-Микитов самостоятельно нашел и пережил, но без бунинского воодушевляющего примера, пожалуй, не догадался бы сделать предметом искусства.

Фотографический портрет Бунина неизменно висел на самом почетном месте в доме Соколова-Микитова даже во времена, когда знакомство с ним не считалось большой почестью. «Убери его, Иван Сергеевич»,— дружески увещевал его как-то К. А. Федин. (В Карачарове мыли полы — ожидалось появление в качестве гостя местного руководящего лица.) «Еще станут расспрашивать, все-таки эмигрант...» — «Висел тут и будет висеть»,— миролюбиво, но твердо отвечал Соколов-Микитов.

Да, Бунин многое для него значил. Но кто хоть сколько-нибудь пристально читал прозу Соколова-Микитова, никогда не решился бы назвать его лишь подражателем пусть и прекрасного образца. Свои были глаза у этого художника и свой голос.

«Смутно, точно сквозь слой воды, помнится мне дом, в котором я родился...» — начнет рассказывать Соколов-Микитов, и мы мгновенно попадаем в особую стихию жизни, где и ритм, и образность («сквозь слой воды» — взгляд моряка за борт корабля) могли бы принадлежать, пожалуй, только ему.

Сознаюсь, я не сразу сумел оценить несуетность его прозы, способность создать яркую картину, пользуясь самым обычным синтаксисом и словарем, его умение возвращать начальный смысл затертым словам. Чуждый словесным извитиям, он мог позволить себе написать, что на круглые листья кувшинок «трепетно присаживались стрекозы». И слово «трепетно»

утрачивало свою банальность, в нем слышалось сухое потрескивание и дрожанье прозрачных стрекозьих крыл.

Для чтения прозы Соколова-Микитова нужна сродная ей сосредоточенность, неторопливость чтения. Ее нельзя читать наскоком, в метро или электричке, одной рукой держась за поручень. Ее нелепо «просматривать», пытаясь сокращенным способом вытянуть смысл страницы, лететь по строкам «партитурным чтением», перемахивая глазами абзацы. Для ее полноценного восприятия нужен запас покоя, она рассчитана на внятное чтение слова за словом.

И тогда вместе с автором мы словно застынем на светлой опушке леса, выбравшись из густой его чащи, заберем воздух полными легкими, откроем свой слух пению птиц, услышим запах нагретых июньским солнцем трав и тонкий аромат полевых цветов. А подняв глаза кверху, будто впервые увидим красоту старых сосен, следя за тем, как возносятся в небо «их темнозеленые вершины, красноватой бронзой отсвечивают освещенные солнцем, покрытые толстой корой стволы».

Поначалу глухой к достоинствам этой прозы, я стал получать удовольствие от нее, когда почувствовал у Соколова-Микитова какой-то свой способ живописи, очень скромной, но безукоризненной в средствах. Его краски берутся не с посторонней палитры, пусть там и «индиго» и «киноварь», а из этой же знакомой созерцаемой природы, и небом рисуется небо, лесом — лес. Ритмы этой прозы навевают чувство покоя, неспешности, соединения с вечным временем, длительности которого и не заметишь в каждодневной суете городского дня, неумолчно стучащего метрономом.

Соколов-Микитов любил сказки, но сам, казалось, ничего не выдумывал, а лишь *припоминал*. Художника такого рода легко попрекнуть вялостью воображения. В оправдание и поддержку себе он цитировал слова старика С. Т. Аксакова: «Я ничего не могу выдумать: к выдуманному у меня не лежит душа, а я не могу принимать в нем живое участие, мне даже кажется это смешно, и я уверен, что выдуманная мною повесть будет пошлее, чем у наших повествователей...»

Яркость эмоциональной памяти на все когда-то увиденное и пережитое шла об руку у Соколова-Микитова с редкостной, щепетильной в малейших подробностях человеческой честностью. И это стало не просто нравственной опорой, но художественным стержнем его таланта.

* * *

Я уже упомянул, что с Соколовым-Микитовым меня познакомил Твардовский. У Александра Трифоновича была добродетель, встречающаяся не так часто: он умел восхищаться своими друзьями и любил ими делиться, охотно сводил людей друг с другом.

Еще не будучи знакомым с Иваном Сергеевичем, я привык его почитать, даже любоваться им со слов Твардовского. Александр Трифонович дивился его редкостной биографии: матрос торгового флота, полсвета исплавал еще до революции... Моторист на первом русском тяжелом бомбардировщике «Илья Муромец»... Солдатский депутат в Таврическом дворце в 1917 году... Отмечен смолоду Ремизовым и Буниным... В берлинской эмиграции не остался, вернулся в 1922 году в Россию... А его ледовые походы 30-х годов? А путешествия на Новую Землю?

Бывало, рассказывает Твардовский об Иване Сергеевиче и сам жмурится от удовольствия, припоминая какое-нибудь его особенно уместное словечко. Вычитывает строки из полученного письма. «Послушайте, послушайте, только он так может о себе: «Некий смирный русский человек, прошедший огни, трубы и чугунные повороты...» — и Твардовский восхищенно смеется, откинувшись в кресле.

В отношениях с Соколовым-Микитовым его прельщало, как я замечал, не только то, что оба люди смоленские, стало быть, похожее сызмала знали и помнили. И не одна лишь любовь к природе, крестьянскому обиходу, и не только особый род словесной игры, неторопливого юмора, которым Соколов-Микитов был богат и на который Твардовский особенно легко отзывался.

Надо думать, в Иване Сергеевиче Твардовского подкупала прежде всего его цельность, чуждость всему показному и минучему.

Все дела Твардовский мог отложить, отставить в

сторону, если в Москве появлялся Иван Сергеевич, ради встречи с ним. С особой охотой, как ни за кого иного, ходил ходатаем в издательства и секретариаты по его литературным и житейским делам.

Уважение к возрасту, почтенной старости, какое вообще отличало Твардовского, в этом случае было помножено на безусловный для него авторитет писателя, верного заветам большой литературы и ни разу не уронившего русское слово. Во всяком случае, в литературных разговорах он нередко поминал Соколова-Микитова, на него ссылался.

Как-то в мемуарах, печатавшихся в «Новом мире» и, на беду, в моем отделе, проскочила оплошность, не замеченная ни мною, ни кем другим из редакторов. «Братцы, вы меня позорите,— сокрушенно пенял нам Александр Трифонович.— Как это можно — «сажали рожь»?! Сажать можно картофель. Можно, пожалуй, даже сеять картофель. Но рожь сажать? Сохрани вас бог от таких ошибок. Иван Сергеевич за такую оплошность зятя своего едва из дому не выгнал».

* * *

Для Твардовского было, пожалуй, лишь две таких дружбы и два авторитета среди писателей старшего поколения, начавших еще до революции,— Соколов-Микитов и Маршак. Но, как на грех, Маршак и Иван Сергеевич были антиподы по темпераменту, по вкусам и пристрастиям и отзывались друг о друге не сказать чтобы восторженно.

«Не понимаю, голубчик, что нашел в Соколове-Микитове наш Александр Трифонович,— жаловался Маршак, смешно почесываясь где-то за ухом.— То у него деревня, то полярники, а я так и не знаю, что ему в самом деле нужно... Вы обратили внимание, даже фамилия его из двух половинок? Будто два валенка в разные стороны идут. Один валенок Соколов, другой — Микитов... Один Соколов, другой — Микитов...» И Маршак складывал ладони рук в разные стороны, наперекрест, изображая, как не в лад поспешают два валенка.

«Первый ученик этот ваш Самуил Яковлевич,— в свою очередь бурчал Иван Сергеевич.— Я ему это давненько уж высказал. Году в шестнадцатом встречались мы у Замятина. Поспорили о чем-то, я и ска-

жи, что он рассуждает, как образцовый ученик, с первой парты руку тянет. Маршак в сердцах мне ответил: «А вы — камчаточник!»

А я и в самом деле камчаточником в реальном училище был,— благодушно посмеивался Иван Сергеевич, отведя руку с трубкой в сторону.— Вечно на последней парте сидел».

Эти взаимные укоризны лишь веселили Твардовского и нимало не портили его сердечных отношений с обоими.

С Маршаком Твардовский дружил больше четверти века, они познакомились в конце 30-х годов. Дружба с Соколовым-Микитовым более поздняя; издалека он знал его еще по Смоленску, но по-настоящему они сблизились лишь в середине 50-х годов. Был один вечер на квартире ленинградского поэта Н. Брауна, о котором Иван Сергеевич любил потом вспоминать. «Какой-то случился праздник, народу в квартире собралось много,— рассказывал Соколов-Микитов.— Но Александр Трифонович как-то нашел меня, и мы просидели рядышком весь вечер». Твардовский сказал тогда запомнившиеся Ивану Сергеевичу слова: «Как это с такими глазами — и вас не расстреляли?» «А я и сам не знаю, как это получилось,— объяснял Иван Сергеевич.— Легко было и не уцелеть... Много случаев подходящих было».

Так вот и завязалась их дружба. В 1955 году Твардовский дважды ездил в Карачарово и по неделе, по две жил в избушке Ивана Сергеевича. Навещал он там его и в 1962 году, а летом 1969 года — в последний раз ездили мы с Александром Трифоновичем в Карачарово вместе...

* * *

В 1967 году Соколов-Микитов после долгих сомнений, колебаний и хлопот переселился в Москву, в просторную квартиру на проспекте Мира. Дело решило то, что его единственный внук Саша мечтал учиться в Московской консерватории, в Москве жили и родственники жены — Лидии Ивановны, а ленинградских друзей с каждым годом становилось все меньше, так и решился переезд.

Обживался Иван Сергеевич на новом месте трудно, как растение, пересаженное в чужую почву. В один из первых московских вечеров затосковал, вышел на

улицу, взял такси и один поехал по городу, знакомиться с Москвой. Глаза его в эту пору видели уже плохо. Он просил водителя проехать по главным улицам, набережным и говорить, где едут. Прислушивался к шуму улицы. Больше десяти рублей наездил по счетчику и вернулся домой.

Он привык жить близко к земле, чуять ее своими ногами, а новая квартира была на десятом этаже, под самой крышей большого дома. Первое время его беспокоило — будут ли подлетать к окну птицы. И с облегчением услышал однажды в открытую форточку писк ласточек, это немного помирило его с новым жильем.

Но не сказать чтобы часто посещало его веселое настроение. Бывало, спросишь: «Как жизнь ваша течет, Иван Сергеевич?»

— Не течет, кувыркается,— ответит он и замолчит.

С некоторых пор глаза его постоянно были прикрыты зелеными очками. Такие же носил когда-то ослепший к старости Сергей Тимофеевич Аксаков, в его век они назывались «зонтиками». Бороду, прежде небольшую и ровно подстриженную, Иван Сергеевич пустил теперь гулять по воле, и мягкая серебристая щетина, залив виски, шею и большую часть щек, почти потопила лицо. Выступал на нем лишь орлиный нос, да на высоком, чистом лбу выделялись резкие морщины. Что-то значительное, напоминающее библейских старцев было в форме его головы, широких, чуть сгорбленных плечах и всей большой фигуре.

Живописец Пластов, показывая как-то свои замечательные портреты деревенских стариков, сказал: «Старика интереснее писать, чем молодого. Молодого пишешь — хорошенькую девушку или там красивого парня — так пишешь гладкое, правильное, природой созданное лицо. И только. А старика пишешь — жизнь пишешь».

Лицо Соколова-Микитова могло многое рассказать о его долгой жизни. Красноречивым было и его молчание. А когда он вынимал изо рта трубочку и размыкал уста, то слова печатал по-стариковски неторопливо, внятно и раздельно:

— Вышел я тут на улицу. Москвичи спешат, толкаются, бегут куда-то, ну, точно тараканы. Право, как тараканы. И, кажется, ни до кого им и дела нет... Но

вот на старости лет потерял я глаза. И открылось мне новое зрение на людей. Людям приятно делать доброе. Я замечал: бежит человек задрав хвост, ничего перед собой не видит. Но вот попросишь его помочь перейти дорогу. Он остановится на бегу, хвост опустит и с большой охотой переведет тебя на другую сторону. Предупредительно так, под локоть...

Иван Сергеевич не рисковал отходить от дома за пределы своего квартала. Но как-то понадобилось ему пересечь улицу («нанюхал я тут невдалеке один ларечек»), и, пустившись в это странствие, он не заметил канавы, прокопанной вдоль улицы строителями газопровода, и повалился туда. «Лежу беспомощный и, представьте, слышу: «Давай, дедушка, руку». Прохожий случайный вытянул меня. Я его поблагодарил, дальше, мол, сам пойду. А он не отпускает, ведет под руку. Так до двери и проводил».

Я слушал его и думал: каково-то ему, путешественнику, моряку и охотнику, исходившему столько дорог, ночевавшему под звездами на палубе корабля, в стогу сена, в лесном шалаше, быть обреченным теперь сидеть вот так неподвижно в домашней байковой куртке и академической шапочке в своем полутемном кабинете...

Комната, в которой начиная с 1967 года я навещал его, частенько вдвоем с Твардовским, была и днем затемнена плотными шторами. Когда Иван Сергеевич стал слепнуть, дневной яркий свет мешал ему, резал глаза. Предметы рисовались смутными тенями.

Стояли на полках дорогие ему книги, которых он уже не мог читать, по стенам висели памятные ему вещи, которых он не мог видеть: охотничий рог и ружье, деревянная порошница, берестяной кошель из Заонежья... Тут же картина северного художника-самородка Панкова и карандашный портрет работы Пинегина. О Пинегине — сподвижнике Седова, полярном исследователе и художнике — Соколов-Микитов любил рассказывать.

Комната служила одновременно кабинетом, спальней и гостиной. Слева, отделенная ширмой, стояла кушетка, на небольшом рабочем столике у окна помещался магнитофон, заменивший Ивану Сергеевичу перо и пишущую машинку, а справа — у входной двери — овальный ореховый стол и диванчик с гнутой

спинкой. К этому-то диванчику мы и направлялись привычно, входя из маленькой передней, а Иван Сергеевич, поприветствовав нас, располагался в кресле напротив. И часами текли добрые беседы за ужином или чаем, который мгновенно сервировала хлопотливая и разговорчивая Лидия Ивановна.

— Я тут сделал маленькое открытие, как вы на него посмотрите, Иван Сергеевич? — начинал Твардовский, едва обменявшись первыми вопросами о здоровье.— Оказывается, знаменитые «клейкие листочки» были уже у Пушкина:

> ...Скоро ль у кудрявой у березы
> Распустятся клейкие листочки,
> Зацветет черемуха душиста.

А Достоевский в «Карамазовых» взял это как готовую цитату. Вот в литературе как бывает... Все связано со всем. А вы помните, как я у вас в Карачарове на прогулке когда-то спрашивал: «А не кажется ли вам иногда, что вот эта береза несомненнее... райисполкома?» А вы ответили: «А еще бы! А еще бы!»

Соколов-Микитов одобрительно хмыкает. Слова о клейких листочках вызывают у него свое воспоминание.

— Не помню, случалось ли мне вам рассказывать, благодаря чему, или, вернее сказать, кому, появился я на белый свет?

— Нет.

— А благодаря старцу Зосиме из «Братьев Карамазовых».

— Как так?!

— А так,— продолжает довольный произведенным эффектом Иван Сергеевич.— Если б не Зосима (так Достоевский старца Амвросия назвал), меня бы и на свете не было.

И Соколов-Микитов рассказывает: когда матушка его в двадцать лет надумала выходить замуж, она пошла в Оптину пустынь советоваться к старцу Амвросию. Три жениха сватались: начальник станции, молодой купчик и третий — Сергей, лесник, управляющий у калужского миллионера Коншина. За кого идти? Лесник был не слишком состоятельным человеком, два других жениха позавиднее, да к тому же Сергей старше ее на 14 лет. Амвросий посадил матушку на лавку

в скиту, где обычно принимал посетителей, расспросил ее ласково и сказал: «Выходи, Машенька, за Сергея». В первую минуту она изумилась, но дело было решено. Она вышла за Сергея, вскоре у них родился мальчик. «Это был я»,— объявлял с торжеством Иван Сергеевич.

Соколов-Микитов рассказывал, что у матери больше детей не было, но зато у сестры матери — 14 ребятишек, и двоюродные братья и сестры то и дело жили в их доме, а некоторые постоянно воспитывались в их семье.

— Вот что значит,— заключает свой рассказ Иван Сергеевич,— и в жизни все со всем связано. Так и я, выходит, связан с «Братьями Карамазовыми».

Вспомнив про Оптину, Иван Сергеевич упоминает к слову, что в 1933 и 1934 годах провел там два лета, отдыхая и работая в бывшем скиту. В сторону монастыря скит был наглухо закрыт, и выход наружу оставался лишь из кельи Амвросия — две каменные ступени вели за ограду. В самом же монастыре размещался тогда дом отдыха: висели кумачовые полотнища, гремели патефоны. Иван Сергеевич не мог привыкнуть, что прилагательное «отдыхающие» стало употребляться как существительное, и однажды приписал в объявлении о вечере танцев к слову «отдыхающие» — «бездельники».

Твардовский слушает Ивана Сергеевича любовно, внимательно. Редкость, чтобы тот так разговорился в его присутствии. («...В разговорах говорю-то, собственно, я, а вы только умно и чутко молчите — за редкими и всегда приятными исключениями»,— пишет ему Твардовский в одном из писем, недавно опубликованных.)

В старинном прямоугольном штофе на столе перекатываются разноцветные морские камушки, и по их звону, когда наклоняют штоф, Иван Сергеевич догадывался, что близок конец влаге.

— Графинчик этот волшебный,— любит пояснить он.— Наливает туда Лидия Ивановна простую воду из водопроводного крана. И, поверите ли, один день вода на камушках постоит — один градус крепости прибывает. Два дня — два градуса, а сорок дней — уже и пить можно...

Говорим о делах литературных и житейских: о за-

поздавшей в этом году весне, о видах на урожай, о литературных новостях и журнальных злоключениях.

Соколов-Микитов принимает близко к сердцу все, что рассказывает Твардовский о делах «Нового мира». Он уже привык считать себя постоянным сотрудником журнала и не пропускает мимо ушей просьбы редактора дать что-нибудь новенькое, принадлежащее его перу, или хотя бы сочинить рецензию на приметную и близкую ему по теме («Уолден» Торо, Фарли Моуэт) книгу.

Сам Иван Сергеевич предлагает свои писания журналу с большой застенчивостью, будто заранее готовя себя к возможному отказу: «Если уж только подойдет...» Впрочем, на моей памяти был случай, когда Твардовский вернул Соколову-Микитову его воспоминания о Куприне, показавшиеся не слишком содержательными на фоне тех «записок», что печатал тогда журнал. И это не только не вызвало обиды у Соколова-Микитова, но, кажется, и малой тенью не легко на его отношения к Твардовскому и редакции.

Зато как радовался Иван Сергеевич, когда порекомендовал нам рассказ о волке своего молодого друга Вадима Чернышева и мы его напечатали. В замечательном чутье к новому в литературе ему вообще нельзя было отказать. Одним из первых он отметил «Владимирские проселки» Солоухина. Еще во время войны, будучи в эвакуации в Перми, он познакомился с первыми опытами никому тогда не известной Веры Пановой и предрек ей большое литературное будущее. Однако, как я замечал, рекомендации его обычно были скромны, ненавязчивы: «Посмотрите сами, да с Трифоновичем посоветуйтесь: а что, как вам это понравится?»

...Пока мы сидим и говорим о своем, Лидия Ивановна появляется время от времени из кухни с тарелками или чайником, редко когда соглашается присесть и обычно принимает участие в разговоре стоя, заодно умело помогая Ивану Сергеевичу, который вслепую водит ножом по тарелке, нанизать еду на вилку.

Увы, Лидия Ивановна тоже совсем не молода, но оживлена, подвижна. Лицо ее почти без морщин, она улыбается мягко, и, в противность Ивану Сергеевичу, из нее не приходится тянуть слова клещами. Напротив, она заполняет разговором любую паузу, а случа-

ется, и дополняет Ивана Сергеевича своими разъяснениями и соображениями. Он выслушивает терпеливо, как она поправляет его или рассказывает гостям что-то о нем же самом, и время от времени прерывает ее беззлобно: «Врешь, врешь, Лидия Ивановна». Лидия Ивановна слегка конфузится: «Ну, что ты, Ваня...», но никогда не обижается на него и с улыбкой продолжает начатый разговор.

— Когда мы только-только поженились,— рассказывает она теперь Твардовскому и мне,— то проговорили несколько дней подряд. Потом Иван Сергеевич повез меня к себе в деревню, в Кислово. Только там устроились, и вот мой Иван Сергеевич замолчал. День молчит, два молчит. Я сначала думала не замечать. Потом вижу, он уж третью неделю не разговаривает. Стала приставать к нему: что, мол, Иван Сергеевич, молчишь? А он мне: «Да разве я молчу? А я и не заметил, что молчу...»

— Вот так и жизнь прожили,— соглашается Иван Сергеевич.— А теперь уж я без нее ни шагу.

Это сказано всерьез. А вообще-то он любит над нею подшутить, делая своих гостей соучастниками домашних мистификаций. Однажды кто-то спросил его, показав на портрет курносого властного господина в мундире с красными отворотами, висевший в столовой: «А это кто?» — «Да один близкий родственник Лидии Ивановны. Разве вы не видите — одно лицо... Пусть она сама вам расскажет»,— ответил Иван Сергеевич пресерьезно. «Ты тоже скажешь, Ваня...» — отбивалась Лидия Ивановна, смеясь. Выяснилось: на портрете, купленном Иваном Сергеевичем за бесценок в 20-е годы на Невском, изображен был Павел I.

— Лидия Ивановна — особа царской крови,— объясняет теперь неожиданно Иван Сергеевич.— Так не нальет ли она нам в этот опустевший штоф свежей водицы из-под крана?

Лидия Ивановна исчезала, и снова вязалась неторопливая беседа о старине и злобе дня, о нынешнем и минувшем. Где еще можно было услышать яркие в подробностях, не выцветшие от времени рассказы о Бунине, Горьком, Алексее Толстом, Александре Грине, Куприне, Ремизове, Шмелеве... Об английских моряках, египетских феллахах, монахах на Афоне, первых русских авиаторах...

— Спасибо, ребятки, что заехали, я с вами посидел, точно живой водой умылся,— говорил Иван Сергеевич, выходя провожать нас в переднюю.— Ведь как я уехал из Ленинграда, вокруг меня совсем мало людей осталось.

Обнимал Твардовского, потом меня. Крепким, сильным было рукопожатие его большой руки.

Не решусь сосчитать, сколько раз ездили мы так вместе к Ивану Сергеевичу. Делились и радостью и невзгодами, пытались приподнять его дух, да и сами, признаться, отдыхали душой в его тихом темном гнезде под облаками.

Привозили ему, бывало, свежевышедший номер журнала, где, случалось, печатались и его сочинения. А однажды под Новый год Александр Трифонович сюрпризом доставил в багажнике машины облюбованную им на дачном участке и собственноручно срубленную с утра молоденькую елку. Когда ее развязали, елка расправила в тепле свои ветки и, пока мы сидели, залила всю комнату лесным духом.

— Какой же старик редкостный,— восхищался Александр Трифонович на обратной дороге.— И писатель, достойный самого высокого уважения... А мог бы быть вообще в первом ряду во всей русской литературе двадцатого века, если б... если б от своей темы не ушел.

Твардовский разумел «деревенскую» прозу Соколова-Микитова 20-х годов, которую высоко ценил. Мы часто говорили о том, как точно видел и понимал Соколов-Микитов ушедшую в прошлое русскую деревню. После Бунина он, как никто, умел показать разнообразие ее типов, поэзию ее труда и жестокость быта, может быть, потому, что занимал по отношению к ней как художник выгодное положение. Его взгляд не был взглядом «городским», со стороны, или «барским». Но отличался и от мужицкого взгляда большей свободой обзора, поэзией созерцания, невозможной при непосильном крестьянском труде.

В благодарную память Соколова-Микитова запали с детства калужские светлые леса и смоленские большаки, обсаженные старыми «екатерининскими» березами, малые речки и болотца, кузницы и пуньки. Он ступнями помнил горячую белую пыль наезженной дороги; у него навечно замерла в глазах картина го-

лубого бездонного неба и ястреб-канюк, парящий в поднебесье; он не мог забыть праздник первых «зажинок», приодетых баб с серпами в руках на ярко-желтом поле; и девок на ярмарке, которые пахли «кумачом и солнцем»; и мельницу, где на мешках сидели замельщики-мужики и шумела вода на колесе...

Рассказы «Пыль», «Сны», «Медовое сено» правдиво изображали деревню в пору между гражданской войной и коллективизацией. Они принадлежали перу крупного, самобытного писателя — тут невозможно ошибиться. Помню, как восхищался «Пылью» К. А. Федин.

Но писательский дар — инструмент хрупкий, и что-то непоправимое случилось с автором на переломе к 30-м годам. После очерков об Арктике, о полярных путешествиях Соколов-Микитов попробовал вернуться к родным местам среднерусской полосы. Но деревенские люди, прежде изображавшиеся им с такой правдой, стали исчезать с его полотен. Природа, как на картинах Левитана, лишилась человеческих фигур. Слов нет, Соколов-Микитов и в пейзажных зарисовках оставался большим мастером, но обещанное в сборниках 20-х годов так сполна и не осуществилось.

Отмечая это с горечью, Твардовский пробовал объяснить тайный драматизм писательской судьбы Соколова-Микитова тем, что он опытом и сердцем остался в 20-х годах...

Твардовский восхищался даром Соколова-Микитова рассказать о «теплой земле», о малой своей родине — Смоленщине. Но в 30-е годы на жизнь сельских людей Иван Сергеевич оглядывался все реже.

— Ведь вы, верно, сами не ожидали, что станете певцом льдов и торосов? — шутил Твардовский. И Иван Сергеевич кивал невесело, соглашаясь с ним.

В поздние годы он, как никто, чутко вслушивался в голоса птиц, припоминал всякую былинку и травинку, но перед попыткой понять новую жизнь деревни как бы отступил.

* * *

Признаться, мне давно хотелось побывать в летнем лесном приюте Соколова-Микитова — в Карачарове на Верхней Волге.

Первый раз я попал туда весной и дивился красоте реки, заволжских далей, просыпающихся лесов. Ка-

залось, только там, бродя полевыми дорогами и лесными тропами — к селу Плоски, в Вохрамеево и к устью речки Сучок, можно было испытать такое резкое, подлинное чувство любви к нашей природе, к полям и этим березовым перелескам, к каждому сарайчику, крытому почерневшей от дождей и засеребрившейся под солнцем щепой; к майскому ярко-зеленому лугу, на котором паслись, качаясь от пьянящего их воздуха, только что выгнанные из стойла на первую траву коровы.

Избушка Соколова-Микитова — настоящий добротный деревенский дом на высоком подклете, с крыльцом, просторными сенями и открытой терраской под навесом. Внутри дома — широкая беленая печь, на которой был нарисован бегущий заяц, и венчиком вокруг нее комнаты. В маленькую пристройку-кабинет с полками по стенам и широким окном в сад надо было спускаться по небольшой лесенке.

Жилище Ивана Сергеевича, которое он любил звать то «берлогой», то «барсучьей норой», помещалось чуть в стороне от самого Карачарова, где прежде было имение князей Гагариных, а ныне размещался дом отдыха, в котором правил гостеприимный и хозяйственный Борис Петрович Розанов — племянник и добрый друг Ивана Сергеевича. Еще сохранились живописные усадебные постройки, расположенные по берегу Волги, старый гагаринский парк и необыкновенное в своем роде по красоте сооружение — старинный сенной сарай, встречавший вас при въезде в усадьбу. Крытый осиновой щепой и напоминавший по форме планетарий, он высоко возносился своим серебристым куполом.

Иван Сергеевич, давно в лес не наведывавшийся, подробно и придирчиво расспрашивал, начал ли распускаться дуб, какие птицы слышны в парке. Я сказал, что слышал кукушку. Иван Сергеевич только головой покрутил: «Нехорошо. Кукушка на голый лес кукует — к голому году».

Уже лишившийся возможности ходить по лесу, видеть и наблюдать, Иван Сергеевич продолжал общаться со зверями и птицами — и не только воображением и памятью. К порогу карачаровского домика слетались и садились на ветви сада птицы, которых он узнавал по голосам, а к крыльцу как-то повадилась

ходить лиса. Он рассказывал и про лося, которого нашли однажды за металлическими прутьями ограды, отделяющей его сад от другого участка с куда более роскошным строением. Лось был найден мертвым, с пропоротым брюхом. «Все быстро про это забыли,— говорил Иван Сергеевич.— А я нет-нет да и вспомню об этом лосе».

В августе 1969 года мы с Твардовским и И. А. Сацем по давнему уговору провели в Карачарове у Ивана Сергеевича два или три дня. В темноватой «келейке», куда вели ступеньки вниз, Твардовский читал тогда новые главы своей поэмы. Потом ужинали, разговаривали, пели русские песни. Иван Сергеевич сидел благостный, в синем домашнем костюме, с ровно подстриженной бородой — видно, ждал гостей. Но, как всегда в компании, где было больше трех человек, помалкивал. Пошел дождь, но в уютной избушке, среди добрых людей, в любую погоду хорошо.

На ночлег разместили нас роскошно, в том отделении дома отдыха, которое Иван Сергеевич с легкой усмешкой называл «дом свиданий на высшем уровне». Помню, что, когда нас развели по соседним спальням, Твардовский никак не мог уснуть и будил то меня, то Саца разговорами о том, что за редкостный человек Иван Сергеевич.

На другой день рано поутру мы купались в речном затоне. И тяжко думать, что для одного из нас это были дни прощания и с Волгой, и с карачаровским домом,— больше Твардовский уже никогда сюда не вернулся.

* * *

Снова возвращаюсь мыслью к тому, чем же так привлекал Твардовского Соколов-Микитов? Конечно же не в последнюю очередь крепкой, корневой самобытностью характера, складом натуры — добрым и суровым, в недостатках и достоинствах очень русским. Скажу, чтобы не пересахарить: он знал за ним и некоторую пассивность, и уклончивость, готовность скорее промолчать, чем высказаться, что, впрочем, в те годы, как мы его знали, могло усугубляться возрастом и болезнями.

Но Твардовского восхищала в Иване Сергеевиче его полная неспособность солгать даже в виде исклю-

чения, строгая честность любого высказывания, редкая в литературных взаимообщениях.

В присутствии Ивана Сергеевича и под его смущенное хмыканье Лидия Ивановна рассказывала, как отличился он однажды в гостях у Вячеслава Шишкова. Только что вышла «Угрюм-река», и по этому случаю в доме Шишкова в Детском Селе собралось много народу на пироги. Тут были Никитин, Зощенко, Алексей Толстой, директор Ленииздата Ионов и другие. Говорились пышные тосты в честь хозяина и гостей, а Иван Сергеевич, по обыкновению, отмалчивался. Тостами обошли уже дважды весь круг стола, когда хозяин или хозяйка стали понуждать Соколова-Микитова высказаться. Он долго не отзывался на это, но в конце концов поднялся с рюмкой в руке. «Не знаю, что тут говорить полагается...» — «А вы скажите как есть, что вы о ком думаете, Иван Сергеевич»,— искушали его. Он и пошел по кругу, начав с хозяина. «Вячеслав Яковлевич, что говорить, теплый, приветливый человек, и писатель редкий... Михал Михалыч (Зощенко) — тоже человек талантливый и хороший... А вот N (и он повернулся к одному из присутствующих) — недобрый человек и пишет неискренне, а NN...»

«И тут все замерли,— рассказывала Лидия Ивановна,— я его под столом коленкой толкаю, а мой Иван Сергеевич всем по порядку кто чего стоит объявляет, и пока весь стол не обошел, на место не сел. Тишина настала мертвая... Потом все стали чокаться, пить здоровье Ивана Сергеевича. Я тихонько ему говорю: «Ваня, что ты наделал! Теперь с нами и кланяться не будут». «Вот и хорошо»,— отвечает он мне. Пошли мы в переднюю одеваться, и вдруг все бросились за Иваном Сергеевичем ухаживать, а NN, про которого он хуже всех сказал, вперед забегает: «Пожалуйста, вашу шубу, Иван Сергеевич».

Соколов-Микитов был добр, но нельзя сказать, чтобы благодушен или пресен. Неторопливые шутки его, случалось, оказывались ядовиты, и озорной огонек посверкивал порой за темными стеклами очков.

Роман Гуль, знакомец Соколова-Микитова по Берлину 1921—1922 года, принял его обычную молчаливость, отсутствие суесловия за скрытность: «И. С. был хитер, как лис, скрытен, как волчья яма, по-мужиц-

ки недоверчив ко всему»,— написал он. Этой характеристике нельзя отказать в яркости, но я думаю, она несправедлива. Доверчивость Ивана Сергеевича казалась мне иногда почти детской, а его откровенность — коли уж он размыкал уста — ошеломляла.

Другая сторона нрава Соколова-Микитова, особенно Твардовского привлекавшая,— это отсутствие в нем суетности, всякого намека на афишу и рекламу. Ему претили «высокие» словеса, он испытывал брезгливость ко всякому «себяустройству» и в отношении утех тщеславия был пуританином.

«Трона возжелал»,— усмехнулся он в бороду по поводу административных притязаний К. А. Федина, своего литературного сверстника.

А о молодом поэте коротко обронил:

— Хлестаков.

— Что вы, Иван Сергеевич,— попробовал кто-то заступиться,— он человек искренний.

— Да ведь я и говорю, нет искреннее человека, чем Хлестаков,— отозвался Иван Сергеевич.

Соколов-Микитов заслужил право нелицеприятного суда всей своей жизнью. Был он великим терпеливцем. На его долю выпало много горя, личные несчастья преследовали его. Он перенес их с молчаливым достоинством, и никто не знал, чего это ему стоило. И уж никогда не кружилась у него голова от своих успехов. Он как бы воплощал в себе те качества, о которых писал как о лучших свойствах народного характера Твардовский:

Горевать — терпеливо,
Не клонясь головой.
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой...

Твардовский угадал в Соколове-Микитове ту служившую и ему главной опорой жизни любовь к России, к родной земле и ее людям, которая стыдится слов громких и натужных и не терпит самодовольного хвастовства всем «русским».

«Слово «родина» звучит для меня книжно,— написал однажды Соколов-Микитов.— Я чувствовал неразрывную связь с живой Россией, видел доброе и злое, исчезавшее, что можно было жалеть и любить. Но никогда не чувствовал я пылкой трагической любви, ни-

когда не волновал меня возглас петербургского поэта: «Россия! Нищая Россия!» Я знал и видел Россию кровью моего сердца; жестокие, трагические недостатки, пороки, которыми болел народ, я чувствовал в самом себе. Но, как, быть может, у многих русских, не утративших способности отдавать свое сердце любви, Россия была для меня тем самым миром, в котором я жил, двигался, которым дышал. Я не замечал этой среды, России, как рыба не замечает воды, в которой живет; я сам был Россия, человек с печальной, нерадостной судьбой...»

Что это — осанна или отречение, безмерная скромность или величайшая гордость? Я думаю, такая гордость и такое достоинство, что не терпят пышнословия и хвастовства родной землею.

Пришедший к нам из другого века с его традицией правдивого слова, Соколов-Микитов пережил большинство своих современников и высился где-то в стороне от шумных проезжих дорог, как одинокое, дуплистое и кряжистое дерево, овеваемое всеми ветрами нового столетия.

Как я жалею теперь, что редко навещал его в Карачарове! А ведь, уезжая туда на лето, он не уставал зазывать к себе. Порою я получал от него немногословные, сохранявшие живое тепло его интонации письма.

1

5 июня 1968. Карачарово

Дорогой Владимир Яковлевич!

Краткое письмецо это посылаю Вам с Мишей[1], который меня навещает. Сижу в Карачарове в моей барсучьей норе. По ночам слушаю, как в соседнем поле дерет дергач от зари до зари, не передыхая. Никто ему за это не платит и не дает наград. Воистину: дергач — это звучит гордо! Эх, хорошо, если бы Вы с Александром Трифоновичем выбрались навестить меня в моей норе, памятной А. Т. по недавнему прошлому.

Здесь я пытаюсь немножко работать, диктовать

[1] М. М. Дунаев, мой ученик по МГУ, одно время помогавший Ивану Сергеевичу в качестве секретаря.

жене всяческие лесные пустяки. Быть может, кое-что пришлю в «Новый мир». Авось напечатаете. Дружески жму руку. Буду рад, если напишете мне два-три слова.

Душевно Ваш

И. Соколов-Микитов

2

8 августа 1968. Карачарово

Дорогой Владимир Яковлевич!

Посылаю Вам привет, поклон и несколько маленьких рассказов под общим названием «Звуки земли». Боюсь, что эти скромные рассказики не подойдут для серьезного толстого журнала. Но кто знает? Писал же Аксаков записки об ужении рыбы, о птицах. Ежели рассказики не подойдут, в обиде не буду. Верните их Мише, которому я поручил побывать у Вас. Он расскажет Вам о моем житье-бытье.

Что делается у Вас в «Новом мире»? Где Александр Трифонович? Очень хотелось бы повидать вас обоих в карачаровской барсучьей норе. Удастся ли?

Крепко жму руку

И. Соколов-Микитов

3

7 июня 1969. Карачарово

Дорогой Владимир Яковлевич!

Спасибо за дружеское, доброе письмецо. Сидим в нашей карачаровской берлоге. Погода как будто наладилась, но на душе прежний мрак. Пытаюсь кое-что диктовать о давних встречах и временах. Не знаю, что получится, а хочется рассказать о прошлом, о добрых людях, о русской природе.

Рад, что крошечный мой рассказик Вам понравился [1]. Признаться, я не решался давать его в «Новый мир». Напишите, пожалуйста, будет ли он у вас напечатан.

Как здоровье Трифоновича? Передайте ему наш сердечный привет.

Душевно Ваш

И. Соколов-Микитов

---

[1] Рассказ «Вертушинка», напечатан в № 9 «Нового мира» за 1969 г.

В «Вертушинку» я добавил несколько строк, и, если «Вертушинка» будет печататься, Лидия Ивановна перепишет и пришлет их Вам.

4

23 июня 1969. Карачарово

Дорогой Владимир Яковлевич!

Посылаю последнюю страничку «Вертушинки» с очень немногими добавлениями. Благодарю за доброту, дружеское письмецо. По-прежнему сижу в моей карачаровской норе, обрастаю барсучьей шерстью. На свет почти не выползаю. Ночами почти не сплю. Живу воспоминаниями. Но как тяжки подчас эти воспоминания!

От Трифоныча получил недавно бодрое письмецо. Рад, что все кончилось благополучно. Радуюсь и тому, что Ваш славный корабль продолжает свой путь, минуя подводные и надводные рифы. Прошу передать наш привет друзьям-новомировцам. Дружески обнимаю.

И. Соколов-Микитов

Если возможно, пошлите, пожалуйста, в Карачарово седьмую книжку «Нового мира», когда она появится на Божий свет.

5

1 июня 1971

Дорогой Владимир Яковлевич!

Пишу Вам из Карачарова. Кругом весенняя грязь. Светит яркое солнце. От яркого света у меня болят глаза. Днем никуда не выхожу. Бодрствую по ночам на барсучьем положении. Живу далекими воспоминаниями.

Как живете Вы? Каков Трифоныч?

Шлем Вам и семейству Вашему сердечный привет. Буду рад получить от Вас письмецо.

С дружеским приветом

И. Соколов-Микитов

6

23 июля 1972. Карачарово

Дорогой Владимир Яковлевич!

Давным-давно собираюсь ответить на Ваше дру-

жеское письмецо, да таково нынешнее лето. Изнываем от духоты, от дыма торфяных пожаров. Со здоровьем неладно. Живу в темноте и пустоте. Питаюсь воспоминаниями, но как подчас тяжки эти воспоминания. Хотелось бы повидаться и побеседовать с Вами, пропустить малую чебурашку.

На этих днях уедут в Москву наши летние гости. Останемся куковать вдвоем с Лидией Ивановной. В Москве надеемся быть в конце сентября. Буду рад и признателен, если напишете пару словечек.

Душевно Ваш

И. Соколов-Микитов

* * *

Последнее письмо было написано уже после смерти Твардовского, и в ряду «тяжких воспоминаний» были для Ивана Сергеевича теперь и воспоминания о его уходе.

Когда Твардовский заболел, Соколов-Микитов каждые два-три дня звонил мне, справлялся о его здоровье. «Христом-богом молю, заезжайте ко мне поговорить о Трифоныче»,— говорил он в телефон.

Мы встречались, как прежде, за овальным столом, на котором стоял штофик с камешками, только уже без Твардовского. Иногда я приходил к нему вместе с И. А. Сацем, как-то привел Ф. А. Абрамова. Он скучал по свежим людям, его мало кто навещал. Но не было случая до самой его смерти, чтобы при нашей встрече он по второму слову не вспомнил бы Александра Трифоновича.

Снова и снова возвращался памятью к первым карачаровским встречам с ним. Любил вспоминать, как поздней осенью 1955 года прожили они вдвоем в комнате с печкой, где заяц нарисован, несколько дней. Гуляли по лесу, много и хорошо говорили, и только однажды едва не поссорились из-за Льва Толстого. Толковали о малых формах. Иван Сергеевич напомнил рассказ Толстого «Алеша Горшок» и слова Блока о нем как о шедевре. Твардовский же недоумевал, что в этом рассказе особенного, прибавляет ли он что-нибудь славе автора «Войны и мира», и сердился на Соколова-Микитова, который рассказ нахваливал...

Любил вспоминать Иван Сергеевич и о своей поездке с Твардовским в Заволжье, на затерянные Петров-

ские озера. Он уже описал эту поездку в одном рассказе, а все припоминал новые и не появившиеся в печати подробности и любопытно характеризовал быт жителей тех необычных мест.

«Остров, на который мы попали,— рассказывал Иван Сергеевич,— расположен среди моховых болот, и на нем всего две деревни, большую часть года оторванные от мира. Живут там хорошо, потому что клюквой торгуют, а клюквы кругом на болотах — видимо-невидимо. Порода местных людей какая-то странная — низенькие, лысоватые. Может быть, оттого, что женятся все на своих, с другого берега девушек не берут, и все между собою родственники. Детишек у них много, думаю, для того (едва заметно улыбается тут Иван Сергеевич), чтобы клюкву собирали. Клюква низенько растет, нагибаться нужно...»

Пока добирались до диковинного острова, шли по лесу, и дорогой Иван Сергеевич подшучивал над Твардовским, прятался от него за деревьями. «Трифоныч ведь из краев, где больших лесов нет,— объяснял Иван Сергеевич,— и пугался в густом незнакомом лесу. И на лодке чувствовал себя неуверенно, боялся ее опрокинуть,— в его детстве были лишь малые речки... Чтобы вызвать лодку с острова, разводили костер на берегу. Тут уж Трифоныч взял свое — умел костры жечь».

При имени Твардовского вспоминалось Соколову-Микитову и веселое, и печальное, значительное и ничтожное, но видно было, что решительно все с ним связанное, даже мелочь какая-нибудь, дорого ему.

Вспоминал, как однажды, когда сам еще водил машину, повез к себе Твардовского с дочкой Олей, и они на заднем сиденье запели в два голоса смоленские песни. Один голос тоненький, почти детский, и другой — крепкий, мужественный. «А я за рулем, и вести не мог, начал плакать».

В одну из наших встреч я подарил Ивану Сергеевичу пластинку с голосом Твардовского: «Теркин на том свете» в исполнении автора. Иван Сергеевич слушал молча, сосредоточенно, глубоко уйдя в кресло, и только зябко потирал руки, высовывавшиеся из рукавов ватного халата.

Потом сказал, помолчав:

— А я все не верю, что его нет.

* * *

Раз от разу, что я навещал его, Иван Сергеевич заметно старел, будто всякий раз опускался вниз еще на ступеньку. И чему удивляться, если настроение его по большей части было безрадостным? На привычный вопрос «Как живете?» он отвечал, покряхтывая: «Да так и живу — с колоды на пень».

В 1971 году я возил его в Институт Гельмгольца, надеясь как-нибудь помочь глазам. В записке для врачей, которую дала мне Лидия Ивановна, говорилось: «Главное — нельзя ли остановить ухудшение. И. С. терзает ужас перед надвигающимся полным мраком».

Помочь ему не удалось. Он уже едва видел свет одним глазом, а в другом — кромешная тьма. Жаловался, что, собравшись с силами, вышел во двор подышать весною и заблудился, ходил по периметру огромного двора, не мог найти свой подъезд. После этого он уж и на улицу почти не выходил — днем полеживал, ночью не спал.

— Зайцы, барсуки днем спят, а ночью живут,— объясняет он.— Вот и я с ними на одном полозу. А чем, скажите, плохие звери?.. Ночью мне хорошо. Не сплю, думаю. Завожу магнитофон — пленки из библиотеки для слепых. Есть тут «Война и мир», только самое начало, к сожалению. Есть Пушкина стихи. Послушаешь, все же какая-то пища душе. Только вот магнитофон часто портится...

— А вы бы позвали мастера,— говорю я.

— Приходил мастер, чинил, и только ушел — снова сломался. Да мастер-то скверный, из ателье «Сто медвежьих услуг».

Я не могу не улыбнуться характерной микитовской шутке: идя к дому Ивана Сергеевича, проходишь мимо здания с зазывной вывеской: «100 услуг». А Иван Сергеевич продолжает:

— Ночь для меня лучше дня. Еще неизвестно, когда люди больше зла делают — днем ли, ночью... Похоже, что днем. И вот я лежу без сна и начинаю молиться... А молитва моя такая: прости, господи, мои грехи... Я ведь две жизни прожил. Иногда оглянешься через плечо назад — в самую даль дальную мой путь идет, и весь в ухабах. Вспоминаешь пословицу: уката-

ли Сивку крутые горки. Эти вот самые горки позади я и вижу.

— Да ведь много было и хорошего, Иван Сергеевич? — спрашиваю я.

— Было и хорошее. Вот дети. Особенно хорошо, после того как уедешь далеко куда-то, в экспедицию или на охоту, и начинаешь скучать, и думаешь: «А там дети, я к ним вернусь, они меня ждут, любят». И тогда было чувство счастья. Мне об этом хотелось бы еще написать...

Тему эту я не решаюсь продолжать. Знаю, что потерял Соколов-Микитов трех своих дочерей, красавиц, «в микитовскую породу женщин». Две дочери, семнадцати и девяти лет от роду, погибли от болезней, и, с трудом пережив это, Лидия Ивановна и Иван Сергеевич все сердце отдали третьей. Она утонула в 21 год, плавая на швертботе в озере на Карельском перешейке. Рассказывают, что Иван Сергеевич двое суток простоял на берегу, будто окаменев, вглядываясь в волны озера,— не могли его увести...

Тем временем как я молча думаю об этом, Иван Сергеевич начинает говорить о слове «любовь». Оно кажется ему сравнительно новым, стародворянским, а по форме даже как бы церковным: «В народе чаще было услышать не «люблю», а «жалею». «Жалкенький мой»,— говорит мать, лаская ребенка».

К оттенкам языка Иван Сергеевич чувствителен до крайности. Его ухо еще слышит то, что уже не слышит наше. «Мы сможем вам помочь...» — сказала пришедшая делать ему укол медсестра.

— «Можем», а не «сможем»,— буркает после ее ухода Иван Сергеевич. И обращается ко мне: — Сейчас в ходу это «сможем»... «Мы сможем построить...» А русскому человеку хвастовство чуждо...

За крохотным нюансом словоупотребления для него — целая философия живой речи. Сам он долго думает, прежде чем поставить слово на его единственное место, и досадует, когда редактор этого не понимает. «Вот отдал рассказик в одну еженедельную газету, а там слова, как гробовые доски, обстругивают».

Обыкновенно немногословный, Соколов-Микитов иной раз, позвенев камушками («ну, изредка пропустишь стопку-другую, на них и держишься, как на сваях»), приходил в особенно доброе расположение

духа и начинал неспешно рассказывать, вспоминать о былом.

В сущности, все, что он писал в последние десятилетия, было закреплением на бумаге этих впечатлений своей — от дней детства и юности до недавних лет — богатой событиями и встречами жизни.

Некоторые из устных рассказов Ивана Сергеевича я тогда же записал, хоть и знал, что многие из них уже использованы им в автобиографических сочинениях. В поздние годы Иван Сергеевич мало что писал своей рукою. Он диктовал Лидии Ивановне, проверяя потом записанное на слух, не имея возможности взглянуть глазами, прокорректировать и обогатить текст многократным возвращением к написанному. Иные подробности пропадали безвозвратно. И я рискну утверждать, что в книге некоторым рассказам Ивана Сергеевича не хватало той живописности и непреднамеренности, какую сообщает сюжету счастливая импровизация разговора.

ИЗ РАССКАЗОВ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА[1]

Гимназист Боровиков

Иван Сергеевич часто возвращался памятью к этой истории начала века. Когда он учился в реальном училище, из Смоленской гимназии был исключен «за политику» старшеклассник Боровиков, называвший себя «анархистом-террористом».

Боровиков задумал покушение на предводителя дворянства Урусова, в имении которого жестоко расправились с бунтовавшими крестьянами. Гимназисты и реалисты, в числе которых был Соколов-Микитов, сложившись, купили ему два маленьких дамских револьвера. Дело было зимой. Боровиков подстерег Урусова, когда тот вышел из дверей Дворянского собрания и собирался сесть в экипаж. Он выстрелил в него почти в упор, но «человека не так легко убить, оказывается». Урусов бросился в сугроб, а юный террорист убежал. Всю эту сцену Иван Сергеевич наблюдал,

[1] Разумеется, это не стенографическая запись, а пересказ сюжета, сохраняющий, насколько возможно, манеру речи автора. В кавычки кое-где заключены его точные выражения.

стоя вместе с несколькими другими гимназистами в конце знаменитого смоленского сквера Блонья, выходившего на площадь.

На этом Боровиков не успокоился. Лежа дома на кровати, он, к ужасу своей сестры, учился стрелять, метясь в сучки на потолке. Великим постом в городе была знаменитая итальянская певица Лина Кавальери. Гимназисты в складчину купили Боровикову билет во втором ряду партера. Условились, что он должен стрелять в Урусова в первом антракте. Но что-то ему помешало. Зайдя в курительную комнату, он стал осматривать и проверять свой «велодог». Случайно револьвер выстрелил. Наудачу рядом никого не оказалось. Во втором антракте Боровиков выследил свою жертву в кружке высокопоставленной публики и выстрелил в спину. Оказалось, по ошибке он убил не Урусова, а какого-то земского начальника. В театре началась паника. Боровиков стоял растерянный, длинноволосый, с опущенным револьвером в руках. К нему подскочил поручик Сорнев, схватил за волосы, повалил, прижал к полу и несколько раз выстрелил в упор.

На дубовом паркете зала долго оставалось кровавое пятно. Танцующие на студенческих балах пары старались подальше обходить его.

Обыск

Иван Сергеевич учился в 5-м классе реального училища. Однажды провожал гимназистку, живущую на другом конце города, и возвращался домой поздно. Видит: два окна в верхнем этаже дома горят, как раз в тех комнатах, где он жил. А в дверях его уже ждал жандарм.

Под матрасом в его комнате нашли революционные брошюры. На допросе обвинили в принадлежности «к преступной организации, именующей себя российская социал-демократическая партия».

В действительности ни к какой партии Иван Сергеевич в те юные годы не принадлежал. Но в табачной лавочке, которой владел отец одного из его приятелей, собирались гимназисты и реалисты, читали запретные брошюры, спорили. Среди них были и эсеры, и «эсдеки». Но того они знать не знали, что за тонкой пере-

городкой все их разговоры подслушивал приказчик, он и донес в полицию.

Ивана Сергеевича исключили из реального училища с «волчьим билетом», он поехал в Петербург и поступил на частные сельскохозяйственные курсы. «Но не столько учился там, сколько в одну пивную на Рыбацкой улице ходил». Там свел он знакомство с полярным исследователем Сватошем, приятелем Русанова и участником его экспедиции. Сватош заразил Ивана Сергеевича своей страстью к путешествиям.

На Афоне

В 1914 году плавал Иван Сергеевич матросом на корабле «Королева Ольга», перевозившем паломников в Яффу. Так оказался он на севере Греции, в Афонском монастыре.

В первый день, как спустился на сушу, пошел в один из храмов и остановился в полутемном приделе, недалеко от дверей, слушая церковную службу.

Его тронул за плечо, заговорил с ним и пригласил к себе какой-то «сиромонах». С этим монахом пили они потом чудесную монастырскую «ракичку», и монах уговаривал его остаться на Афоне.

Там узнал Соколов-Микитов сильно занимавшую его воображение историю монаха Булатовича. В устах Ивана Сергеевича это была готовая повесть.

Булатович смолоду служил в гусарах и повторил, как рассказывали, подвиг Долохова: выпил бутылку рома, сидя на подоконнике и свесив ноги на улицу. Был разжалован за дуэль, уехал в Абиссинию, понравился негусу и стал его приближенным лицом. Много путешествовал по Африке, открыл озера, реки, хребты и именовал их по-русски.

В 1904 году Булатович вернулся в Россию, поехал на войну с Японией. Сражался храбро, получил Георгиевское оружие. И вдруг пропал. А через некоторое время, когда забыли о нем думать, объявился среди монахов Афонского монастыря.

Поднялся до больших церковных чинов. Но и тут не утерпел, возглавил какую-то ересь. Натурально, был изгнан, лишен церковного сана и жизнь доживал в своем имении в России...

Известие о начавшейся войне 1914 года застало

Соколова-Микитова на Афоне, и он заторопился домой.

Жаль, что не написал Иван Сергеевич истории Булатовича — очень это русская, «скитальческая» судьба. Но от лет плаваний по Средиземноморью остались в его морских рассказах ослепительно белые, синие, золотые краски юга. Запахи средиземноморских и английских портов — Марселя, Константинополя, Ливерпуля. Погонщики мулов, феллахи, турки в кофейнях в своих малиновых фесках, просоленные матросы и афонские пустынники.

«Еще в годы раннего детства хранил я тайную уверенность увидеть и обойти мир»,— напишет потом Соколов-Микитов. В самом себе найдет он отголосок «извечной тоски русской души о путях и далях».

Солдатский депутат

К концу мировой войны Соколов-Микитов служил мотористом в авиаотряде, летал на бомбардировщике «Илья Муромец». В Виннице, где размещался отряд, после февраля 1917-го его избрали председателем Совета солдатских депутатов.

Выбрали его, конечно, имея в виду его общепризнанную честность и добросовестность. Но начальством он никогда не умел быть, и оттого, наверное, все его рассказы об этом эпизоде сдобрены заметной долей юмора.

Едва он занял свой пост, как появились в Виннице сообщения о контрреволюционных заговорах. Надо было действовать. Первый адрес был — чайная, находившаяся под покровительством Союза русского народа. Обыскали и нашли в ней за диваном портрет императрицы. Монархическая агитация.

«А я хоть черносотенцем не был, захаживал прежде в эту чайную и знал, что при проклятом царском режиме портреты царя и царицы всегда там висели. Ясно, что хозяин чайной, напугавшись, их спрятал. Так злоумышленников и не поймали».

Пошли по второму адресу — к сапожнику, хранившему будто оружие. У него тоже, кроме сапожного ножа, ничего не нашли. Так и вернулись ни с чем.

«Я ба-а-альшое начальство был. Как-то вбегают ко мне солдаты и говорят: генерал удрать хочет. А гене-

рала мы берегли, потому что в русской авиации было тогда всего два генерала — по одному на авиаотряд... Когда солдаты ко мне с этим известием прибежали, я спал. Тут проснулся, голову с подушки слегка приподнял, говорю: «Задержать его» — и снова уснул. Генерала задержали, когда он уже в машину садился. Меня потом за решительность благодарили».

Депутатом от солдат приехал Соколов-Микитов в 1917 году в Петроград, заседал в Таврическом дворце. Жил он тогда на квартире у А. М. Ремизова, с которым еще до войны познакомился и которому многим в литературном смысле считал себя обязанным.

На Новой Земле

Я уже упоминал, что на стене комнаты Ивана Сергеевича висела картина северного художника Панкова: примитив, созданный без знания законов перспективы, но с поразительным чувством цвета и чудесной непосредственностью: речка, чумы, олени и люди на берегу, а над ними голубые холмы.

Иван Сергеевич стал рассказывать о Панкове и вспомнил Тыко Вылку. Он был у него в гостях, когда путешествовал по Северу.

Тыко Вылка еще до революции прославился своим искусством, ездил в Петербург и был представлен в Зимнем дворце царю. А после революции возглавил Советскую власть на Новой Земле. «Сидели мы, разговаривали в его доме, смотрю и глазам не верю: в красном углу икона в серебряном окладе, под нею лампадка горит, все чин чином. И вдруг замечаю: вроде бы на меня не Николай-угодник смотрит, а какое-то другое лицо. Присмотрелся: да ведь это Михаил Иванович Калинин!»

На Новой Земле есть залив Соколова-Микитова, названный так в честь странствий Ивана Сергеевича.

Бродя там по берегу среди плавника, выброшенных волной мокрых бревен, Иван Сергеевич нашел как-то детский кораблик-игрушку, приплывшую из Норвегии. Другая его находка была и того интереснее: на берег выбросило бронзовое яйцо с двумя трубками по концам. Нашлась там записка: американская экспедиция, шедшая к полюсу («Тогда мода была такая — идти к полюсу»,— невозмутимо-серьезно заме-

тил Иван Сергеевич), зазимовала на льдине и просила помощи. Было это, как выяснилось, в 1900 году. Радио, самолетов еще не было, и полое яйцо с запиской долго проболталось в море, пока его не подобрал спустя тридцать лет Соколов-Микитов... Американские газеты тогда много писали об этой находке. Оказалось, жив был еще и начальник экспедиции, отправлявший записку.

«Север тянет людей,— говорил Иван Сергеевич.— Был у меня приятель такой, Петр Степанович Свирненко. 27 лет провел в Арктике, в местах вечной мерзлоты, на Таймыре. И всю жизнь думал: вот доживу до пенсии, построю домик в теплых краях и буду наслаждаться крымским солнцем. (Полярникам помогали такие домики ставить, а Свирненко был человек заслуженный.) Вот вышел он на пенсию, приехал на юг и заскучал. Однажды вернулся на Таймыр и ушел в тундру. Не сразу его хватились — потеряться он там не мог. Оказалось, покончил с собой в своей палатке. Похоронить себя просил в мерзлой земле Таймыра».

«Но и то сказать, сколько там, на Севере, диковинного. Вот белые медведи — хитрый такой народ... Вы знаете, как они тюленей ловят? Тюлени, соскучившись под водой, закрытой льдом, выныривают подышать в лунки. И если увидят идущего по льду медведя, ныряют обратно. Медведя издали можно приметить, потому что у него пять черных пятен на белой шкуре: четыре лапы и нос. Так вот, когда медведь крадется к тюленю, он закрывает одной своей черной лапой черный нос и подползает к жертве незаметно на трех лапах».

К Саардамскому плотнику

Собирая закуску на стол, Лидия Ивановна поставила баночку маринованного лука. «Это хорошо,— одобрил Иван Сергеевич,— маринованный лук во всех трактирах в Голландии подавали: самая дешевая закуска».

«Я в Голландии последний раз в 1928 году был. Меня весело встречали, узнавая, что я русский. «Большевик! — на улице кричали.— Большевик!» Мне хотелось проведать домик Петра Великого в Саардаме. Но объясниться оказалось не просто: одного спросил,

другого, не понимают, чего мне надо. И тут подъезжает полисмен на велосипеде — там все на велосипедах ездят,— я и его спросил, как мне до домика Петера добраться. Понял ли, не понял он, но говорит, взяв под козырек: «Момент», и куда-то покатил. Я в спину ему посмотрел и дальше пошел наугад. Вдруг он меня на велосипеде догоняет. «Большевик!» — кричит. И объясняет, что спросил у начальника, может ли проводить иностранца к домику Петра, и тот ему разрешил. Так, ведя велосипед за руль и идя со мной рядом пешком, полисмен проводил меня до самого домика саардамского плотника. Со стороны поглядеть — вроде бы я натворил что и под конвоем иду, а все моя любознательность».

В Зимнем дворце

Как-то рассказывал Иван Сергеевич свой сон. «Сны детские в старости возвращаются, и часто смешные, нестрашные. На днях, поверите ли, был во дворце царском, с Николаем Кровавым разговаривал, и нам картошку печеную подавали, почему-то в хрустальных бокалах».

В другой раз он рассказывал эту историю так, что можно было подумать, будто с последним русским самодержцем он встречался не только во сне.

«Когда перед мировой войной приехал я в Петербург, то снял комнату в «Симеоновской лавре». Так называли студенческие «меблирашки» на Петроградской стороне. И вот однажды стою я у афишной тумбы, на которых в те времена газеты выклеивали, и читаю статью в «Биржевых ведомостях». Вдруг за локоть меня кто-то тронул. Оборачиваюсь — стоит офицер, а может быть, и генерал, с аксельбантом, в красивом мундире. Спрашивает: «Разрешите осведомиться, кто вы такой?» — «Студент такой-то,— отвечаю,— приехал из Смоленска».— «С вами хочет говорить его императорское величество». И приглашает меня флигель-адъютант к коляске, что поодаль остановилась.

Там сажают меня рядом с царем, и тот расспрашивает, чем я занимаюсь, кто родители, какие настроения у студентов. Так проехали мы немного, потом он велит остановить коляску, прощается со мной и при-

глашает на другой день в Зимний дворец, а флигель-адъютант объясняет, к какому подъезду идти и к которому часу.

Вернулся я к себе в «Симеоновскую лавру» и признаться никому не могу в том, что со мной случилось. Засмеют, не поверят... Потом-то я узнал, что царь, популярности ради, частенько останавливал так свою коляску и вступал в разговоры с жителями столицы, чтобы потом слухи об этом разбегались. Но тогда в полном был недоумении: не приснилось ли мне это все? Однако тужурку свою почистил, надел что есть лучшего и на другой день к назначенному часу — часов в 11 утра — явился к подъезду дворца. Сам думаю: что, как меня погонят? За ручку бронзовую дверь открыл и у швейцара спрашиваю: мне-де его величеством назначено, как пройти? Вопросу моему не удивляются и провожают меня какими-то лестницами и коридорами в маленький зал, где стол накрыт на несколько кувертов. Тут входит царь, а с ним и дочери его, великие княжны. Приглашают меня позавтракать с ними. Царь задал несколько вопросов, вроде тех, что накануне,— откуда родом, что да как — и ушел. А с великими княжнами я завтракал. Они пересмеивались между собою, старшая тоже что-то у меня спрашивала, да я большим разговорщиком тогда не был... А может, и это мне все приснилось?» — завершает свой рассказ Иван Сергеевич.

На приеме у Сталина

С И. В. Сталиным Иван Сергеевич встречался в 1932 году.

Он участвовал тогда в качестве специального корреспондента «Известий» в ледовом походе по спасению «Малыгина», где случилась беда: потонул один из кораблей — буксир «Руслан».

«Как вышли из льдов,— объяснял Иван Сергеевич,— встали в бухту у берегов Шпицбергена. Там бы и переждать непогоду, ледяной ветер, но за орденами поспешили: в Мурманске готовилась торжественная встреча. Как вышли в открытое море, все на палубе заледенело. Корабельные надстройки «Руслана», рубка, капитанский мостик превратились в ледяную гору. Капитан дал отчаянную радиограмму на землю, где

просил передать своим детям завещание: никогда не становиться моряками. «Руслан» перевернулся. Команда попыталась уйти на ботике, но спаслось только трое».

Прошло некоторое время, и Соколова-Микитова пригласили из Ленинграда в Москву. Редактор «Известий» внимательно расспросил его обо всем, а потом сказал, что с ним хочет говорить Сталин.

Дорогу в кремлевский кабинет Сталина Иван Сергеевич описывал очень подробно и зримо.

«Как прошел через Никольские ворота, над которыми прежде икона висела, то, как смоленский мужик, решил искать самый большой дворец, где мог бы Сталин помещаться. Но оказалось, Сталин работал в другом доме, под куполом, что виден из-за Кремлевской стены. Поднялся я на лифте на третий этаж, как мне указали. Там встретил меня человек, указавший, как идти дальше. В конце коридора дверь вела в комнату с окном, выходившим на улицу. На широком подоконнике сидел в свободной позе молодой человек. Увидев меня, он спрыгнул с подоконника, я представился, и меня провели в дверь направо. Там стояли четыре стола с телефонами, конторка и в углу стоячие старинные часы».

После нескольких минут ожидания попросили зайти к Сталину. Налево от комнатки с широким подоконником, куда он сначала попал, была дверь, ведущая в большой зал с зеленым длинным столом. Едва он туда вошел, как увидел, что навстречу ему по ковровой дорожке идет низенький рябоватый человек.

«Товарищ Микитов,— сказал Сталин,— мне говорили, что вы человек объективный. Я хотел бы узнать от вас, как все произошло и кто, по-вашему, виноват в катастрофе с «Русланом».

Иван Сергеевич злоумышленников искать не любил. Он рассказал все как было, упирая на трудные условия похода. Сталин поблагодарил его и отпустил.

Удивительно, как подробно описывал Иван Сергеевич свой путь в Кремль и как коротко рассказал о своем разговоре со Сталиным. Можно было не сомневаться — рассказал как есть. Ради красного словца он и запятой бы не прибавил.

Елизаветинский штоф

Вместо обычного, с камешками, Лидия Ивановна поставила на стол елизаветинский штофик красного стекла — кругляк на кругляке. Я залюбовался им.

«Этот штофик дареный,— объяснил Иван Сергеевич.— И попал он ко мне при особых обстоятельствах. Дело было в 1937 или 1938 году. Гулял я как-то по городу и зашел в одну пивную. За столиком познакомился с французским моряком, его корабль стоял в порту. Он немного по-русски знал, я сказал ему, что сам плавал, мы почувствовали симпатию друг к другу. И привел я его домой, рискуя, что Лидия Ивановна гневаться будет».

Дома весело поужинали, и уже к концу ужина, довольно поздно раздался звонок у входной двери. Пришел побывавший прежде в других гостях и уже «в пол-свиста» художник Евгений Иванович Чарушин. Чарушина Соколов-Микитов любил и рад был, что он присоединился к доброй компании. Выпивали и говорили о всякой всячине. Коснулись, между прочим, и злободневных тем. Чарушин даже перешел с гостем на французский язык, который хорошо знал. Очень весело сидели.

В конце концов моряк, насладившись русским гостеприимством, покинул стол и ушел к себе на корабль. Стали чай пить и трезвели постепенно. Тут Чарушин и спрашивает Соколова-Микитова: «А откуда у вас этот моряк?» Иван же Сергеевич подшутить над ним решил и говорит: «А я у вас только что хотел спросить: откуда вы его, Евгений Иванович, взяли?» — «А я тут при чем?» — «Да ведь вы же его к нам в дом привели».— «Я???» — мгновенно напугался Чарушин.

Была уже полночь, и Лидия Ивановна повела во двор собаку перед сном. В передней Иван Сергеевич успел ей шепнуть, чтобы держалась его версии, если Чарушин начнет о чем спрашивать.

Чарушин вскоре заспешил домой и, встретив во дворе Лидию Ивановну, спросил у нее шепотом: «Лидия Ивановна, не говорили ли мы что лишнее при этом моряке?» — «Не знаю, о чем вы там говорили,— отвечала наученная Иваном Сергеевичем Лидия Ивановна.— Кажется, все больше про политику... Да вы

же с ним по-французски объяснялись...» — «По-французски!» — ужаснулся Чарушин. Ушел он вконец расстроенный тем, что подвел Соколова-Микитова, заведя к нему в дом неведомо где к нему прилепившегося сомнительного иностранца.

На другое утро чуть свет телефонный звонок: «Иван Сергеевич, я не спал ни минуты... Бога ради, простите за вчерашнее... Разрешите зайти...» И Чарушин явился — воплощенное раскаяние, с елизаветинским штофиком в руках. Подарком этим он хотел умилостивить хозяев.

Иван Сергеевич, смеясь, объяснил ему, как дело было. У Чарушина от сердца отлегло — времена были строгие, и за такой веселый вечер не один он мог пострадать. «Берите уж теперь этот штоф на радостях»,— сказал Чарушин, вручая свой подарок Соколову-Микитову.

Сказки Анисьи Тимофеевны

Одно время в Карачарове сторожила домик Анисья Тимофеевна — «аккуратная такая была старушка». Но рассказывала она про себя бог весть что... Будто и с нищими она по папертям ходила, и в шайке разбойников жила. В сказках для детей «охотник Микитов» тоже с лисами и барсуками запросто разговаривал, в их сказочной лесной жизни участвовал, и Анисья Тимофеевна ему по нраву была. Любил Иван Сергеевич пересказать ее сказочку «О слепом и зрячем». Вот она:

«Жили двое нищих, слепой и зрячий. Рядом всегда на паперти стояли и хорошими товарищами слыли. Зрячий слепому помогал, слепой все со зрячим делил. Люди удивлялись такой их дружбе и в награду решили однажды срубить им избушку, чтобы жили они вместе. Поставили избушку в лесу, и зажили в ней слепой и зрячий душа в душу. Люди добрые к избушке приходят, в окошко стук да стук и кладут на подоконник кусок хлеба. Зрячий хлеб берет и со слепым ровно пополам делит.

Только не понравилась такая их дружба нечистой силе. Зовет главный черт, Вельзевул, или как его там, молоденького чертенка (своего аспиранта, что ли, вскользь замечает Иван Сергеевич) и говорит ему:

«Вот что, слетай-ка ты на землю да поссорь двух праведников, слепого со зрячим, а то больно народ на них засматриваться стал». Чертенок хвост закрутил и к избушке полетел. Стал он слепого со зрячим искушать, нашептывает им худое друг о друге. Как ни бился — ничего не выходит. Все зрячий и слепой поровну делят, дурного друг о друге слышать не хотят.

Пригорюнился молодой черт, пошел вечером вдоль болота печальный. Вдруг видит — люди навстречу идут: молодые фабричные ребята домой возвращаются, с кочки на кочку перепрыгивают. Говорят черту: что это ты такой печальный? Тот рассказал им свою беду. А они ему советуют: ты к избушке подойди да в окошко постучи. Зрячий откроет, а ты ему, ни слова не говоря, бей в физиономию. И увидишь — все будет, как надо.

Послушался их черт. Пришел к избушке, постучал. Окно раскрылось, и ударил он зрячего. А сам за угол спрятался: глядит, что дальше будет. Слепой из угла своего спрашивает: «Много ли, брат, тебе подали? А где моя доля?» Тут зрячий рассердился — да на слепого с кулаками. И началась у них гражданская война. А черт радостно хвост поднял и побежал по начальству докладывать...»

Другая сказочка Анисьи Тимофеевны — тоже про слабость человеческую и хитрость бесовскую.

«Умер один человек — пьяница, но человек добрый. И определили его в рай. Идет он по раю, дорожки там чистые, песочком посыпаны (ну, как в доме отдыха у Бориса Петровича,— вставляет Иван Сергеевич). По сторонам скамейки, сидят на них девушки, ресницы вниз опустив. Деревья стоят с разными плодами, цветы цветут — покой, тишина.

Но рай — территория обширная, и забрел человек на какую-то поляну. Нюхает, чем-то вкусным пахнет. Смотрит, на середине поляны дымок вьется, будто шашлык там жарят. Пригляделся, видит: там, где дымок вьется, в земле дыра. Заглянул он туда — да вниз и ухнул. А там — жар, огонь, чернота! Огляделся — да он на сковородке! И черти его поджаривают. Взмолился человек: «Я же в рай определен, а сюда случайно попал». А черти: «Будешь теперь знать, что такое пропаганда и агитация!»

Эту сказку Иван Сергеевич приписывал Анисье Тимофеевне, пожалуй, зря. Но стиль ее рассказа воспроизвел виртуозно.

* * *

— Я вам не надоел? — спрашивал, едва разговорившись, Иван Сергеевич.— Иногда мне кажется, что мне не восемьдесят, а восемьсот восемьдесят восемь лет.

Я заметил, что рассказывал он без всякой скованности и даже с видимым удовольствием, и вдруг подумал, что ведь это для него теперь форма творчества. Все связанное с диктовкой и магнитофоном, как ни самоотверженно помогает ему Лидия Ивановна, все же неудобный и отчасти принужденный труд. А рассказывая, он не связан посредничеством техники. Свободно вспоминает, варьирует, облекает жизнь в словесную плоть.

Мысль его течет по законам вольных ассоциаций, он полными пригоршнями черпает истории из своей причудливой и бездонной памяти: Гришка Распутин на вокзале Царского Села... Мрачный Александр Грин, устраивающий костер из соломенных ящиков прямо в своей комнате в «Пименовских номерах»... Иван Шмелев на винограднике под Алуштой, бедствующий в Крыму 1918 года и возделывающий два куста помидоров...

В его присутствии всегда казалось, что история совершается где-то рядом. Что там Бунин, Куприн или Горький — это были современники, с которыми он, как говорится, запросто чай пил. Но и Аксаков, и Гоголь, казалось, кружили неподалеку.

Дядюшка и крестный Ивана Сергеевича — Иван Никитич Соколов — служил конторщиком у сына историка М. П. Погодина. Крестный любил рассказать, как встречался с самим Погодиным, ходил, будучи в Москве, в его «Древлехранилище» и помнил стоявший там под стеклом дуэльный сюртук Пушкина — «выползину». Приятелем Ивана Сергеевича был внук Погодина — Михаил Иванович, хранивший среди других раритетов переписку своего деда с Гоголем. Гоголь подолгу жил в доме М. П. Погодина, и когда они ссорились, то сообщались через слугу, посылая из одного

конца дома в другой письма, обыкновенно из экономии на клочках бумаги...

Рассказывая об этом, Соколов-Микитов упомянул, к слову, такую подробность. По семейному преданию, историк Погодин, приехав однажды в смоленское имение, шел полем в сопровождении крестного Микитова, и вдруг ошарашил его вопросом: «Карандаш у тебя есть?» Карандаша Иван Никитич в карманах не обнаружил, и тогда Погодин, взмахнув своим костылем, назидательно произнес: «Плохо, плохо, у всякого грамотного должен быть в кармане карандаш».

Когда я услышал эту незамысловатую историю, показалось, что она мне уже знакома. И вспомнил: ведь почти те же слова адресует Островский в пьесе «Праздничный сон — до обеда» Мише Бальзаминову: «Какой же ты писарь после этого, когда карандаш потерял».

Островский в молодости часто встречался с Погодиным, работал в его журнале «Москвитянин», страдал от его скаредности и назиданий и вполне мог подслушать от него ту же сентенцию, что потом запомнилась дядюшке Соколова-Микитова! Вот что значит быть с историей на расстоянии вытянутой руки.

* * *

В одну из последних наших встреч в феврале 1975 года Иван Сергеевич говорил:

— Не люблю, когда на мои слова о близкой смерти говорят: вот на Кавказе старики живут до 150 лет. Говорят так в утешение мне. А я *ее* не боюсь. Я спокойно туда перейду. Мне уж тут показалось как-то, что я *там*. Спрашиваю Лидию Ивановну: «Где это я?» — «Да у себя в комнате, Ваня»,— говорит. А я было не поверил.

Иван Сергеевич полулежал в сумраке своего кабинета. Горела в углу лампа под зеленым абажуром, глаза его были полузакрыты.

— Вот и привел бог еще раз увидеться,— сказал он, едва я открыл дверь.— А то сидишь во тьме и одиночестве, и только какие-то волны доходят из внешнего мира... И такая, признаться, муть оседает на душе.

Он был уже совсем слаб и худ. Когда-то могучие руки показались мне тонкими палочками, торчащими

из рукавов халата. Белая-белая борода совсем сошлась с усами, так что рта не было видно.

Лидия Ивановна сказала мне еще прежде, что он почти не ест, но врачи не считают лишним для поддержания сил рюмочку коньяку. Я нащупал в своем кармане фляжку и нерешительно сказал: «Выпьем, если Лидия Ивановна разрешит, по маленькой». И вдруг из серебристой бороды, из того ее места, где только угадывались губы, донеслось:

— По маленькой Лидия Ивановна не разрешит, а только по большой.

Он шутил, как обычно, серьезно и неторопливо. И тут же рассказал пришедшийся к слову рассказ.

— Ольга Дмитриевна Форш — замечательная была женщина — в моем примерно возрасте пошла както в гости, в том же доме, в соседний подъезд. Отужинали, чай попили, надо уходить. А она перепутала, решила, что гости-то у нее сидят. «Какая, думает, бесцеремонность! Час поздний, а они никак не соберутся». Ей давно спать хочется, уж и переговорили все, а они все сидят и сидят. Потом молодая хозяйка вышла на минутку и в ночной халат облачилась. «Что за маскарад в моем доме?..— думает Форш.— Когда же, однако, они поднимутся?» Наконец хозяева не выдержали и говорят: «Ольга Дмитриевна, уже поздно, оставайтесь, мы можем вас у себя положить...» — «Как так? — возмутилась Форш.— Это я вас могу положить у себя».— «Да к вам же еще идти...» Тут наконец и разъяснилось, что она сама в гостях... Вот и я уж порой не знаю, в гостях я или дома,— заключил Иван Сергеевич.

Потом говорили о детях, и он неожиданно сказал про своего внука:

— Он музыкант, и, говорят, хороший. Пилит на скрипице, дирижирует... А я вот что скажу: чтобы заниматься нашим делом — музыкой или литературой, нужно одно — сердце. А нет сердца, и ничего не будет.

Опасаясь утомить его, я вскоре поднялся.

— Посидите еще,— попросил Иван Сергеевич.— А то я останусь один, Лидия Ивановна махнет хвостом — и на кухню, стучи-стучи тогда ей в стену...

— Что ты, что ты, Ваня,— слабо защищалась Лидия Ивановна.

— Давайте условимся,— сказал он на прощанье,— чтобы чаще нам видеться.

Через полторы недели его не стало.

Ушел он поразительно скромно, как и жил, без венков, речей и депутаций. Горстка людей проводила его до загородного крематория. Он просил сжечь себя, не устраивая торжественного прощания, а урну похоронить на Гатчинском кладбище, где были погребены его мать и две дочери.

Входя за гробом в светлый пустынный зал нового крематория — достижения индустриальной эры, построенного по последнему слову техники, я невольно вспомнил шутку Ивана Сергеевича. Когда лет десять назад Лидия Ивановна уговаривала его переменить квартиру в Ленинграде на московскую и перечисляла все преимущества столичной жизни, он с самым серьезным видом прибавил: «В Москве и крематорий есть...»

Иван Сергеевич скончался 20 февраля 1975 года, а в первых числах июня умерла Лидия Ивановна. Она пережила Ивана Сергеевича ровно на сто дней. Врачи говорили потом, что по обнаруженным у нее запущенным болезням она давно должна была не жить, да, видно, не решалась умереть. Пережидала Ивана Сергеевича, пока нужна ему была.

* * *

Соколов-Микитов не был плакальщиком по прошлому. Он был человек не слабый и отказывался идеализировать то, что ушло.

Но, сказав в одной из своих книг, что ему нечего жалеть из прошедшего, и даже из лет детства, юности, Соколов-Микитов тотчас спохватывается, не написал ли ненароком неправду:

«Жалко лишь тетеревиных выводков, деревенских песен и сарафанов, жалко некогда наполнявшего меня детского чувства радости и любви, которого никакими силами невозможно теперь вернуть».

Одной из последних работ, его занимавших, было пополнение того раздела его сочинений, который он называл «былицами». Перечитав недавно эти короткие записи, относившиеся по преимуществу к деревне 20-х годов, я был поражен: больше 150 сжатых рас-

сказов из жизни смоленской деревни, целое богатство!

По-видимому, они долго хранились в его рабочих тетрадях, ожидая своего часа. Если бы он нашел в себе силы развернуть эти летучие зарисовки в рассказы, подобные «Пыли» или «Медовому сену», родилась бы, наверное, значительнейшая книга, быть может и не одна. Он берег эти сюжеты, разговоры, лица в надежде на неторопливый писательский труд. Но то ли искусственная обработка когда-то увиденного и услышанного, смешение доподлинности с вымыслом, стала с годами все более претить ему, то ли он понял, что уже не успеет, да и не по силам ему более широкая задача, только он стал публиковать свои старые записи «сырьем», как есть, без усилий специальной «художественной обработки»,— они и в этом виде производят сильное впечатление своей правдой.

Нет, не из-за одних трагических превратностей личной судьбы был так печален этот редкостный человек, русский Иов многострадальный.

Живописец Александр Иванов, думал я, всю жизнь писал этюды к своей грандиозной картине, так и оставшейся незаконченной, а главное, не достигшей масштаба его великой мечты. Архитектор Витберг создал гениальный проект храма-памятника в честь 1812 года на Воробьевых горах, но так и не увидел его осуществленным.

Соколов-Микитов тоже не написал, наверное, своей главной, вымечтанной книги.

Передо мною вставала вечная драма художника, которому было не суждено исполнить то, что он мог и мечтал сделать. И даже если признать, что он не стал победителем в тяжбе с быстротечным временем, все равно его значение не гаснет для нас. Ни разу ни в чем не сказал он неправды, не уронил своего человеческого и писательского достоинства.

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ, ИЛИ ВЕЧЕР У ГЕНЕРАЛА ГОРБАТОВА

Когда в компании с Твардовским и еще двумя-тремя «новомирцами» мы впервые оказались в доме у Никитских ворот, почти напротив Большого Вознесения, и, выйдя из лифта, остановились на просторной лестничной площадке у порога квартиры генерала Горбатова, среди приглашенных, вытиравших ноги о половик, возникло замешательство. Дверь была приоткрыта, и сквозь нее виден пустой длинный коридор. Кто-то нажал кнопку звонка, чтобы известить все же о нашем приходе. Из синей тьмы коридора появился хозяин.

— Что же не входите? Прошу!

— У вас дверь забыли закрыть,— заметил Твардовский.

— Да нет, я держу ее незапертой. Спать ложимся — закрываем.

Мы переглянулись — экое чудачество. Как раз в ту пору москвичей будоражили слухи о квартирных кражах, дерзких грабежах. Рассказывали, что до нитки обобрали квартиру знаменитого скрипача, находившегося на гастролях, у другого — то ли дипломата, то ли академика — мебель, по слухам, спустили на веревках через окна. Наиболее предусмотрительные хозяева врезали по два-три замка с секретом и щеколдой, а тут — двери настежь, и не то чтобы нечего было взять...

В гостиной и просторной столовой, где мы оказались, стояли красивые шкафы с хрусталем и посудой, на трофейном «телефункене» высился бюст Суворова, висели по стенам картины в рамах, стояли плюшевые,

по моде 40-х годов кресла. Ничего особенно примечательного — но просторно, удобно — подобные интерьеры встречались и в других генеральских квартирах после войны... Но почему не запиралась дверь?

Вопрос так и остался висеть в воздухе, а гостей уже просили пройти к столу, и нас захлестнула теплая волна радушного гостеприимства хозяина и его жены, красивой, видной, ему под стать, Нины Александровны.

С генералом Горбатовым все мы, не исключая Твардовского, познакомились впервые пятью-шестью месяцами прежде. Он появился в редакции несколько необычным для военного его ранга образом. Бывало, появлению с а м о г о предшествовала вереница адъютантов, порученцев, вестовых, передававших красиво оформленную рукопись. А, случалось, знаменитый чинами и заслугами автор так и не переступал порога редакции: подтянутые лейтенанты или аккуратные майоры, отдавая честь, заезжали за версткой, спустя день-два привозили ее назад, а по выходе номера являлись за авторскими экземплярами. Вот и все общение с автором.

Отделом прозы в «Новом мире» в ту пору заведовал Евгений Николаевич Герасимов, сделавший на своем веку не одну генеральскую «литературную запись». Он любил вспоминать, как летал во время войны за линию фронта в партизанский лагерь «авторизовать» записанную им «со слуха», отчасти по документам, но больше по воображению, книгу мемуаров прославленного партизанского командира. Дня два его не допускали в блиндаж, наконец разрешили зайти. Его герой и одновременно автор сидел на перевернутом снарядном ящике за дощатым столом, разглядывал штабные карты и выслушивал донесения, отдавал короткие приказания и разносил кого-то, не обращая даже малого внимания на переминавшегося с ноги на ногу писателя с толстенной рукописью в руках. Наконец, сдвинул со лба папаху, посмотрел красными, усталыми глазами, спросил коротко: «Тебе чего?» Герасимов, робея, просил познакомиться с написанным и визировать текст. Покосившись на объемистую папку, партизанский командир не выразил никакого желания читать написанное. «Ну, хоть пролистайте! — взмолился Герасимов.— И черкните два

слова для издательства, что читали, мол». Командир взял ученическую ручку, умакнул в баночку с чернилами, задумался на мгновенье и на первой странице рукописи написал размашисто: «ЧЕТАЛ». И скрепил своей росписью.

Твардовский любил вспоминать этот жизненный анекдот и, упрашивая кого-либо из занятых начальников дать свой отзыв, говорил обыкновенно: «Длинного рассуждения не надо. Напишите только в уголке: «Четал».

С генералом армии Горбатовым все было иначе. Созвонившись с Твардовским, он появился в редакции в разгар рабочего дня. Было это в конце 1963 года еще в старом помещении «Нового мира» на углу Пушкинской площади и улицы Чехова, где у главного редактора, по сути, не было отдельного кабинета. В одной огромной и большую часть года полутемной комнате — зале старого особняка — сидели Твардовский, его заместитель Кондратович и я. У Твардовского был солидный, старинный двухтумбовый стол, стоявший боком к окну; Кондратович сидел за столиком поменьше, приставленным к этому столу короткой частью буквы «Г». У меня же своего места не было, и с кучей рукописей я располагался на краешке длинного полированного стола, предназначенного для заседаний редколлегии и шедшего вдоль стены, противоположной входу. Если у Твардовского предполагался доверительный разговор с автором, он уединялся с ним в соседней каморке ответственного секретаря. Обычно же все встречи, беседы Твардовский вел в нашем присутствии, вовлекая нередко в разговор и нас.

Мне запомнилось, как в нашу сумеречную залу вошел высокий краснолицый с мороза генерал в долгополой светлой шинели и с крупными звездами на погонах. Сняв папаху, он обменялся со всеми крепким рукопожатием, чуть исподлобья, но неуклончиво глядя в глаза. Пока он разговаривал с Твардовским, сидя боком у стола, свет падал на его лицо, и я с любопытством взглядывал на не частого у нас посетителя: пожилой человек, но стариком не назовешь — крепкий, спина прямая, кавалерийская посадка, обветренное лицо. Временами он проводил рукой по редким волосам, как бы без нужды приглаживая их. Мне показалось, что в профиль он похож на маршала Жукова:

та же скульптурная лепка волевого лица, пристальные глаза. Только то, что в лице Жукова выражено с некоторым нажимом — сильные надбровные дуги, выдающийся тупым углом подбородок, в лице Горбатова, пожалуй, смягчено: было в нем что-то и от русской деревенской округлости.

В тот день они говорили с Твардовским недолго, Александр Трифонович захватил рукопись домой, а приехав дня через два в редакцию, с порога начал восхищаться: «Вот так генерал! Сразу видно, что не адъютанты пишут! Да он мне и говорил, что всю рукопись от первой до последней страницы сам пробороздил, и пишет простым карандашом!» (Почему-то именно этот карандаш, как порука подлинности и своеручности записок, особенно подкупал Твардовского.) «И еще скажу: это написано нравственным человеком. А какая судьба!»

Судьба Александра Васильевича Горбатова и в самом деле была неординарна: его не обошла ни одна беда, ни одно напряжение народных сил за полвека. Родившийся в конце прошлого столетия в крестьянской семье, Горбатов был смелым гусаром-конником в первую мировую войну, красным командиром в гражданскую, комбригом перед Отечественной. В 1938 году он вступился за безвинно арестованного товарища и сам оказался в тюрьме. На первых же допросах заявил, что лучше умрет, чем оклевещет себя или тем более других. Описал он это в своей книге с той строгой сдержанностью, которая сильнее любого яростного крика.

«В четвертый раз меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил: представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли все продумал и оценил? Потом этот начальник сказал следователю: «Да, я с вами согласен!» — и вышел из комнаты.

На этот раз я долго не возвращался с допроса.

Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали:

— Вот! А это только начало...

Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского: «Подпишешь, подпишешь»,

Горбатов не подписал. И благодаря исключительному стечению обстоятельств, собственному упрямому мужеству и самоотверженности жены, хлопотавшей за него всюду, где можно и где нельзя,— в НКВД, Верховном суде, военной прокуратуре, Наркомате обороны, Горбатов был освобожден из колымских лагерей в самый канун войны. Он принял участие в первых же боях с немцами и в конце 1941-го получил генеральское звание. А потом воевал под Сталинградом, в 1943 году, уже командующим армией, освобождал Белоруссию. Закончил войну на Эльбе и в Берлине — он был одним из первых советских комендантов немецкой столицы.

Все только что сказанное достаточно, я думаю, поясняет отношение Твардовского к Горбатову. Надо сказать, что среди авторов, привечаемых «Новым миром», Твардовский с подчеркнутым вниманием относился к тем людям, что не принадлежали к собственно писательской среде, не кружили вокруг Дома литераторов, а были как бы сами по себе — имели за плечами профессию, ремесло или самобытный опыт, сообщавший им в глазах Александра Трифоновича силу независимости и подлинности. Рабочий-монтажник Терентьев, дипломат Майский, сибирский старик-крестьянин Бартов, инженер-изыскатель Побожий — всех их журнал печатал. А сколько было еще не напечатанных по разным причинам, но отмеченных вниманием Твардовского рукописей «нелитературных людей»! Печатал журнал и военных — адмирала Исакова, начальника фронтового тыла Антипенко и других. Для подготовки и правки таких рукописей незаменимым человеком в редакции считался Игорь Александрович Сац.

Мне уже приходилось писать о нем. Ближайший личный друг Твардовского, один из немногих, с кем тот был на «ты», Сац сам был человеком редкостным и, если бы не его собственное отвращение ко всякой литературной мифологии, я бы сказал, легендарным. Незадолго до своей смерти, держа речь на домашнем юбилее, Сац шутил, что историю своей жизни, как историю старой Польши по «разделам» («Первый раздел Польши», «Второй раздел Польши»...), он мог бы мерить по «разгонам». В 1918 году — попытка разгона за анархизм Богунского полка Щорса, под

командой которого он воевал совсем юнцом. В 1929 году — разгон Наркомпроса (Сац был литературным секретарем наркома Луначарского); в начале 30-х годов — разгон Комакадемии, где он был научным сотрудником, в конце 30-х — разгон журнала «Литературный критик», в редакцию которого он входил. Наконец, два разгона «Нового мира» — первый 1954 года и второй — года 1970-го. В промежутках — красноармейцем на гражданской войне, командиром взвода ближней войсковой разведки на Отечественной — Сац воевал.

Думаю, Горбатову повезло, что Твардовский просил Саца взять его под свою редакторскую опеку: они работали в добром согласии. Сац поразил Горбатова тем, что, пригласив генерала к себе домой, разыскал у себя старые оперативные карты-трехверстки и сверял по ним какие-то подробности боевой дислокации. Я сам слышал, как Горбатов говорил потом, что по военным познаниям дает Сацу чин генерал-лейтенанта. Но литературным редактором Сац был довольно жестким, и он уговорил Горбатова перестроить повествование. Рукопись, принесенная автором, была начата с воспоминаний о Колыме, о лагерной поре, а потом он переносился памятью в свое прошлое, в детство. Сац посоветовал хронологически выпрямить повествование, начать сразу с семьи, с детства... Твардовский обнаружил перемену лишь в корректуре и не одобрил Саца — редчайший случай, когда он оспорил его как редактора, но, видно, сильно дорога была ему эта вещь.

— Мне плакать хочется,— говорил Александр Трифонович с версткой в руках.— Какая вещь испорчена! Зачем он выправил по хронологии? Ведь Горбатов инстинктивно сделал художественно — сначала взял круто, с самого трагического момента: арест, тюрьма, а потом на покосе за лагерем, где ему есть время подумать, припомнил детство, юность, как уходил на мировую войну...

Пришедший на этот разговор Сац резко отстаивал свою правоту, Твардовский, по обыкновению не щадя и обязательств дружбы, со всей жестокостью и не выбирая выражений, укорял его в промахе... Ссора казалась неизбежной, споры продолжались и за стенами редакции — до позднего вечера и уже не в кабинетной

обстановке. Но на другой же день, как обычно, мир был восстановлен — остался у Твардовского лишь слабый след досады.

Окончательное название мемуаров Горбатова принадлежало Твардовскому. У автора тоже было неплохо: «Жизнь солдата». Но Твардовскому показалось, что для генерала армии в таком самоопределении, в общем-то справедливом, есть легкая тень авторского кокетства. Помню, как все мы, собравшись в редакции вокруг Александра Трифоновича, крутили и перекручивали немногие слова, пытаясь точнее окрестить книгу и легко впадая в пущую банальность: «Война и служба», «Служба и...». «Дружба», что ли? — сердито перебивал нас Твардовский. И вдруг, как выстрелил: «Годы и войны». Так и назовем. Отвечает содержанию, и можно поручиться, что ни у кого прежде не было». Горбатов без раздумья согласился.

Немало волнений пришлось пережить автору уже при подписании в печать — кроме общей цензуры его мемуары подлежали ведению цензуры военной. А там в ту пору как раз была образована целая коллегия по мемуарам — воспоминателей развелось среди военных людей немало. Полковники и подполковники, цензуровавшие эти мемуары, жили под гипнозом печатного слова и нерушимо верили в прецедент: если в новом тексте случалось расхождение в трактовке событий или лиц с прежде вышедшими мемуарами военачальников, полагалось усомниться в новом свидетельстве, выбросить или выправить в согласии с тем, что издано прежде, а, стало быть, получило одобрение. Тот, кто «вспомнил» нечто первым, получал, таким образом, преимущество как обладатель исходной истины. Опоздавшим оставалось идти вослед или украшать уже сложившуюся картину незначащими личными подробностями. Горбатов же по-своему видел войну, наши поражения и удачи, по-своему судил о действиях многих военачальников — и оттого не имел шанса легко получить на верстке одобряющий штамп.

Более всего, разумеется, смущали в его воспоминаниях картины отступления 1941 года, критика грубости и глупых приказов командующего армией М., лагерная эпопея автора. Особенно огорчался Горбатов, что были сняты сказанные им в сердцах, но справедливые слова о своем командующем, возмещавшем во-

енную компетентность грубой бранью: «Это не командарм, это бесструнная балалайка». Защищая эту фразу, Александр Васильевич наивно настаивал, что слова свои помнит точно — как же можно их вычеркнуть? Он упрямо сжимал губы, глядел в упор своими строгими глазами и обиженно повторял: «Как же так? Ведь это *так и было.* Я ему в лицо сказал...» Требование указать, где он взял те или иные факты, подробности боевых действий, возмущало его: «Где-где... Да я был там, я это видел». Полагалось же сослаться либо на документ, либо на предшествующие мемуары, выпущенные в Воениздате. «У вас что напечатано, то свято,— удивлялся генерал.— А если ваш вспоминающий прилгал? А я лгать не умею, я, простите, правду говорю».

Но аргументы такого рода вызывали снисходительную усмешку, а споры заканчивались известно чем — по присказке, любимой Твардовским: «Я его ермолкой, он меня палкой. Я его опять ермолкой, а он меня опять палкой...» Наконец, все же последняя из трех голубых книжек «Нового мира», заключавших в себе «Годы и войны», вышла в свет. Вот тогда мы и отправились к Александру Васильевичу небольшой компанией домой — отметить это событие.

Кроме нас, приглашенных в тот вечер, кажется, не было. Не помню только, в этот или в другой раз присутствовал за столом Дмитрий Трофимович Шепилов, как оказалось, член военного совета той самой армии, в которой служил Горбатов. Александр Васильевич ценил его ум и мужество. Имя Шепилова, долгое время не употреблявшееся без липучего и несколько комического определения «и примкнувший к ним», в 60-е годы не упоминалось вовсе. В один день и час 1957 года ставший из секретаря ЦК и министра иностранных дел скромным сотрудником архивного управления, он был из тех низверженных с высот власти людей, которые в самом деле как бы прекращали существовать, сдаваемые в архив политической современностью. Мы с любопытством поглядывали на него: он держался с достоинством, был немногословен, но сказал, что любимый его журнал, читаемый им от корки до корки,— «Новый мир»,— признание, не скрою, прибавившее тепла нашему общению. Упоминаю обо всем этом потому, что тут тоже черточка Горбатова: в отношении

к опальному Шепилову у него сквозила подчеркнутая уважительность — не стал бы он изменять товариществу ни при каких обстоятельствах.

Когда сели за стол, богатый салатами, грибами и иными закусками, невольно вспомнилось одно место из книги Горбатова. Деревенским мальчишкой 16 лет, с отвращением наблюдая пьяные драки, он дал зарок — не пить, не курить и не сквернословить. Это было в 1907 году — и, побывав на трех войнах, отсидев в лагере, он зарока того не нарушил, хотя, казалось бы, соблазны окружали его со всех сторон.

Для Твардовского, человека иного опыта, все это казалось каким-то экзотическим чудом, сверхъестественным проявлением воли: он и дивился Горбатову, и восхищался им. «Ну, так-таки ни одной рюмки за всю жизнь?» — допытывался он.

— Ни одной. Ну, если не считать (и хозяин смущенно покряхтел) той, что в Берлине 9 мая 45-го года офицеры заставили выпить... Один раз, выходит, нарушил зарок.

В этот момент мы сдвинули стопки, ибо, надо признаться, зарок хозяина не сказывался на гостеприимном ассортименте стола — каждый находил на нем то, что хотел. Лишенный всякого ханжества, Горбатов чокался с нами серебряной рюмкой, куда исправно подливал из хрустального графина домашнюю вишневую воду «без градусов», как он выразился, и разница в наших напитках никак не сказывалась на оживленности беседы. Скажу более, по мере того, как длилось застолье, Александр Васильевич становился словоохотливее, доверительнее: он будто хмелел вровень и заодно с гостями.

Попытаюсь восстановить кое-что из разговоров этого вечера.

Чтобы сделать Твардовскому приятное, Горбатов заговорил о «Теркине» и его меньшом брате — поэме «Теркин на том свете»: эту сатиру, как и эпос про бойца, он высоко ставил. Твардовский, не любивший величаться, обладал умением перевести на шутку лестный и оттого смущавший его разговор. Он тут же рассказал о генерале, командовавшем одним из военных округов, который, залучив поэта к себе на дачу, просил читать за ужином стихи. Твардовский, не чинясь, прочел недавно написанное им стихотворение.

«Теркин» выше!» — безапелляционно объявил генерал. Автора это задело, и он прочел другое новое свое стихотворение, которое, по его расчету, должно было уж непременно генералу понравиться... Тщетно. Что бы ни читал, как бы ни старался произвести он впечатление в тот вечер, генерал твердил одно: «Теркин» выше!»

— Теркин выше! — рассмеявшись, повторил и Горбатов.

Любивший соблюдать ритуал застолья и, надо сказать, мастерски это делавший, Твардовский поднял тост за начинающего автора, решившегося отдать свой труд в журнал, который хотя и подвергается критической бомбежке, но обладает глубоко эшелонированной обороной и не намерен сдаваться. Все мы немного мнительны в нелегких обстоятельствах, и Твардовскому могло казаться, что, при всем своем здравомыслии и порядочности, Горбатов, человек военный и дисциплинированный, вправе был поежиться, наблюдая, как бранят «Новый мир» в печати, как кривятся на него официальные лица — не затаскивают ли, мол, генерала армии в дурную компанию, и он попытался объясниться.

— Вам, конечно, Александр Васильевич, не до наших литературных свар. Но тут, я вам скажу, дело простое: нас укоряют, что мы темные углы, теневые стороны жизни освещаем. Но зачем, скажите пожалуйста, *освещать свет?* Да по одной лишь солнечной стороне улицы гулять, на теневую не заглядывая, пожалуй, голову напечет. С реализмом воюют посредством высокопарности — всякие там пламенеющие сердца да крылья. Мы уж заметили, когда плохо написано, чтобы оправдать ходульность, говорят: «Ну, это, знаете, романти-и-изм...» И Твардовский протянул это словечко, издевательски присюсюкнув.

Все рассмеялись.

Я не раз замечал, что в присутствии Твардовского, если вокруг были люди, вызывавшие у него доверие, легкая приятельская беседа неизбежно сворачивала на серьезные сюжеты. Он задавал вопросы, от которых нельзя было отшутиться застольным юмором, и изучающе смотрел на собеседника своими блекло-голубыми глазами.

Почуяв это, и Горбатов разговорился, стал вспо-

минать войну. В его рассказах о фронте было два пункта, две болевые точки, к которым концентрическими кругами сходились все его думы и воспоминания. Первой больной темой были причины наших поражений в начальный период войны.

«Что вы хотите, если Сталин своими репрессиями парализовал все руководство армией. Я помню, перед войной Якир выдвинул идею создания оборонительного рубежа в западной части Украины. Это должна была быть наша линия Мажино или Маннергейма, но более неприступная. Там уже и земляные работы начались, а после гибели Якира все это сровняли и велели забыть как вредительство... Но главное, кадры. Армия была обезглавлена, самые способные, самые умные и обладавшие оперативной подготовкой военные были уничтожены. Их место заняли быстро выдвинувшиеся люди, быть может, и неплохие, но часто без малейшего представления о военной науке. В начале войны вчерашние комэски, командиры эскадронов, взводные и батарейные командиры стали командовать полками и дивизиями. Но мышление оперативное — совсем не то, что полевое. В бою отважные могли быть люди, в атаку ходить умели, но не знали азов военной науки... И гибли сами, и солдат вели на гибель».

— Если бы не разгром военных кадров, мы немца не то что до Волги, до Днепра бы не допустили! — с каким-то скорбным энтузиазмом воскликнул генерал.

— А я еще и о другом думаю,— неожиданно обернул разговор Твардовский.— В 42-м году мы оказались прижаты к Волге потому, что всего за десять лет перед войной множество семей так называемых «кулаков», в действительности же среднее работящее крестьянство, были сорваны со своих мест, высланы, рассеяны по лицу земли. А ведь именно эти люди могли быть лучшими солдатами в войне. Я это хорошо знаю. Настоящее кулачество разбежалось из деревни само в 1929 году, едва начали его трясти, пошло в города, дети их учились и пополняли слой служилых людей, которые нас же наставляли уму-разуму, руководили и направляли. Я не одну такую семью знал...

Смотрел я на них в те минуты и думал: сидят друг против друга два русских правдолюбивых человека,

два крестьянских сына — и один подтверждает другого, понимая его с полуслова, своим опытом и судьбой... Твардовский вспоминал, что на протяжении двадцати пяти лет во всех документах был обозначен как сын кулака, а хозяйство-то у отца было самое скромное и земелька скудная, никудышная: одна слава, что «пан Твардовский». Лишь лет пять тому, как вызвали Александра Трифоновича в ЦК и сняли это клеймо.

— В 1939 году,— продолжал Твардовский,— когда я получил орден Ленина после «Страны Муравии», решил по молодости, что все могу. Кинулся в прокуратуру заступаться за сидевших смоленских друзей — и осекся... Каково, думаю, было Нине Александровне вас в ту пору из лагеря вытаскивать...

— Да, совсем немногие оттуда перед войной вышли — Рокоссовский, Мерецков, вот я...

И уже Горбатов захватывает внимание за столом. Он рассказывает, как в 1942 году под Сталинградом в тяжелую минуту его разыскал Г. М. Маленков, прилетевший на фронт как представитель Сталина. Он вызвал Горбатова к себе на КП и стал доверительно расспрашивать. Человек всесильный, он показался тогда Горбатову обмякшим, потерянным. Маленков просил откровенно сказать, в чем видит Горбатов причину неудач и как, на его взгляд, можно переломить положение.

— Сказать по совести, я удивился. Так с нами раньше такие люди не разговаривали. Сказал: прежде всего надо вернуть из лагерей арестованных командиров и направить на фронт.

Маленков согласился и просил Горбатова назвать имена тех, кого он лично знал и за кого может поручиться. Горбатов просидел бессонную ночь у коптилки, составляя этот список. Он понимал, конечно, что разыщут не всех, но боялся случайно забыть, пропустить хоть кого-либо из тех комкоров и комдивов, кого встречал на этапе и в лагере. У него было чувство, что им решается в ту ночь судьба многих людей. Маленков с благодарностью принял список, заверил, что эти люди будут на свободе, и улетел в Москву. Ни одного из названных им командиров Горбатов потом на фронте не встречал: по-видимому, еще прежде запроса из Москвы (если таковой и последовал) все они были расстреляны.

Чем больше я слушал рассказы Горбатова, тем яснее чувствовал, как сильна в нем совестливость — считавшееся когда-то природным для русского человека, но изрядно порастраченное качество души. Он не принадлежал к числу славолюбцев, которые привыкли на людях кичиться одними победами, упиваться пением фанфар и ликовать. Ему больше помнились тяготы, потери, собственные и других командиров промахи, моменты высшей опасности на войне. И если он чем гордился, то тем, что упрямо преодолевал их.

Вспоминая о сталинградской эпопее, Горбатов замечал, что отчаянное, беспощадное сопротивление врагу началось, в сущности, на последней улице, шедшей вдоль Волги. Тоненькая ниточка отделяла врага от реки, но нить эта оказалась стальной. Тут и жестокая воля Сталина, что говорить, сыграла свою роль: он велел передать военачальникам В. И. Чуйкову и А. И. Еременко, что головы их полетят, если сдадут город. Все поняли: это не пустая угроза. Но как досадно, что важнейшую высоту обороны — Мамаев курган сдавали почти без боя, чтобы потом долгими неделями отбивать его. И сколько людей положили! Сколько солдат!

Второй темой, к которой Горбатов непрестанно возвращался, была боль от зряшных, ненужных потерь — следствие неумения воевать или, что хуже, высокомерного штабного отношения к солдатской массе, арифметического пренебрежения к чужим жизням. Горбатова не отпускало и жгло чувство неопределенной вины перед павшими, так полно и точно выраженное Твардовским:

Я знаю: никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,—
Речь не о том, но все же, все же, все же...

— У нас часто говорят: штурм Берлина, штурм Берлина,— рассуждал Горбатов.— Я держусь того мнения, что с военной точки зрения Берлин не надо было штурмовать. Конечно, были и политические соображения, соперничество с союзниками, да и торопились салютовать. Но город достаточно было взять в кольцо, и он сам сдался бы через неделю-другую.

Германия капитулировала бы неизбежно. А на штурме, в самый канун победы в уличных боях мы положили не меньше ста тысяч солдат. А ведь они уже радовались, что вот-вот домой...— Глаза генерала увлажнились.— И ведь какие люди были — золотые, столько всего прошли, и уж каждый думал — завтра жену, детей увидит...

Слушая его, я опять вспоминал строчки Твардовского:

Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

А Горбатов еще подкреплял свою мысль следующим соображением: надо было уметь не просто уничтожить противника, а, насколько это возможно, взять его в плен. Это означало, что и с нашей стороны потерь было бы меньше. Умение воевать — не в том, чтобы больше убить, а в том, чтобы с наименьшими жертвами выиграть войну.

«Моя армия на конец войны,— горделиво замечал Александр Васильевич,— взяла в плен 106 тысяч немцев. А соседние армии — не больше 50 тысяч. И у меня, понятно, убитых меньше. Вот и рассудите, сколько же ненужных потерь мы несли, оттого что некоторые генералы не умели воевать».

— А как Иосиф Виссарионович, вас жаловал ли? — спросил Твардовский.

— Не могу сказать, чтобы плохо относился, хотя очень активно и не продвигал, на армии придерживал. Меня некоторые неуживчивым считали, строптивым. Не знаю, какие уж к нему донесения шли. С «балалайкой бесструнной» я рассорился. И с особым отделом не в большой дружбе был. Однажды, признаться, приколотил в сердцах палкой нашего особиста — он велел крестьянскую избу на бревна раскатать, под блиндаж для своего отдела... И другой случай был...

Горбатов рассказал, что, уже когда мы воевали в Польше, к нему на КП явился посланец из разоренного войной Донбасса, просивший крепежного леса для восстановления шахт, узнав откуда-то, что армия Горбатова захватила склады с лесом, предназначенные немцами для отправки в Германию. Горбатов пожалел шахтеров с безлесной Украины и приказал загрузить трофейным лесом порожняк, отправлявшийся на восток. Это сочли грубым самовольством, был пущен

слушок, что тес отгружен для генеральских дач. Доложили Сталину, он велел создать комиссию и, когда выяснились истинные обстоятельства дела, произнес свою опасную шутку, которая, однако, через годы, задним числом, льстила самолюбию Александра Васильевича: «Горбатова могила исправит».

Генерал разговорился, щеки его порозовели, он стал чертить столовым ножом на скатерти план какой-то боевой операции, пока Нина Александровна, появившись за его стулом, молча не вынула из его руки нож, сочтя это, видно, нарушением этикета.

А Твардовский примолк, обхватив руками голову, и глядел влюбленными глазами на генерала. Разошлись в тот вечер поздно.

Эта встреча запомнилась накрепко, хотя много раз мы виделись с Горбатовым и позже. Помню его в парадном мундире и с полной грудью орденов в президиуме собрания в Доме журналистов, посвященного 40-летию «Нового мира». Помню на спектакле «Теркина на том свете» в Театре сатиры, где он, растрогавшись, обнял Твардовского в проходе партера — вечер того дня, кстати, мы снова провели в доме у Никитских ворот.

Не раз заходили мы потом и вдвоем с Сацем в эту квартиру с вечно открытой наружной дверью. Как-то, вспоминается, пришли и застали Горбатова с Ниной Александровной в сумерках: они сидели рядом на диване, не зажигая огня, о чем-то тихо разговаривали и очень обрадовались нашему неожиданному появлению. Шестидесятые годы шли к концу, некоторые темы вновь стали запретными, книгу «Годы и войны», изданную лишь единожды, стали изымать из армейских библиотек.

Когда сели ужинать, Горбатов, как когда-то, стал говорить о бедах 41-го года, о напрасных потерях. Возвращался по-стариковски дважды и трижды к уже слышанным нами рассказам. Но я заметил, что, повторяя одно и то же, он — противу обыкновения большинства рассказчиков — ни слова не прибавляет и не убавляет по дороге, точно держится канвы уже известных нам фактов: его щепетильная правдивость подкупала. И снова: «Подумать только — взводные командиры полками командовали, дивизиями в лучшем случае — ротные...» И снова: «Каких ребят положили

в последних уличных боях. Окружить бы — немец сам сдался...»

Рассказал, впрочем, и нечто новое. Неожиданно нашелся следователь Столбунский, названный в его книге,— кто-то из читателей сообщил: жив, здоров, живет в проезде Серова, Горбатов потребовал, чтобы человек, вымогавший у него побоями ложные признания, был наказан. Конечно, к уголовной ответственности его не привлекли, даже пенсии не лишили. Но, человек не мстительный, Горбатов побывал все же на собрании в жэке, где Столбунского исключали из партии. Тот, смертельно испуганный, повторял как заведенный: «Горбатова я пальцем не тронул, пальцем не тронул...» Лгал, конечно. Но защищался он, помнится, ссылкой на то, что Горбатов так и не подписал на себя вынужденного «признания» в предательстве родины, а ведь кругом все подписывали...

Разумеется, дело было не в либеральности следователя, а в железном характере, исключительном мужестве и упорстве Александра Васильевича. Человек, давший в шестнадцать лет нравственный зарок и оставшийся верным ему всю жизнь, мог ли он уступить неправде под любыми пытками?

Мы, не ведавшие этих мук, не судьи страдальцам. Но в книге Горбатова отчетливо слышится гордость, что, несмотря на все испытания и нечеловеческие муки в период следствия, он не сломался, не оболгал себя — и вырвал у судьбы шанс вернуться. Была в рассуждении Горбатова даже легкая тень укора другим, более слабым душам — и это уж не вполне справедливо. Но, пожалуй, Горбатов в своих воспоминаниях первый открыл механизм слабости, каким пользовались палачи. В ту пору среди растерянных и несчастных людей, раздавленных совершенной с ними несправедливостью, родилась чудовищная иллюзия, что скорое признание в самых страшных злодеяниях и оговор возможно большего числа невинных заставят скорее лопнуть чудовищную ложь. Спасались мыслью, что это такая нелепость, в какую уже никто не поверит. Верили. (Вспоминается, замечу в скобках, как на одном совещании в конце 50-х годов ко мне подошел человек и представился: «резидент негуса абиссинского». Я счел это нелепой шуткой. Оказалось — точная формула обвинения. Агенты «сигуранцы» и японские шпионы —

это уже приелось, казалось пресным, и следователи развлекались экзотическими признаниями жертв.) Счастье Горбатова, обладавшего не только физическим здоровьем, но и исключительной моральной стойкостью, что он смог выдержать эти муки.

Я с восхищением смотрел на этих двух людей — Горбатова и его жену. Чтобы человек, осужденный в конце 30-х к 15 годам лагеря, уцелел и еще до войны вышел, оправданный, на свободу, такие случаи сравнительно редки, и до сих пор встречают порой недоверчивый взгляд: что-то, мол, тут не так — либо генерал чего-то не договаривает, либо его жена имела возможность нажать на какие-то особые пружины. И отчего саму ее не посадили, как многих, чтобы неповадно было хлопотать за арестованного мужа?

Все так, и железная машина репрессий почти не знала сбоев. И все же уступала порой той стойкости, что была у Горбатова, той беззаветности, какой обладала Нина Александровна. Их урок в том, что нельзя пассивно цепенеть перед непреодолимой силой зла. Надо кричать, звать на помощь, биться во все запертые двери, стоять на своем, не уступать до последнего,— даже когда это по видимости безнадежно.

Подбираю оброненную нить воспоминаний. Человек благородный, Горбатов, встречаясь с кем-либо из нас, новомирцев, не забывал поблагодарить за былое доброе сотрудничество и с особой сердечностью говорил о Твардовском. «Я понял: это удача, что я пришел именно в ваш журнал. Твардовский — смелый человек». В такой скромной похвале из уст генерала, не сорившего словами, заключалось высшее одобрение.

А прощаясь со мной и Сацем в передней, он сказал, отвечая на оставшийся когда-то без ответа вопрос: «А дверь открытой держу, так это потому, что после одиночки ненавижу, знаете ли, запертые двери».

Горбатов умер в 1973 году, на два года пережив Твардовского, и похоронен на Новодевичьем. Когда я иду в тот угол кладбища, где лежит Александр Трифонович, по дороге делаю крюк и подхожу к надгробию Горбатова. Поясной портрет его из гранита — кавалерийская выправка, грудь вперед — смотрит строго, неуступчиво, будто вот-вот произнесет упрямо: «Не то что до Волги — до Днепра бы не допустили...»

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Среди ночи меня будил телефон: длинные, почти без пауз, заливистые звонки междугородной. Плохо понимая спросонья, в чем дело, я подбегал к аппарату, поднимал трубку и слышал хрипловатый, слегка картавящий женский голос. «Так мало в мире нас, людей, осталось...» — торжественно объявляла она на том конце провода, без всяких обращений и не называя себя. Да и надо ли ей было представляться?

«Так мало в мире нас, людей, осталось...» — это было в последние годы как ее позывные, ее девиз, и, пожалуй, лишь одна она в целом свете обладала правом поднять вас с постели после полуночи стихотворной строкой.

Вслед за тем она куртуазно осведомлялась, не сплю ли я. Я горячо опровергал это предположение, тем более что уже в самом деле проснулся. И начинался долгий, нередко более часа, телефонный разговор, а вернее, монолог Ольги Берггольц, прерываемый лишь изредка моими вопросами и восклицаниями.

Как-то я решился спросить, не разорят ли ее эти бесконечные междугородные разговоры. «Не тревожьтесь по пустякам,— успокоила она меня,— мой тариф особый. Девочки с нашей ленинградской переговорной узнают меня по голосу и дают говорить, сколько я захочу, а после полуночи — бесплатно».

Еще бы ее не узнавали! Да был ли хоть один человек в Ленинграде, кто не слышал имя Ольги Берггольц, не узнавал бы этот голос, летевший когда-то во время войны из черных бумажных «тарелок» и ра-

струбов уличных репродукторов? В блокаду она стала символом стойкости, маленькой храброй богиней великого города. А после войны навеки оставила сотням тысяч погребенных на Пискаревском кладбище слова скорби и гордого утешения: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Еще не будучи с ней знаком, я испытывал издали почтительное восхищение этой смелой женщиной-поэтом, автором «Дневных звезд», взошедших на литературный небосклон в пору моей молодости. А немного позже, узнав ее пафосные стихи июня 1941 года, невольно вытвердил их наизусть:

Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
Горьких лет гонения и зла,
Но в слепящей вспышке поняла:
Это не со мной — с Тобою было,
Это Ты мужалась и ждала.

. . . .

Я люблю Тебя любовью новой,
Горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
С темной радугой над головой.

С середины 30-х годов Ольга Берггольц была в непрерывном диалоге с Родиной, Отчизной, страной. Она обращалась к ней не как к ораторской абстракции, а как к живому существу, хотя и писала с заглавной буквы «Ты», «Тобою», как в старину в молитвословии к богородице. Пожалуй, лишь ей удавалось говорить со своей страной так просто, требовательно и вровень, как говорят с матерью или старшей сестрой. И пафос ее стихов был подлинный, «патос», в каком-то начальном, античном смысле — живой и пламенеющий.

К встрече с Ольгой Берггольц я был отчасти подготовлен и тем, что рассказывал мне о ней Твардовский, сокрушавшийся, что она никак не закончит и не передаст журналу давно объявленную «Новым миром» вторую часть «Дневных звезд». Свою лирическую автобиографию она назвала Главной книгой, и это определение, слетевшее с ее уст, быстро было усвоено критикой, пошло в шаблон и размен, как и другое ее меткое словцо о лирическом «самовыражении».

Впрочем, о последнем сильно спорили, но, чем больше Берггольц попадала под критический обстрел, тем больше почему-то снискивала симпатий.

Впервые я близко увидел ее в феврале 1964 года. Редакцию «Нового мира», где я тогда работал, пригласили в Ленинград на встречу с читателями. Надо заметить, Твардовский редко принимал такие приглашения. В поэме «За далью — даль» он обронил иронически:

Провинциальный ли, столичный
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт.

Александр Трифонович находил, что главная встреча читателя с автором происходит наедине, при свете настольной лампы, с книгой в руках. Рекламных писательских выездов, «читательских конференций» не жаловал и всего два-три раза на моей памяти делал исключения из этого правила. Почему на этот раз он сам поехал и меня сманил в Ленинград? Думаю, потому, что после очередной приливной волны небеспристрастной критики журнала ему хотелось проверить меру сочувствия к «Новому миру» в среде иногородних читателей, услышать живые голоса. Заодно он намеревался несколько потормошить наших ленинградских авторов, в том числе и Берггольц, поощрить к присылке новых рукописей.

Первая из двух намеченных встреч состоялась в Выборгском доме культуры. Помню огромный, длинный, как сарай, зал, до отказа набитый людьми: те, кому не хватило места, стояли по стенам, теснились у дверей. На сцене — кафедра и покрытый кумачом «президиумный» стол, за которым вместе с Твардовским, А. Г. Дементьевым и мною, представлявшими «Новый мир», сидели ленинградцы — Александр Прокофьев, Даниил Гранин, Ольга Берггольц, Вадим Шефнер.

Твардовский заранее объявил, что редакторам журнала интереснее послушать читателей, чем говорить самим: хвастать негоже, а наша продукция — двенадцать годовых книжек и так на виду. Всех приглашали высказаться, более десяти человек были записаны заранее, и от выступавших с горячими, по

большей части умными и искренними речами не было отбоя. Председательствовавший Прокофьев властно и обдуманно вел встречу, умеряя крайности.

Ольга Берггольц сидела сбоку от меня, и я с любопытством взглядывал на нее время от времени. Уже не очень молодая, строгая и одновременно женственная. Набегавшие на лоб гладко расчесанные светлые волосы, круглившиеся волной над ухом, неожиданное движение глаз с очень подвижными зрачками. Характерное легкое вскидыванье головы, как бы гордый кивок в сторону и вверх... Она стала читать стихи, великодушно посвящая их нам, своим московским гостям, и в зале воцарилась чуткая тишина. Я не помню, что она тогда читала, помню только, что заражал страстный тон ее речи, напряженная искренность голоса, трепетность, если воспользоваться этим устаревшим словом.

А на другой день во Дворце искусств на Невском Берггольц должна была вести встречу с «Новым миром» сама. Но этот вечер совсем не напоминал предыдущий. Похоже было, что шумные овации накануне повергли в растерянность организаторов встреч. И когда мы собрались за сценой в артистической комнате Дворца искусств, выяснилось, что администрация так озаботилась разумным лимитированием выступлений читателей, что желающих выступить не оказалось совсем. Какой-то наиболее суетившийся за кулисами человек заикнулся было, не отменить ли вечер вообще? «Что значит отменить?» — как-то властно, резко вскрикнула вдруг Берггольц, и суетившийся исчез. «Начальство любит, чтобы на него кричали»,— с легкой усмешкой и уже тихим, обычным голосом объяснила, обратившись к нам, Берггольц.

Между тем вечер был на грани провала. Зал заполнялся публикой, но, за исключением одного критически настроенного к журналу оратора, желающих поговорить о «Новом мире» не ожидалось. Твардовский заупрямился: пусть выскажутся читатели, в противном случае хотел уехать. Его едва уговорили остаться.

Когда раскрылся занавес, из-за круглого столика со скатертью и графином, где мы полукругом сидели, поднялась Ольга Берггольц. Она сделала несколько шагов к самому краю сцены и встала там под прожек-

торным лучом вначлон, как над пропастью,— стремительная, в черном строгом платье.

«Я очень хорошо помню этот дом на Невском в начале 42-го,— негромко начала она.— Дом напротив был разрушен авиабомбой, окна были выбиты и зияли чернотой. А на стене соседнего дома была надпись, которую все, кто оставался здесь в блокаду, хорошо помнят: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». У нас в гостях «Новый мир» во главе с замечательным поэтом и редактором Александром Твардовским. Об этом журнале спорят. И похоже, что для кого-то сегодня наиболее опасна э т а сторона улицы».

Энергичным движением руки она соединила сцену и зал. «Мы ничего не боялись в блокаду,— воскликнула она,— чего же мы можем бояться сегодня?» Взорвались шумные, дружные аплодисменты.

Вечер был спасен, но длился он недолго. Кто-то пробовал выступать с места, но больше все же пришлось говорить нам. Помнится, как раз тогда Твардовский остроумно ответил на сетования заранее подготовленного оратора по поводу мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», их субъективного тона: «Нам тоже не все нравится в книге Ильи Григорьевича. Но мы думаем, что правильно поступаем, его печатая. Никто из его литературных сверстников не решился так широко запечатлеть прожитую ими сложную эпоху и свой опыт в ней, а Эренбург это сделал. Что же до упреков в субъективности, то мы не можем требовать от старого писателя, чтобы он забыл о том, о чем он хочет помнить, и помнил то, о чем хотел бы забыть». Раздался смех, вспыхнули аплодисменты. Твардовский поблагодарил всех присутствующих, Ольгу Берггольц, которая вела встречу, и ушел со сцены. Вечер оборвался быстро, как бы на полуслове.

Потом мы сидели, ужинали вчетвером в ресторане, отгороженные от танцующего зала какой-то ширмой. Гремел оркестр, разговор вязался плохо, было ощущение провала. Берггольц прочла свои ненапечатанные стихи, уговаривала прочесть что-нибудь Твардовского. Он отказывался — никогда не читал, даже в «подогреве», стихов за ресторанным столиком. Тогда Ольга Федоровна стала читать за него, кажется, из «Теркина на том свете», ей особенно нравилась первая

редакция. Он был смущен, но не пытался ее прервать. Потом сам прочел строк десять: «Вся суть в одном-единственном завете...» Прочитав, сказал: «Я стал бояться писать стихи. Все, что ни напишу, мне кажется так дурно, так дурно... Ну, почти как у Щипачева». Ольга влюбленными глазами смотрела на Твардовского и начала было рассказывать что-то из второй части «Дневных звезд», которые она пишет, но он прервал ее не грубо, но твердо: «Никогда не рассказывай, что пишешь. А вот напишешь — приноси скорей». Она было гордо вздернула голову, но смирилась.

В суете гардероба, когда одевались, ей показалось, что Александр Трифонович ушел, не простившись с ней, и она чуть не расплакалась. Но он подошел тут же, со старомодной обходительностью поцеловал ей руку, а потом, когда она обувалась, поставив ногу на стул, стал совать в ее сапожок 25-рублевую бумажку. Ольга, смеясь, отбивалась. «Нам-то рядом до гостиницы, а надо, чтобы ты хорошо доехала, не зависела ни от каких мерзавцев,— вслух сказал он. Мне же шепнул тихонько: — Я заметил, у нее денег-то совсем нет...»

* * *

После той, первой встречи прошли годы. Я лишь мельком встречал Берггольц в кулуарах каких-то собраний или писательских съездов: поздороваемся, впрочем вполне сердечно,— и разойдемся.

Осенью 1971 года она бросилась ко мне в вестибюле Дома творчества «Переделкино»: «Как Твардовский?»

К этой поре было уже вполне ясно, что Твардовский болен неизлечимо, больше года не существовала и прежняя редакция «Нового мира». «Зайдите ко мне,— попросила она,— посидим, поговорим, если не скучно».

Я воспользовался ее приглашением. Ольга Федоровна показалась мне увядшей, постаревшей, со свисавшими по бокам прядками волос: льняные нити мешались в них с серебром. Но на столе в ее номере стояла бутылка сухого вина, мало-помалу Берггольц разговорилась, оживилась, и вечер полетел незаметно.

Ольга Федоровна жила в своей комнате не одна: с нею была ее приятельница и помощница, или, как говорилось в прошлом веке, компаньонка, Антонина Ни-

колаевна, Тоня. Когда, приготовив нам чай, Тоня ушла смотреть телевизор, Берггольц рассказала мне о ней. Родом из крестьян, родители ее были раскулачены, она хлебнула вдоволь горя. Во время войны попала в плен к немцам и прошла лагерь Дахау, уже у печи в очереди стояла... Работница она была отличная, руки у нее прекрасные, и добилась больших успехов на фабрике наглядных пособий, где муляжи для обучения медиков делают. Ей самую тонкую работу доверяли, например глаз. Тоня оказалась горячей почитательницей Берггольц, и не без ее участия фабрика, на которой она работала, преподнесла Ольге Федоровне к юбилею человеческий череп с надписью: «Любимому поэту». «Не правда ли, это стоит Гамлета!» — восхищенно восклицала Берггольц.

Ольга Федоровна рассказывала, читала стихи — свои, чужие, и, когда Антонина Николаевна, вернувшись, застала ее со стаканом вина в руке и неодобрительно покосилась на меня, Берггольц воскликнула возбужденно-весело: «Больно много воли забрала! Нам надо говорить, понимаешь, надо».

Целый месяц я прожил в «Переделкине», в том же доме, этажом выше Берггольц. Мы виделись едва ли не каждый вечер, говорили откровенно и подолгу, я перечитывал стихи в книгах, которые она мне дарила, и постепенно передо мной открылась куда больше, чем я предполагал, ее горькая, трагическая судьба.

* * *

Мне случалось встречаться с литератором Алексеем Эйснером, оказавшимся когда-то в парижской эмиграции. Потом он воевал в Испании адъютантом генерала Лукача (Мате Залки) и скончался на родине. В молодости его стихи отмечала Марина Цветаева, и все помнили одну его строчку: «Человек начинается с горя».

Человек начинается с горя... Начальную треть жизни Ольга Берггольц прожила довольно счастливо и уж, во всяком случае, с беззаботной надеждой на одно хорошее: детство в семье врача, Федора Христофоровича Берггольца, военно-полевого хирурга на двух войнах, интеллигента в первом поколении со строгими понятиями порядочности и чести; нежная, заботливая мать — Мария Тимофеевна и нянька Авдотья; младен-

ческие воспоминания об Угличе — второй ее колыбели. И Петроград — деревянный, двухэтажный дом с садом за Невской заставой. Улица, мощенная булыжником, с большими деревьями по обочинам... Росшая вместе с ней младшая сестра Мария Федоровна, Муся, вспоминает Ольгу девочкой кроткой и уступчивой. И выход ее из дома в мир был как естественный вылет оперившейся птицы из гнезда.

Комсомольская молодость, красные косынки, демонстрации с лозунгами «Долой Керзона!», штурмовые ночи на «Электросиле» — культ дружества и добровольной жертвы «энтузиастов» — тот начальный дух революции, в котором обреталась уверенность в близком и несомненном счастье для всех. Рядом со словом «любимый» в ранних стихах Берггольц всегда слово «брат», слово «товарищ». Товарищество казалось самым естественным и легким делом в жизни, а до идеала братства было вроде бы рукой подать.

К этому надо прибавить, что на пороге литературного мира ее встретили так, будто только и ждали ее появления. Красивая, искренняя, талантливая девушка-поэт вызывала общие симпатии. Маршак редактировал ее первые книжки для детей, сам Горький, встретившись с Ольгой, отечески поощрил ее начало. Кто мог знать, что ждало ее впереди.

Как поэт Ольга Берггольц началась с горя. Исчез из ее жизни, а потом и вовсе исчез, чтобы погибнуть совсем молодым, ее первый муж Борис Корнилов — звонкий, чубатый, скуластый, непутевый и юный, как неперебродившее вино. Словно бы к ней, Ольге, к их общей молодости была обращена его «Песня о встречном»:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река...

После 1937 года его имя перестали называть, о нем можно было только шептаться. А она, давно расставшись с ним, все еще временами слышала его голос и спрашивала в своих стихах:

Ты живешь ли на белом свете?
Ты лежишь ли в земле сырой?

Потом и для нее самой настали черные дни: донос, арест, тюрьма. Тюрьма недолгая, меньше года, но па-

мятная на всю жизнь. В «Попытке биографии» Берггольц пишет: «В 1937 году меня исключили из партии, через несколько месяцев арестовали. В 1939-м я была освобождена, полностью реабилитирована и вернулась в пустой наш дом (обе доченьки мои умерли еще до этой катастрофы)»[1]. По ужасной прихоти случая болезнь унесла Ирину, когда ей было восемь лет, Майю, когда и года не исполнилось.

Долго среди других мучительных воспоминаний помнился ей:

...птичий милый отпечаток,
Дочери погибшей башмачки.

Еще одна попытка иметь ребенка окончилась трагически. Она ждала его, когда оказалась за решеткой: он родился мертвым. Это был бы сын или дочь Николая Молчанова — ее второго мужа, поддержавшего ее в пору испытаний и встретившего по выходе из тюрьмы.

О, грозный вечер возвращенья,
Когда спаленная дотла
Душа моя не приняла
Ни мира, ни освобожденья...—

так писала Ольга Берггольц в июле 1939 года. Лгать и лицемерить либо жить двойным сознанием она не могла. Ей надо было во что бы то ни стало снова найти контакт со своим временем и своей страной, и она обращалась к ней с гордой мольбой, увещеваньем и укором:

Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его,
Сквозь жалкое предательство друзей,
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.

Лишь 1941 год, народное бедствие войны заставили Берггольц по-настоящему очнуться после пережитого: она вновь могла открыто делить все со всеми. Только тогда, в юности, делились счастье и надежда, теперь делилась беда.

В первую блокадную зиму Ольга Берггольц потеряла преданно любимого ею Николая Молчанова. Он умер от голодного истощения 29 января 1942 года.

---

[1] Берггольц Ольга. Избранные произведения. (Библиотека поэта. Большая серия). Л., 1983. С. 57.

Первое время она словно окаменела. В «Дневных звездах» поразительно описано, как она брела пешком, шатаясь, через весь израненный, полумертвый блокадный город в фабричную амбулаторию к отцу, чтобы сообщить ему о горькой вести и найти утешение. Она не знала тогда, что в жизни ее ждет еще много любви, много встреч, страданий, измен, разлук, но последний взгляд Молчанова, будто впечатавшийся в невский лед, будет всегда идти за ней из блокадной тьмы:

Вот я оглянулась сегодня... Вдруг
вижу: глядит на меня изо льда
живыми глазами живой мой друг,
единственный мой,— навсегда, навсегда.
. . . .
Я только тебе еще верна,
Я только этим еще права,
для всех живущих — его жена,
для нас с тобою — твоя вдова.

Ольга Берггольц вышла в мир незащищенной, шла на жизнь с горделиво поднятой головой, доверчиво распахнув руки, широко открыв глаза в ожидании беспредельного счастья. И ревнивые мойры, блюстительницы судеб, узрев это, позаботились о том, чтобы ничто черное ее не минуло. Она узнала гибель близких, смерть детей, голод, тюрьму, предательство, болезни.

«Вы меня не знаете как поэта,— говорила она мне как-то в минуту хмельного возбуждения.— Моих лучших стихов никто не читал, а самые лучшие я не дописала, не написала... Я могу писать лучше Ахматовой, лучше Цветаевой... Настоящие женские стихи, где судьба». В этой напрасной вспышке самоутверждения было что-то запоздалое, беспомощно-печальное, но я понимал, что она хотела сказать. По боли пережитого и силе трагической женской страсти она могла бы поспорить с любой из своих старших современниц.

Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного стою...

Но, занесясь во внезапной гордыне этими сравнениями, она тут же спохватывалась: «Вы замечаете, что я расхвасталась?.. Нет, не расхвасталась, а как Ахматова в таких случаях говорила: «Мы с тобой не хвастаем, не правда ли? Мы просто рассказываем друг другу в с е п о д р я д».

К тому же Берггольц иной раз посещало сознание, что что-то непоправимо надломлено в ее судьбе, и, начиная свою песню, она редко могла ее закончить:

Когда же успею, когда запою
В средине лазурную, черную с края,
Заветную, лучшую песню мою.

Эта окруженная каймой траура поэтическая лазурь есть, быть может, лучший символ ее недовоплощенной поэзии. Ею написано «Пять обращений к трагедии». Обычно их относят к трагедии «Верность», но можно понять поэта и шире. Она будто вызывала заклинаниями дух трагедии, ждала его, предощущала, но той трагедии, о которой мечтала, так и не смогла написать. Однако взятые в совокупности ее лучшие лирические стихи — не пять, а пятьдесят пять вступлений в трагедию — может быть, и есть явленное нам трагическое ее лицо.

Когда после войны она почувствовала, что умолкает как поэт, стихи ушли от нее, то обратилась со страстным зовом «к песне», как в другие, более патриархальные времена поэты обращались «к Музе».

Очнись, как хочешь, но очнись во мне,—
в холодной онемевшей глубине.
Я не мечтаю вымолвить слова.
Но дай мне знак, что ты еще жива.
Я не прошу — надолго, хоть на миг.
Хотя б не стих, а только вздох и крик.
Хотя бы шепот только или стон.
Хотя б цепей твоих негромкий звон.

Должно быть, эта боль недовысказанности, боязнь поэтической немоты подтолкнули ее к лирической прозе — «Дневные звезды» публиковались как вольные фрагменты автобиографии. И все равно тревога, что она уйдет, не досказав главного о своем времени, о себе и своих друзьях, не оставляла ее последние годы.

* * *

В переделкинской узкой комнатенке на первом этаже, с одинаковыми у всех полосатыми шторами и умывальником в углу у двери она встречала меня запросто, по-домашнему. Сидела на своей постели в каком-то подвыцветшем платье-халате, обычно поджав под себя ноги, а я устраивался в кресле напротив.

Разговоры наши пошли, помнится, со сборника ее стихов, готовившегося в одном из московских издательств. Ей очень досаждал редактор, молодой малый, который решительно возражал против включения в книгу стихов из сборника «Узел», наиболее ею ценимых. «Малым», не запомнив его фамилии, случайно назвал его в разговоре я. Ольга Федоровна неожиданно развеселилась, повторяя это слово на разные лады, и с той поры иначе чем «малым» своего энергичного редактора не называла.

— Малый, кажется, идет на уступки. Я понемногу его перевоспитываю. Но как по-вашему, эти стихи ему понравятся?

Нет, не из книжек наших скудных —
Подобья нищенской сумы —
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы...

Она прочла все это сильное стихотворение 1940 года. Поначалу ровный и тихий, легко обегавший углы крохотной комнаты голос ее постепенно окреп, и последние строки — гордое обращение к людям нового поколения — она читала уже со своим легким картавым «р» хрипло, напористо, как с подмостков:

Но если, скорченный от боли,
Вы этот стих прочтете вдруг,
Как от костра в пустынном поле
Обугленный и мертвый круг,
Но если жгучего преданья
Дойдет до вас холодный дым,—
Ну, что ж... Почтите нас молчаньем,
Как мы, встречая вас, молчим.

Немедленного восхищения прочитанным она не требовала, и, если я пытался неловко сказать что-либо для нее лестное, случалось, обрывала меня. «Я ведь не поэт, не считаю себя поэтом,— в противоречии с приступами гордыни, когда разом поминались и Цветаева, и Ахматова, вдруг говорила она.— Это ведь тот же разговор, только что в рифму».

Немало чего наслышался я от нее в эти переделкинские вечера. Вперемежку со стихами, своими, чужими, она вспоминала людей, чьи-то судьбы, перекрестившиеся с ее судьбой, смешные и памятные случаи литературной жизни. Говорила об отце, о своих ла-

тышских корнях, о матери, о жизни на тихой окраине за Невской заставой. Вспоминала литературные свои дебюты. Однажды подосадовала, что не дали ей написать о Борисе Корнилове — предисловие к его однотомнику в «Библиотеке поэта». Говорила Берггольц о том, как ценит она поэзию Клюева, с которым познакомил ее Корнилов. Клюев казался ей поэтом не меньше Маяковского. От кого-то достался ей клюевский архив, она бережно хранила его рукописи и советовалась, как дальше с ними поступить.

Как-то вспоминала она вечер у Горького во время своего приезда в Москву. Однажды засиделись у него в особняке на Малой Никитской поздно: Лаптев, Макарьев, Фадеев и она. Горький взял из вазы, стоявшей на столе, апельсин и сказал: «Вот приз тому, кто придумает одну-единственную фразу, в которой уже заключался бы целый рассказ». Все изощрялись в изобретении, но дальше сверхсжатой схемы сюжета пойти не могли. Победитель этого соревнования (Кто им был? Не Макарьев ли? Не помню) придумал такое: «Верткая была лодчонка»,— сказал мужик, отдирая от штанов рака». В самом деле — картинно!

Берггольц говорила о Фадееве как о друге молодости: она была с ним на «ты», но утверждала, что он мог быть и прекрасен, и ужасен... Однажды она упрекнула его, что он не спас кого-то из литераторов, кого бы мог спасти. Он ответил ей: «Ты бы, Ольга, молчала, я такую беду от тебя отвел». И о Пастернаке вспоминала: какая в нем была наивность! «Он еще верил в незыблемость честного слова, как с теми своими итальянскими издателями. Верил в то, во что я уже не верю... Он приходил сюда, в переделкинский дом, когда я здесь жила году в 1957-м или 1958-м. Громко, в нос, объявил мне в вестибюле: «Жду вас вечером к себе на дачу. Будет прием в вашу честь и в честь приезда рояля, на котором будут играть оба Нейгауза». Когда он вошел, я стояла в кольце людей. Оглянулась — кругом пустота, и мы с ним одни».

Известно, что поэты, даже крупные, редко одарены добродетелью хорошо отзываться друг о друге. Берггольц о многих своих современниках говорила с восхищенной улыбкой, многих цитировала — к слову и просто так. Среди ее предпочтений были Заболоцкий и Светлов, Ахматова и Твардовский. С детским веселым

оживлением вспоминала она шутки «обериутов», «Цирк» Заболоцкого!

Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет!

Беспрестанно возвращалась она к Ахматовой — ее стихам, словечкам, ее живому облику. «Я жила ею с восемнадцати лет»,— говорила Ольга Федоровна. И вспоминала не величавой, благосклонно принимавшей знаки внимания старухой, какой я видел ее однажды в поздние годы,— совсем иной: веселой, озорной в свои хорошие минуты. Как-то через забор лазила... Дружила в Москве с актрисой Фаиной Раневской, и случалось, они втроем песни пели, дурили, хохотали. Из рассказов Берггольц я узнал и другое: Ольга Федоровна была из тех, кто не отвернулся от Ахматовой в 1946 году и помог ей пережить ее несчастье. «У искусства два крыла,— говорила Берггольц,— трагедия и комедия. И как тогда Жданов ухитрился ударить сразу по обоим! Ахматова и Зощенко — их объединили искусственно, но не случайно».

В тот послевоенный год еще не были отменены карточки, и Ахматова, исключенная из Союза писателей, была их лишена. Берггольц, получив свой паек, носила в шереметевский дом в судках суп и второе. Они читали друг другу стихи, говорили, понизив голоса, не зажигая света, в сумерках, спускавшихся на Фонтанку.

«Я убеждена, что у революции нет такого наказания, как голодная смерть для поэта»,— отвечала Берггольц, когда ее вызвали на заседание, где упрекали в том, что она помогает Ахматовой.

По словам Ольги Федоровны, Ахматова много говорила с ней о своей главной боли — ссылке сына, Льва Николаевича Гумилева. Однажды попросила: «Оля, напиши для меня стихи о Сталине. Ну, что тебе стоит... Я не могу, а если их с моей подписью напечатать, может, Леву бы отпустили...» Наступила долгая пауза. «Да ведь и я не могу»,— ответила Берггольц.

...Так без всякого порядка и цели текли наши разговоры. Я ни о ком и ни о чем не расспрашивал ее специально. Теперь, когда я вспоминаю о ней или перечитываю ее стихи,— о, сколько самых разнообразных, не заданных вовремя вопросов вертится у меня

на языке! Хотелось бы расспросить ее о Борисе Корнилове, о Евгении Шварце и еще и еще об Ахматовой. Какие стихи они тогда друг другу читали? О чем говорили? И что соединяло Берггольц с Клюевым? И какое впечатление оставил у нее Горький? Но я только слушал и, по большей части, молчал. Разговор ее был так неровен, причудлив по ассоциациям памяти, порою судорожен, горяч, что временами напоминал вылившуюся на случайного собеседника исповедь. Прервать вопросом — значило перебить его грубым голосом другой действительности, чем та, в ритмах которой она сейчас жила.

Время от времени в комнате появлялась Антонина Николаевна, отставляя от Ольги Федоровны стакан с вином и стараясь налить мне повыше. И исчезала снова или садилась в угол с книжкой, молча, не принимая участия в разговоре.

Я сижу в своем кресле, слушаю Ольгу Федоровну, смотрю на нее: да, заметно сдала. Прибавилось морщинок, волосы поредели... Она ловит мой взгляд. «Постарела? Нет, ничего еще для шестидесяти лет,— утешает она сама себя.— У нас в Ленинграде, в особняке, где Союз писателей, старое зеркало в раме — мое контрольное зеркало. Я смотрелась в него молодой, причесывалась перед ним, прежде чем войти в зал. А потом через годы подхожу и говорю себе: «Еще ничего, пожалуй...», «Да, начинаешь сдавать...», «Боже, как постарела!».

Но долго Берггольц на этом не задерживается, и мы снова говорим о любимых ею людях, о книгах. В те дни я закончил статью о «Братьях Карамазовых» и давал ей читать. Она отметила какой-то непорядок в цитате — из монолога Ивана Карамазова. Я уперся, что прав: помнится, сверял с текстом, она же помнила наизусть. Проверил позже — Берггольц была права. Классиков она читала всерьез.

По этому ли, по другому ли поводу она сказала, что ей не хочется брать в руки новых книг, встречаться с новыми людьми — может быть, просто устала? Но вот «перечитала всего Толстого, десять томов Достоевского,— и в себя не могу прийти от изумления, как они могли столько угадать в нас, о нас? Как они могли понять, что будет?»

* * *

Если я не заходил к ней день-другой, она поднималась ко мне сама или посылала за мной Антонину Николаевну, и я спускался в ее «келью». На улицу она почти не выходила, ясные осенние дни уже отгорели, часто шел дождь, иногда со снегом, но однажды я принес ей с прогулки по парку найденный под укрытием из мерзлой, палой листвы роскошный, с оранжевой головой и толстой ножкой подосиновик. Как она радовалась ему, водрузив в вазочку для цветов!

А вечерами долго не отпускала меня и говорила все откровеннее. Дело было, разумеется, не во мне. По-видимому, она часто чувствовала себя одиноко.

«Не подумайте, я ведь редко так с кем говорю,— не то объясняла, не то оправдывалась она.— Я умею молчать. Чему-чему, а этому меня научила тюрьма, блокада и бесконечные сидения в очередях с передачей».

Сейчас мне вспомнился ее рассказ, как в начале 1937 года она лишилась литературной работы «за связь с врагами народа». Пошла в профсоюз и стала просить устроить ее куда-нибудь. Устроили в школу, учительницей русского языка и литературы. Беда была в том, что правила грамматики, синтаксиса она совсем плохо помнила, а идти в класс нужно было тотчас. Пришла на первый урок и сказала: «Ребята, сейчас я буду вас учить, где ставить запятышки». Как назло, оговорилась — и дружный хохот класса. Дала отсмеяться, стала диктовать что-то из «Записок охотника», и отношения понемногу наладились. На уроке литературы Ольга Федоровна попросила ребят выложить на парты учебники, где о Пушкине говорилось исключительно в свете развития России по пути буржуазных отношений, и отобрала их. Учить начала по-своему: просто читала пушкинские стихи, ребята удивленно замолкали. В 7-м классе спросила ученика («Его Виталик звали, он потом в ополчении погиб»): «За что был убит Пушкин?» Виталик молчал. «Подумай получше и скажи, за что он был убит, и Лермонтов тоже?» Молодая учительница решилась на подсказку: она имела в виду неприязнь светского общества, царского двора. «Неужели не знаешь?» — «Знаю,— потупившись, отвечал Виталик.— Но вы будете сердиться...» — «За что же, за что?» — «А за дам!!!»

Новенькую учительницу не раз вызывали к директору: почему не политизируете уроки языка? Надо привлекать больше материалов из газет. «Нет, я не буду учить школьников шаблонному газетному языку»,— сопротивлялась Берггольц. И учила их Пушкину, Тургеневу. Диктовала тексты, не выделяя голосом части фраз, и запятые ребята учились ставить по смыслу.

В школе она провела недолго, а потом арест, тюрьма.

«Когда меня ввели в общую камеру,— рассказывала Берггольц,— первой моей мыслью было: сколько здесь врагов народа! И вдруг одна протянула мне сальца, другая — луковицу, а третья спросила: «Ты с воли или с Арсеналки?» Я не поняла. «Меня взяли сегодня ночью»,— ответила я. «А-а, с воли...» Так я узнала, что пришла с воли. «Как там Мадрид?» — тут же жадно спросила худая, изможденная женщина (расклейщица афиш, как я узнала потом). «Мадрид вчера пал»,— ответила я. И вдруг все в камере молча встали. «Нет, это не враги»,— подумала я. Через день-два я освоилась, перезнакомилась со всеми. Только что прошел юбилейный пушкинский год, и все рассказывали анекдоты о Пушкине. Меня поначалу это коробило. Но некоторые и о себе говорили откровенно...»

Больше других Берггольц подружилась с Маргаритой Коршуновой. Ее, участницу гражданской войны, врача, лишили боевой медали и арестовали, кажется, за слишком искренние разговоры. Это была «женщина-воин с упрямым и скорбным лицом»,— у Берггольц есть стихи, ей посвященные:

Никто никогда не узнает,
О чем говорили мы с ней.
Но видеть хочу, умирая,
Ее у постели своей.

Кое-что из того, о чем они говорили, Ольга Федоровна все же успела мне рассказать...

К камере соорудили самодельные карты, и Ольга гадала Маргарите. Нагадала ей дорогу, брачную постель, червонного короля. Маргарита, какая ни была строгая, встрепенулась: «Как коммунистка скажи, врешь или вправду карта тебе сказала?» — «Карта сказала». «Если выйдешь,— попросила Ольга мечта-

тельно,— разыщи Молчанова Колю. Запомни номер телефона. Скажи ему одно слово: «Степка жив»,— и назначь встречу. Расскажешь все обо мне. А потом пусть он передаст не 100 рублей на ларек, как всегда, а 85. Запомнила?»

Случилось чудо, и Маргариту Коршунову в самом деле отпустили. Прошло некоторое время, был ее, Ольгин день, 16-е число. «Шестнадцатого мне всегда везло. Но тут целый день я ждала — не было передачи. Потом, когда надзирательница уже крикнула: «Спать!» — и стали разбирать вонючие матрасы, вдруг кто-то объявил, открыв «намордник»: «Берггольц, выходи!» И передали квиток, 85 рублей на тюремный ларек. Я была на седьмом небе: это от Коли, он все знает обо мне! Нет стен тюрьмы, нет этих сотен охранников со штыками. Я легла на матрас и в темноте твердила себе, счастливая: «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы...»

«...Потом и меня выпустили, не знаю почему. Тогда думала, что меня спасла тетрадка дневника, захваченная при аресте,— там на многих страницах слезы об убийстве Кирова, а в доносе на меня главным было, что я отзывалась о Кирове враждебно... Так эта тетрадка в тюрьме и пропала».

Уже в конце 60-х годов, надумав переиздать свою лучшую поэтическую книгу «Узел», Берггольц пошла на прием к влиятельной особе, руководившей областью культуры. «К сожалению, эту книгу сейчас печатать нельзя,— сказала ей собеседница.— Там слишком много об этом... Об этих переживаниях...» — «О тюрьме и репрессиях? — перебила ее Ольга Федоровна.— Говорите яснее, это не сифилис».— «У нас в рабочей семье ничего подобного не было»,— заметила влиятельная особа. «Значит, вам повезло. А миллионы, прошедшие сквозь лагеря и тюрьмы,— и сколько из них не вернулось?» — «Не преувеличивайте, Ольга Федоровна, не преувеличивайте...»

Вот оно, общественное лицемерие, от которого она задыхалась.

«После того, что со мной случилось,— рассказывала Берггольц,— я долго в себя не могла прийти, не могла писать стихов, встречаться со знакомыми». А тут война, блокада. Путешествие за Невскую заставу в фабричную амбулаторию к отцу зимой 1942 года она

описала в «Дневных звездах». Но никогда не решалась описать смерть Коли Молчанова — только губы крепче сжимала и замолкала, вспомнив об этом.

«Какой он был необыкновенный,— говорила Ольга Федоровна.— Ясный, прямой, красивый — душевный монолит». Когда с ней случилась беда, он за нее был исключен из комсомола. Перед собранием его уговаривали: «Николай, что тебе стоит выступить. Скажи, не сразу осознал, откажись от нее». А он: «Она ни в чем не виновата, вы увидите, разберутся». Тогда сменили тон: «Или ты выступишь, или комсомольский билет на стол». Он вынул билет из кармана юнгштурмовки: «Нате! Эх, разве вы мужчины?» — и ушел.

По словам Берггольц, Молчанов был талантливейший филолог. Его диссертация о восприятии Пушкина в 60-е годы эстетической критикой и революционными демократами была закончена перед войной. Университетские профессора говорили потом Ольге: он был талантлив стихийно, талантлив, как молодой Белинский. Может быть, и преувеличивали немного, понимая, как он ей дорог. Единственный раз, когда она плакала в блокадные дни, это когда возвращалась из госпиталя от умирающего от дистрофии Коли.

* * *

Казалось, меньше всего Ольга Берггольц любила говорить о тех своих книгах, сочинениях, которые принесли ей наибольшее признание, премии, статьи в газетах. Напоминание же о некоторых публикациях просто ранило ее: ей хотелось, чтобы они как бы не существовали.

«Не всегда же случается написать, что хочешь,— рассуждала она.— Звонят из газеты, говорят, напишите хоть что-нибудь, любая ваша строка для нас бесценна. И понимаешь, что льстят, но соглашаешься... Говоришь: хорошо, вот умер Илья Эренбург, хотите, я напишу об Эренбурге? Нет, говорят, это не нужно. А вот через три дня, сообщаем по строгому секрету, будет новый полет в космос — откликнитесь, пожалуйста, с жаром, свойственным вашему перу... Я растрогана вниманием, таю, начинаю что-то соображать. Между тем полет со дня на день откладывается. Уже было забываю об этом, а тут снова звонок из газеты, и сообщают мне конфиденциально, как заговорщице:

«Пузырь взлетел — откликайтесь!» Мне интересен космос, но что поделать, если внешний повод к стихам — для меня не повод».

Знатоки легко укажут сегодня в лирике Берггольц неточные слова, случайные, риторические или ненайденные строки. Но не бывает, или почти не бывает у нее случайного или вымученного чувства. Чувство, которое ведет стих, полно искренности и природной силы. В упругих рифмах, в страстности ее стиха чувствуется сжатая энергия, знающая о себе, но не до конца себя высвободившая.

И все неукротимей год от года
к неистовству зенита своего
растет свобода сердца моего —
единственная на земле свобода.

Таково постоянное стремление Берггольц, хотя, быть может, скорее желание, чем свершение.

В последние годы она больше гордилась своими ненапечатанными или редко печатавшимися стихами, чем, скажем, поэтической трагедией «Первороссийск» о коммуне на Алтае, где в первой редакции нашел себе место и образ вождя.

«Я писала ее когда-то с полной верой,— говорила Ольга Федоровна.— Сталин счел нужным дать премию. Но, когда Комитет по премиям представлял ему список, высказался так: «Слишком много у нас трагедий. Пусть премия будет, но только третьей степени». И еще спросил у Фадеева: «А откуда эта Берггольц знает, о чем мы с Лениным говорили? Ведь там были только он и я». Но все же этим вымышленным — в духе времени — диалогом она, видимо, вождю польстила.

В конце 40-х годов ее пьесу «Они жили в Ленинграде» ставил московский Камерный театр. В Комитете по делам искусств, рассказывала Ольга Федоровна, созвали совещание с вызовом автора и работников театра — Таирова, Алисы Коонен. Среди собравшихся была хорошенькая девица лет двадцати, приглашенная, видимо, как представитель молодежи («У нас ведь никто от себя, все представители»,— не удержалась от попутной реплики Ольга). Так вот, эта девчоночка, критикуя пьесу почем зря, то и дело восклицала: «Наш народ так не думает!», «Наш народ не хочет...». Берггольц прервала ее, вскочив со стула:

«Сколько вам лет?» — «Ну, какое это может иметь значение?» — засмущалась пигалица. «А я хочу знать,— продолжала Ольга Федоровна,— в каком вы были партизанском отряде, в какой боевой части, в каком десанте, в каком осажденном городе, что позволяете себе говорить от имени народа?»

Председательствующий растерялся, девица ничего не могла ответить, и тогда Берггольц резюмировала жестко: «В таком случае, мне все ясно. Алиса Георгиевна, Александр Яковлевич, нам нечего здесь делать, пойдемте». И они ушли, оставив заседающих в растерянности.

От впечатлений давних Ольга Федоровна почти без паузы переходит к нынешним своим планам, замыслам, опасениям.

«Иногда мне кажется,— вдруг поникает она,— что я уже ничего не могу, не успею написать, а так бы хотелось...» И тут же, встрепенувшись: «А знаете, как будет начата вторая книга «Дневных звезд»? Твардовский не хочет слушать, а вы послушайте. Счастливейший день в предгорьях Ала-тао. Мы, веселые, молодые, идем втроем: Коля Молчанов, я и Леня — он и сейчас жив, живет где-то в Вятке. Идем какими-то страшными азиатскими задворками: дети на кривых ногах, с вывалившимися пупками и тонкими, будто спички, ручонками, грязь, пыль, смрад. И вдруг — зеленая долина, изумрудная лужайка под солнцем, удивление от красоты и чувство неправдоподобного счастья. И Леня говорит, обращаясь к нам: «Вот так мы войдем в социализм». Он не знал, что на допросах, когда после избиений он будет терять сознание и у него пойдет кровь в моче, он даст на меня и на Колю ложные показания и подпишет этот протокол, а я потом, освободившись сама, буду вытаскивать его из тюрьмы... А закончить вторую книгу «Дневных звезд» я хочу возвращением писательской бригады со Свири, где строили электростанцию. Там были с нами Женя Мустангова, Друзин, еще кто-то. Когда поезд остановился, на вокзале, как сквозь пелену, мы увидели флаги с траурным крепом и как-то не сразу сообразили, что случилось. Приехала я домой, позвонила в дверь и на пороге услыхала: «Вчера в Смольном выстрелом в затылок убит Киров». Это конец второй книги, а в третьей... Там еще рассказать надо, как я, православная

с детства, потом яростная атеистка, уверовала в высший разум и совершенство мира. Однажды я оказалась в Крыму, в Никитском саду одна. Там стояли прекрасные деревья — кедры или эвкалипты с красными стволами при заходящем солнце. Были они один к одному с зелеными плоскими вершинами, вознесенными к небу,— им едва ль не по шестьсот лет. Библейские деревья — как колонны в храме. «Господи,— подумала я тогда,— возможно ли, чтобы такая красота и такое совершенство созданы были просто так, игрой природных сил?..»

Замыслы, картины, идеи теснятся в ее голове, как льдины в ледоход, но, кажется, так же легко крошатся, ломаются и тают.

«Я столько еще стихов должна написать... Я напишу книгу об Ахматовой. Да и о других рассказать надо — о Шварце, о Светлове, о Юрии Германе. Я назову эту книгу «Мои современники» — как вам название? И, конечно, особо о Твардовском...»

Но вдруг Берггольц замолкает, как бы сбитая на лету внезапным соображением или мыслью, и лишь повторяет скорбно: «Нет. Ничего не напишу. Пробовала писать стихи в больнице, на улице Радио. Идут какие-то дискретные строки...» И улыбается слегка — виноватой, смущенной улыбкой.

Из таких вот «дискретных строк» некоторые посвящены Твардовскому. Я впервые прочел их недавно, в посмертном издании Ольги Берггольц, предпринятом «Библиотекой поэта»:

Ты, как острастка
вечному злословью
равнодушья.
Ты — совесть и гордыня поколенья.

И еще:

Праправнук
протопопа
Аввакума —
нежнейший,
беспощадный,
чистый свет...

Теперь пришло время рассказать о ее последней встрече с Твардовским.

* * *

Твардовский был болен уже больше года. Он слег через семь месяцев после того, как вынужден был уйти из «Нового мира», и больше не поднялся. Болезнь его была стремительна и, в сущности, неизлечима. Врачи, считавшие его до той поры практически здоровым, констатировали почти одновременно инсульт и рак легкого. Но богатырский от природы организм все еще сопротивлялся. Он кочевал из больницы домой и снова в больницу, внушая временами близким неоправданные надежды. Осенью 1971 года, отпущенный врачами после последней попытки лучевой терапии, он жил, слабея день ото дня, на даче в Пахре.

Все те полтора долгих года, что он болел, я постоянно навещал его, но знал, как трудно бывает ему встречаться с людьми, даже с теми, кого он хорошо помнил, любил, и читать в их глазах отчаяние оттого, что они видят его таким.

Все это я откровенно рассказал Ольге Федоровне, отговаривая ее ехать, но она терпеливо выслушивала меня и повторяла одно: «Я должна его еще увидеть». «Вы твердо это решили?» — спросил я. «Я схоронила мужа, отца, всех близких,— отвечала она, гордо подернув головой,— и я умею сносить горе».

Накануне вечером, когда происходил этот разговор, я опять допоздна засиделся у нее. Переживая предстоящее свидание, она, волнуясь, рассказывала об одной давней встрече с Твардовским. Это было в 1952 году, на открытии Волго-Донского канала, «великой стройки» послевоенной пятилетки. Группа писателей была послана присутствовать на этом торжестве и воспеть прославленный проект века, соединивший воды двух великих рек. В первый же день они с Твардовским и Юрием Германом пошли смотреть грандиозный котлован за колючей проволокой, в который должна была хлынуть вода. Над сухим еще ложем канала, над бетонной плотиной высилась огромная статуя Сталина.

Твардовский ужасно затосковал... В торжественный день, когда взорвали перемычку, работяги шли по колено в воде вдоль берегов канала, счастливо улыбались, плескали ладонями воду себе на лица и говорили радостно, сквозь слезы: «Идет... Идет освободитель-

ница». Прошел слух, что на радостях строителей канала — заключенных отпустят по домам.

Современных гостиниц в том степном краю, конечно, не было, писателей разместили кого куда. Ольга Федоровна жила в хатке у расконвоированного. Твардовский пришел к ней, стульев в доме не было, они сидели небольшой компанией прямо на полу, подстелив что попало, закусывали и говорили о том, о чем вслух люди станут говорить лишь четыре года спустя:

...когда со дна морей, с каналов
к нам возвращаться начали друзья.

Эти три дня на Волго-Доне Ольга Федоровна никогда не могла забыть: они что-то в ней перевернули и сделали Твардовского навсегда близким для нее человеком.

В тот день, когда я повез Берггольц к Твардовскому, выдалось чудесное осеннее утро, солнечное и тихое. Когда я зашел за ней, она еще не была готова. С необыкновенной тщательностью выбирала платье, туфли. Беспокойно спрашивала, что взять ему в подарок — последнюю книжку или лучше свою фотографию, удачно исполненный молодой портрет. Она явно не понимала, что ее ждет. Книжку и портрет я отсоветовал, да к тому же она припомнила, что книжку ему уже посылала. Взяла со стола забавную птичку-самоделку из сосновой шишки: «Отвезу и скажу, что это я».

По дороге на Пахру (мы ехали на такси через Кольцевую) Берггольц была оживлена, почти весела даже, и все вспоминала почему-то то Фадеева, то Горького, явно избегая думать о том, зачем и куда мы едем.

Приехали мы довольно рано. Трифонович только позавтракал и сидел в своем обычном зеленом кресле — спиной к холодному камину, лицом к широкому окну, выходившему в сад. Мария Илларионовна с утра уехала в Москву, и нас сердечно встретила младшая дочь Александра Трифоновича — Оля.

Видно было, что Твардовский обрадовался нашему приезду. Говорил он с трудом, клочками фраз, иногда их смысл приходилось разгадывать, но улыбался приветливо. Ольга Федоровна, как девочка, присела на корточки возле его кресла, застеленного пледом, кон-

цы которого сходились у него на коленях. Она поцеловала его в голову, потом гладила рукой остатки волос, говорила какие-то нежные слова. По лицу его пробежала тень смущения, и он сказал «польщен». Вышло чуть-чуть высокомерно-насмешливо, но, смывая это впечатление, он рассмеялся, откинув голову. Ольга Федоровна расцвела.

Потом они сидели друг против друга, и Ольга Федоровна настойчиво пыталась заставить его что-то вспомнить, а он с трудом и невпопад отвечал ей.

Мне, бывшему у него в последние месяцы часто, все это было привычно, и, вообще говоря, Александр Трифонович показался мне даже на удивление хорош в тот день. Широкоплечий, величавый, в какой-то новой светло-серой вязаной шкуре, которая шла ему — настоящий викинг, только занемогший или тяжко раненный в недавнем сражении. Голубые, детские глаза его смотрели ясно и доверчиво, а над светлым лбом свисал клок сильно поредевших после облучения волос.

— Я очень постарела? — спросила Ольга Федоровна.

— Нет... Средне...— с напряжением подыскивая слова, ответил он. И прибавил, проведя рукой по лбу: — А у меня вот волосы... выросли...

Утешая его, так говорили в доме, и он повторял эти слова.

Ольга подарила ему птицу из шишки и не знала, что делать дальше, как справиться с охватившим ее волнением. Стянула янтарное кольцо со своего пальца, стала надевать ему на мизинец — кольцо не лезло. Тогда она подозвала Олю и, повергнув ее в растерянность и смущение, подарила кольцо ей.

Мы пробыли у Твардовских полчаса и заспешили к ожидавшей нас машине. Едва мы тронулись, Берггольц откинулась на заднем сиденье, закрыла глаза и сказала хрипло: «Его нет».— «Как нет?» — «Он умер». Ей показалось, что он ничего уже не узнает, не понимает. Я стал разуверять ее. «Нет, я знаю, знаю, таким был Коля перед смертью...» Она отвернулась к окошку машины, и мы долго ехали молча. Потом снова окликнула меня: «Разве вы не видите, что он мертв, глаза не смотрят...»

А вечером, в ее комнате, я снова слушал, как она

бесконечно вспоминала дорогие ей лица, горевала, оплакивала ушедших и уходящих и пыталась залить горе вином...

Александр Трифонович умер два месяца спустя, Ольга прилетела на его похороны из Ленинграда и тотчас позвонила мне. Я нашел ее в состоянии какого-то горестного безмолвия в номере гостиницы «Москва». В широкой вазе стоял неправдоподобно большой букет красных гвоздик, свежих, только с утра срезанных для нее в ленинградском Ботаническом саду. Ольга Федоровна ходила по диагонали из угла в угол комнаты, держа руки у висков. «Простите, что заставила вас приехать. Вы единственный человек, которого я могу сейчас видеть»,— сказала она.

А на другое утро я едва узнал ее в почетном карауле у гроба — тонкую, строгую, подтянутую и без единой слезинки.

Она часто упоминала в разговорах свою любимую книгу «Узел», изданную лет за семь до того и с той поры давно разошедшуюся. Давала ее читать, но подарить не могла: не осталось экземпляров. Теперь она привезла эту книгу мне и написала на ней: «Владимиру Лакшину в дни, которые мы никогда не забудем. 18—21.XII.71». Это дни смерти Твардовского и прощания с ним.

* * *

Чем больше я думаю об Ольге Берггольц, тем лучше, кажется, понимаю главное в ней: огромная, не помещавшаяся в себе, сжигавшая ее энергия любви была заключена в этом сердце. Любви в широком смысле — к людям, своему городу, своей стране, родной культуре, и просто женской любви — к своему избраннику. Вся ее лирика — это разбитый на сотни кусков единый любовный монолог, одно несдержанное и стремительное признание. Жажда любви переполняла ее, казалось, она не знала, куда с ней деться, в кого перелить, на кого направить ее излучения.

Сегодня вновь растрачено души
На сотни лет...

Огромный запас любви и желание отдавать, отдавать его безрасчетно, быть может, главная несомненная мудрость ее стихов.

Все роздано: влачащимся — полет,
трусливым и безгласным — вдохновенье
и тем, кто всех глумливей осмеет,—
глубинный жемчуг сердца — умиленье...

Это не значит, что она не умела презирать, Берггольц охотно бы простила заблуждение, памятуя, как легко обольщалась и заблуждалась она сама, но в ней была прямо-таки яростная, спазматическая ненависть к фальши. Казалось, она своими руками могла задушить фальшивившего человека. Когда она встречала литератора, совершившего когда-то предательство по отношению к одному из ее друзей, в глазах ее полыхали опасные молнии. Она могла превратиться в валькирию, теряла уравновешенность вялого приличия и способна была на эксцентрические поступки: спустить с лестницы, громко, публично опозорить, обличить.

Мало сказать, что она была искренна! это была рискованная открытость, распахнутость души, делавшая ее незащищенной.

И как мне скрыть — наполовину — страсть,
Чтоб страстью быть она не перестала...

Берггольц смущала меня порой своей переменчивостью, говоря с пылающими очами о любимых своих людях: только он! только одного его она помнила и любила всю жизнь! Но, случалось, произносила она при этом то одно, то другое имя. Во всех своих душевных движениях она была слишком женщина или, лучше сказать, вполне женщина, но это-то и красило ее больше всего. Она любила, приходя в содрогание от собственной непоследовательности и добросовестно забывая о том, кто вчера еще казался ей единственным в мире. Но проходили годы, и в минуты тоски и одиночества перед нею всплывало другое полузабытое лицо, и ей казалось, что это одного его она ждала и вспоминала всю жизнь.

И всегда ощущался в ней трагизм чувства, не разделенного вполне — да и мог ли кто-либо до конца разделить его? Это значило бы сгореть с ней в ее же огне. И напряженность ожидания отзыва, во сто крат усиленная разлукой — разлукой беспредельной, зависевшей не от одной переменчивости сердца. Разлукой вечной — как разлука с Корниловым, разлука с Молчановым.

От сердца к сердцу. Только этот путь
я выбрала себе. Он прям и страшен.

Ей нравилось подписывать свои книги и фотографии автоцитатой: «От сердца — к сердцу...» Вот и сейчас в моей комнате смотрит на меня со стены ее молодой портрет с этой надписью. Светлые, легкие волосы, умные, прямо глядящие глаза, чуть обиженный рот и красивая, длинная кисть руки у ворота платья, будто защищающая себя...

От природы Ольга не предназначена была стать лицом трагедии. И уголки губ не опущены у нее вниз, как у трагической маски. Девочка за Невской заставой была существом легким, веселым. Да и в ту позднюю пору, что я ее знал, она временами беззаботно смеялась, охотно откликалась на шутку. Но когда разговор касался чего-то давнего, выстраданного, губы ее строго сжимались, она смотрела на тебя с требовательной печалью, будто взывала к восстановлению неведомо когда и кем порушенной справедливости и выбрасывала слова отрывисто, резко: так говорят перед расставанием, в последнем объяснении, в сухом горе. В эти минуты, казалось, она тщетно пытается замаскировать подчеркнутой резкостью и четкостью готовые накипеть слезы. И словно въявь возникала перед тобой окровавленная душа, которую не однажды равнодушно переехала тяжко груженная телега жизни.

Вот, напоследок, рассказ о Берггольц ленинградского таксиста:

«Однажды приехал по вызову. Выходит женщина, с другой какой-то. Она ей: «Оля, не опаздывай, вовремя возвращайся». А та села на переднее сиденье, рядом со мной — сидит, молчит, хмурая. «Куда ехать?» — спрашиваю. «А куда хочешь». Вот тебе и на, такси заказывают, называется. «А если серьезно»,— говорю. «Ну, хоть на острова... Только поезжай, что ты, не видишь, плохо мне». Повез я ее на Каменноостровский, потом в гавань, потом к Лавре и за Невскую заставу — во-он какие концы! Мне-то что, счетчик прыгает. Потом назвала адрес: Рубинштейна, 7. Подъехали к какому-то дому, она говорит: «Подожди»,— и вышла. Жду десять минут, двадцать, полчаса, решил проверить пойти, где она. Еще не расплатится дамочка, тоже случаи бывают. Вошел во двор, а она стоит там одна,

задрав голову, и на чьи-то окна смотрит. Я подошел, окликнул. Не отзывается. Тогда за руку ее тронул: «Пойдем»,— говорю. Она как из сна вышла, пошла за мной. Повез я ее на Невский, у магазина Елисеевского просит остановить. Спрашивает: «Дети есть?» «Две девочки»,— отвечаю. Пошла в магазин, вижу, тащит плиток десять шоколаду — «детям передай», и еще коробку конфет жене. Отвез я ее домой, расплатилась, как положено. Спрашиваю, как зовут, чтоб благодарить, она назвалась «Берггольц», вроде я это имя слышал. А тут в «Вечернем Ленинграде» заметка о ней, да я и по портрету признал...»

Этот святочный рассказ я пересказываю со слов Лидии Ивановны Соколовой-Микитовой. Она ехала когда-то с тем таксистом, сказала, к слову, что знает многих писателей. «А Берггольц знаете?» И пошел рассказывать поразивший его случай. Очень похоже на Ольгу Федоровну. А все же, думал я — может и так, шоферская байка? Но недавно раскрыл томик Берггольц на стихотворении «Мой дом»:

А в доме, где жила я много лет,
откуда я ушла зимой блокадной,
по вечерам опять в окошках свет.
Он розоватый, праздничный, нарядный.
Взглянув на бывших три моих окна,
я вспоминаю: здесь была война.
. . . .
Нет, я не знаю, кто живет теперь
в тех комнатах, где жили мы с тобою,
кто вечером стучится в ту же дверь,
кто синеватых не сменил обоев —
тех самых, выбранных давным-давно...
Я их узнала с улицы в окно.

Перечитывая эти стихи, я вспомнил рассказ таксиста.

Есть странные совпадения: сейчас проверил по дневнику — в тот самый вечер, что я был в гостях у Соколовых-Микитовых и Лидия Ивановна рассказала историю с таксистом, а потом мы долго говорили об Ольге, я вернулся домой поздно. А уже после полуночи в моем доме раздался звонок. «Как мало в мире нас, людей, осталось...» — произнес хрипловатый торжественный голос.

Сердце сердцу весть подает, говорят в таких случаях в народе. «Простите, что я вам звоню так позд-

но,— начала Ольга Федоровна,— иногда мне кажется, что в моем большом городе мне не с кем поговорить». На этот раз сюжет ее был необычен. Ольга Федоровна рассказала, что долго болела и, кажется, уже побывала на том свете. «Я провела четыре дня в реанимации — очень интересно следить, как умираешь по науке. Мне показали красные и зеленые огоньки на пульте, сказали: если зеленый погаснет, а зажжется красный, значит, наступило состояние клинической смерти. И я изо всех сил старалась все запомнить и не пропустить этот интересный момент...»

Берггольц не играла со смертью. Она столько раз видела ее рядом. Не однажды вспоминала, как зимой 42-го, продрогшая, сжавшаяся от голода и холода, возвращалась она из-за Невской заставы от отца по занесенным снегом путям (трамваи не ходили) и, обессилев, опустилась в сугроб и стала замерзать, заносимая метелью. И вдруг в морозном полусне голос с неба, показавшийся ей знакомым, воззвал к ней. Она встала, качаясь, и пошла на этот голос. Оказалось — говорила она сама из радиорепродуктора, висевшего на столбе, призывая ленинградцев к стойкости и мужеству...

Да, не раз она была на краю унизительной гибели и одного за другим теряла близких. Но это не сделало для нее смерть желаннее, и она до конца жила надеждой выздороветь и успеть еще что-то досказать. Досказать прежде всего о тех, кого она в этой жизни любила.

«Мне сейчас лучше,— говорила она.— Я уже сажусь в своей письменной постели и начала писать о Твардовском. Я должна успеть рассказать о нем то, что поняла, что знаю. Мы его не берегли! Погубили лучшее дитя века... И об Ахматовой буду писать — кем она для меня была... И о Корнилове... И о Коле... Главное — никого не отдать забвенью».

Если правильно помню, этот ночной телефонный разговор был последним. С той поры редко кто нарушает мой сон. Теперь меня не будят за полночь заливистые, длинные звонки междугородной. И усталый, печальный, со знакомой картавостью голос больше не поднимает меня с постели торжественной стихотворной строкой:

«Как мало в мире нас, людей, осталось...»

ПОЭЗИЯ ДОБРА

(Повесть о Белом Биме и ее автор)

Собака Гавриила Троепольского — белый сеттер с черным ухом — за короткое время обежала весь читающий мир. Повесть о Белом Биме, появившаяся в 1971 году в московском журнале «Наш современник», была мгновенно перепечатана популярным ежемесячником «Наука и жизнь» (тираж — три миллиона экземпляров), потом вышла в Москве несколькими отдельными изданиями, читалась по радио, попала на киноэкран. А вскоре переводы ее появились на болгарском, польском, шведском, немецком, финском, чешском, словацком, турецком, греческом и других языках — более чем в 20 странах мира.

Следовало бы найти разгадку такой стремительной популярности книги, написанной без претензий и не ошеломляющей внешней оригинальностью, да к тому же еще на тему, далекую от сенсаций. Отчего история одной «интеллигентной собаки», как называет Бима автор, стала литературным бестселлером?

Первое, что приходит на ум,— это развившийся в городах XX века настоящий культ домашних, комнатных животных. В обширных апартаментах и совсем маленьких квартирках — в чуланах, передних и на сундуках, в крытых лоджиях и на кухнях живут барсуки, хомяки, морские свинки, попугаи, синицы и, конечно, кошки с собаками. (Я слышал о москвиче, в ванной комнате которого довольно долгое время обитал нильский крокодил — подарок приятеля, путешествовавшего по Африке.) Подобно цветам в ящиках на балконах и рябинам в палисадниках, домашние звери напоминают об оставленной нами прародине

природы. В каменных коробках многоэтажных домов и коридорах современных улиц человек скучает по голосам птиц, шуму листвы, журчанию ручья и хоть совсем редко ходит на охоту, но собака, живущая в доме, остается всегда желанным спутником и другом. Общение с разумным и преданным существом разгружает от нервных перенапряжений дня; кому-то служит спасением от одиночества, для кого-то — точкой приложения нерастраченных душевных сил, заботы, милосердия.

И все же не «друзья животных», и, во всяком случае, не только они, стали благодарной аудиторией для Троепольского. Повесть о Биме узко было бы понимать как филантропическую агитацию за доброе отношение «к братьям нашим меньшим», как называл это милое зверье Сергей Есенин.

Пусть некоторые рассуждения автора об «окрасе» и собачьей родословной напоминают кинологический трактат в художественной форме. Но про писателя мало сказать, что он знает и любит собак. Он из тех людей, для которых дружба с собакой — часть того, чем красна жизнь.

Перебирая недавно письма Троепольского, с которым я давно приятельствую, я наткнулся на такие строчки: «А у меня, брат, горе! Погиб от чумы мой любимый пес Лель... Так жаль, так жаль! Э, не надо... Все, молчу». Письмо это 1969 года, то есть как раз того времени, когда писалась повесть. Не родился ли Бим в час смерти Леля?

Конечно, лишь при долгом общении, почти родстве и свойстве с собакой можно так понимать немой язык собачьих мин, стоек и поз. Троепольский как по книге читает, что хочет сказать ему пес «глазами, хвостом, выразительным перебором передних лап». Холодное наблюдение не много подарило бы автору там, где всесильно понимание, основанное на годах доверия между человеком и собакой. И оттого так отчетливо видим мы Бима в ту минуту, когда защелкивается входная дверь за санитаром, вынесшим на носилках заболевшего Ивана Ивановича: «...он лег у двери, вытянув передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону; так собаки ложатся, когда им больно или тоскливо; они и умирают чаще всего в такой позе».

Не помню, где читал я об одном английском исследователе дельфинов, который заставлял этих понятливых животных прыгать в бассейне через обруч и проделывать всякие другие штуки. Так вот, этот англичанин поймал однажды остановившийся на нем умный, внимательный взгляд и вдруг понял, что пока, как ему казалось, он изучал дельфина, дельфин изучал его, со снисхождением проделывая все предписывавшиеся ему номера.

Троепольский никогда не ошибается в своих взаимоотношениях с собакой, потому что, как и его герой Иван Иванович, не смотрит на нее с обидным высокомерием. Бим — собака выдающегося ума. «Собаки же выдающегося ума очень хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие».

Однако было бы несправедливо почесть, что повесть Троепольского о Белом Биме вобрала в себя лишь виртуозное знание охотничьей собаки, ее поведения и психологии. В этой маленькой книге аккумулирован разнообразный жизненный, человеческий опыт автора, и на нынешний день она явилась, пожалуй, наиболее полным выражением его писательского существа, мыслей о людях. «Белого Бима» писал человек, немало поживший на свете и на своем веку многое повидавший и передумавший.

Родился Гавриил Николаевич Троепольский в 1905 году, в год первой русской революции, в семье священника — в черноземных местах русского юга, на воронежской земле, и этим краям остался верен поныне. В начале 20-х годов он окончил сельскохозяйственное училище, работал учителем в деревне, с 1931 года — агрономом. Писать начал поздно. Еще позже, когда ему было под 50, получил литературную известность. Но за четверть века занятий сельским хозяйством он прославился в своих краях как агроном. Им был выведен, между прочим, сорт проса, районированный в Воронежской области и по всему Черноземью, а это, как говорят знатоки, равнозначно крупному изобретению, внедренному в промышленность.

«А не жаль тебе иногда твоих занятий селекцией?» — спросил я его как-то. «Не иногда, а всегда,— отвечал он. И, подумав, прибавил: — Я долго чувствовал себя изменником, когда ушел от этого дела... Чуешь?»

В пору, когда в генетике безраздельно господствовал Лысенко, воронежскому селекционеру жилось не сладко. И однако, он писал научные статьи по агрономии, успел издать две книжки по селекции и семеноводству, когда в 1953 году в его судьбе случилась важная перемена.

В тот год Троепольский послал в столичный журнал «Новый мир» свои нравоописательные и сатирические очерки, зарисовки типов сельских жителей, получившие потом название «Записки агронома». Редактор журнала А. Т. Твардовский любил, когда в литературу приходили люди с биографией, каленые и крученные жизнью, и с запасом впечатлений иного круга, чем столичный литераторский. К произведениям немолодого по годам и юного литературным опытом автора он отнесся достаточно взыскательно, но, напечатав, поощрил его к продолжению писательских трудов.

Троепольскому-агроному в высшей степени шла его фамилия, хотя бы по созвучию с травопольной системой земледелия. Но с той поры, как появились «Записки агронома», знаменательность его литературного имени как бы получила и новое оправдание. Три поля, которые с любовью и старанием возделывал Троепольский,— это отныне не только агрономия, но еще и литература; третьим же можно признать, пожалуй, ружейную охоту, к которой так неравнодушен человек, любящий лес, поле и собаку.

Немолод уж ныне Троепольский, а нет-нет да и наладит поездку с ружьишком по чернотропу или весенней порой стоит на тяге, слушая хорканье вальдшнепов. Диво ли, что ему ведомы все обыкновения, уловки и хитрости зверей, и если в «Биме» он описывает повадки лесных обитателей — это подлинное, это с натуры: он знает, как обходит капкан волчица, понимает язык сорок — вестниц леса, может рассказать о том, что лисица нипочем не заметит человека, если он тихо стоит по пояс за кустом, потому что видит только понизу.

«Записки агронома» дали Троепольскому почетную известность писателя, смело открывавшего недостатки в жизни послевоенной деревни. Уже в этой книге рядом с сатирой и обличением звучала неожиданная лирическая нота, выдавая доброе, благородное челове-

ческое нутро автора. Еще яснее это услышится в следующей его большой книге — книге охотника «В камышах» (1963), которая, как и более ранняя сатирическая повесть «Кандидат наук» (1958), была впервые напечатана в «Новом мире».

Я счел своим долгом обежать хотя бы беглым взглядом главные вехи биографии и творческой судьбы Троепольского, чтобы подтвердить несомненный факт: повесть о собаке с черным ухом явилась как бы итогом целой полосы его литературной деятельности, тесно связанной с журналом «Новый мир» и его редактором. Литературное взаимообщение переросло здесь обычные отношения издателя и автора и превратилось в скупую на изъяснения, но верную дружбу.

Кстати, о сути дружбы сказаны Троепольским в его повести очень точные, выверенные слова: надо, «чтобы каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы». Не надо разуметь дело так, что Троепольский проповедует безбрежную терпимость и снисходительность к слабостям других. Но опыт жизни, высокопарно называемый мудростью, научил его ценить в людях ему близких отсутствие самолюбивых претензий на состязание в даровании или успехе, взаимно добровольную верность.

Троепольский, как я упоминал, житель Воронежа. Но один раз в году я уж непременно его встречаю, и это 18 декабря, в день памяти Твардовского. В этот день он приезжает в Москву и в любой мороз без шапки стоит в полдень у могилы на Новодевичьем кладбище, а потом в застолье, среди ближайших друзей поэта, говорит о нем неторопливые, идущие от сердца слова: вспоминает о том, чем сам обязан Твардовскому, чем обязана ему вся литература.

В эти минуты очки чуть сползают с его носа, говорит он хрипловато, с твердыми точками в конце каждой фразы и всем обликом своим напоминает сельского учителя, наставляющего добру, или агронома, привыкшего давать советы земледельцу и неуступчивого в своей совестливой науке. В каждом слове его, в каждом неспешном движении больших рук чувствуется старомодная основательность человека, не любящего суетиться и верного своему пониманию жизни, своей памяти.

То же впечатление передается и читателю его книг: за ними нелегкий опыт, долгая и лишь в малой части рассказанная жизнь со своими водоворотами, стремнинами и перекатами. Троепольский склонен к юмору, и порой с его уст срывается ядовитое сравнение, острое словцо, сопровождаемое его обычными «чуешь?», «слышь?» («Слышу, слышу, Гаврила Николаевич!») и легкой ухмылкой. Но, пожалуй, главное впечатление от общения с ним и его писаниями можно обозначить скромным, но твердым словом: добропорядочность. И потому когда в повести о Биме мы читаем, что «ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью долгу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни...» — все это воспринимаешь как прямой укор и наставление автора.

Поддержать, помочь — тайное призвание Троепольского. Он чувствует себя старшим не только по счету лет, а по принятому внутреннему обязательству. Он вечно хлопочет то за несправедливо обиженного земляка, то за книжку начинающего литератора, самолично, с массивной тростью в руках, обходит этажи учреждений, поднимается по высоким лестницам, взывает к справедливости, иногда обольщается сверх меры, потому что в сущности, доверчив, наивен, лишен подозрительности и привык верить протянутой руке.

Но не только человеку помочь — помочь лесу, реке, полю становится его заботой и насущным делом. Когда он видит, как хищничество или равнодушие людей губят природу, он не может с этим мириться. На моей памяти он года на два забросил беллетристику, занявшись очерком «О реках, почвах и прочем» (1965). Ему было невыносимо видеть, как гибнет прежде чистая и полноводная речка Тихая Сосна, текущая в его родных местах. Он с головой ушел в проблемы мелиорации, охал, вздыхал, отвечал своим оппонентам, вел нешуточную борьбу с бюрократами — и отстоял свою правоту.

* * *

Хорошо бывает посидеть с ним не спеша, поговорить с глазу на глаз. Эта удача обычно выпадает мне, когда он три-четыре раза в году, в упоминавшийся ли

памятный день или по своим литературным делам, наведывается в первопрестольную. Приезжает он обычно «самоходом», проделывая на своих «Жигулях» дорогу от Воронежа до Москвы. Хвалиться Троепольский не любит, но когда рассказывает, что получил от ГАИ почетный знак и удостоверение за четверть века безаварийной езды, с нескрываемым удовольствием улыбается в усы. За рулем у него — быстрая и точная реакция охотника.

Однажды случилось ему оказаться в неприятной дорожной ситуации, правда уже в качестве пешехода. Он переходил на зеленый свет улицу Герцена, когда заметил двигавшуюся на него с изрядной скоростью машину. Наезд, казалось, был неизбежен. В долю секунды Троепольский успел оценить ситуацию: увидел растерянное лицо водителя, молодого парня, очевидно новичка, неумело тормозившего, сознал невозможность отскочить в сторону и бросился поверху на капот, избежав удара. Он лишь слегка ушибся, свалившись с радиатора, когда машина остановилась. Завидная находчивость и самообладание!

Меньше всего, как ни странно, мы говорим с ним, когда встречаемся, на литературные темы. Троепольский любой разговор умеет повернуть к впечатлениям жизни, земли, леса, природы. Стоит сказать мне, к примеру, что физиономия одного литературного чиновника напоминает мордочку хорька, Троепольский подхватывает: «И способ действия тоже... Ты знаешь, как хорек охотится на кур?» Я, конечно, не знаю, и Троепольский, неторопливо закуривая, просвещает меня: «Хорек крадется к курятнику ночью, пока петух спит. Если петух проснется, никогда не даст в обиду своих кур. А убивает хорек курицу так: поворачивается задом, встает в рост и выпускает сильную зловонную струю. Курица падает без чувств, тут с ней что хошь делай. А у хорька, надо тебе сказать, заранее прорыт лаз в курятник, через который он потом вытаскивает жертву. Иногда курица застревает в этой дыре: там хозяйки и находят ее поутру... А в нашем Острогожском районе что недавно случилось...» И начинается живая цепочка непридуманных рассказов, каких нигде не услышишь.

Троепольский всегда переполнен самыми свежими жизненными впечатлениями — как нынче весной от-

сеялись и что с поля соберут, какое настроение у знакомого председателя колхоза, что происходит у них в области с РАПО — привьется ли эта новинка? И он же способен к слову, придя с выборов в Союзе писателей, рассказать картинку из времен минувших, как выбирали старосту в деревне в пору молодости его отца, стало быть, в конце прошлого века. Не могу отказать себе в удовольствии привести этот его рассказ, восхищавший еще Твардовского:

«Слышь? Скликали всех на сход и ставили деревянный помост, а на него две бочки. Внутри каждой имелась перегородка, а сверху дыра, руку можно было просунуть налево и направо. Перед началом выборов, чтобы все по чести было, бочар сбивал обруч, вынимал крышку, наклонял бочку и показывал народу, что внутри пусто. Без обмана, стал быть. Потом на одну бочку клали соломенную шляпу (это один кандидат), на другую — картуз. Подгоняли воз картошки и давали каждому с воза по две картофелины. Выборщик выходил на помост и клал сначала в одну бочку (налево — «за», направо — «против»), потом в другую. Считалось, что второй бочонок — как бы гарантия, проверка достоверности голосования.

Затем народ расступался, образуя круг, и на глазах у всех доверенные люди высыпали картошки в кучи, что справа, что слева, и аккуратно пересчитывали...»

Гавриил Николаевич коротко улыбается в усы: «Бывали, правда, и недействительные бюллетени: гнилая картошка или половинка в счет не шла, сбрасывалась с воза».

Чего только не почерпнешь от Троепольского! От него я узнал, к примеру, как согреть ноги, стоя на морозе,— точной последовательностью движений пальцев и ступней. От него же услыхал неожиданное наблюдение, что продольные морщины на лбу — от старости, а поперечные — от горя: «А ты не знал? Судьба когтями сверху вниз царапает» (И я впрямь тут же вспомнил эти вертикальные борозды на знакомых мне лицах не всегда пожилых людей, и на высоком челе Салтыкова-Щедрина с позднего автопортрета — уж ему-то досталось от судьбы!)

Да мало ли чего еще из запаса житейской мудрости можно поднабраться у Троепольского! То же и с

его книгами, и с лучшей из них, написанной для взрослых, но ставшей ненароком и любимым чтением детей в разных странах мира. (В Италии одна из премий была присуждена ему недавно детским жюри.)

* * *

Повесть о Биме была задумана автором, по-видимому, как вещь непритязательная, просто «житие одной собаки». Но в ходе работы значение ее выросло для писателя. «...Писал ее с дрожью, неотрывно»,— извещал меня Троепольский, поставив в рукописи точку. А потом еще сжимал ее, чуть не вдвое, шлифовал, отделывал, ища форму литую и емкую.

Бим — собака с литературной родословной, у нее хорошие предшественники: «Каштанка» и «Белолобый» Чехова, «Белый пудель» Куприна. Русская литература тяготела к изображению собаки, как, скажем, немецкая в лице Гофмана или Тика — к изображению кота, и, быть может, более детальное исследование показало бы, что это не случайно... Так или иначе, но повесть о Биме — это настоящий роман собачьей жизни. И как во всяком трагическом романе, его сюжет — разлучение двух близких существ: «интеллигентной собаки» Бима и его хозяина Ивана Ивановича, страдание от одиночества, поиски друг друга и посмертная встреча.

Внешняя занимательность книги обеспечена приключениями пса, оставшегося без хозяина. Можно даже сказать, что на один собачий век тут обнаружилось слишком много происшествий: после первых идиллических месяцев жизни у хозяина, ученья и охоты с ним — бег за машиной с красным крестом, увозящей Ивана Ивановича, тщетные поиски его по городу; лапа, попавшая в стрелку железнодорожных путей, и ожидание гибели под колесами поезда, мыканье в деревне, где его жестоко избивает горе-охотник, краткий приют в доме Толика и обман, когда его отвозят в лес и привязывают к дереву на веревке, побег из леса, глубокая канава, ночевка в чужом подъезде, пока все не кончается безуспешной борьбой с сеткой на длинном шесте, какими пользуются ловцы бродячих собак... Если бы Бим был человеком, можно было бы сказать, что на его долю выпала очень пестрая, трудная, авантюрная и героическая жизнь. И не зря, по утверждению

автора, его хромоногий герой дважды удостоился упоминания в газетах — сначала как «бешеный пес», а потом как «выдающегося ума собака». Признание заслуг и у людей, случается, приходит с опозданием.

Но, конечно, именно люди, их реакции более всего интересуют писателя, повествующего о приключениях собаки с черным ухом. Пока они спешат по улицам города со своими чемоданами и авоськами, их не отличишь в толпе друг от друга. Но едва на их пути возникает Бим, отношение к доверчивой и умной собаке, будто оселок, проверяет их совесть. Ближе всего автору дети, ибо «маленькие люди все хорошие, а большие бывают разные, бывают и плохие», как рассуждает Бим.

Хотя Троепольский и получил издавна репутацию сатирика, о дурных людях писать ему неприятно: они непонятны ему в своем пристрастии к жестокости и злу. И оттого, должно быть, а не только из верности психологии собаки, Тетка, Серый, лишенные собственных имен, выглядят не личностями даже, хотя бы и скверными, а некими сосудами корысти и злобы. Взгляд «с точки зрения Бима», вообще говоря, помогает автору изобразить исполненный моральных несомненностей мир, где собаку ждут не только палка и камень, но участие, помощь добрых душ, таких, как Степановна, Даша или Толик.

Бим верит людям, он не теряет надежды на добро до конца. И когда после всех скитаний — избитый, израненный, с раздавленной лапой — он околевает на холодном окровавленном полу обитого жестью фургона, это будто покидает мир и уходит в небеса сама душа бескорыстной, безрасчетной верности дружбе, людям.

В этом финале, может быть, особенно наглядно выступает различие истории Бима, рассказанной Троепольским, с другим незабываемым рассказом о собаке — чеховской «Каштанкой». На фоне судьбы Бима похождения Каштанки выглядят мирной идиллией. Да и нрав чеховской четвероногой героини совсем иной. Каштанка потерялась отчасти по своему молодому легкомыслию, испугавшись шедшего по улице оркестра, отчасти же оттого, что хозяин ее столяр Лука Александрович был пристрастен к спиртному. Но у нее нет столь долгой и мучительной памяти о прошлом, как

у Бима, нет и преследующей его цели — во что бы то ни стало разыскать пропавшего хозяина. Каштанка быстро привыкает к новому житью у Незнакомца и охотно становится цирковой артисткой. Каштанка — «душечка» в собачьем мире.

Не таков Бим. Вся его «одиссея» — это непрерывный подвиг дружбы, путь по следу хозяина, оканчивающийся гибелью в «собачьей тюрьме», фургоне без окон.

Для Троепольского — и это еще одно отличие от «Каштанки» — Бим не дворовая собака, не дворняга, не уличный пес. Призвание Бима — работать в лесу, в поле, на охоте. И только в соединении с природой он чувствует себя вполне...— чуть не сказал человеком — ...вполне собакой. Лесной воздух, деревья, травы, запахи зверя и птицы возбуждают, радуют его, воскрешая уснувшую было память поколений предков. Лес и спасает, лечит его, как врачует, поддерживает лес и самого автора.

И пока избитый недобрым человеком Бим отлеживается в теплой глубокой ямке старого окопчика или лежит у пенька на боку тихим осенним днем, вдыхая запах палого, бурого от зазимков листа, свежий воздух поздней осени, которую так верно умеет запечатлеть Троепольский, автор решается на прямое обращение к читателю. Он напоминает о том, что природа служит высшим и чистейшим критерием правды и она навевает мысли о том, как должен всегда поступать человек и писать писатель: «Только правда, только честь, только чистая совесть...»

В таких случаях автору готовят упрек в дидактике. Но я не решусь этого сделать. Троепольский в самом деле учителен: ему хочется просвещать, указывать на зло в людях и поступках, обозначать его нелукавым словом и отвращать от него. Ему надобно также внятно славить добро, доверие, называя его по имени, объявляя его «городу и миру». И не то чтобы он стоял все время с перстом указующим, но безмятежно-нейтральное состояние духа или бесстрастие разума претят ему. Быть может, при такой рассудительности пропадают какие-то живые психологические оттенки, противоречивые состояния, теряется что-то в возможном довоображении читателя? Может быть. Но не важнее ли, что в мире современной нравственности,

где сплошные теоремы (а некоторые из них, похоже, признаны принципиально недоказуемыми), Троепольский дорожит светом ясной моральной аксиомы, непосредственного здравого смысла.

Вероятно, это не представляло бы для читателя большой привлекательности, если бы писатель возглашал знакомые истины с самодовольством первооткрывателя,— как плод стороннего учительства или взятый напрокат дидактический материал. Но ведь это не так.

Да, мир его повести подчинен внятной светотени и рискует временами показаться черно-белым, а не цветным. Но его аксиомы — это истины, в которые сам автор свято верит, по которым строил свою не очень легкую жизнь. Они сообщали ему силу в разных обстоятельствах, и потому, когда он говорит с нами, это говорит человек, которому можно верить.

Его мир света неизменно — поле, река, лес, дети, животные, человеческая доброта, доверие, верность.

Его мир мрака — городской грязный двор с лавочками для сплетниц у подъезда, петля для отлова собак, палка и камень в руках негодяя, жестокость, злоба к живому, ложь, предательство.

После своих скитаний Бим рвется «к родной двери»: там все понятно, все безусловно и изначально. К родной двери исходных понятий нравственности ведет нас автор. У него свой масштаб для измерения правоты всех дел людских: природа — не только как «среда обитания», модная тема экологии, а как вечная поэтическая тема и подлинная мера всех, больших и малых, деяний человека.

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

Ему никогда не составляло труда в разгар рабочего дня дезорганизовать работу солидного учреждения.

Достаточно было Андроникову переступить порог музея, издательства, редакции, библиотеки или архива, как вокруг него тотчас собиралось человек пять-шесть. И вот уже слышен хохот, возгласы удивления, толпа растет, и если ты опоздал подойти, то, только заглядывая через чужие плечи, можешь увидеть, как в тесном кружке, немного театрально опершись обеими руками на массивную трость, стоит невысокий, полный, с необыкновенно подвижным, живым лицом человек и с увлечением рассказывает что-то, выговаривая слова красиво, четко, уверенно и поджигая слушателей своим заразительным смехом. Час, два, три часа кряду он рассказывает — невозможно отойти — знакомым, полузнакомым и вовсе не знакомым людям о Пушкине, Одоевском, Лермонтове, бабушке Лермонтова, тетке Сушковой, бабушке тетки Сушковой... И еще — о Маршаке, Алексее Толстом, Иване Ивановиче Соллертинском, Василии Ивановиче Качалове — тысяча лиц в одном человеке, и голос каждого слышен.

В 60-е годы я встречал его обычно между двумя поездками: он только что вернулся, скажем, из Западной Германии, откуда привез ценнейшие лермонтовские реликвии, хранившиеся у владельцев замка Хохберг, а на днях уезжает на Украину, где в каком-то одному ему известном местечке может обнаружиться старинный альбом с «феноменальным, потрясающим по интересу» автографом Лермонтова. Вечно чем-

то увлеченный, одержимый новыми идеями разысканий, он бурно восхищается только что прочитанной книгой, исполненной вчера симфонией или просто полученным от читателя письмом.

Если после большого, в двух отделениях, вечера «устного рассказа» вы заходите пожать ему руку за кулисы и застаете его в кресле, изнеможенного, утирающего пот со лба — он три часа держал в напряжении аудиторию,— пожалейте его и не задавайте из праздного любопытства вопросов, относящихся к тому, что вы только что услышали. Ибо там, где другой отделался бы однозначным «да» или «нет», Андроников тут же воспламенится, заволнуется, вскочит и начнет рассказывать вам одному — интересно, блистательно, неутомимо, еще час, два, и с тем же воодушевлением, каким только что завоевал полный зрительный зал.

Название книги Андроникова «Я хочу рассказать вам...» не просто остроумно, изобретательно найдено, а верно по существу. «Я хочу рассказать вам...» — так начинался один прозаический отрывок Лермонтова. Автор заимствовал из него еще и эпиграф, в котором сам Лермонтов как бы рекомендует нам Андроникова. Ведь именно об Андроникове можно сказать, что судьба подарила ему «один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнью, только бы достать ключ самой замысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая...»

Андроников обладает тем азартом познания, неостывающим интересом к новым фактам, новым сведениям и людям, какие суть черты энтузиастической натуры. Все интересное, кажется, само плывет в его руки, потому что, едва приметив нечто заслуживающее внимания, он бросается за ним в погоню. Общительность — часть его таланта. Высмотрев что-то яркое, не отмеченное прежде, разгадав мучившую его воображение литературную загадку, он тут же спешит поделиться с вами, излить впечатления.

Недавний звонок по телефону:

— Что вы можете сказать о чеховской «Чайке»? Об эмблеме «Чайки»? Почему она стала символом Художественного театра? У меня догадка: скромная демократическая птица на занавесе — это же вызов

роскошным лебедям, вензелям и лирам, какие любили изображать декораторы императорских театров...

Неожиданно и — неоспоримо.

Он заражает всех своей увлеченностью, тормошит, осаждает, расспрашивает, но более всего заставляет себя слушать. Восхищаться в одиночку он не умеет. Ему нужны собеседники: лучше, если большой зал или бессчетная аудитория радио и телевидения, но на худой конец пусть хотя бы один свежий слушатель, и он готов начать просто и немного торжественно: «Я хочу рассказать вам...»

* * *

Об Андроникове трудно говорить, потому что комментировать, как-то объяснять, популяризировать его труды и личность излишне — этого человека знают все, да и сам он кого хочешь объяснит. Андроников без посредников обращается к аудитории своих читателей, слушателей, зрителей. Поговорим о его любимом жанре.

К жанру Андроникова можно подойти с разных сторон. Можно подивиться живой разговорности, непосредственности интонации «устного рассказа»; можно обратить внимание на разнообразие историко-литературных интересов автора (Пушкин, Лермонтов, Гоголь — и Горький, Алексей Толстой, Илья Чавчавадзе), можно, наконец, отметить широту восприятия автором различных видов искусства, особенно в их скрещениях, сочетаниях — поэзии и живописи, театра и музыки, телевидения и кино. Андроников рассказывает о музыковеде Соллертинском, живописце Пименове, актере Остужеве, композиторе Хачатуряне, фотографе Дмитриеве. И везде находит нешаблонный сюжет, оригинальный поворот.

Устный рассказ древнее письменного. Рапсоды, акыны, сказители, былинники старше писателей. В век расцвета письменной литературы искусство устного рассказа хирело, задыхалось. Украшением дружеского кружка, светского или литературного салона, случалось, становились особо одаренные импровизаторы, острословы и рассказчики. Но круг слушателей их был узок, искусство летуче, и память о той радости, какую они приносили с собой на вечер, на час собравшимся вместе людям, истаяла «аки дым от лица огня».

Известно, однако, что в XVIII веке дивил всех своими «устными рассказами» Денис Иванович Фонвизин. Автор «Недоросля» смешно и похоже изображал Сумарокова. И, как пишет в биографии Фонвизина П. А. Вяземский, «забавляя вельможу (Потемкина), передразнивал он пред ним своего начальника и покровителя», ибо «имел дар передразнивания, представлял в лицах и начальника своего — шутка невинная!».

В России XIX века чудесными рассказчиками слыли Тургенев, Григорович, Писемский. Но все же это были писатели, главный мед сносившие в литературный улей. Устный рассказ был для них гимнастикой воображения и наблюдательности, пробой, этюдом и, если закреплялся на бумаге, в ту же минуту прекращал существовать как звучащее слово.

Жанр устного рассказа с точной мерой импровизации и сюжета бережней хранили и культивировали, пожалуй, актеры старого Малого театра. Это не были монологи, сцены, какие исполнялись ими с подмостков. Устный рассказ, рассказ «из жизни» — бытовой, автобиографический или пародийный, возникал в минуту отдыха, за кулисами, на вечеринке, в гостях. Поразительным рассказчиком в московских гостиных слыл Михайло Семенович Щепкин. Пров Садовский с мрачной серьезностью, но так, что вокруг все «животики надрывали», воспроизводил монолог замоскворецкого купца о Наполеондере Бонопарте и «республике Франс»: как Наполеондер хотел под ноготок всю Европию забрать, а оказался на острове святой Алёны, где ни неба, ни земли, ни воды,— одна зыбь поднебесная и часовой ходит...

Но пуще всего прославился в этом жанре Иван Федорович Горбунов, автор записанных потом сценок «Травиата», «Воздухоплаватель», «У пушки», создатель легендарного образа отставного генерала Дитятина, имевшего по всякому поводу жизни и политики свое чрезвычайное мнение и высказывавшего его с величавым апломбом под дружный смех присутствующих.

Ираклий Андроников со своим жанром возник неожиданно и беззаконно, после перерыва традиции, и как будто в самую неподходящую для устного рассказа пору. Широкая грамотность, «письменность»

культуры, наконец, сужение сферы частного дружеского общения в пользу широких общественных соединений, казалось, не благоприятствовали его особенному и странному таланту.

Одаренности людей причудливы и многоразличны. Кажется, лишь основных способностей психологи насчитывают 48. Один в уме может возводить в степень и извлекать корень из умопомрачительно огромных цифр. Другой помнит во всех подробностях каждый день и каждый час едва ли не всей прожитой им жизни. Я знаю человека, виртуоза слов-перевертышей, который способен без запинки задом наперед читать длиннющие тексты. Все это более или менее крупные способности, иногда экзотические дары природы, но человек так и живет с ними безотчетно и бесполезно, оттого что применения им не нашлось. Для иных одаренностей есть готовое, проложенное прежде русло — специальности, профессии, занятия, жанра. Для иных это русло еще не отыскано.

Андроников смолоду обладал целым рядом «полезных» и «бесполезных» даров. Он умел видеть людей, смешно и точно «показывать» их. Отличался острой наблюдательностью и чувством юмора. У него была редкостная врожденная музыкальность. Он имел глубокий, прекрасного тембра голос и живую мимику лица; редкую память на имена, названия, подробности, даты, цитаты, родство, свойство, чины, звания, лычки, стихи, мелодии, прозу...

Это было, разумеется, счастливое соединение способностей; люди чаще владеют тем или иным порознь, но редко в таком тесном соседстве. И все же эти способности могли развеяться, иссохнуть, не найдя себе применения. Андроников отыскал им выход и узнал счастье осуществления себя.

Этому заметно способствовала его ненасытная пытливость, «интерес к неожиданным сторонам жизни», как сказал о себе он сам при первом нашем знакомстве.

Дело было в 1960 году. Твардовскому исполнилось 50 лет, и мы оказались с Андрониковым соседями за праздничным столом. Когда меня подвели к нему знакомиться, он крепко пожал мне руку и громко, звонко объявил: «Моя фамилия — Андроников!» Как будто бы я не догадался, кто передо мной! Твардовский

представил меня, Андроников воскликнул: «Неслыханно!» Я понимал, что он в первый раз слышит мою фамилию и, спасаясь от смущения, пролепетал что-то в том духе, что, мол, приятно познакомиться. «Нет, это я, кому это более чем приятно!» — очень зычно, громогласно, словно вступая со мной в какую-то игру, парировал он. Я не знал поначалу, как себя с ним вести.

Он рисковал выглядеть нескромным, заполняющим собой все пространство, если бы не подкупающая открытость и нечастая среди литераторов способность насмешки над самим собой, умение бесстрашно подшутить над своими слабостями, поражением или неудачей. На этом основан, кстати, эффект одного из лучших его рассказов: «Первый раз на эстраде».

А в тот памятный мне день, подняв бокал за Твардовского и отмечая его редкую правдивость, Андроников с ликующим смехом рассказал, как реагировал Александр Трифонович на появление в печати одного из первых его рассказов. «Как ты меня огорчил!.. По твоим застольным историям я почему-то думал, что когда ты, наконец, начнешь писать, то напишешь по меньшей мере «Дон-Кихота»... А теперь с сожалением вижу, что Сервантес из тебя не получится!» И Андроников хохотал вместе со всеми.

В перерывах между тостами, наклонившись ко мне за столом, Андроников рассказал, что недавно провел интереснейшую работу на радио: в стихах Маяковского, записанных когда-то на пластинку Владимиром Яхонтовым, исправил неверное ударение. Яхонтов произносил: «...в тугой полицейской сло́новости...», а надо: «...в тугой полицейской слоно́вости...», чтобы рифмовать со строкой «географические новости». Андроников имитировал голос Яхонтова. Это была филигранная работа. Раз двадцать прокручивали звукозапись, чтобы вставить одно словечко, но так, чтобы и тембр и интонация полностью совпали.

Когда я выслушал сообщение об этом, на лице моем, должно быть, отразилось почтительное изумление. Вот тут-то Андроников и воскликнул: «Люблю неожиданные стороны жизни!»

Неожиданный наклон темы предпочитает он и в своих сочинениях. Вот, например, статья, в самом названии которой есть что-то вызывающее, эпатирую-

щее: «Об исторических картинках, о прозе Льва Толстого и о кино». Помилуйте, исторические картинки и Лев Толстой? Проза Толстого и кино? Да что тут может быть общего? А между тем статья Андроникова не только остроумна по замыслу, но значительна в выводах. Автор высказывает гипотезу, что Толстой, работая над историческими эпизодами «Войны и мира», использовал изобразительный материал — старинные эстампы, хранящиеся ныне в Историческом музее. Картинки, о которых идет речь, приведены в книге Андроникова в качестве иллюстраций, и они в самом деле напоминают отдельные описания в романе Толстого. Но не настолько, чтобы у вас на языке не завертелся вопрос: а вдруг это случайные совпадения? Вот тут-то Андроников и демонстрирует небанальность ума. Он как будто не настаивает даже на своей догадке. «Но, допустим,— говорит он,— что Толстой не видел этих изобразительных материалов. Все равно, самый факт, что многие из них кажутся точными иллюстрациями к соответствующим страницам «Войны и мира» важен не менее». И Андроников обращает внимание на конкретность, зримость, «стереоскопичность» толстовской прозы, как бы предвещавшей искусство кинематографа — вывод, ведущий нас к более глубокому пониманию Толстого.

Андроников открыл для устного рассказа возможность нового содержания, обнаружил для него оригинальную и внутренне серьезную тему. Не только людей литературы, но науку о литературе — литературоведение он сделал предметом *изображения*.

Тут самое время упомянуть о том, что Андроников известный историк литературы, искусствовед, музыковед, и свое художественное, артистическое начало он оплодотворил строгим научным знанием.

Значение историко-биографических работ Андроникова, посвященных по преимуществу Лермонтову, общепризнанно. «Лермонтов в Грузии в 1837 году», «Лермонтов и его парт...», «Лермонтов и Н. Ф. И.», «Судьба Лермонтова», «Сокровища замка Хохберг» — эти и другие работы составили несколько книг с таким обилием новых соображений, догадок, материалов и находок, что создать их, казалось бы, под силу лишь целому «лермонтоведческому» институту. И пока Лермонтов будет интересовать людей, а будет он их

интересовать долго, быть может всегда, не будут забыты работы и его верного паладина, думавшего, писавшего о нем, отгадывавшего его тайны на протяжении полувека и открывшего в его творчестве и судьбе многое, казалось бы, навсегда сокрытое от глаз.

Лермонтова Андроников знает так, как мог знать его лишь кто-либо из близких друзей, какой-нибудь Столыпин-«Монго» или Шан-Гирей. И «Н. Ф. И.» интересна ему не как кроссворд и не просто как счастливая находка для академического комментария, а как живое человеческое лицо. Я говорю не об объеме знания — может быть, и другие исследователи знают биографию поэта не хуже, а о его качестве. Новые сведения о Лермонтове нужны Андроникову не для того, чтобы аккуратно занести их в музейный реестр; тут живой человеческий интерес к личности поэта, к его эпохе, к людям, его окружавшим. То же и с Пушкиным.

Трудно забыть рассказ Андроникова о переписке Карамзиных, найденной в Нижнем Тагиле, о письмах, которые, по его выражению, «стоят романа». Андроников знает силу документа, поэзию подлинности. И какая волна горечи и сочувствия захлестывает сердце, когда в результате строгого обзора «тагильской коллекции» мы наново переживаем вместе с автором последние дни Пушкина, драму его одиночества, предательский выстрел Дантеса, грозное молчание толпы у дома на Мойке...

* * *

Интуиция — часть таланта ученого. А в союзе со строгим знанием и допытливостью разыскателя она дает возможность точно расположиться в ушедшей эпохе, угадать давно умерших людей, их думы, страсти, понять то, что было за семью печатями. Андроников внес в литературную науку достаточно новых фактов, дат, имен и трактовок, чтобы заслужить признание самого строгого академического ареопага. Но он сделал нечто и несравненно большее: свою страсть ученого-разыскателя, знание прошлого и дар его понимания он обратил в рассказ для многих. Он демократизировал, превратил в нечто манящее и привлекательное сухой предмет литературоведения. Так же как своими рассказами о музыкантах, своим востор-

гом перед гармонией звуков, он сумел увлечь слушателей высокой, серьезной музыкой.

Андроников старается приобщить всех к познанию прошлого, вербует себе сочувствующих и помощников. Такова, например, история розысков загадочного лермонтовского портрета. «Искали портрет, а в портрете искали Лермонтова,— заключает этот рассказ Андроников,— люди многих профессий: и сотрудники литературных музеев, и подполковник инженерных войск Вульферт, и студент железнодорожного техникума, и художник Корин, московские криминалисты во главе с профессором Потаповым, библиотекари, фотографы, рентгенологи».

У читателей и слушателей известного рассказа «Загадка Н. Ф. И.» остается в памяти не только романтическая московская красавица, которая глядит на нас со старинного овального портрета, разысканного неутомимым исследователем, а и те люди, с которыми свели Андроникова его поиски: «чудесный старичок», знаток старой Москвы Чулков, Наталия Сергеевна Маклакова — внучка таинственной Н. Ф. И., гостеприимная и живая старушка, наконец, владелец альбома в бархатном переплете — Фокин, с его приторной любезностью. У каждого из них свой характер и «норов», свое отношение к прошлому, к памяти Лермонтова.

Вторжение в рассказ о литературных разысканиях живых лиц и подробностей вовсе «не исторического» значения смутит разве что педанта. Восстанавливая репутацию литературоведения не как сухого кабинетного занятия, а как увлекательного дела, Андроников воспитывает у своих читателей и слушателей уважительное чувство к истории литературы, а значит, к литературе и истории.

«Новый жанр» Андроникова получил в последние годы, особенно благодаря телевидению и радио, столь неоспоримую популярность, что у него уже явились свои имитаторы и подражатели — обычные спутники большого успеха. Бойкие журналистские перья строчат «истории поисков» и репортажи «под Андроникова», забывая, что мало иметь живой слог и хороший вкус, а надо по меньшей мере обладать серьезной специальной подготовкой, высоким уровнем профессиональной культуры. С другой стороны, специалисты-литературоведы чаще стали «оживлять» свои исследо-

вания «вставными новеллами», подробностями, не имеющими отношения к делу, но претендующими на «художественность». Вместо того чтобы по-деловому сообщить, что такой-то документ обнаружен в архиве в Ленинграде, исследователь сочтет необходимым рассказать читателю, как на перроне Московского вокзала, под моросящим осенним дождем он ожидал отхода курьерского поезда № 4, кто оказался его соседом по купе и какая мысль осчастливила его по дороге. Однако досадно, когда усилия, затраченные исследователем на художественное описание поисков, не соответствуют их результату. Важно прежде всего, что ищут, а потом уж — как ищут. «Иной уже готов рассказать со всеми подробностями, как он нашел свою рукопись в ящике собственного стола»,— шутит по этому поводу Андроников.

Есть ядовитое словечко «популяризатор», которое с видом похвалы и тайным высокомерием обращают иной раз сухие жрецы науки к тому, кто не прячется за чащобу пустых и темных фраз и пытается сказать об искусстве теплым, живым словом, не снижая при этой его проблем. Для них, что не скучно, то «не наука».

Андроников не «популяризатор», а первооткрыватель. Увлеченность литературой и ее творцами, страсть к познанию искусства Андроников сделал коренной своей темой, и оттого увядавший, камерный бытовой жанр домашнего устного рассказа получил у него свежую силу голоса и общественный смысл.

* * *

Можно сказать еще, что ему дьявольски повезло. В тот момент, когда он понял себя, отстоял свой жанр и уже собирал на свои устные рассказы в творческих клубах и концертных залах довольно обширную аудиторию, будто специально для него человечество изобрело такую штуку, как телевидение.

Большой удачей было, конечно, и то, что Андроникова открыло радио. И все же Андроников был создан для телевидения, а этот аппарат был изобретен для него, как каравелла «Санта-Мария» для Колумба.

С юности я восхищался Андрониковым на сцене и никогда не забуду, как слушал его, забравшись на балкончик за железными прутьями (50 копеек место)

под самый верх пупырчатого как калоша потолка зала имени Чайковского. После смерти моего старшего товарища по университету Марка Щеглова я прочел в его дневнике студенческих лет запись от 11 января 1948 года:

«Ираклий Андроников... Рассказы лермонтовского цикла увлекательнее иного приключенческого романа. Свою будущую деятельность в литературоведении я мыслю только такой. Это интереснее всего на свете. «Первый раз на эстраде». Зал колыхался от хохота. С моими соседками чуть не сделалось плохо. Вспотели и навалились бессильно друг на друга и вдвоем — на меня».

Как точно совпадает эта запись с моими впечатлениями от вечеров Андроникова той поры! Но все же всю силу его импровизационного заразительного дара я понял лишь, когда увидел его вблизи.

Помню, как Маршак сказал об Андроникове, послушав его в одну из таких вдохновенных минут: «Это какой-то громокипящий кубок». Дар общения Андроникова и его способность громко восхищаться создают впечатление, что он рассказывает лишь для тебя и впервые. Да и в самом деле, если ты даже слышал прежде тот или иной его рассказ — он всякий раз звучит по-новому, в него вносятся иные краски, мысль и воображение причудливо ветвятся, находятся новые, точнейшие слова и жесты. И это творчество у тебя на глазах доставляет слушателям почти физическое удовольствие.

Вот почему я и говорю, что телевидение было для Андроникова находкой. С экрана, загорающегося теплым пятном в комнате, он говорит свободно, доверительно и увлеченно с двумя-тремя своими слушателями, будто не замечая, что смотрят и слушают его миллионы.

Среди его устных рассказов я особенно люблю один — «Земляк Лермонтова». Там сторож лермонтовской часовни в Тарханах рассказывает, как убивалась по смерти внука бабушка, велевшая перевезти в родную землю его прах с Кавказа. Сохраняя непосредственность чувства, старик смотрит на события прошлого глазами человека нашего времени, способного оценить по заслугам и благородство души Лермонтова, и деспотизм характера бабушки («Да я вам откро-

венно скажу, только не по-научному: я эту бабушку ненавижу»). В своей любви к Лермонтову он старается быть справедливым, но не может скрыть пристрастья: «Я, конечно, понимаю... что Пушкин — Пушкин. Тут ничего не возразишь: Пушкин и есть Пушкин, из всех — первый. Но все же, если так допустить, что наш Михаил Юрьич пожил бы, как Пушкин, до тридцати семи лет, то еще неизвестно, кто бы из них был Пушкин!»

В полуграмотном и живописном рассказе преданного памяти Лермонтова старика — через столетие ярче проступает трагизм судьбы поэта. Рассказывает Андроников, и видишь самого старика-сторожа, который судит обо всем по-своему и даже бабушку укоряет в самовластии; видишь горе бабушки, потерявшей гениального внука, и самого поэта видишь. Искусство Андроникова связывает имена и лица, прокладывает мосты через десятилетия, сближает далеких по понятиям, образованности, кругу знаний людей.

Общительность, о которой я говорил как о черте личного характера, есть и черта его характера в творчестве. Андроников обладает высокой профессиональной осведомленностью, но его наука не замкнута, и этот естественный демократизм — в родстве с общительностью, как живым проявлением натуры. Он знаком с тысячами людей прошлых времен столь близко и основательно, что не простил бы себе, если бы не перезнакомил с ними и тысячи своих живых знакомцев — современников.

Историко-литературной науке Андроников сделал лучшую честь, привлекая к ней сердца многих. Искусству устного рассказа сообщил существенное содержание, поэзию научного разыскания. И в русскую культуру наших дней вошел как уникальное явление: человек-театр, где он сам и драматург, и режиссер, и единственный исполнитель бесчисленных ролей.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ — ЧЕТВЕРТЫЙ

Звонок. Я открываю дверь человеку, который разом заполняет собой все пространство передней. Высокий, краснощекий с мороза, в шапке с болтающимися ушами, в нескладном пальто с поднятым воротом и в старомодных очках с железными дужками, какие носили перед войной сельские учителя и бухгалтеры. Изза чуть пригорбленной спины он достает и держит в вытянутых руках холщовый мешок: ему б еще бороду и ватную шапку с красным верхом — совсем рождественский дед! Передняя наполняется гулом его зычного баритона с легкой хрипотцой на низах. Он называет себя, забыв, что мы давно знакомы:

— Позвольте представиться — Крынкин Александр Сергеевич. Чтобы вы никогда больше не переспрашивали, как меня зовут, напомню, что до меня вы знавали трех Александров Сергеевичей — Пушкина, Грибоедова и Даргомыжского. Теперь уж вы и меня не запамятуете... Я — четвертый.

И без всякой паузы или перехода начинает деловито развязывать свой мешок:

— А это подарки... Вашей матушке... вашей благоверной супруге... вашему наследнику...

Из дед-морозовского мешка выползает земляничное мыло в яркой обертке, погремушка на кольце и набор почтовой бумаги с конвертами.

— Маленькие подарки делают большую дружбу,— гудит он, снимая шапку с ушами и разматывая грязнорыжий шарф. А раздевшись и оглядев меня пристально, тут же переходит на «ты»: — Да дай наконец я тебя обниму!

И обнимает так, что кости трещат. Кажется, вместе с морозным воздухом улицы в приоткрытую дверь ворвался дух бесцеремонного веселья.

Я давно замечал: музам по душе чудаки, бессребреники, шуты и скоморохи — странные существа, не мешающиеся с толпой. Есть в ином человеке дар быстрой импровизации, талантливо-детского, немедленного отклика на все, который мы зовем непосредственностью. Наверное, чтобы этот житейский талант перенести в искусство, на сцену, нужны еще и огромная собранность, труд, организующий вдохновение, создающий завершенность и форму. Меня всегда занимала проблема существования великих незнаменитостей в окрестностях искусства, людей, много значащих для других артистов, но, как правило, остающихся в глубокой тени кулис. Жестокий, хоть и не лишенный справедливости взгляд: если кого-то не узнала, не заметила публика, значит, и быть посему — пороху не хватило, талант не так велик, чтоб пробиться, в забвение ему и дорога. Но я не раз замечал, что почву театра, сам воздух живого искусства часто создают не увенчанные всеми лаврами и обремененные важностью знаменитости, а люди, для которых «игра» — ежеминутная стихия жизни. Таким был Александр Сергеевич Крынкин.

...Мы сидим с Крынкиным за накрытым столом, он вспоминает что-то смешное, редкостное, темпераментно прерывая меня. Чокаясь, по-детски вскрикивает:

— Ты и эту радость знаешь? А я, вообрази, до пятидесяти лет не восчувствовал... Папенька с маменькой так воспитали — ни рюмки вина, ни понюшки табаку... Теперь, бывает, огорчаюсь: сколько веселья-то пропущено...

Он не дает мне рта раскрыть, а я все хочу сказать ему, что давно знаком с ним.

Было это году в 1950-м, в Пестове под Москвой. Тогда к этому тихому заповедному месту на большой воде, широко разлившейся на пути канала Москва-Волга, еще не подлетали бесшумные, в водных усах «ракеты», а медленно-медленно, чадя, пыхтя и стуча машиной, тащился едва ль не три часа от Химок крошечный теплоход, носивший имя одного из довоенных героев-летчиков — «Чкалов», «Байдуков» или «Водопьянов». Он подходил к маленькой деревянной при-

станьке с голубым навесом на белых столбах и долго чалился за бревенчатый пенек-тумбу.

По мощенной кое-как булыжником и обсаженной старыми березами дороге вы поднимались к бывшему барскому имению, стоявшему некогда на высоком обрыве над излучиной Учи. С конца 30-х годов здесь отдыхали в летнюю пору артисты Художественного театра. Пристань так и называлась тогда: «Дом отдыха МХАТ».

Место и человек, которого там встретил, тесно срастаются в памяти, так что пусть читатель, настроившийся на рассказ о Крынкине, не посетует на меня за историко-топографическое отступление. Старожилы еще помнили историю поместья над Учой — она была примечательна. После войны 1812 года хозяин Зимнего дворца пожаловал земли, лежащие в урочище подмосковной речки Учи, генералу Ермолову, в ознаменование его заслуг перед отечеством. Деревни здесь не было, и Ермолов переселил на дарованные ему земли крестьян из своего родового поместья в Орловской губернии. Срубили они себе избы и занялись устройством барского дома и парка: пестовали и выпестовали эту землю. Оттуда будто бы и название пошло — Пестово.

До своей отставки Ермолов мало жил в России, командуя русским войском на Кавказе, и лишь редкими наездами успевал узнать, как лелеется и украшается его новая подмосковная. Времена роскошных усадеб вельможного XVIII века отошли, но все же перед фасадом барского дома была устроена английская лужайка с четырьмя могучими дубами по краям, а за нею начиналась система перетекающих один в другой прудов, главный из которых имел форму кувшина. В Белом доме, как его называли,— впрочем, без всякой связи с резиденцией американских президентов — позднее жил фабрикант Арманд.

Когда вскоре после войны я впервые увидел это место, на нем лежала печать заброшенности. Главный дом давно не ремонтировался и не красился, рамы рассохлись, двери держались на одной петле, дорожки в парке густо заросли травой, клумбы у дома едва угадывались за бушевавшими кустами нестриженой акации. И лишь наткнувшись где-то под дубами на поверженную и наполовину ушедшую в землю стелу

из белого мрамора, покрытую восточными письменами, или разглядывая старинный камин в холле бывших парадных покоев, ты вспоминал о почтенном прошлом «ермоловских времян».

Впрочем, в ту пору я был студентом и жил с матерью в строении, менее кичившемся своей историей: оно стояло на пути от пристани к Белому дому и называлось почему-то Аэроплан. Основанием этого вытянувшегося вдоль обрыва необычного сооружения служили старые ермоловские конюшни, поделенные на клетушки для отдыхающих, а верхний этаж представлял собою недавнюю легкую надстройку из тонких досок и фанеры, со сплошным стеклянным фасадом, выходившим на водохранилище. В жаркие дни здесь было душно от низко нависшей железной крыши, зато в открытые настежь окна была видна просторная гладь воды с белыми парусами яхт. В дурную же погоду дождь, подхваченный порывами ветра, хлестал прямо в стекла, угрюмо скрипели рамы, заставляя опасаться, что вот-вот все это хилое сооружение взлетит на воздух — быть может, оттого оно и называлось Аэропланом?

Каждый день я выходил на свою любимую прогулку — за Белый дом, по широкой аллее меж старых дуплистых лип, где в пору медосбора густо гудели пчелы. Дорожка, заросшая спорышем и мокрицей, делала в конце зигзаг и незаметно переходила в аллею высоких пушистых лиственниц, выбегавшую на крутой обрыв, к скамейке и столику, откуда по вечерам можно было любоваться лучшими в мире пестовскими закатами.

Особенно хороши казались эти аллеи, когда на них не было ни души, поутру, еще до завтрака, в легком туманце или под первыми косыми лучами солнца, в свежей росе. В такой ранний пустынный час я и повстречал тут однажды человека, которого поначалу принял за рабочего или садовника. В грязных штанах, с голыми руками и грудью, подпоясанный фуфайкой, рукава которой болтались сзади, человек в очках с железными дужками занимался тем, что аккуратно подрезал и поднимал дерн, расчищая по всей ширине давно заросшую дорожку, складывал на тачку и время от времени отвозил собравшийся мусор. Эта работа показалась мне поначалу лишней и даже

разрушающей поэтическую прелесть заброшенного уголка. Но и на другое и на третье утро я встречал здесь все того же человека, который упрямо продвигался в своей задаче, отвоевывая для цивилизации каждый раз три-четыре метра и обрабатывая аллею в лучших традициях какого-нибудь Ленотра.

Не я один заметил его труды. На странного человека с лопатой и тачкой, обливающегося потом, но упрямо совершающего свой утренний урок на глазах у беспечных отдыхающих, стали показывать пальцем, и наконец кто-то объяснил мне, что это не рабочий и не садовник, а хормейстер музыкальной части одного из московских театров Крынкин.

— Да зачем ему это надо?

— А кто его знает. Говорит, ради своего удовольствия.

— Так он отдыхает здесь?

— В том и дело, что нет. Он снимает избу в Витеневе, за лесом. А сюда приходит каждое утро часам к шести — расчищать дорожку, и к завтраку — обратно.

Витенево я хорошо знал, это было когда-то имение Салтыкова-Щедрина, но до него шагать лесной дорогой, потом полем километра два, а то и поболее. Мой собеседник пожал плечами, а кто-то из слушавших наш разговор даже присвистнул, красноречиво покрутив пальцем возле виска.

Дорожка между тем с каждым днем убегала вперед, становясь все великолепнее: деревья как бы расступились, открывая перспективу. Когда же Крынкин посыпал ее свежим золотистым песком и простриг садовыми ножницами кусты меж старых, просторно стоявших лип, перед нами предстала вдруг роскошная аллея: на ней легко было вообразить дам в кринолинах и шествующего с тяжелой палкой и львиной гривой седых волос престарелого Ермолова. И тут же пронесся слух, что на воскресенье назначен праздник торжественного открытия дорожки.

В последние дни высокую, немного нелепую фигуру Крынкина с непрерывно машущими, огромными, с лодочные весла, руками можно было видеть то в зале с камином, у фортепьяно, то на скамейках перед Белым домом, то в отдаленных уголках парка. Он непрерывно с кем-то шушукался, вызывал кого-то из бильярдной и с пляжа, уводил, обнимая за плечи, что-то

страстно втолковывал... А по вечерам, после ужина, за окнами опустевшей и запертой уже столовой слышалась музыка и мелькал силуэтом его вдохновенный профиль, по занавескам бежали гигантские тени рук — он дирижировал навербованным им хором.

Я стоял в стороне от всех этих приготовлений и оттого пуще был ошарашен тем, что произошло в воскресенье. Под серебряное пение трубы знаменитого солиста оркестра, при огромном стечении народа началось небывалое празднество. Со своего кресла на крылечке Белого дома поднялась старейшая актриса со знакомым добрым лицом няни из «Трех сестер». Это была артистка Художественного театра Нина Александровна Соколовская, начинавшая свою карьеру в провинции лет тому шестьдесят назад и получившая театральную известность еще в прошлом веке. Седая, величавая, она неторопливо спустилась со ступенек и перерезала ножницами алую ленточку, протянутую поперек аллеи.

Грянул импровизированный духовой оркестр, и по дорожке помчались юные бегуны, за ними велосипедисты от четырех до шестнадцати лет на двух- и трехколесных машинах. Хор пел кантату, специально «на случай» сочиненную радиосценаристом и поэтом Сергеем Богомазовым:

Дорожка ты, дорожка,
Прямая, как стрела...

Слов далее я не помню, но помню свое изумление от забившего, по мановению Крынкина, родника вдохновения в поэте, похожем на Щелкунчика и казавшемся издали нелюдимом.

Потом толпа хлынула на теннисный корт, где главным судьей состязаний был артист Художественного театра и чемпион России по теннису то ли 1915-го, то ли 1916 года Всеволод Алексеевич Вербицкий. А далее, уже в столовой, разыгрывался водевиль в лицах, пел под руководством Крынкина созданный им «цыганский хор». После захода солнца торжество продолжалось на обрыве у костра, где звенела гитара и состязались мастера старинного романса.

Это был настоящий праздник, растянувшийся до глубокой ночи, дионисийские игрища, венецианский карнавал, подаренный нам Крынкиным ни за что ни

про что, просто так, как просто так возродил он аллею.

Прошли годы, я не встречал Крынкина, только знал, посещая спектакли театра Образцова, что где-то там, за кулисами, готовит артистов к их вокальным номерам неутомимый Александр Сергеевич. Возможно, наши пути так и не пересеклись бы больше, если бы не одна книга. В 60-е годы, работая в журнале «Новый мир», я готовил к печати фрагменты из не известного у нас тогда сочинения замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева «Лето господне». Удивительная, редкая книга!

Волею судеб оказавшись после революции в эмиграции, в Париже, Шмелев испытал острый приступ ностальгии. С тоскливой усладой вспоминал он Москву своего детства, устойчивый быт замоскворецкого дома и двора. Очищенное, прошедшее сквозь волшебный кристалл времени и расстояния, идеализированное воспоминание будто прокрутило перед его взором обычный для минувшего века круговорот года, где каждая из пятидесяти двух недель не летела мгновенной огневицей, а неторопливо шествовала по тихому Замоскворечью и была особенная, цветная, со своим вкусом и ароматом: в одну неделю готовили душистый рассол и солили огурцы в бочках, будто священнодействовали, в другую — торжественно пропаривали кадки для капусты; в третью — катались на санях с гор и ели блины; в четвертую — кололи лед на реке и забивали голубыми искристыми глыбами погреба...

В этой книге я и наткнулся на главу о трактире Крынкина. Было когда-то такое приметное место в Москве — ресторан с крытой галереей и легкими арками по фасаду, прилепившийся на самом откосе Воробьевых гор, откуда открывалась вся захватывающая дух панорама древнего златокупольного города. Сюда любили приезжать актеры, музыканты, писатели — Михаил Садовский, Иван Бунин, историк Москвы Забелин. Здесь певали лучшие цыганские хоры, Федор Шаляпин, Варя Панина.

К Крынкину, случалось, ездили семейно, с детьми, как на загородную прогулку. Пили чай на галерее, услаждались ранней клубникой из крынкинских теплиц. Таковы были дневные гости Крынкина. Главные посетители являлись попозже, на закате, кутили за пол-

ночь, а случалось, и встречали рассвет над Москвой-рекой... Упиваясь растаявшими видениями Москвы своего детства, Шмелев как редкостную московскую достопримечательность изобразил трактир Крынкина. «Не имеет ли это имя отношения к моему знакомцу?» — подумал я и позвонил Александру Сергеевичу.

— Как же, папенькино заведение, там и детство мое прошло! — вскричал в телефонную трубку Крынкин.— Я помру теперь, если не прочту этого...

И вот он уже сидит в моем кресле и наслаждается шмелевской прозой, переносясь в «страну воспоминаний», купаясь в стихии такой природной ему старомосковской речи.

«У Крынкина встречают нас парадно: сам Крынкин и все половые-молодчики. Он ведет нас на чистую половину, на галдарейку, у самого обрыва, на высоте, оттуда вся-то Москва как на ладоньке. Огромный Крынкин стал еще громчей, чем в прошедшем году...»

— Живой папенька, голос у него был — труба! — восторженно замечает Александр Сергеевич, и чтение продолжается.

В особенности трогает его у Шмелева то место, где возникает апофеоза Москвы, которую Крынкин-старший всякий раз как бы дарит своим гостям, рискуя получить прозвище «слонофила».

«Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна галдарейки, и через резноцветные стекла — голубые, пунцовые, золотые... Золотая Москва всех лучше.

Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит... В широкие окна веет душистой свежестью, Москва-рекой, раздольем далей. Говорят, сиренью это, свербиной горьковатой, чем-то еще привольным.

— У меня воздух особый здесь, «крынкинский»-с!..— гремит Крынкин.— А вот, пожалте, в июнь-месяце... ну живой-то, живой клубникой! Со всех полей-огородов тянет, с-под Девичьего... и все ко мне. А с Москва-реки — ра-аками живыми, а из кухни — варе-ными-с, понятно... Рябчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей-с с расстегайчиками-с... А чем потчевать приказать изволите-с?.. Как так — ничем?! Не обижайте-с. А так скажите-с: «Степан Васильев...»

— Тут ошибка у Шмелева, ведь надо «Сергей Васильев»! — возмущенно поправляет Александр Сергеевич.— Да-а... «Сергей Васильев Крынкин! Птичьего молока!» — «Сей минут!»

И далее мы читаем, не в силах прерваться хотя бы для того, чтобы отхлебнуть глоток чая, как Крынкин мечтает завести у себя на обрыве подзорную трубу, такую, в какие «востроломы» на звезды смотрят, и чтобы муху на куполе Успенского собора в Кремле было видать. И восхищается талантом своего нередкого гостя — «первейшего ахтера Малых Императорских Тиятров» Михайлы Провыча Садовского, который «про Москву вычитывал» из Пушкина.

«А-ах-х, братцы! Как я был доволен... Ну, все-то плакали, до чего мог пронять! Уж его обнимали-величали, народу набилось... Воробьевские наши забор у меня свалили, было дело... Я им — «Михаил Провыч, бросил бы всю эту воробьевскую канитель-муру, в ахтеры бы к вам пошел, на тиятры!» А они мне — «да ты и так а-хтер!» — и по плечу меня».

Видно, и впрямь трактирщик Крынкин обладал заразительным артистизмом и, во всяком случае, даром художественного восхищения, каким наделены немногие. И это передалось и по-своему воплотилось в судьбе его сына.

Александр Сергеевич был умилен, иного слова не подберешь, рассказом Шмелева, и повторял, выдергивая из кармана огромный красный платок, чтобы приложить его к лицу:

— В детстве побывал... Папаню, как живого, увидел...

Но все же он помнил отца и без гостей, знал его не с казовой стороны, не с парадного крыльца, и его рассказы о суровом домострое на Воробьевых горах тоже немалого стоили.

Этот трактирщик, глядевший беззаботным жуиром и веселым говоруном, сам не гулял, не пил, был строгим отцом и богобоязненным главой дома. Пожалуй, его легко вообразить героем одной из пьес Островского. Домашние ходили у него по струнке, дети помогали в семейном быту сызмала, не брезгуя самой черной работой. Обыкновенно в тот предутренний час, когда «галдарейка» еще дрожала от пьяного разгула запоздалых гостей и в ночном воздухе далеко были

слышны звонкие голоса цыган, отец будил детей к ранней обедне. Вставали, бывало, в три-четыре часа ночи, переправлялись через реку на лодке и шли пешком в Ново-Девичий монастырь, а то и к дальнему Андронию. И попробуй ослушаться «папани»! Даже мысль такая не могла залететь в голову. А ведь как хотелось иной раз просто выспаться хорошенько, а там — бежать играть в черемуховые заросли над рекой или в рощу «Кинь грусть», где еще остались замшелые камни — следы грандиозного неосуществленного проекта Витберга — храма-памятника в честь войны 1812 года.

Припоминая теперь осколками рассказы Александра Сергеевича о себе и сопоставляя их с тем, что я позднее узнал от других, я пробую восстановить причудливый рисунок судьбы этого человека, поразившего когда-то меня своей неординарностью.

Наверное, если бы не революция, Крынкин с его зычным голосом и соборным темпераментом, отвечая желаниям и склонностям «папани», мог бы стать регентом хора в одной из московских церквей, а по смерти отца, возможно, возглавил бы его дело. Или, следуя настояниям «мамани», мечтавшей, чтобы ее сын сделался образованным господином, пошел бы на юридический факультет в надежде стать адвокатом (одно время Крынкин учился в университете и носил студенческую тужурку).

Но пришли новые времена. Ресторан Крынкина на Воробьевых сгорел дотла, и уже в 1921 году на этом месте был заложен Международный Красный стадион. Александр же Сергеевич, которому, откровенно говоря, ничего в жизни так не хотелось, как петь, нашел призвание по себе. У него обнаружился красивый, сильный баритон. Одержимость вокальной музыкой сблизила его с замечательными артистами — Николаем Семеновичем Головановым и Антониной Васильевной Неждановой. Вместе с ними он не раз участвовал в концертах духовной и светской музыки. Репертуар на первых порах был старый. Нежданова с огромным успехом пела «Тебе поем», посвященное ей Рахманиновым.

Новое время требовало, понятно, и новых песен. Но революционный песенный репертуар еще не сложился, и Крынкин стал одним из тех, кто после 1917 года

воскресил интерес к народной хоровой песне. В голодной, холодной, отапливаемой «буржуйками» Москве между 1918 и 1922 годами он, с его негасимым энтузиазмом, искал площадку, где мог бы осуществить свою страсть к многоголосому пению, и не брезговал ничем. Первый хор, которым он руководил, пел в зале гостиницы «Метрополь», но это вовсе не означало, что речь шла о какой-то ресторанной дешевке. В хоре пели известные профессиональные певцы, а аккомпанировал знаменитый регент Данилин, привлеченный, как и многие другие, пайком, гарантированным новой властью.

Едва организовался Московский государственный хор, ставший с 1922 года Московской академической капеллой, Крынкин в качестве хормейстера вызвался помогать его руководителю Павлу Чеснокову. А вскоре Александр Сергеевич сам возглавил хоры в красноармейских частях — разучивал с энтузиастами в буденовках хоровые номера из опер Чайковского и Рубинштейна, народные песни «Степь да степь кругом», «Варяг», «Славное море — священный Байкал»... И тут вполне проявился его редчайший дар — без напряжения, легко и весело руководить массой людей. Мне рассказывали, что для одного из первых октябрьских торжеств на Красной площади он репетировал революционные песни со множеством хоров, объединенных в единое целое. Микрофонов тогда, понятно, не было. Но Крынкина слушалась площадь, залитая народом. Энергичного взмаха его рук, его требовательного, восторженно-гулкого, слегка охрипшего, но словно только закалившегося на осеннем ветру голоса будто ждали, чтобы ему подчиниться.

— Тенора! Слушай меня! «Сме-е-е...»

— Баритоны! «Сме-е-е...»

— Басы! «Сме-е-е...»

— «Сме-ло, това-рищи, в но-гу...»

И поплыла над древними стенами города, над булыжником площади песня, будто рожденная могучим дыханием человека, стоявшего на невысоком деревянном помосте и торжествующим движением рук — вверх и в стороны — вытягивавшего последнее мощное «форте».

В своем деле Крынкин был виртуоз, он умел расшевелить и зажечь песней любого.

После революции, рассказывал Александр Сергеевич, закрыли увеселительные заведения на Грачевке, в окрестностях Трубной площади — места, описанные в чеховском рассказе «Припадок». А девушек, развлекавших там клиентов, пристроили работать на фабрики и в советские учреждения. Эта благодетельная перемена не всем из них пришлась по вкусу: привычка к прежнему образу жизни еще долго давала себя знать и приводила к эксцессам. Чтобы занять их в свободное время и украсить досуг, на девушек надели красные косынки и объединили их в кружки художественной самодеятельности. Женским хором, состоящим из столь специального контингента, пригласили руководить Крынкина, и он сумел захватить музыкальными наслаждениями большинство новых своих подопечных.

Ложится в по-о-оле мрак-а-ак ночно-о-ой;
От волн подня-а-ался ве-е-етер
хла-а-дный.
Уж по-о-оздно, пу-у-утник мо-о-ло-
до-о-ой!
У-укро-ойся в те-е-ерем на-а-аш
от-ра-а-дный...—

выпевали они нежными, ангельскими голосами.

— Отличный народ! — вспоминал о них Крынкин.— Молоденькие, хорошенькие, послушные, в большинстве своем скромницы и сильно увлекались пением.

С начала 20-х годов Крынкин работал в Музыкальной студии, созданной Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Там он близко узнал Сергея Владимировича Образцова, тогда молодого артиста студии, только еще начинавшего заниматься куклами. Он еще не вывел на сцену своих деревянных и тряпичных артистов и сам ходил с волшебным ящиком и ширмой по знакомым домам, где были дети, давая представления «из любви к искусству».

Недавно я прочел мемуарные записки Образцова «Моя профессия» и в них несколько дорогих мне слов о Крынкине. В 1923 году, вспоминает Образцов, артисты студий Художественного театра устроили нечто вроде капустника под названием «Необыкновенная ночь». Конферансье на этом представлении был Ми-

хаил Чехов, ставилась шуточная опера Ильи Саца «Битва русских с кабардинцами», а в верхнем фойе был воскрешен не существовавший уже к той поре «ресторан Крынкина на Воробьевых горах».

«Воспоминания об этом знаменитом ресторане,— пишет Образцов,— еще жили в памяти старых москвичей. Правда, в душном фойе не было ни Москвы-реки, ни сада с цветущей черемухой, ни соловьев, ни рассветов над башнями Ново-Девичьего монастыря, но зато все остальное было: и еда, и водка, и самовар с чаем, и «русский хор», которым дирижировал, как и раньше, сын Крынкина, Александр Сергеевич, артист Музыкальной студии. Дирижировал он хорошо, потому что по-настоящему любил и знал русскую песню».

На знакомстве Крынкина с Образцовым я остановился потому, что впоследствии это привело к важному повороту в судьбе Александра Сергеевича. Когда у Образцова возник свой театр на площади Маяковского, он пригласил Крынкина работать в нем по музыкальной части. Вокальные номера в знаменитых спектаклях театра рождались с его участием. Крынкин громко восхищался талантом Серёни, а когда артисты и артистки, которым предстояло говорить и петь за кукол, распевались перед спектаклем, приходил временами в такой восторг от удачно исполненного вокализа, что не мог сдержать своих чувств и со всего размаха хлопал исполнителей по плечу, рискуя нанести им увечье. Но за его живую горячность и искреннее бескорыстное увлечение искусством ему прощалось все.

Сожалею, что я узнал Крынкина слишком поздно, но все же однажды побывал у него в гостях в Леонтьевском переулке, и это свое впечатление вряд ли когда забуду.

То не было постоянное его жилье, но комната, которую он снимал для своих музыкальных занятий. Я знал, что его жена Нина Александровна Арнинг постоянно жила в другой квартире, близ Арбата, в окружении полотен знаменитых художников прошлого, доставшихся ей по наследству. Нимало не ссорясь с дражайшей своей половиной, Крынкин предпочитал по большей части жить отдельно, сознавая, что так удобнее для них обоих: жить с Крынкиным означало

жить рядом с человеком-хором, а это, даже при большом взаимном чувстве, не всякий мог бы вынести.

В этой холостяцкой норе я и навестил как-то Крынкина.

Существует лучше всех описанная Гоголем таинственная связь между жильем и его владельцем, не менее крепкая, быть может, чем между человеком и его одеждой. Каждый находит себе обиталище по вкусу или пересоздает его в согласии со своим воображением. Комната, какую занимал Крынкин, была ему в пору, как сшитый по ноге сапог. Здесь он давал уроки пения и сам безвозбранно наслаждался музыкой.

Дом в тихом переулке, в который он меня привел, с фасада выглядел самым заурядным, надстроенным и перестроенным московским домом минувшего века. Но комната Крынкина ошеломляла с первого взгляда. Еще входя в дверь из обычного коммунального коридора, я обратил внимание на стены: они напоминали своей толщиной средневековый замок. Комната была довольно просторна, но половину ее занимал большой рояль. И хотя на улице был яркий полдень, углы тонули в полумраке. Единственное окно с широким, как стол, подоконником выходило в переулок, но явно существовало не для того, чтобы из него выглядывать, а чтобы за ним прятаться. В боковинах стены у окна были видны массивные петли для внутренних железных ставен.

На закопченных, а скорее всего, давно не беленных стенах плохо различимые в дневном сумраке висели две или три картины в почтенных золотых рамах. Крынкин бегло назвал живописцев, поразив звонкостью имен: кажется, это были Куинджи и Рерих. Он пригласил меня сесть в потертое кожаное кресло у письменного стола, вплотную пододвинутого к стене. Стол был тоже просторен, как городская площадь, и в одном конце его хаотической грудой громоздились ноты, книги и клавиры, другая же сторона казалась сравнительно пустой: расстеленная старая газета выполняла должность скатерти с неубранными остатками завтрака на ней. Поймав мой недоуменный взгляд, Крынкин пояснил:

— Видишь ли, я тут перекусываю и всегда оставляю мышкам... Это удивительно музыкальные мыши. Сначала они меня побаивались, а теперь запросто

приходят, даже когда я еще завтракаю, и лакомятся прямо на столе — две такие беленькие, обаятельные, а глаза как клюковки... Бывает, я сажусь за рояль, и они выходят прямо под музыку.

Желая немедленно продемонстрировать мне это чудо, он откинул крышку рояля, взял несколько тихих мелодичных аккордов, но мышки не появились, и, несколько сконфуженный сорвавшимся эффектом, он стал располагать в том же углу стола, откуда их ждал, угощение для меня. Нарезая на газете сыр и колбасу, он заодно рассказывал историю своего жилища.

— Догадайся, куда я тебя привел? Лермонтова любишь? Кто ж его не любит! — воскликнул он за меня, не дожидаясь ответа, и с пафосом продекламировал: «Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет...» Так вот ты, позволю тебе объявить, в нумизматическом кабинете Мартынова. Да-да, того самого, Николая Соломоновича, будь он неладен... Отец Мартынова богатейшим откупщиком был, это его дом. Кажется, и Лермонтов сюда в юности хаживал, они ведь приятелями звались, он и этот... Мартыш. По мне, так никакой обиды в этом прозвище, а тот, видишь ли, оскорбился, защищал честь... Дело понятное, да ведь это только в горячке кажется, что неважно, в кого целишься...

Крынкин присел за рояль, взял несколько аккордов и запел:

— «Не плачь, дитя, не плачь напрасно...» Великий «Демон»! — воскликнул он, оборвав на полутакте.— Зацепило? То-то! Антон Григорьевич — гений! И Михаил Юрьевич — гений! Не спорь, не услышу,— прибавил он, хоть я и не собирался возражать ему. Развернувшись ко мне на черном винтовом табурете, Крынкин досказывал: — После того, что в Пятигорске случилось, Мартынова церковному покаянию подвергли, да он и сам, видно, мучился, тосковал, оставил Кавказ и заперся в своем московском доме. В свет он уже не выезжал, никого не хотел видеть, и единственное, чем еще тешился, представь,— нумизматикой. Монеты старинные собирал, медали, масонские знаки. Вот и эту комнату с толстенными стенами, настоящий каменный шкаф, для своей коллекции приспособил... А выходит, для меня старался. Прежде я пере-

летал с квартиры на квартиру — как возьмешь верхнее «до», соседи за милицией бегут. Пока-то нашел, что нужно. Через эти стены ни одна нота не убежит... А Мартынов у меня в принудительном порядке «Демона» слушает...

Он снова крутанулся к роялю, бросил по клавишам роскошное глиссандо и громко, зычно запел:

На возду-шном оке-ане...

Я слушал его, подавленный происходящим. Все спуталось и пошло хороводом в моей голове: нумизматический кабинет, мышки на столе, убийца поэта, гений Антон Григорьевич, Куинджи и Рерих на закопченных стенах... И этот неостановимый поток восхищения, всякий раз неведомо чем — музыкой, Лермонтовым, дружеской встречей, ожиданием соблазнительного, на скорую руку, мужского застолья, а скорее всего, просто непредугаданным весельем, безрасчетной энергией жизни.

Прощаясь, он извлек из-под стула уже знакомый мне мешок: «Маленькие подарки делают большую дружбу!» Я ушел от него, унося рижский одеколон, стержни для шариковых ручек и тюбик клея «БФ». Уже у двери он обнял меня так, что что-то опасно хрустнуло в предплечье, и пропел торжественно:

Вернись! Я все прощу...

Беды большого города известны. Живем рядом и годами не видим друг друга. Случилось так, что я надолго потерял из вида Крынкина, и вдруг узнаю от случайного встречного, что он умер. «Как?! Давно ли?» — «Да уж с полгода».

Смерть, как говорилось в старину, похитила его внезапно. «Почему же не известили, не позвали на похороны?» — «Да, кажется, никого не извещали...» Что-то недоговаривали, словно тут была какая-то тайна.

Разгадка нашлась позднее. Крынкин заболел и умер в одночасье. Но до той поры успел решительно объявить своим близким, что не согласен лечь в землю на каком-либо ином месте, кроме как на обрыве памятных ему с детства Воробьевых гор. Троицкая

церковь, что в сельце Воробьеве, построенная накануне наполеоновского нашествия и по сию пору стоящая на высоком гребне у Москвы-реки, окружена небольшим погостом: на нем покоятся родители Крынкина. Но там давным-давно не хоронили, и никому в мире не удалось бы, пожалуй, обойти строжайший на то запрет. Никому — но не Крынкину. Верные ему души сделали невозможное, и он тихо лег — без речей, депутаций и венков — в землю, на которой родился и которую считал своею.

Проходя или проезжая теперь случайно мимо видовой площадки Ленинских гор и глядя на пеструю толпу людей у балюстрады, любующихся здесь Москвою, я всякий раз вспоминаю Александра Сергеевича — четвертого. Москва и впрямь хороша отсюда, в дневной ли час в мреющей голубой дымке, или в сумерки, когда за темной рекой город раскидывается у вас под ногами широкой золотой лентой из дрожащих в ночном воздухе огней.

Ложится в по-о-оле мра-а-ак ночно-о-ой;
От волн подня-а-ался ве-е-етер
хла-а-дный...

Ветер на Воробьевых горах треплет пожухлую траву на зеленом пригорке и, налетая порывами, доносит до меня будто разлившийся где-то здесь, на москворецком откосе зычный, с хрипотцой голос Крынкина.

НЕВСТРЕЧА С КОРНЕЕМ ЧУКОВСКИМ

С Корнеем Ивановичем Чуковским я знакомился трижды.

В одну из первых послевоенных зим его пригласили выступать перед детьми в костной клинике в Сокольниках. Среди счастливцев, которых свезли в тот день на кроватях с колесиками из разных палат в двухсветный зал, именовавшийся «Светолечебницей», был и я.

Мне было тогда невдомек, почему знаменитый автор «Крокодила» и «Мухи-Цокотухи» так охотно согласился выступать у нас. Это потом я узнал, что перед войной в такой же клинике в Крыму умерла дочь Чуковского. По ее впечатлениям и рассказам была написана им повесть «Солнечная» — о больных костным туберкулезом детях. И уж совсем не знал я, что во «взрослом» литературном мире Корней Иванович пребывал в те дни в полуопале: его новая сказка «Бибигон» не пришлась кому-то по нраву и была разругана в печати. Оттого и приглашений выступать поубавилось.

Размахивая книжкой, которую он держал в руках, Чуковский своим высоким, с теноровыми модуляциями голосом не столько прочитал, сколько пропел нам «Бибигона». А потом, надеясь расшевелить своих слушателей, предложил игру. Он пояснил, что, где бы ни выступал, не только загадывает ребятам загадки, но просит их, в свою очередь, загадывать ему: у него составилась, таким образом, целая коллекция. Загадок мы знали предостаточно, и одну-две смельчаки выкрикнули сразу же. «Сорок одежек» и «маленькую со-

бачку», не пускающую в дом, он тут же отверг за общеизвестностью. Не дослушав, выкрикивал ответ и подзадоривал: «Еще кто?» Набравшись храбрости, я поднял руку и загадал загадку-ловушку про самолет, летящий ночью: огоньки его то потухнут, то погаснут — отчего его с земли не видно?

Он задумался, удивленно вертя головой, как носатый дятел, а когда узнал ответ, театрально всплеснул руками, уверяя, что нипочем бы не догадался. Он громко славил меня, а я лежал пунцовый от гордости и смущения. Вероятно, он отлично знал эту немудреную загадку и только делал вид, что попался. Но в его голосе было столько неподдельного восхищения находкой, что заподозрить его в лукавом снисхождении было невозможно. На целый вечер я стал героем среди ребят.

Прошли годы. В 1954 году, занимаясь в толстовском семинаре Гудзия, я зашел к Николаю Каллиниковичу на дом, чтобы отдать курсовую работу.

— Вот и кстати. А у меня Корней Иванович. Вы не знакомы? — спросил по обыкновению учтиво, Гудзий. Я ответил отрицательно: можно ли было считать знакомством только что описанное?

Когда мы прошли в кабинет и Николай Каллиникович представил меня, Чуковский вскочил с дивана, на котором сидел, приветствуя незнакомого ему студента, и протянул свою большую, как лопата, ладонь, которую я с трепетом пожал.

Между тем Гудзий с хохотком объявил, что хоть я и «непростительно молод», но уже печатаюсь. Опубликовал вот рецензию в последней книжке «Нового мира»: не попадалась ли она, случаем, на глаза Корнею Ивановичу?

— Как же, как же, читал! — сказал Чуковский с необыкновенной живостью. Он снова вскочил с дивана, на который едва присел, сделал в мою сторону какой-то мудреный реверанс, метя пол воображаемой шляпой с пером и певуче продекламировал:

Старик Чуковский вас заметил,
И, в гроб сходя, благословил.

Я не подозревал тогда, что это коронная шутка Корнея Ивановича, которую слышали от него многие, и был, натурально, польщен.

Но тут случилось непредвиденное. Произнеся свое забавное благословение, Корней Иванович взмахнул огромными, как крылья ветряной мельницы, руками, ненароком задел гору книг, хаотически высившуюся на маленьком столике, и вызвал лавинный обвал. Обрушившиеся книги, альбомы, журналы разлетелись по полу кабинета.

Корней Иванович охнул, резво опустился на колени и стал подбирать их. Я бросился помогать ему. Тут, ползая с Чуковским на четвереньках под хмыканье Гудзия, я вышел из столбняка, в который он вогнал меня своим театральным приветствием. Под журнальным столиком и произошло, по сути, наше второе знакомство, о котором опять-таки знал я, но не помнил он.

Прошло еще с десяток лет. Раза два или три я видел мельком Чуковского в редакции «Нового мира». Само собой разумеется, он не узнавал меня в коридорах журнала, где со всех сторон неслось: «Здравствуйте, Корней Иванович!» — и он одинаково любезно раскланивался направо и налево. Однажды я был немым свидетелем появления Корнея Ивановича в кабинете Твардовского. Это было в 1963 году, сразу после публикации в «Правде» большого интервью Твардовского Леонарду Шапиро (оно было актом дерзкой самозащиты журнала). Чуковский неожиданно залетел в кабинет редактора, где в ту пору находился и я, и, согнувшись в приветствии едва ли не пополам, возгласил, обращаясь к Александру Трифоновичу:

— Низкий вам поклон от всех, искренне чтущих русскую литературу за ваш... фёльётон.

Именно так, по-старинному, он и произнес это словечко, как бы с двумя «ё», и Твардовский расхохотался неожиданному определению жанра своей по необходимости суховатой, с привкусом официоза статьи-интервью.

После ухода Корнея Ивановича он еще долго веселился, повторяя на разные лады: «Фёльётон... Вы подумайте, каков старик! И не поленился зайти поздравить — вот забытые литературные нравы... Фёльётон... Пожалуй, он так еще в «Биржевых новостях» Куприну или Власу Дорошевичу мог говорить».

Третье мое знакомство с Чуковским было заочным. В 1968 году я напечатал в «Новом мире» статью о романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Тогда ро-

ман этот был новинкой, репутация его не устоялась и споры вокруг книги кипели жестокие. Цензура остановила статью, и даже Твардовский долго не хотел верить, что нам удастся ее напечатать. Когда статья все же появилась, многие критики встретили ее в штыки, срамя меня, как слепого апологета Булгакова. Особенно примечательна была статья с грозным заголовком «Горят ли рукописи?».

Елена Сергеевна Булгакова, принимавшая близко к сердцу каждое слово о своем покойном муже, рассказала мне как-то, что встречалась с Чуковским, который горячо говорил с ней о завязавшейся полемике. По ее совету я послал Корнею Ивановичу оттиск статьи из «Нового мира».

Спустя неделю в белом длинном конверте я получил ошеломивший меня ответ. В подробном письме, обращаясь ко мне, разумеется, как к человеку ему незнакомому, Чуковский не просто великодушно отзывался о статье, но подробно и лестно разбирал все ее особенности, композицию и стиль, материал и способ доказательства. Он радовался, что «русская критическая мысль окончательно сбросила с себя оковы догматики (формализма, социологизма и проч.)». Привыкнув к манере литературных людей даже благожелательные слова мерить скупо и ронять сквозь зубы, я был потрясен этим шквалом доброжелательства, едва ли мною заслуженным.

Долгое время я никому не говорил об этом письме, и если сейчас решаюсь это сделать, то лишь потому, что это прекрасно характеризует 85-летнего Чуковского. К тому же с годами я стал лучше понимать правоту писателя XVII века Симеона Полоцкого, ссылавшегося, в свою очередь, на античный авторитет:

Аристотелес рече, что себе хвалити
Есть суетство, глупство же есть себе хулити.

Не мне одному в литературном мире выпала удача получать от Корнея Ивановича Чуковского письма с щедрыми, несдержанными похвалами. И как благотворна была эта его расточительность: она не просто делала на час счастливым, но поднимала дух его адресатов.

Полученное мною письмо заключало приглашение: «Был бы счастлив повидаться с Вами. Не приедете ли Вы как-нибудь в Переделкино?..»

Почему я не отозвался на это приглашение и не поехал тогда к Чуковскому? Бог весть, но уж наверное не от большого ума. Смолоду сильное впечатление произвели на меня слова Чехова в письме к брату Николаю, не советовавшего обольщаться такими «фальшивыми бриллиантами, как знакомства с знаменитостями». Мне все казалось нескромным навязываться, я боялся явиться не вовремя и застать хозяина врасплох, и я утешал себя вечно напрасным «успеется». (Точно так же весной 1962 года я пропустил возможность встретиться с Ахматовой — так глупо!)

Но хотя я не показывал носа, Корней Иванович не оставлял меня своим вниманием: каждые несколько месяцев я получал от него бандероли с новыми изданиями его книг — о Чехове, о переводческом искусстве — с дружескими надписями.

Последняя бандероль пришла за месяц до его смерти. Это была книга «Мой Уитмен». Развернув ее, я с изумлением увидел на первой же странице следы авторской правки — тем самым пером с черной тушью, каким была сделана дарственная надпись. Чуковскому не понравилась конструкция первой фразы (несколько слов залетели не туда, куда им положено), и он аккуратно перетянул их черными «вожжами» на более подходящее место. Он точно давал мне урок требовательности к своему слову: в только что полученной из типографии, еще пахнувшей свежей краской книге начинал новый тур правки.

На похоронах Корнея Ивановича кто-то рассказал мне одну подробность его последних дней. Лежа в Кунцевской больнице, он просил читать себе вслух. Однажды выразил желание послушать гончаровского «Обломова». Близкие удивились: никогда прежде не замечалось в нем пристрастия к этому классику. Сосредоточенно, закрыв глаза, слушал он Гончарова целый вечер. Просил продолжить чтение и на другой день. А на третий неожиданно сказал: «Хватит. Я так и думал, что роман этот скучен».

Так вот оно в чем дело! Он не успел, как это бывает, в свое время прочесть «Обломова» и не чувствовал себя вправе отойти в мир иной, не познакомившись со знаменитой книгой.

В какой мере достоверен этот рассказ? Трудно представить, чтобы за свою долгую жизнь Корней

Иванович не нашел случая прочесть «Обломова». А, с другой стороны, у кого из нас, даже изрядно читающих, не найдешь своих пробелов в той или иной части мировой классики? Так или иначе, но, если рассказ верен, как восхитительно это предсмертное желание писателя закрыть всегда досаждавшее ему белое пятно, исполнить и этот долг перед русской словесностью!

Думалось: вот черта литератора до мозга костей! Как неподдельно влюблен этот человек, приютивший у себя на даче Солженицына, в русскую литературу, в ее прошлое и в ее современность, как всерьез берет значение написанного и как будет нам всем не хватать его одобрения или укора.

1987

БУЛГАКИАДА

...Я — мистический писатель.
Мих. Булгаков

1. ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Среди отмеченных литературоведами законов творчества есть один, природа которого до сих пор остается до конца непознанной: воздействие сочинения на самого творца и на то, что его окружает. Бывает, что произведение создает вокруг себя чудодейную ауру, волшебную зону рассеяния, в которой возможны самые неожиданные превращения.

То, что Михаил Афанасьевич Булгаков спознался с нечистой силой да еще не оскорбил, а усмирил ее, одомашнил и взял в попутчики, как глумливого Коровьева, нагловатого Азазелло или бесцеремонного Кота, перестроило вокруг него весь быт и уклад, людей и обстановку.

Даже Елена Сергеевна Булгакова, которая всему свету известна как Маргарита (когда она приехала в Венгрию, в газете появилась статья «Маргарита в Будапеште»), мало-помалу превратилась рядом с Михаилом Афанасьевичем в существо — боюсь вымолвить, чур меня, чур!..— ну, скажем так, отчасти оккультного толка. Возможно, она не ведьмой родилась и кто знает, был ли у нее от рождения хоть крохотный хвостик. Но перевоспиталась в колдунью, и на то есть весьма авторитетные литературные свидетельства.

Многолетний друг Булгакова С. А. Ермолинский знал Елену Сергеевну совсем молоденькой женщиной, когда она не была еще знакома с Михаилом Афанасьевичем. И вот что осталось его впечатлением тех давних лет: это была веселая, кокетливая, небезупречного вкуса особа, которая на какой-то вечеринке лазила

под стол и которую звали Ленка-боцман. Несомненно, это сущая правда, но представить ее такой мне не дано. В 1963 году я познакомился и, смею сказать, подружился с дамой совсем иного рода — сердечной и безукоризненно светской, расчетливой и безудержно-щедрой, веселой и горестно-проницательной, имевшей поверх всего этого еще легкий флер инфернальности, короче, с ученой ведьмой, опытной ведуньей и чаровницей.

Но что там мои субъективные впечатления, если в 1943 году в Ташкенте, когда судьба свела ее с Ахматовой, та со своим даром узнавания тотчас ее раскусила, посвятив ей полные значения строки:

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья.
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

Начала-то Ахматова с Елены Сергеевны, но в конце этого изящного и такого женского по чувству стихотворения уже две ведуньи и колдуньи стояли друг перед другом рост в рост и готовы были помериться силами.

И все же это литература. А я немного знаю Елену Сергеевну со стороны, так сказать, Лысой горы и по впечатлениям жизни. Вы спросите, да как же я мог это видеть или угадать, чем докажу? Э, в таких делах доказательства не самая первая вещь. Важен нюх, интуиция.

Ведь как только вы переступали порог маленькой квартирки у Никитских ворот, задними окнами на церковку Федора Студита, прятавшуюся во дворе, многое становилось ясно. То, как тут встречали, как угощали, каково было убранство дома, как выглядела хозяйка — все это было, поверьте, наваждением чистой воды.

Множество раз я бывал у Елены Сергеевны и в

торжественные, и в обычные дни, но сейчас все слилось в моей памяти в какой-то один долгий веселый праздник.

На подзеркальнике в прихожей стояли цветы и разноцветные витые свечи, уже зажженные, но не нагоревшие и, наверное, вспыхнувшие разом от ветерка, когда раскрылась перед гостем входная дверь; огни уходили куда-то в бесконечную перспективу тройных зеркал.

Я нес в подарок хозяйке горшок с алой альпийской фиалкой. Она радостно всплеснула руками и, как показалось мне, с искренним восхищением воскликнула: «Спасибо, родной, какая удача! Это еще один к моим — и точно в тон!» Она взяла у меня цветок, распахнула дверь комнаты — и я зажмурился: на большом письменном столе стояли и рдели пятьдесят горшочков с фиалкой, давая комнате вид цветущего альпийского луга.

Все было чудесно и исполнено значения в этом доме, и главное, разлитое во всем присутствие Булгакова. Когда ты попадал сюда впервые, то поневоле во все глаза глядел на портреты Михаила Афанасьевича. Молодой Булгаков в южной шапочке и с пронзительными, светлой воды, голубыми неистовыми глазами, написанный Остроумовой-Лебедевой. И Булгаков в халате, постаревший, больной, остановившийся в синем сумраке в дверях своей комнаты,— первоклассный этюд художника Дмитриева. И большой овальный портрет Булгакова в старинной раме, и посмертная маска в шкафу среди изданий его книг... И если уж глядеть на стены, то никак нельзя было миновать старинную карту двух полушарий со средневековыми контурами материков и чужеземными надписями — никогда так и не побывавший в дальних странах, Булгаков питал слабость к географическим картам. А над столом в кухне вы, конечно, должны были приметить дешевенький плакат, который Михаил Афанасьевич содрал с какого-то забора. На плакате была изображена жирно перечеркнутая крест-накрест поллитровка, а рядом новенькая сторублевая ассигнация. Надпись гласила: «Водка — враг, сберкасса — друг!» Во всем тут был виден и слышен Булгаков — его юмор, вкусы, симпатии. Но полнее всего это чувство тайного его присутствия излучала сама хозяйка.

Елена Сергеевна встречала гостей в каком-то одновременно праздничном и милом домашнем, до пят, одеянии, расшитом звездами, которое я назвал бы халатом, если бы это вульгарное слово не мешало представить всю прелесть ее наряда. Она была причесана красиво и строго, на ней были золотые туфельки без каблуков, и вообще она была молода, прекрасна, смех ее звучал звонко и волнующе, а низкий, со срывами голос Маргариты сразу узнал бы каждый. Молода? Я не оговорился? Ей было в ту пору... деликатность не позволяет мне вымолвить, сколько в ту пору ей было лет. Но по ненавистному ей сухо-математическому расчету выходило, что она родилась еще в минувшем веке, и не в последние его годы. Только, помилуй бог, не подумайте, что в ней была какая-то черточка молодящейся старости. У нее были свои отношения с возрастом, который она в самом деле, а не в своем лишь воображении победила. Возможно, не последнюю роль играл тут крем Азазелло, но в эти подробности я не рискну входить. Однако никогда не забуду, как она воскликнула с очаровательной досадой о человеке, годами пятнадцатью ее моложе: «Надоел мне этот старик!» — и хлестнула черной перчаткой по воображаемой его руке!

Итак, я здоровался с хозяйкой, а из кухни тем временем выходил серый мохнатый... кто? Пес? Теленок? Годовалый медведь? Булька, Булат, необыкновенное создание, интеллект которого граничил со всепониманием.

Я уж не говорю о его воспитанности. Случалось, он ел за общим столом, важно сидя на полу — при его росте стула ему не требовалось. Морда его чуть возвышалась над тарелкой, где ему сервировали пирог с капустой. Он захватывал его с блюда мягкой мордой и доедал под столом, а потом его огромная мохнатая голова добродушного лендлорда снова появлялась над пустой тарелкой, с достоинством ожидая, пока другие жующие поймут, что есть за столом еще кто-то, кто не отказался бы от лишнего кусочка пирога.

С Булатом Елена Сергеевна вела долгие, одним им вполне ведомые разговоры. А однажды в новогоднюю ночь, когда оказалось, что средства радио и телетехники парализованы в доме (не присутствием ли какой-то иной, посторонней силы?) и нельзя достовер-

но сказать, когда наступит Новый год, Елена Сергеевна предложила встретить его «под Булата», о чем-то пошепталась с ним, и, когда стрелки часов сошлись на цифре 12, из-под стола ровно и гулко забухало торжественным лаем — ровно двенадцать раз. Мы чокнулись шампанским.

А вы еще спрашиваете, откуда я знаю, что она колдунья!

Летом 1938 года, завершив начерно последнюю главу романа, Булгаков пережил то состояние счастливого изнеможения, освобождения и печали, которое знакомо каждому художнику и гениально выражено Пушкиным:

> Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
> Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?..

В тот июньский день он написал в Лебедянь Елене Сергеевне, беспокоившейся о судьбе романа: «Что будет?» — ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф... и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.

Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму ящика.

Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно» (15 июня 1938 года).

С того дня прошло неполных два года. Булгаков продолжал править и дополнять рукопись на пороге смерти, мучительно угасая от роковой наследной болезни — склероза почек. Он уже еле мог прошелестеть что-то своими побелевшими губами, когда она склонилась над его постелью и вдруг поняла: «Мастер? Да?» Он кивнул чуть заметно, довольный, что она догадалась. «Клянусь тебе,— сказала она и перекрестилась.— Я его напечатаю».

Елена Сергеевна говорила потом, что пробовала это сделать — всякий раз наперекор обстоятельствам и вопреки рассудку — то ли шесть, то ли семь раз.

И дело, не возможное ни для кого иного, свершилось силою ее верности. «Это счастье, я поверить ему

не могу,— говорила она, держа в руках сиреневый номер «Москвы» с первой книгой романа.— Ведь было однажды так, что я сильно заболела и вдруг испугалась, что не исполню того, что обещала Мише». Она-то знала, как трудно победить заклятье, лежавшее на булгаковской рукописи, но не сдалась и одолела.

А ведь ей не всегда жилось легко. И, несмотря на все ее чары, дом ее не был полная чаша. Она делала цветы для дамских шляпок и переписывала на машинке. Потом, в лучшие времена, перевела как-то для серии «Жизнь замечательных людей» книгу Моруа «Жорж Санд». Книга вышла двумя изданиями. Но об этом она не любила говорить, и о ее переводах я узнал случайно, со стороны, как и о том, что однажды она расшифровала французскую записку Пушкина, над которой многие годы бились пушкинисты. «Да, было однажды»,— подтвердила Елена Сергеевна и замолчала. Это не составляло ее тщеславия. Она была вдовой Булгакова.

Но те, кто навещал ее в тяжелые, голодные годы, рассказывали, что так же уютно горела большая лампа с абажуром на овальном столе («Никогда не сдергивайте абажур с лампы, никогда не убегайте от опасности крысьей побежкой»,— предупреждал автор «Белой гвардии»), и так же весело поджаривались на сковородке тонкие ломтики черного хлеба, и так же красиво подавалась на пустой стол крохотная чашечка кофе.

Да, она волховала. И мало кто из знавших ее спасся от этих чар. Но если вы еще сомневаетесь в магической, запредельной природе ее естества, может, вас более убедят какие-то мелкие, чисто житейские случаи и факты, выдававшие ее с головой. Господи, да я им прямой свидетель! Расскажу, пожалуй, еще один эпизодик, мимолетный, но показательный.

Было так. Ездила Елена Сергеевна в Париж, куда так стремился и не сумел попасть Булгаков. Она ходила по Парижу и говорила себе: «Миша, я вижу все это, все, что хотел ты видеть». Между прочим, просила повести ее и к чаше мольеровского фонтана: он показался ей беднее, скучнее, чем издали, преображенный вдохновением Булгакова... Но я не о том хотел рассказать. Из Парижа она привезла от Эльзы

Триоле книгу для А. Т. Твардовского, антологию русской поэзии, где были и его стихи, переведенные Эльзой. Для Елены Сергеевны это был давно ожидаемый повод познакомиться с Твардовским, и она попросила меня, когда в редакции выдастся тихий час, Твардовский будет один и согласится ее повидать, позвонить ей, она будет тотчас.

День такой и час такой выдался вскоре. Я зашел в кабинет Александра Трифоновича и предупредил, что его хочет навестить и передать ему книгу вдова Булгакова. Он охотно согласился принять ее. Я тут же перезвонил Елене Сергеевне, что она может приехать. Она радостно спросила: «Когда?» — «Да сейчас».— «Так ждите меня»,— сказала она и повесила трубку.

В редакции «Нового мира» Елена Сергеевна никогда прежде не бывала, и я решил, что спущусь встретить ее у подъезда, провожу к себе в кабинет на второй этаж, чтобы она отдышалась с дороги, а потом проведу к Твардовскому. Я прикинул, сколько времени понадобится ей, чтобы собраться, и, зная, как тщательно готовится Елена Сергеевна к каждому своему выходу, рассудил, что никак не менее часа. Мой звонок застал ее наверняка врасплох, по-утреннему, в халате... Ей предстояло одеться, причесаться, потом найти такси, что не всегда легко сделать у ее дома, или проехать три остановки на троллейбусе, пройтись немного, разыскать наш Малый Путинковский, подняться по лестнице... Словом, раньше чем минут через сорок ждать ее было нечего, решил я, и углубился в чтение корректуры, рассчитывая заранее выйти ее встретить.

Прошло пять-семь минут. В дверь постучали. Я поднял глаза над версткой... На пороге стояла Елена Сергеевна в весеннем черном пальто, в шляпке с легкой вуалью, изящная, красивая, улыбаясь с порога. «Как?! — вскричал я.— На чем же вы...» — «На метле»,— не смутившись ни капли, призналась она и радостно засмеялась моей недогадливости.

Итак, я, человек, чуждый всякому мистицизму и оккультным наукам, готов подтвердить под присягой, что в тот день она выбрала именно этот вид транспорта, потому что простейшие расчеты времени начисто исключают всякую иную вероятность.

Впрочем, эти ее проделки не застали меня врасп-

лох, потому что я был уже немного подготовлен к этому как чтением Булгакова, так и рассказами Елены Сергеевны о нем.

Рассказы ее были или смешные, бытовые, — о Булгакове-застройщике, неплательщике налогов, или связанные с чем-то таинственным, полумистическим. Вспоминала она какой-то вечер в мае 1929 года (познакомились они в феврале), когда Булгаков повел ее в сумерках в полнолуние на Патриаршие пруды и слегка приоткрыл завесу над задуманным романом: «Представь. Сидят, как мы сейчас, на скамейке два литератора, а с соседней скамьи встает и обращается к ним с учтивым вопросом удивительный господин в сером берете на ухо и с тростью под мышкой...» Он рассказал ей завязку будущей книги, а потом повел в какую-то странную квартиру, тут же, на Патриарших. Там их встретили какой-то старик в поддевке с большой белой бородой и молодой малый лет двадцати пяти. Пока они искали квартиру, стучали в дверь, Елена Сергеевна все спрашивала: «Миша, куда ты меня ведешь?» На это он отвечал только «Тсс...» — и прикладывал палец к губам. В какой-то комнате с камином, где не было света и только языки пламени плясали по стенам, был накрыт роскошный и по тем временам стол: балык, икра. Смутно говорилось, что старик возвращается из мест отдаленных, добирался через Астрахань. Потом сидели у камина, ворошили уголья. Старик спросил: «Можно вас поцеловать?» Поцеловал и, заглянув ей в глаза, сказал: «Ведьма».

«Как он угадал?!» — воскликнул Булгаков.

«Потом, когда мы уже стали жить вместе, я часто пробовала расспросить Мишу, что это была за квартира, кто эти люди. А он всегда только: «Тсс...» — и палец к губам».

Свою роль ангела-хранителя Булгакова Елена Сергеевна знала твердо, ни разу не усомнилась, в трудный час ничем не выдала своей усталости. Она поддерживала его силы и охоту к работе своим не знавшим сомнений восхищением, безусловной верой в его талант.

«Когда мы стали жить вместе с Михаилом Афанасьевичем,— вспоминала Елена Сергеевна,— он мне сказал однажды: «Против меня был целый мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно».

В их доме не мог поселиться дух праздности и уныния: рядом с Булгаковым никогда не было скучно.

Любила рассказывать Елена Сергеевна о домашних мистификациях, артистических проделках Булгакова. Вот как, по ее словам, был начат «Театральный роман». Однажды вечером (судя по пометке в черновой тетради, это было 26 ноября 1936 года) Булгаков сел за бюро с хитрым видом и стал что-то безотрывно строчить в тетрадь. Вечера два писал так, а потом говорит: «Вот я написал кое-что, давай позовем Калужских (Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь дирекции МХАТа, сестра Елены Сергеевны, была замужем за артистом Е. В. Калужским.— *В. Л.*). Я им прочту, но только скажу, что это ты написала». Разыгрывать он умел с невозмутимой серьезностью лица. Елена Сергеевна, по его сценарию, должна была отнекиваться и смущаться.

Пришли Калужские, поужинали, стали чай пить, Булгаков и говорит: «А знаете, что моя Люська выкинула? Роман пишет! Вот вырвал у нее эту тетрадку». Ему, понятно, не поверили, подняли на смех. Но он так правдоподобно рассказал, как заподозрил, что в доме появился еще один сочинитель, и как изъял тайную тетрадь, а Елена Сергеевна так натурально сердилась, краснела и смущалась, что гости в конце концов поверили. «А о чем роман?» — «Да в том и штука, что о нашем театре». Калужские стали подшучивать над Еленой Сергеевной, что-де она могла там написать? Но когда началось чтение, смолкли в растерянности: написано превосходно и весь театр, как на ладони. А Булгаков все возмущался, как она поддела того-то и как расправилась с другим. Ловко, пожалуй, но уж достанется ей за это от персонажей!

Было за полночь, Калужские ушли, Елена Сергеевна собиралась спать ложиться, вдруг во втором часу ночи телефонный звонок. Е. В. Калужский подзывает к телефону Булгакова: «Миша, я заснуть не могу, сознайся, что это ты писал...»

Роман о театре, о котором Булгаков думал еще с конца 20-х годов, после этого вечера стал писаться быстро, азартно. Булгаков читал главы этой книги у себя дома Качалову, Литовцевой, Маркову. Елена Сергеевна вспоминала, что на одном таком чтении все

веселились, а Качалов вдруг загрустил и сказал: «Смеемся. А самое горькое, что это действительно наш театр и все это правда, правда...»

Говорить о Михаиле Афанасьевиче публично, с эстрады Елена Сергеевна не соглашалась ни под каким видом, и я не сразу понял почему, ведь она так любила всякое чествование его памяти и нас всех уговаривала выступать. На одном таком вечере молодежь устроила Елене Сергеевне овацию. Ее просили сказать хотя бы два слова, она отказалась наотрез. «Глупец,— с неожиданной резкостью сказала она об одном из участников вечера,— зачем он сказал публике, что я здесь? Я не могу говорить о Мише».

А дома, за ужином, успокоившись и развеселясь («У нас лучший трактир в Москве»,— повторяла она слова Булгакова), Елена Сергеевна рассказала.

Как-то однажды, уже в пору своей предсмертной болезни, видя, как она измучилась с ним, и желая немного ее отвлечь, Булгаков попросил ее присесть на краешек постели и сказал: «Люся, хочешь, я расскажу тебе, что будет? Когда я умру (и он сделал жест, отклонявший ее попытку возразить ему), так вот, когда я умру, меня скоро начнут печатать. Журналы будут ссориться из-за меня, театры будут выхватывать друг у друга мои пьесы. И тебя всюду станут приглашать выступить с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном бархатном платье с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь низким трагическим голосом: «Отлетел мой ангел...» «И оба мы,— рассказывала Елена Сергеевна,— стали неудержимо смеяться: это казалось таким неправдоподобным. Но вот сбылось. И когда меня приглашают выступить, я вспоминаю слова Михаила Афанасьевича и не могу говорить».

Из всех способностей, какими одарены маги и волшебники, простейший и наиболее часто встречающийся дар — прорицания. К тому же пророчество — любимая тема поэзии. Булгаков правильно рассудил, что рукописи не горят, и верно напророчил будущее себе и своим книгам.

2. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Давно было замечено, что в биографии Булгакова есть таинственные недоговоренности, провалы и неразгаданные совпадения. Некоторые из них относятся к странному чувству связи его судьбы с личностью человека в усах и с трубкой, портрет которого был знаком каждому. Елена Сергеевна, при всей своей неортодоксальности, не разрешала о нем говорить дурно, и это была одна из немногих тем, разделявших нас. Ею был бережно храним составленный ее покойным сыном Женей список «врагов Булгакова» — критиков, редакторов, драматургов, деятелей общественной нивы. Но даже помыслить было нельзя, чтобы в этом списке оказалось имя человека с портрета. Он был могучей силой, злой силой, но относился к Булгакову, так по крайней мере считала Елена Сергеевна, если не с сочувствием, то с уважением и тайным любопытством. Похоже, что так же временами думал и сам Михаил Афанасьевич.

Кабала святош преследовала Мольера, тогда как от короля еще можно было ждать нечаянной милости ему. Тщетно было бы искать в этом булгаковском мотиве исторической истины. Скорее тут было иррациональное чувство самоуспокоения, инстинктивных поисков защиты. Ведь и демон зла — Воланд мог помочь восстановить справедливость... Так или иначе, но Булгаков думал, что Вождь помнит о нем, интересуется им, и навсегда был благодарен ему за телефонный звонок в ответ на свое отчаянное письмо Правительству. В самом деле, ведь не каждый день и не всякому советскому писателю, а тем более уничтоженному печатью и общественностью, звонит на квартиру лично Генеральный секретарь.

Сопоставление рядом лежащих дат бросает неожиданный свет на этот эпизод булгаковской судьбы.

Булгаков отправил письмо в Кремль 28 марта 1930 года. Письмо это было — крик полузадушенного человека. В 1929 году пьесы его были сняты повсюду, и вскоре в выступлении на XVII губернской партконференции драматург Владимир Киршон вел уже борьбу не с самим списанным со счета Булгаковым, а с «подбулгачниками». (В накале борьбы с кулаками и подкулачниками слово было рассчитано на мгновен-

ный классовый рефлекс.) К весне 1930 года, лишенный, по его выражению, «огня и воды», Булгаков дошел до погибельного отчаяния. Он искал любую работу, пробовал наниматься рабочим, дворником — его не брали. Он стал думать о том, чтобы застрелиться, носил с собой револьвер. Другим возможным исходом была эмиграция, путь, проделанный позднее Евгением Замятиным, которого Булгаков сам, в числе немногих, провожал в 1932 году на вокзальном перроне: с Замятиным он был близок и лично, и по литературе, что еще никто не взялся исследовать.

Чтобы понять настроения Булгакова той поры, мало иметь в виду наглядную историю его отреченных пьес и книг. Еще в конце 20-х годов у него был произведен обыск, изъяты все рукописи, дневники. Булгаков подал тогда заявление, где писал, что, если его литературные работы не будут ему возвращены, он больше не может считать себя литератором и демонстративно выйдет из Всероссийского союза писателей (был такой предшественник ССП). Его пригласили на Лубянку. Перед следователем лежало заявление Булгакова. Указывая на ящики своего письменного стола, следователь сказал, что все тетради Булгакова лежат здесь. Ему вернут его бумаги, если он заберет свое заявление и не будет о нем вспоминать. Булгаков ушел, неся в кармане заявление, а в руках — пачки исписанных им тетрадей. Придя домой, он бросил дневники, которые вел с 1921 года, в печь. Больше он никогда не вел дневников.

Надо ли удивляться тому бесстрашно-откровенному и исполненному достоинства слогу, каким дышит письмо Правительству. Булгаков просил правительство «приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР» или же — «дать мне работу по специальности». «Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены».

В *таком* письме не могло быть и тени неправды. Елена Сергеевна рассказывала, что, перечитывая письмо перед отправкой, Булгаков споткнулся о фразу: «...лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе...» «Но ведь это неправда, одна тетрадь осталась. Если захотят проверить, то узнают, что

я сжег не все»,— подумал Булгаков. «Надо сжечь». И тут же усомнился: «Но если сжечь все, как я докажу потом, что роман был?» Булгаков разодрал сверху вниз тетрадь с первой редакцией «Мастера» и две трети каждой страницы сжег, а корешок тетради, сохранивший начало строчек, спрятал как возможное доказательство.

Итак, вернемся к интересующей нас дате. Отправив письмо 28 марта 1930 года, Булгаков стал ждать ответа. Прошла неделя, другая, потекла третья — ответа не было. Вряд ли можно было уже ожидать его.

И вдруг — 18 апреля Булгакову позвонили. Негромкий голос с резким грузинским акцентом сказал:

«— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?

— Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да я хотел бы. Но я говорил об этом — мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся...»

Таков был этот, решивший судьбу Булгакова разговор, породивший потом множество легенд и живописных переложений в литературной среде, отразившийся и в мемуарах Паустовского, но, по-видимому, точнее всего зафиксированный Еленой Сергеевной со слов Михаила Афанасьевича в приведенной выше дневниковой ее записи [1].

Что, однако, побудило высокого адресата спустя три недели откликнуться на письмо Булгакова? Что произошло между 28 марта и 18 апреля?

14 апреля 1930 года в своей комнате в Лубянском проезде пустил себе пулю в сердце Маяковский. 17 апреля его похоронили. За три дня около 150 тысяч москвичей прошли в Клубе ФОСП на улице Воровского мимо гроба того, кого вскоре вождь назовет «лучшим, талантливейшим» поэтом эпохи. А спустя всего сут-

[1] См.: Вопросы литературы. 1966. № 9. С. 138.

ки Булгакову позвонил человек с грузинским акцентом. Простейший политический расчет подсказал ему, что нельзя доводить до крайности еще одного известного литератора. И так уже прежде покончили с собой Сергей Есенин, Андрей Соболь. А тут Маяковский... Не хватало еще Булгакова.

К литераторам, жившим и творившим под его десницею, вождь всегда относился по-отечески ревниво. Рассказывают, что в конце 40-х годов тогдашний оргсекретарь Союза писателей Дмитрий Алексеевич Поликарпов, освоившись с новой работой, пробился на прием в Кремль, чтобы на всякий случай, во избежание позднейшего упрека, охарактеризовать писателей, личные дела и политическую физиономию которых он досконально изучил. Он прошелся по всему наличному списку с краткими комментариями: «Этот бывший меньшевик... У этого теща — эсерка... Этого Бухарин хвалил... Тот космополит безродный...» Вождь слушал-слушал, прохаживаясь вдоль длинного стола, и вдруг шмякнул по нему со всей силы своей трубкой. «Товарищ Поликарпов,— сказал он, раздельно печатая каждое слово.— Других писателей — у меня — для тебя — нет». И спустя пять минут из соседней комнаты уже шел Поскребышев, неся на подпись проект постановления о переводе Поликарпова на другую работу.

Рассказ психологически правдив: человек с трубкой обиделся на товарища Поликарпова, ругавшего его писателей, как если бы его попрекнули тем, что в его стране не добывается качественный никель или не выращивают твердых пшениц.

Но это было уже в 40-е годы. Куда сложнее обстояло дело с писателями в начале 1930-го. Надо было приласкать и успокоить литераторов, придержать зарвавшийся РАПП. Недовольство обиженных могли использовать его политические враги. О нем должна идти слава покровителя истинных талантов.

Таков, по-видимому, лишенный мистики фон знаменитого телефонного разговора. Но Булгаков поверил — захотел поверить — в загадочную природу высокого покровительства. Лишь недавно видевший перед собой «нищету, улицу и гибель», он и в самом деле был принят на призрачную, но дававшую кусок хлеба службу в Художественный театр и выбросил револьвер в пруд у Ново-Девичьего монастыря.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ «ТУРБИНЫХ»

Булгаков еще более убедился, что находится под присмотром и тайной защитой человека всемогущего, когда в 1932 году МХАТу была возвращена давно снятая с афиши пьеса «Дни Турбиных». На спектакле «Горячее сердце» в правительственной комнате за ложей глава театра Немирович-Данченко и обходительный царедворец с изысканными манерами, актер Подгорный, еще недавно встречавший здесь великих князей, принимали теперь кремлевских гостей. В антрактах велись непринужденные разговоры. Сидя на диване перед круглым столиком с цветами, бутылками вина и вазами фруктов и поднося спичку к трубке, вождь обронил, будто невзначай: «А почему давно не идут «Дни Турбиных» драматурга Булгакова?»

Словно бы он не знал, точно не слышал того свиста и улюлюканья, под который еще недавно пьеса была снята из репертуара всех театров страны Главреперткомом. Будто не читал в газетах призыва через всю полосу — «Долой булгаковщину!» Будто сам не отвечал 2 февраля 1929 года на эпистолярный донос Билль-Белоцерковского рассудительным увещеванием: «Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда» [1].

Рябоватый вождь во френче с прищуром восточных глаз и мудрой улыбкой, прятавшейся в усах, делал вид, что не знает или не хочет знать всего этого, и Подгорный поддержал игру: «В самом деле, давно эту пьесу не давали... Декорации, Иосиф Виссарионович, требуют подновления...»

Вождь сел в черную машину с провожатыми и уехал, а Немирович и Подгорный молча переглянулись. Ба! Вот так история! Как прикажете понимать? И на всякий случай порешили выждать.

Но долго ждать не пришлось. Не прошло и недели, как в театр позвонил Авель Енукидзе и сказал, что товарищ Сталин интересуется, когда он может посмотреть «Турбиных»?

Тут уже Владимир Иванович не поглаживал неторопливо свою красивую бороду. Тут забегали, засуе-

---

[1] Сталин И. В. Соч. Т. 11. С. 328.

тились, артисты стали вспоминать текст, назначили срочные репетиции, извлекли и подновили начавшие плесневеть и осыпаться в сарае декорации, а счастливый автор написал своему приятелю П. С. Попову:

«В половине января 1932 года в силу причин, которые мне не известны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение — пьесу «Дни Турбиных» возобновить.

Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору, возвращена часть его жизни».

В день спектакля, 18 февраля, Булгаков был в театре, потерянный и счастливый слонялся за кулисами, но не появился перед публикой. Станиславский передал ему свою просьбу не выходить на вызовы и не появляться в зале, чтобы не случилось апофеоза с нежелательным душком. Был когда-то на одном из спектаклей «Турбиных» случай: офицеры на сцене запели «Боже, царя храни», и часть публики встала. С тех пор в театре боялись эксцессов.

Добрейший Василий Васильевич Лужский, заведовавший труппой в театре, пытался успокоить Булгакова, нервничавшего еще с утра, спешной запиской:

«У нас прибавят вечно втрое», начинаю я словами из Вашей любимой комедии. Что вышло такое, что мне говорят, что Вы ушли и обиделись? Дорогой, был только разговор о том, как лучше Вам для Вас же самих, пьесы и Театра быть или нет сегодня в зрительном зале? Константин Сергеевич думал еще только об этом говорить с Вами, но сам он прихворнул, а уже слух о том, что Вам запрещено входить в зал, Вам передали? Или даже Вы не можете допустить мысли о том, что как лучше быть в указанном случае?! Перестаньте мучить себя, и без того измученного всей передрягой. За кулисами Вас будут ждать П. А. Марков и И. Л. Судаков, с ними все и вырешите!» (Музей МХАТ).

Все сошло благополучно. Автор на овации не вышел. Спектакль закончился триумфально.

Невозможно лучше описать атмосферу этого вечера, чем это сделал Булгаков в письме к Попову:

«От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: «Нет ли лишнего билетика?» То же было и со стороны Дмитровки.

В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг как в шахте, тьма, и загораются фонарики помощников, и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а потом взрыв света, и в темноте вижу, как выбежал Топорков и стоит на деревянной лестнице и дышит, дышит... Стоит тень 18-го года, вымотавшаяся в беготне по лестницам гимназии, и ослабевшими руками расстегивает ворот шинели. Потом вдруг тень ожила, спрятала папаху, вынула револьвер и опять скрылась в гимназии. (Топорков играет Мышлаевского первоклассно).

Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрывалось потом, а глаза были настороженные, выспрашивающие.

Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера и этим мгновенно привел меня в себя.

На кругу стало просторно, появилось пианино, и мальчик-баритон запел эпиталаму.

Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне...

Я только глянул на напряженно улыбающийся рот и уже знал — будет просить не выходить...

Гонец сказал, что Ка-Эс звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую?

Я просил благодарить — чувствую себя хорошо, а нахожусь за кулисами и на вызовы не пойду.

О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это мудрое решение.

Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов...

Занавес давали двадцать раз».

И пьеса пошла. Однако автор ее не чувствовал себя спокойным и спустя два месяца после ее возобновления: все казалось ему, что она вот-вот снова будет снята. «...Писать ничего и ни о чем не могу, пока не

развяжу свой душевный узел,— исповедовался Булгаков П. С. Попову.— Прежде всего о «Турбиных», потому что на этой пьесе как на нити подвешена теперь вся моя жизнь, и еженощно я воссылаю моления Судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».

Его волнения, казалось, были не напрасны, ибо в те же недели в одной из центральных газет появилась рецензия драматурга Всеволода Вишневского, в которой впечатление от спектакля связывалось с недавним процессом Промпартии. «...Все смотрят пьесу, покачивая головами, и вспоминают рамзинское дело..» — цитировал Булгаков статью в письме к Попову 30 апреля 1932 года и добавлял: — «Казалось бы, что только в тифозном бреду можно соединить персонажи «Турбиных» с персонажами рамзинского дела!»

И, несмотря на все это, пьеса шла. Она была разрешена, правда, только одному театру в стране. Но и это было чудо. «Турбины» шли в тридцать четвертом году, и в тридцать пятом, и в тридцать шестом. Они не сошли со сцены в тридцать седьмом и шли вплоть до сорок первого. Уже был выслан Осип Мандельштам, исчезли Пильняк и Бабель, убит Мейерхольд заодно со своим театром,— а «Турбины» шли. Булгаков почти уверовал в бытие злой силы,— незримо охраняющей его и чудодейно посылающей свое благо.

Тот, кто ответил однажды на его письмо, наверное, считается с ним, подумал Булгаков. И в самую недобрую пору решился просить за высланного товарища — драматурга Николая Эрдмана. За самого бы Булгакова кому попросить: «Турбины» идут, но ведь десять лет не печатали ни строчки, новые пьесы — «Мольер», «Иван Васильевич» — фатально не доходят до премьеры или сняты после первых представлений. Но просит он. Сочиняет письмо в духе тех, что любимый его Мольер составлял для Людовика XIV. В письме говорилось о процветании наук, искусств и ремесел под мудрым правлением вождя, и на этом помпезном фоне проситель живописал превратную судьбу талантливого и безвинно страдающего драматурга, за личную безупречность и чистоту помыслов которого он, Булгаков, безусловно ручался.

Он сам отнес письмо и сдал, как тогда полагалось, в кремлевскую будку. А Эрдмана — так, во всяком

случае, уверяла Елена Сергеевна — вскоре же перевели из глухого, погибельного угла в недальнюю ссылку, в Вышний Волочек под Калининым, хотя вовсе освободить не решились. Булгаков был горд, приписывал случившееся силе своего письма и окончательно убедился, что между ним и владыкой полумира существует таинственная связь. Может быть, это и позволило ему, под нажимом друзей и театра, но без отвращения написать пьесу «Батум», правдивую во многих подробностях эпохи и среды, но ложную в главном?

Булгаков добросовестно изобразил молодого грузина, героя Батумской демонстрации 1902 года, социальную экзотику Закавказья начала века. Но вождю уже не хотелось ни на час выходить из вылепленного им годами образа мудрого отца народов с трубкой в руке, и скромнейший из скромных уронил из-под усов, что не стоит вспоминать детство и юность Сталина — кому это интересно? Пьесу не допустили к постановке, а Булгаков пережил это, как двойную беду — и неудачи и стыда. Во время последней болезни он с горечью сказал одному из друзей о своей пьесе: «Это самопредательство».

Словом, во всей этой истории нет, пожалуй, ничего особенно чудесного, если сбросить со счетов субъективное восприятие ее автором. До сих пор мне приходилось снимать налет мистицизма с событий, объяснимых исторически и психологически. Мистическое содержание темы Сталин — Булгаков открылось неожиданно с другой стороны.

4. «К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ Я, ДРУЗЬЯ МОИ!»

В недавние годы смотрел я во МХАТе посредственную постановку нынешних «Турбиных». И вдруг вздрогнул: на лестнице в гимназии Алексей Турбин, обращаясь к юнкерам, сказал слова, напомнившие чью-то другую, известную-известную, знакомую с дней войны интонацию: «Слушайте меня, друзья мои...»

Господи, да как же я сразу не узнал? Это же знаменитое сталинское: «К вам обращаюсь я, друзья мои»! Кто из современников минувшей войны, начиная от тогдашних школьников, не помнит этой речи 3 июля 1941 года, когда, собравшись, наконец, с си-

лами после острого приступа малодушия и растерянности, яростной обиды на судьбу и обманувшего его Гитлера, Сталин приехал из своего загородного убежища, чтобы произнести эти слова, воззвать к стране, заметная часть территории которой уже была захвачена врагом.

Помню, как слушали мы, дети сорок первого года, под черной бумажной тарелкой репродуктора это, непохожее на торжественные сталинские доклады и недавние речи о бандах троцкистско-зиновьевских двурушников, выступление, где прозвучало что-то трагически понятное, человеческое. Вождь-отец обращался к сердцу каждого из нас, к детям и старикам, военным и штатским, партийным и беспартийным, верующим и неверующим, к стране, попавшей в беду. Помню тягостные паузы в репродукторе и как что-то звякало, то ли зубы о стакан, когда он отпивал воду, то ли чайная ложка. Оратор волновался перед микрофоном, как, может быть, ни разу в жизни, и оттого говорил с еще более сильным акцентом.

Никто не знал тогда, что его не было в Москве почти неделю и командиры армий и флотов, работники Генштаба и члены правительства не могли или не смели связаться с ним. Такие его внезапные исчезновения в трудные, роковые минуты жизни бывали и прежде, и о них помнили старые его соратники. «На Кобу опять *нашло*»,— говорили в таких случаях его друзья по партии еще в начале 20-х годов. Так было и на этот раз, но в обстоятельствах особых. Текст речи, который он привез с собой теперь в Кремль, он обдумал за последние бессонные ночи на даче в Волынском. Он знал, что говорить надо коротко, а начать как-то особенно, необычно, сразу завоевав все души, и он сказал: «Товарищи! Граждане!.. Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

«Братья и сестры» возникло в его сознании, потрясенном несчастиями последних дней, невольно, как отдаленное воспоминание детства и юности. Это были те трогающие равенством и умиротворением слова священника, его обращение к братьям и сестрам во Христе, которые он привык слышать в семинарской церкви в Тифлисе.

А следом невольно подвернулись под язык знакомые интонации булгаковской пьесы: «К вам обраща-

юсь я, друзья мои...» Дело не только в заразительности ораторских ритмов. Хотя надо было, как он, ездить на этот спектакль не менее 15 раз (цифра, зафиксированная в театральных протоколах, но не исчерпывающая — ведь иногда он приезжал в середине или к концу спектакля, и это могло быть не отмечено), чтобы в ушах навсегда остались, будто впечатались, интонации исполнителей и, конечно, властная и доверительная речь Алексея Турбина — Хмелева перед взбаламученным строем юнкеров.

Запись Елены Сергеевны в дневнике 3 июля 1939 года: «Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: «Хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши усики, забыть не могу».

Спектакль этот вообще, можно утверждать бессомненно, больше чем просто нравился Сталину. Он захватывал его. Чем? Можно гадать. Я думаю, как это ни странно прозвучит, каким-то бессомненным и неразменным чувством чести, преданности знамени, имени государя, которые несли в себе все эти растоптанные и давно выметенные за порог истории белые офицеры. Он завидовал им, он восхищался ими. Такую бы гвардию ему вокруг себя! Нет, кругом предатели, все только ждут, чтобы застать врасплох, ударить исподтишка...

Вспоминаю рассказ адмирала Ивана Степановича Исакова, однажды мною слышанный. «Идем мы со Сталиным длинными кремлевскими коридорами, а на перекрестье с другими коридорами стоят охранники и, по внутреннему уставу, встречают и провожают глазами каждого проходящего, пока не передадут его мысленно следующему посту. Я едва успел подумать об этом, а Сталин будто перехватил мою мысль и сказал с желчной ненавистью: «Охраняют... А сами того гляди — пальнут в спину».

Даже странная притягательность офицерской формы, погон, которые он к общему изумлению введет в Красной Армии на рубеже 1942 и 1943 года, само возрождение офицерского корпуса вместо института красных командиров, не разогрето ли это впечатлениями в нем булгаковского спектакля? Кто знает, о чем думал он, скрываясь за серо-зеленой занавеской мхатовской ложи, один или с маленькой Светланой на коленях?

Декорации «Турбиных» сгорели в первые дни войны во время бомбежки, когда театр гастролировал в Минске: спектакль не мог больше идти. Но возможно именно тайное, едва ли не мистическое значение для Сталина этой пьесы заставило его откликнуться на обращение к нему Елены Сергеевны в 1946 году, когда она впервые попыталась исполнить завещание Булгакова и опубликовать «Мастера», хотя здравомыслие и не позволяло верить, чтобы роман в самом деле появился в ту невеселую пору.

5. НЕЧТО О ПРОТОТИПАХ

Комментаторы романа «Мастер и Маргарита» до сих пор обращали внимание по преимуществу на литературные источники фигуры Воланда; тревожили тень создателя «Фауста», допрашивали средневековых демонологов[1]. Связь художественного создания с эпохой сложна, причудлива, неоднолинейна, и, может быть, стоит напомнить еще об одном реальном источнике для строительства могучего и мрачно-веселого образа Воланда.

Кто из читателей романа забудет сцену массового гипноза, которому подверглись москвичи в Варьете вследствие манипуляций «консультанта с копытом»? В памяти современников Булгакова, которых мне приходилось расспрашивать, она ассоциируется с фигурой гипнотизера Орнальдо (Н. А. Алексеева), о котором в 30-е годы много говорили в Москве. Выступая в фойе кинотеатров и домах культуры, Орнальдо проделывал с публикой опыты, чем-то напоминающие представление Воланда: он не просто угадывал, но подшучивал и изобличал. В середине 30-х годов он был арестован. Дальнейшая его судьба темна и легендарна. Говорили, что он загипнотизировал следователя, вышел из его кабинета, как ни в чем не бывало прошел мимо охраны и вернулся домой. Но затем снова таинственно исчез из виду...

Жизнь, которая, быть может, и подсказала что-то

---

[1] М. А. Булгаков, судя по его выпискам, основательно изучал книгу М. А. Орлова «История сношений человека с дьяволом». СПб., 1904.

автору, сама расшивала фантастические узоры по знакомой канве.

Другой отголосок атмосферы 30-х годов в романе — двоящаяся фигура аристократа-доносчика барона Майгеля. Этот служащий зрелищной комиссии занимает в романе, как известно, должность «ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы». Маргарита встречала его в московских театрах и ресторанах. Барон славился своей «чрезвычайной любознательностью» и «не менее развитой разговорчивостью». Диковинно ли, что, явившийся без приглашения на бал сатаны, он был наказан мгновенной смертью — Азазелло выстрелил, а Коровьев немедленно передал мессиру чашу с еще теплой кровью барона.

Я напоминаю эту сцену для того, чтобы сказать несколько слов об одном современнике и знакомце Булгакова. В Майгеле угадываются черты биографии Бориса Григорьевича Штейгера. В прошлом белый офицер, человек с изысканными манерами и рискованным остроумием, барон Штейгер после революции стал помощником Флоринского, заведовавшего Отделом печати при наркоминделе Чичерине. К удивлению многих, Штейгер, знавший несколько иностранных языков, жил рассеянной светской жизнью, считался незаменимым собеседником на дипломатических обедах и ужинах, переносил сплетни из посольства в посольство, а заодно посещал с охотой дома московской артистической и писательской публики, где мог встречаться с Булгаковым. Его считали хоть и добродушным, но несомненным соглядатаем, чего он, впрочем, почти не скрывал, заявляя с легкой грассировкой: «Я резидент... м-м... одной могущественной державы». Назначенный в последние годы жизни руководителем студии при Большом театре, барон Штейгер носил в кармане визитную карточку: «Directeur des artistes», открывавшую ему многие двери. В 1937 году, приобщенный к процессу маршала Тухачевского, Штейгер был расстрелян. Таким образом, конец барона Майгеля также имел жизненную аналогию.

Я не решусь, понятно, утверждать, что Булгаков был вполне справедлив к реальному Б. Г. Штейгеру, когда рисовал его подобие; изображение Майгеля рисковало стать кощунственным в свете трагического

конца того, кто послужил ему прототипом. Но уничтожение силой зла преданных ее слуг есть закон или по меньшей мере обыкновение. Предатель и наушник убираются с дороги теми, кому безотказно служат (не от руки правосудия погиб и булгаковский Иуда).

К той же категории «мелких бесов», что и Майгель, может быть причислен в «Мастере и Маргарите» литературный клеветник Латунский. Критик Латунский вместе со своим коллегой Ариманом и литератором Мстиславом Лавровичем — самые ядовитые и упорные гонители Мастера. На сомнительную честь быть прототипами этих лиц могли бы претендовать многие: и Г. Горбачев, и Л. Авербах (кстати, его черты просвечивают и в образе Берлиоза), и Ив. Дорошев, и И. Нусинов, и В. Зархин, и В. Блюм. Но, пожалуй, более других заслуживают здесь быть названными два критика: О. Литовский и А. Орлинский. В фамилии Латунского точно переплавились эти два имени. Точно так же, как в фамилии Лавровича отозвалась фамилия драматурга Вс. Вишневского (лавр — вишня).

Напомню, что одна из статей, бичующих роман Мастера, называлась «Враг под крылом редактора», а в другой предлагалось «ударить, и крепко ударить по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать». Наверное, Булгакову вспомнилась тут статья о его пьесах «Бег назад должен быть приостановлен» (Комсомольская правда. 1928. 23 октября). Именно в ней Булгаков был назван «посредственным богомазом». В попытках «протащить» произведения Булгакова на советскую сцену газета обвинила начальника Главискусства А. И. Свидерского: «Политика скрещенных рук, а тем более покровительство белогвардейским упражнениям Булгакова не может иметь место в руководстве театральной жизни» (терпимый и достаточно широкий в своих вкусах Свидерский был вскоре снят со своего поста).

Что же касается термина «булгаковщина» (аналог «пилатчины»), то его, несомненно, первым пустил в оборот критик А. Орлинский. Еще в 1926 году он начал бешено нападать на Булгакова. Одна из его статей называлась: «Против булгаковщины. Белая гвардия сквозь розовые очки». В другой статье, опублико-

ванной на третий день после премьеры «Дней Турбиных», он писал: «Задача организованного зрителя и критики — дать отпор булгаковщине, напирающей на театр...» (Правда. 1926. 8 октября). На диспуте в Театре имени Вс. Мейерхольда 7 февраля 1927 года А. Орлинский своим выступлением вызвал обычно молчавшего в таких случаях Булгакова на взволнованный, горький ответ: в воздухе висел запах травли[1].

А на другом, более раннем диспуте — в октябре 1926 года в Доме печати — Булгаков мог бы услышать и другого своего преследователя Осафа Литовского. Вот что, судя по газетному отчету, сказал о пьесе «Дни Турбиных» критик и цензор О. Литовский: «Пьеса не заслуживала бы внимания, если бы она не увидела свет рампы. Драматургически она незначительна. Но беда не в том. Беда в том, что пьеса лжива и тенденциозна в сторону симпатии к белым. Это попытка задним числом оправдать белое движение» (Новый зритель. 1926. 19 октября).

Цитаты, какие я здесь привожу, не были разысканы мною самосильно в старых газетах. Они взяты из вырезок, тщательно собиравшихся Булгаковым и послуживших ему напоминанием (если нужно было такое напоминание) при создании страниц романа, посвященных литературной судьбе Мастера.

Отношения Булгакова с Литовским хорошо передает эпизод, рассказанный одним старым литератором. Однажды член Главреперткома Литовский сам написал пьесу. И в своем комитете собрал человек десять драматургов и критиков, чтобы обсудить ее. По окончании чтения воцарилась мертвая тишина. Ее нарушил Николай Робертович Эрдман, у которого недавно была запрещена пьеса «Самоубийца». «Мне терять нечего,— заявил он,— я скажу прямо, пьеса из рук вон плоха». Наступила неловкая пауза. Тогда слова попросил Булгаков. «Если это комедия,— сказал Михаил Афанасьевич,— то крематорий — это кафешантан». (Тема только что отстроенного в 1927 году московского крематория была тогда модной.) Мог ли Литовский когда-либо забыть или простить это обсуждение?

---

[1] См.: Огонек. 1969. № 11.

О. Литовский пережил Булгакова на двадцать с лишним лет и успел написать сомнительную в отношении достоверности книгу «Глазами современника» (М., 1963), где он попытался задним числом оправдать свое пристрастное отношение к молодому Булгакову.

Кстати сказать, у меня есть о Литовском микроскопическое личное воспоминание, ценное, однако, тем, что оно полностью сливается с бессмертным образом Латунского. В 1961 году, работая в «Литературной газете», я имел несчастие минут десять поговорить с Литовским по телефону: бряцая былыми заслугами, он требовал немедленно напечатать какую-то свою ничтожную заметку, сначала льстил, потом угрожал. Я не принял его слов всерьез, но спустя 10 минут был вызван к главному редактору: оказывается, Литовский уже успел наябедничать на меня, истолковав мой разговор с ним как глухое сопротивление затаившегося классового врага. Неискоренимый зуд ябедничества был у этого человека в крови.

Булгаков не был злопамятным и недобрым и все же не прощал содеянного ему зла, нанесенной обиды, тем более что ранам его до конца жизни так и не дали затянуться: прощать легко лишь отболевшее прошлое. Оттого он так дорожил темой возмездия, хотя бы запоздалого и восстанавливающего справедливость лишь на листе писчей бумаги.

Елена Сергеевна рассказывала, что в сентябре 1939 года, когда в состоянии здоровья Булгакова наступило резкое ухудшение, один из осматривавших его врачей сказал, отойдя от постели больного, что его конец — «это вопрос нескольких дней». Булгаков эти слова услышал. Ужас приговоренного смешался в нем с негодованием врача, удивленного грубой самоуверенностью и профессиональной бестактностью своего коллеги. Но жизнь, как нарочно, выкинула одну из тех своих штук, которые доказывают, как много в ней тайного сарказма. Стало известно вскоре, что смотревший Булгакова врач неизлечимо заболел и сам оказался на краю могилы, в то время как организм приговоренного им больного все еще сопротивлялся своему недугу, давая робкие просветы надежды на чудесное исцеление.

В один из январских дней 1940 года, то есть за два месяца до смерти, Булгаков продиктовал жене по-

следнюю вставку в роман. Это был как бы посторонний сюжету эпизод в конце первой части книги. В нем рассказывалось, как ученое светило, профессор Кузьмин, которого буфетчик из Варьете умоляет остановить предсказанный ему рак печени, убеждается в своем бессилии перед лицом судьбы и сам становится жертвой нервного расстройства, насланного на него нечистой силой. Воробушек, разнузданно пляшущий фокстрот на столе у профессора, призван открыть ему глаза на то, как жалка и немощна самонадеянность патентованного знания перед таинственной природой жизни.

6. ШТРИХИ К БИОГРАФИИ

Булгаков, по словам Елены Сергеевны, говорил порой, подымая палец в небо: «Когда окажусь там, то прежде всего разыщу Мольера».

В его обычном окружении нашлось не так уж много литераторов ему по росту. Он дорожил отношениями главным образом со старшим поколением своих литературных современников: Вересаевым, Горьким, Замятиным, Волошиным, Ахматовой. На клубных писательских мероприятиях Массолита избегал бывать, отзываясь о них иронически: «Бал в лакейской». Из литературных сверстников поддерживал приятельство с И. Ильфом, А. Файко, немногими другими. В предсмертные месяцы он охотно беседовал с Маршаком, Фадеевым. Обрадовался приходу Б. Пастернака («Вот он пусть приходит»,— сказал Булгаков Елене Сергеевне). Но с некоторыми другими литераторами, желавшими его навестить, увидеться не захотел.

Из-за удаленности в последние годы от литературной среды так мало осталось о нем воспоминаний. А те, что были написаны, по большей части приблизительны, мало конкретны (К. Паустовский) или недобры (В. Катаев). Оттого иногда интересны и мелочи, летучие штрихи, подробности в устных рассказах, какие мне в разное время пришлось слышать и записать.

Георгий Петрович Шторм, известный исторический романист, работал с Булгаковым в 1921 году в ЛИТО — Литературном отделе Главполитпросвета при Наркомпросе. В «Записках на манжетах» есть об этом упоминание, изменена одна лишь буква в фамилии

Шторма: «Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн».

Булгаков, в свою очередь, запомнился Шторму как робкий, неуверенный блондин с вихляющейся походкой. Возглавлявший ЛИТО «старик», описанный Булгаковым, по воспоминаниям Шторма, не был чем-либо знаменит в литературе: его назначили временно замещать Серафимовича, как человека, причастного к искусству,— он был женат на актрисе. Фамилия его не запомнилась, так как он вскоре исчез. В одной комнате сидели Булгаков, Шторм и два молодых поэта — Богатырев и Иван Старцев (впоследствии библиограф). Писали лозунги для Помгола — организации в помощь голодающим Поволжья. У Булгакова лозунги не получались, его молодые товарищи сочиняли их успешнее. Зарплату платили талонами на муку, картошку и сахарин. Талонами можно было меняться, а отоваривались в столовой Наркомпроса...

А вот другое воспоминание. Игорь Александрович Сац присутствовал как-то при встрече Булгакова с А. В. Луначарским. Не знаю, было ли это в театре, во время антракта, или в гостях. Незадолго до этого наркому просвещения сильно досталось за поддержку «Дней Турбиных» на сцене МХАТа, и, познакомившись с пьесой «Бег», он добродушно журил автора: «То вас, Михаил Афанасьевич, за раскрашивание белых офицеров упрекали, а в «Беге» вы за белых генералов взялись... И потом: думаете, никто не понял, что спутником Серафимы в пьесе вы изобразили себя? Я разгадал: Голубков — анаграмма фамилии Булгаков, как моя Луначарский — от Чарнолусский».

И еще одно воспоминание. Алексей Иванович Лакшин (по сцене Ангаров), мой дядюшка, в 20—30-е годы артист Художественного театра, рассказывал о трех запомнившихся ему эпизодах, связанных с Булгаковым. «Однажды идем мы с братом (мой отец — Яков Иванович Лакшин.— *В. Л.*) за кулисами по коридору. Видим, какого-то блондина актеры на руках подбрасывают, качают. Подошли — да это Булгаков взлетает в воздух, смеется, отбивается. «Дни Турбиных» снова играть разрешили»,— объяснил сияющий Иван Кудрявцев (он играл в пьесе Николку)».

А вот другой рассказ Ангарова: «В инсценировке «Мертвых душ» бессловесные роли чиновников на ба-

лу у губернатора — Перхуновского, Беребендовского и Куку были розданы молодым актерам, одна из них досталась мне. Булгаков считался в постановке ассистентом режиссера, ему надо было что-то делать, и, пока постановщик В. Г. Сахновский разбирался с главными исполнителями, он поручил Булгакову заняться с нами. Булгаков несколько дней добросовестно репетировал, придумывал линию поведения на балу для каждого, обсуждал костюмы, грим. «Михаил Афанасьевич, словечка хоть по три нам прибавьте»,— молили молодые артисты. «Не могу, братцы, у Гоголя ничего, кроме фамилий, нет»,— отбивался Булгаков.

И последняя живая подробность. Было это, кажется, вскоре после того, как сняли с репертуара «Мольера». Ангаров был известен в театре как ярый книжник, и Булгаков подошел к нему в актерской раздевалке: «Вы, кажется, книги любите? Не купите ли у меня полного Шекспира — такие, знаете, в кожаном переплете толстые тома в издании Брокгауза?» Актеру Шекспир оказался не по карману, но он порекомендовал в качестве покупщика известного режиссера, и сделка состоялась. Драматург, продающий пьесы Шекспира,— такая подробность кое-что стоит! Видно, нелегкая была для Булгакова минута.

7. КАМЕНЬ ГОГОЛЯ

Не все знают историю могилы Булгакова в Ново-Девичьем монастыре. Расскажу заодно и эту невероятную, но вполне правдивую притчу. Известно, что Булгаков благоговел перед Гоголем. Судьба связала его с ним и по смерти. Думая о Гоголе, Булгаков воскликнул, обращаясь к нему, как к учителю, в одном из своих писем: «...Укрой меня своей чугунной шинелью!»

Так и вышло.

Булгаков умер в марте 1940 года. Тело его сожгли, а урну похоронили в вишневом саду Ново-Девичьего некрополя, невдали от Чехова, среди могил старейших артистов Художественного театра. Долго на могиле его не было ни креста, ни камня — только прямоугольник травы с незабудками да молодые деревца, посаженные по четырем углам надгробного холма. Елене

Сергеевне хотелось, чтобы памятник Булгакову был скромен и долговечен, а ничего подходящего не находилось. В поисках плиты или камня Елена Сергеевна захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними. Однажды видит: среди обломков мрамора, старых памятников мрачно мерцает в глубокой яме огромный черный ноздреватый камень. «А это что?» «Да Голгофа!» Объяснили, что на могиле Гоголя в Даниловом монастыре стояла Голгофа с крестом, символический камень, напоминающий о месте казни Христа. Камень этот, черноморский гранит, нашел где-то в Крыму один из братьев Аксаковых, и долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. (Второй такой же Аксаковы привезут великому артисту Щепкину — его можно видеть на Пятницком кладбище.)

Прах Гоголя еще в 30-е годы был перенесен на Ново-Девичье кладбище, а к очередному юбилею скульптор Томский сделал слащавый гоголевский бюст с золотой надписью под ним: «От Советского правительства», заменивший последний дар Аксакова. Хорошо еще, что осталась в ограде надгробная плита из черного мрамора, с высеченной на ней эпитафией из пророка Иеремии, которую когда-то подыскал Хомяков: «Горьким словом моим посмеюся». Голгофа же с крестом, вытесненная колонной с беломраморным бюстом, нужна, понятно, не была. Ее сбросили в яму.

Вот этот-то многотонный камень извлекли с трудом с того места, где он лежал, по деревянным подмостьям переволокли к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в землю. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакову. Сбылось по слову: «...Укрой меня своей чугунной шинелью!»

Теперь на надгробии два имени. Под тем же камнем покоится и урна с прахом Елены Сергеевны.

В тот день, когда я видел ее в последний раз, она была взбудоражена, тревожно-весела. Мы ехали на киностудию смотреть рабочий материал ленты «Бег». На Киевском мосту нас застала гроза. Крупный дождь забарабанил по крыше, как град. Над Москвою-рекой вспыхнула молния и прокатился гром. Елена Сергеевна переменилась в лице: «Дурной знак». Забившись в угол на заднем сиденье «Волги», она твердила одно:

когда у Булгакова что-то снимали, запрещали, надвигалась нежданная беда, всегда случалась гроза. Мы с женой пытались ее разуверить, она сердилась: «У Миши это была верная примета». Вспоминала: так было и с последней пьесой. Четыре обсуждения и, до смешного точно, четыре раза гремела гроза.

Мы вышли из машины под проливным дождем, три часа провели в просмотровом зале, а когда оказались снова на улице, сквозь быстро редевшие облака пробилось солнце, парок подымался над асфальтом. Елене Сергеевне картина понравилась. Вернее, ей заранее хотелось, чтобы картина ей понравилась, и она себя и нас убеждала: «Вы увидите, это даст дорогу Булгакову».

Мы разъехались по домам, но едва я вернулся к себе, как услышал ее голос в телефонной трубке: ей хотелось поделиться своими уже немного отстоявшимися впечатлениями, расспросить меня. Она собиралась подробно разговаривать с режиссерами. Простились до понедельника: я уезжал за город.

А гроза над Киевским мостом гремела не зря. Через день Елена Сергеевна умерла — внезапно и незаметно, будто отлетела.

Был вечер с маревом над Витеневским заливом, с багровым солнцем сквозь вечерний туман на исходе душного июльского дня, когда я узнал об этом. Для меня в этом просвеченном заходящим солнцем мареве и растаяла она навсегда.

А в девятый день на отпевании молодой, с умными внимательными глазами и негустой русой бородкой священник, мерно взмахивая кадилом, читал проникновенные слова прощальной молитвы. Мы стояли у самого входа в алтарь, за решетчатой его оградкой, в церкви Ново-Девичьего монастыря и держали тонкие церковные свечи. «Ныне отпущаеши... по глаголу твоему — с миром».

От платы священник отказался, пояснил, что хорошо знает, кого отпевал сегодня, и, смущаясь, попросил, если можно, подарить ему книгу Булгакова... Кажется, речь шла о синем томике «Избранной прозы». Известный в журнальном варианте «Мастер» еще не включался у нас тогда в книги.

8. «...ВАШ РОМАН ВАМ ПРИНЕСЕТ ЕЩЕ СЮРПРИЗЫ»

Новый роскошный том с тремя романами Булгакова вышел уже после смерти Елены Сергеевны. События, разыгравшиеся вокруг него в учреждении, издававшем книгу, могут служить еще одним штрихом к моему рассказу. Ибо вновь, и в который уж раз, наглядно обнаружилось неискоренимое присутствие рядом с именем Булгакова неких иррациональных сил — по-видимому, неизбежное следствие его длительной предосудительной связи со всяческой мистикой и чертовщиной.

Поначалу ничто не предвещало беды. Попечительно предусмотрено было, что большая часть 30-тысячного тиража будет продана за границей, как водка или меха, и книгу не поскупились одеть в соблазнительный, под свиную кожу, светло-кофейный и красновато-мерцающий балакрон. В таком балакроне, выписанном по контракту откуда-то из Голландии, выходили до той поры по преимуществу труды лиц особо значительных, но за Булгакова кто-то тайно поворожил, и роскошный переплет разрешили. (В скобках замечу, что Ахматова издавалась следом и, как обычно, была неудачницей. Некто приметил и сигнализировал по инстанциям, что в балакрон одевают, как нарочно, былых литературных отщепенцев. «Раздеть Ахматову!» — выдохнул в припадке суеверного ужаса оробевший издательский директор.)

Но настоящие чудеса начались чуть позднее.

Приметили в какой-то день навещавшие издательство литературные граждане подозрительную возню возле киоска в вестибюле. Стучали молотком, навешивали новую дверь с аршинными петлями на книжный чулан, вдевали в ушки полупудовый чугунный замок: по особому распоряжению готовились к приемке булгаковского тиража.

И не напрасно беспокоились. Уже шныряли по этажам уполномоченные профкома, тщательно выверяли списки сотрудников. Каждый редактор имел право приобрести за наличные один экземпляр: Булгакова выдавали как экспортную белорыбицу к празднику. Тоскуя, с искательными глазами ходили авторы, выспрашивая тщетно, не обломится ли им экземплярчик.

«Этим вопросом занимается лично товарищ директор»,— объясняли им доверительно. Бог мой, да никто и не предполагал, что Булгаков появится на книжном прилавке и что мужик понесет его с базара, как Кожевникова или Федина! Но коли уж его выдавали, распределяли, как было не попытаться достать?

В день появления книг в балакроне издательство не работало. Комнаты и коридоры жужжали, как потревоженный улей. Не возобновилась работа и на другой день. А на третий встали подсобные службы.

Был час обеда, когда буфетчица Люся захлопнула дверь перед возмущенной толпой, оставив сотрудников без шницелей и морковных котлет. Лицо ее было надутое, обиженное, как будто ее безбожно обсчитали. Пробовали навести мосты. Вступать в переговоры Люся долго отказывалась, но вдруг размякла и сморкнулась обиженно: «Булгакина распределяли? Вам нужен, а я что — пшено?»

Послали ходоков к директору за книгой для буфетчицы.

И в эту минуту встал лифт.

Начхоз буровил невнятное, высоко поднимая густые брови, и те, кто уже читал роман Булгакова, утверждали потом, что отчетливо слышали слова Алоизия Могарыча: «Купорос!.. Одна побелка чего стоила». Пристали к нему решительнее — он не сдавался: «Да что вы, товарищи? Пора на ремонт. Профилактику когда делали? Случись что, Пал Семеныч отвечай?» — «Да ведь годами ничего не было, и лифт ходил! Не пешком же на 6-й ползать?» — возмущались сотрудники.

Лифт не работал уже неделю, и все, не исключая и литературных корифеев, восходили пешком по крутой лестнице, задыхаясь от сердцебиения и пережидая на площадках, пока не догадались поговорить с Пал Семенычем душевно. «Книгу давали? Ну вот»,— молвил он, застенчиво ковыряя пальцем в стене.

Принесли начхозу книгу в темно-красном балакроне. В ту же минуту лифт покорно дрогнул, зажужжал и стал ходить вверх-вниз как ни в чем не бывало.

А в обширной приемной перед директорским кабинетом тем временем, что ни день, роилась и густела толпа. Это были люди солидные, с новенькими папка-

ми и чемоданами «дипломат». Они сидели по стенам в креслах в ожидании приема, терпеливо разглядывая портреты Горького и Сулеймана Стальского в большой мохнатой папахе. И лишь самые важные, подъезжая в казенных машинах, скользили мимо секретарши вне очереди за клеенчатую дверь.

В кармане у каждого лежала бумага — фирменный бланк с синим, черным или красным грифом наверху. Во всех бумагах было одно: ведомство, министерство, главк или комитет убедительно просили выделить им для неотложных производственных нужд... надцать экземпляров книги в балакроне. Несли и несли бумаги от треста Главрыба и журнала «Вопросы нумизматики», комитета по рационализации и управления Союзмехтехники — и каждая была подписана не меньше чем первым заместителем, а случалось, и самим.

Со лба директора не сходила испарина. Он встречал, жал руки, подписывал, выслушивал комплименты, благодарил и ждал на пороге следующего. Это был его звездный час. Но всякий раз что-то вздрагивало и отрывалось у него внутри, когда он брал красный карандаш, долго вертел его в руках, вглядываясь в размашистую руководящую подпись, и там, где просили 7, соглашался на 3, там, где молили о 4,— разрешал один. Толстый красный карандаш чертил в углу бумаги наискосок: «Выд. 2 (два) экз. для Мин. коммун. хоз. согласно отн. и личн. договорен.».

Добром это кончиться не могло. Лифт уже ходил и буфет работал, когда однажды к началу рабочего дня появились в издательстве двое аккуратных молодых людей в штатском, скромно представились, показав красные удостоверения, и приступили к тихим занятиям. Это грянул ОБХСС.

Инспектировали директорский книжный фонд, листали расписки рядовых сотрудников и важных получателей. Причина узналась позднее. На Кузнецком мосту и у памятника Первопечатнику, где гуляют, негромко переговариваясь, симпатичные граждане с огнем тайного вожделения в глазах и книгами, засунутыми за отворот пальто, случилась сенсация. Том Булгакова, шедший накануне за восемь червонцев, внезапно упал до 50 рэ. Встревожились книголюбы, и те, кто приглядывает за книголюбами, тоже обеспоко-

ились. Кто-то наводнил рынок по меньшей мере тысячью новеньких экземпляров в балакроне. Чудилась крупненькая афера.

Сотрудники ходили потерянные, переговаривались вполголоса, жалели директора и в душе прощались с ним. К счастью, вскоре выяснилось, что издательство лихорадило напрасно: замок на киоске был надежен и криминальных упущений в распределении книг в балакроне не обнаружено.

Позднее следствию удалось установить, что сотни пачек книг таинственно исчезли из длинного, серебристого, наглухо запертого и опломбированного автофургона на перегоне из Ленинграда, где печатался тираж, в Москву. При этом, по слухам, не пострадали транспортируемые тем же рейсом пособия для занимающихся в сети политпросвещения, логарифмические таблицы Брадиса, а также новенькие поэтические сборники «Дрозды» и «Майское утро».

Вот и представьте: лунная ночь, сверкающая лента Ленинградского шоссе, новейший гигантский трейлер, мчащийся на предельной скорости с ослепительными желтыми фарами... И отчаянные русские мафиози в черных полумасках, останавливающие фургон посреди дороги, чтобы похитить из него... романы Булгакова. Это ли не дьяволиада?

9. ПИСЬМО ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Впрочем, феноменальная посмертная слава пришла к Булгакову не в одночасье. На моей памяти начиналась его вторая литературная жизнь.

В 60-е годы у многих читателей сложилось впечатление, что в нашей литературе, помимо хорошо известных лиц, чьи адреса и телефоны можно найти в справочнике Союза писателей, тайно работает еще один — и незауряднейший — современный прозаик. Книги Булгакова появлялись будто из-под земли, с малыми интервалами, одна за другой и имели нарастающий успех, каждая последующая лучше предыдущей. Мне выпала редкая удача — писать о книгах Булгакова по свежему следу, писать о нем как о современнике. В 1962 году вышла «Жизнь господина де Мольера». Потом появились «Записки юного врача» (1963), «Те-

атральный роман» (1965) и, наконец, «Мастер и Маргарита» (1966—1967). Я откликался на эти книги рецензиями, статьями, будто на новинки живущего рядом писателя, спорил с критиками, которые пытались оттеснить его в тень. Читателей взволновала судьба Булгакова, потрясли его книги, и я стал получать от них письма. Лишь по поводу спора вокруг «Мастера и Маргариты» я получил их больше полусотни.

Об одном из писем хочу рассказать. Шли последние недели моей работы в «Новом мире», когда однажды положили мне на стол коричневую, изжеванную при пересылке бандероль, прочно увязанную шпагатом и обклеенную со всех сторон марками. Обратного адреса на бандероли не было. С тоскою подумал я, что вот еще кто-то прислал на отзыв свою работу в робкой надежде напечататься, и скорее всего понапрасну: случись даже, что рукопись хороша, я вряд ли успел бы что-либо сделать для ее автора. В бандероли, однако, оказалась не рукопись. То была книга в самодельном зеленом переплете с обтрепанными полями, карандашными пометками — читанный, видно, десятки раз и не одним читателем роман «Мастер и Маргарита», аккуратно вырезанный из старого комплекта журнала «Москва». Вместо послесловия домашний переплетчик подшил к книге мою статью о романе.

Я держал в руках трогательный читательский «конволют», как выражаются библиофилы (такие мне уже приходилось видеть), но не понимал, зачем он мне прислан, пока из книги не выпало письмо. Вот оно:

«Я не буду уже знать, получили ли Вы принадлежащее Вам (бандероль будет отправлена после меня), но если даже и нет, то все же мне легче думать сейчас об адресате неведомом, чем заведомо недостойном.

Эту книгу мне некому оставить («После тяжелой и продолжительной...»). Распорядитесь ею Вы, по своему усмотрению.

Говорят: книга — друг. Пусть так. Но для меня книга была чем-то большим. Мне книга приносила ту радость духовного единения, какую мы так тщетно стремимся получить в общении с людьми. С книгой мы до конца понимаем друг друга. Здесь гармония.

Здесь восторг. Здесь что-то от кирилловских «пяти секунд»... Есть любимые писатели, любимые вещи, места... и часто возвращалась я к ним, к этому спокойному и привычному миру. Но вот — Булгаков, и все отодвинуто.

Не Вам мне рассказывать о действии на нас этой книги, но я хочу сказать: разве можно остаться равнодушным, разве можно без слез слушать: «...Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший». Или: «...он отдался с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его...» Или: «Навсегда!.. Это надо осмыслить...»

Так ведь это что же, это же теплое, живое сердце бьется в ваших руках! Да... Это надо осмыслить... А слова, что слова? Только пылкое наше воображение доскажет нам их. Не в том дело, что даже сам сатана предстал пред нами добрым гением. Дело в бездомновском «караул!».

Людей ведь не убеждают ни слова, ни страдания человека... В тебе, может быть, бомба отчаяния разорвалась, а люди скажут: пьяный, что ли... Не знаю, но для меня этот «караул!» достоин «кисти винограда» у Достоевского...

Беспокою Вас последний раз. Желаю Вам еще долгие годы...»

Письмо заключали несколько добрых слов, обращенных ко мне лично, и подпись стояла «Е. С.» и дата: 15.XI—69 г.

Я вспомнил, что однажды уже получал письмо от этой женщины по поводу какой-то журнальной драки, в которой мне пришлось участвовать. Это была фельдшерица районной поликлиники из подмосковного городка Калининграда Е. С. Вертоградова. Посмотрел еще раз на дату — 15 ноября, а на дворе был конец декабря. Стало быть, бандероль с письмом ждала где-то, пока ее не стало. Тот, кому она доверяла, выполнил ее последнюю волю, и я получил подарок с того света. Не знаю и, наверное, не узнаю теперь никогда, какую жизнь прожила эта женщина, сколько ей было лет, отчего она умерла. Но ее любимая книга в самодельном переплете с коленкоровыми уголками осталась у меня как память о ней, окликнутой гением

Булгакова и благодарно отозвавшейся ему на вершине человеческого страдания.

Благодаря ей, этой подмосковной медсестре, я снова думал о романе Булгакова. О том, чего не сумел выразить и договорить в своей статье о «Мастере» и на что она предсмертным, вещим знанием мне указала. Думал о том, как сильно и пророчески, выше любых слов, связаны в теме смерти боль перехода в небытие, страх полного уничтожения и надежда на вечную память. Как хочется, наверное, уходя навсегда, удержать с собой и сохранить, конвульсивно сжав в горсти, все любимейшее на земле, победить отчаяние беспамятства, победить смерть чудом и остаться присутствовать в этой жизни пусть в виде незримого дыхания, прозрачной платоновской «тени». И может быть, правда, что безверие Ивана Бездомного и его готовность закричать «караул!» при одном приближении чуда губительнее других видов разрушения?

А еще думал я о том, что не напрасно сказал Булгаков: пусть каждому сбудется по вере его. Он верил в своих будущих читателей, как в часть второй своей жизни, знал, предчувствовал, что книгу его прочтут, особенный голос его расслышат, и эта вера не обманула его..

1973

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ ЛАКШИН

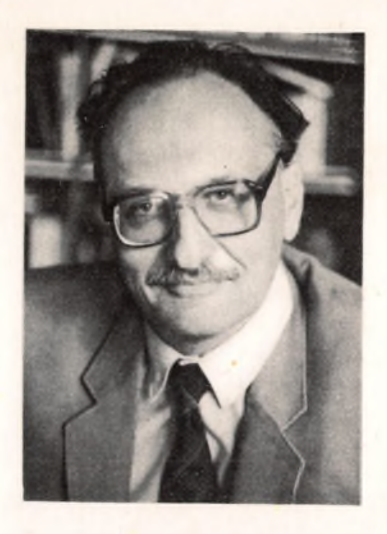
ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редактор *М. Холмогоров*
Художник *П. Сацкий*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Г. Шитоева*
Корректоры *Т. Сёмочкина, Л. Сидоренко*

ИБ № 4220

Сдано в набор 29.11.88. Подписано к печати 31.03.89. Л21549. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 23,38. Тираж 75 000 экз. Заказ 4297. Цена 1 р. 60 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

1 р. 60 к.



Владимир Лакшин,
известный журнальный деятель,
критик, доктор филологии,—
блистательный рассказчик,
чему свидетельствуют литературные циклы
о Блоке, Чехове, Толстом, Островском,
которые хорошо помнят телезрители.
Его книга — попытка
автобиографии писателя, 30 лет
работающего в советской литературе.
Но автобиографии необычной —
автор рассказывает не столько о себе,
сколько о людях,
во многом определивших его судьбу.
Цепочку живых рассказов объединяют
портреты А. Твардовского, С. Маршака,
О. Берггольц, О. Л. Книппер-Чеховой,
генерала А. Горбатова и многих других.

